А.А. Нестеренко

РУССКАЯ И ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОЦЕНКАХ Л.Н. ТОЛСТОГО

Монография

Репозиторий ВГУ

УДК 882(091)
ББК 83.3(2Рос=Рус)5
Н56

Автор: профессор кафедры литературы УО «ВГУ им. П.М. Машерова» доктор филологических наук **А.А. Нестеренко**

Рецензенты: проректор УО «ВОГИПКиПРРиСО» кандидат филологических наук доцент Ю.В. Маханьков; профессор кафедры литературы УО «ВГУ им. П.М. Машерова» кандидат филологических наук В.В. Здольников

Репозиторий ВГУ

Оценки Л.Н. Толстым отдельных литературных произведений и в целом творчества русских и зарубежных писателей, анализируемые и комментируемые в книге, – это целый мир литературно-критических отзывов великого писателя и великого читателя по истории русской (XVIII – рубеж XIX–XX вв.) и всемирной (античность – рубеж XIX–XX вв.) литературы. Русский цикл издания охватывает оценки Л.Н. Толстого русской литературы XVIII века, XIX века (первая половина), XIX века (вторая половина), конца XIX – начала XX в., зарубежный цикл – всемирной литературы. Монография будет интересна гуманитариям, любителям литературы и деятелям культуры.

УДК 882(091)
ББК 83.3(2Рос=Рус)5

© Нестеренко А.А., 2005
© УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005

В В Е Д Е Н И Е

Для уяснения существа эстетических воззрений любого писателя, в том числе и Толстого, сама собой ясна необходимость рассмотрения всех суждений писателя об общих и частных явлениях искусства, бывших в поле его зрения. В разрозненных замечаниях и высказываниях художника о различных фактах эстетической деятельности нетрудно усмотреть какую-то главную, руководящую точку зрения, даже в том случае, если взгляды художника не остаются неподвижными, а эволюционируют вместе с развитием его духовного облика. Это особенно справедливо в применении к Толстому, мировоззрение которого и в области эстетики, как и в других областях, характеризовалось большой органичностью и относительной устойчивостью, несмотря на те глубокие кризисы, через которые пролег его духовный путь.

В системе эстетических взглядов Толстого суждения его о тех или иных фактах словесного искусства занимают, естественно, преимущественное место. Они заключены не только в таких трактатах, как «Что такое искусство?» или «О Шекспире и о драме», но и в статьях педагогического характера, в предисловиях к отдельным произведениям различных писателей; далее – в обширной переписке, в дневниках самого Толстого, а также в дневниках, записях и воспоминаниях тех лиц, которые были близки к Толстому, общались с ним или являлись его эпизодическими собеседниками. Систематизация всех очень многочисленных высказываний Толстого о литературе и о писателях является, с одной стороны, естественным комментарием и конкретной иллюстрацией к его основному эстетическому трактату «Что такое искусство?», с другой – прямым дополнением к этому трактату, поскольку из них извлекаются такие данные, которых в трактате мы не найдем. Существенно и то, что эти высказывания по времени или предшествовали появлению в свет статьи «Что такое искусство?» или следовали за ней. Это дает возможность в ряде случаев доискаться до истоков основополагающих мыслей Толстого об искусстве, и проследить дальнейшее их развитие.

Очевидно, что бóльшая часть анализируемого материала посвящена русской литературе, меньшая – зарубежной. Пропорция эта естественна: при всей начитанности и при всем знании иностранных языков Л.Н. Толстой свои читательские (а значит – литературно-критические) интересы связывал прежде всего с отечественной, родной ему национальной литературой – русской.

Само собой разумеется, что в смысле достоверности и наибольшей авторитетности для нас особенно важны те мысли Толстого по занимающему нас вопросу, которые письменно закреплены самим Толстым; относительно менее авторитетно все то, что со слов Толстого записано его слушателями и собеседниками, и не только потому, что мы не всегда можем быть уверены в полной адекватности услышанного и записанного, особенно если запись делалась спустя более или менее продолжительное время после беседы Толстого или с Толстым, но и потому, что сам Толстой, естественно, более строго относился к тому, что он писал, чем к тому, что в зависимости от поводов,

Репозиторий ВГУ

обстановки, случайностей, настроения высказывал устно, часто походя и наспех. Однажды в беседе с близкими ему людьми – С.Д. Николаевым и Д.П. Маковицким – Толстой сам провел резкую грань между различными формами своих высказываний: «Я вас, друзей своих, прошу, когда меня не станет, помнить об этом; не придавайте большого значения тому, что я говорю в разговорах. Я иногда говорю зря, необдуманно, под впечатлением минуты... К письмам я отношусь с большей осторожностью, но вполне ответственным чувствую себя только за то, что отдаю в печать и что побывало у меня в корректурах». Та же мысль – еще более энергично – выражена Толстым в его дневнике 25 августа 1909 года: «Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом».

Однако, при всей серьезности этого предостережения, мы не можем пренебрегать ни записями о суждениях Толстого, ни тем более письмами и записками Толстого, не предназначавшимися им самим для печати. Мы не должны лишь терять из виду факта неравноценности материала. Что же касается мыслей Толстого, записанных посторонними людьми, то в большинстве случаев достоверность и правдивость записей гарантируется, во-первых, авторитетом тех, кто их делал, во-вторых, тем, что в огромном большинстве случаев содержание этих записей не расходится в основном с материалом, который мы черпаем из самих писаний Толстого. Существенно важно также и то, что записи, сделанные различными лицами, не только не противоречат друг другу, но часто совпадают даже в подробностях. Это важное доказательство их точности и правдивости. А если принять во внимание, что в своих письменных высказываниях, особенно в письмах, обращенных к писателям, Толстой не свободен был иногда от условностей светского этикета, не позволявших ему вполне откровенно говорить о том, что он думал по поводу того или иного произведения автора – своего современника, то устные беседы с посторонними лицами о литературе и писателях, когда Толстой не был стеснен никаким этикетом, в ряде случаев окажутся отражающими подлинные его взгляды точнее и правильнее, чем лично занесенные им на бумагу приговоры и оценки. Как на образчик расхождения между тем, что думал о писателе Толстой, и как он отзывался о нем в личных своих письмах к нему, можно привести следующий факт, сообщаемый писателем С.Т. Семеновым в его «Воспоминаниях о Толстом»: «Я только что прочитал “Взбаламученное море” Писемского, показавшееся мне мало художественным. Но при издании Писемского было приложено письмо Льва Николаевича, полное любезностей по адресу Писемского. Л.Н. объяснил, что это был обычный акт вежливости, и что он никогда Писемского большим писателем не считал».

Те мысли и эстетические убеждения Толстого, в частности его суждения о литературе, которые нашли себе выражение в трактате «Что такое искусство?», явились плодом долголетних упорных раздумий его на эту тему.

Репозиторий ВГУ

Первое зерно, из которого вырос трактат, – в записи дневника 1851 года. Здесь размышления на тему о соотношении литературы народной и литературы для образованных классов, о том, что подлинно ценно в литературе то, что может «выпеться» из души писателя: «Ламартин говорит, что писатели упускают из виду литературу народную, что число читателей больше в среде народной, что все, кто пишут, пишут для того круга, в котором живут, а народ, в среде которого есть лица, жаждущие просвещения, не имеет литературы и не будет иметь до тех пор, пока не начнут писать для народа. Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорил Гоголь, “выпеться из души сочинителя”: что же доступного может выпеться из души сочинителей, большей частью стоящих на высшей точке развития? Народ не поймет. Ежели даже сочинитель будет стараться сойти на ступень народную, народ не так поймет... У народа есть своя литература – прекрасная, неподражаемая, но она не подделка, она выпевается из среды самого народа».

Вопрос о взаимоотношении литературы народной и литературы для образованных классов занимает Толстого и в период его работы в яснополянской школе. Так, в первом же номере основанного им журнала «Ясная Поляна» (1862) в статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» он рассказывает о своих попытках приобщить постепенно учеников к пониманию художественной литературы. После «Робинзона», который дался ученикам нелегко и вызвал у них скуку и почти отвращение, Толстой принялся за пушкинского «Гробовщика», казавшегося ему, как и прочие повести Пушкина, хорошо построенным, простым и понятным для народа. Но его постигло полное разочарование: «Гробовщик» произвел еще меньшее впечатление, чем «Робинзон». Та же участь постигла и Гоголя, когда прочитана была «Ночь перед Рождеством». Единственно понятные и доступные народу книги – это книги, «писанные не для народа, а из народа, а именно сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок».

В четвертом номере того же журнала Толстой высказывает убеждение в том, что все, нами изданное в области музыки и поэзии, создано ложными путями, не имеющими никакого значения в сравнении с теми требованиями и достижениями, которые мы имеем в народном искусстве: «Я убедился, – пишет Толстой, – что лирическое стихотворение, как, например, “Я помню чудное мгновенье”, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о “Ваньке-ключнике” и напев “Вниз по матушке по Волге”, что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что мы так же настроены, как Пушкин и Бетховен, а потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости». Далее идет жалоба Толстого на то, что он годами бесплодно бьется над тем, чтобы уяснить своим яснополянским ученикам красоты Пушкина, в то время как сборник Рыбникова сразу же удовлетворил их поэтические требования. И – что самое важное – такое предпочтение сборника Рыбникова Пушкину сам Толстой, в результате сличения первой попавшейся у Рыбникова песни с лучшим произведением Пушкина, считает вполне законным.

Репозиторий ВГУ

В номере 12-м «Ясной Поляны» за тот же год Толстой печатает полемическую статью «Прогресс и определение образования», где пишет: «Литература, так же, как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа. Есть “Современник”, есть “Современное слово”, есть “Современная летопись”… есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды... Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение “Бориса Годунова” или “Историю” Соловьева, надобно этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».

В этих суждениях – первые наброски тех мыслей, которые более полно будут развиты в трактате «Что такое искусство?». Явное предпочтение, отдаваемое Толстым искусству народному перед искусством образованных классов, не только потому, что первое доступнее для народа, чем второе, но и потому, что оно качественно выше, – это предпочтение непосредственно связано с пропагандой Толстым искусства всемирного и всенародного, так настойчиво проводимой в трактате об искусстве.

Симпатии Толстого к народно-поэтическому творчеству сохранились им на всю жизнь. О них свидетельствуют и собственное признание Толстого, заявившего в составленном им самим списке авторов и произведений, определивших его литературное развитие, что былины и народные сказки оказали на него огромное влияние, и частое обращение Толстого во второй половине своей литературной деятельности к материалу народных легенд и сказок, откуда заимствовались не только сюжеты, но и стиль, и язык, и, наконец, указания жены Толстого, его друзей и собеседников. Оттуда же и расположение Толстого к поэзии Кольцова, Шевченко, Никитина, Сурикова, у которых он, видимо, ощущал близкое соприкосновение с народно-поэтической стихией, и нелюбовь к Крылову, басни которого Толстому казались неудачной подделкой под народность. Как очень показательный факт, лишний раз свидетельствующий об отсутствии у Толстого чувства истории, тут же должно быть приведено позднейшее его суждение о «Слове о полку Игореве». Толстой считал этот единственный по своему художественному значению памятник Древней Руси, как и Краледворскую рукопись, подложным. «Это (то есть “Слово...” – *А.Н.*) сочинено, – говорил он, – на гомеровский эпический лад... Мне не нравятся и Нибелунги, они не поэтичны. Старинные же былины очень люблю: Добрыня, Садко, Микула Селянинович, Илья Муромец...».

Любовь Толстого к народной поэзии и народному творчеству, помимо причин идеологического свойства, объясняется тем, что в искусстве, как и в других отправлениях духовной жизни человека, он ценил прежде всего органическое и непосредственное выражение чувства, то, что может «выпеться из души». Всякая искусственность в искусстве, всякая условность и нарочитость, не оправданные потребностью в искреннем и от взволнованного и на-

Репозиторий ВГУ

пряженного чувства идущем выражении, были для Толстого признаком дурного искусства. Оттого Толстой не любил вообще стихов, предпочитая им прозу. Рационалистическое отношение к искусству не мирилось у него с условностью и неизбежной деланностью стихотворной формы. Свидетельства о нерасположении Толстого к стихам многочисленны. Сам Толстой о стихах писал следующее: «Я не люблю стихов вообще. Трогают меня, думаю – преимущественно – как воспоминания молодых впечатлений, некоторые, и то только самые совершенные, стихотворения Пушкина и Тютчева». В другой раз он высказался о стихах гораздо резче: «Писать стихи – это все равно, что пахать и за сохой танцевать. Это прямое неуважение к слову». Ощущение стиха как стиха, с присущими ему специфическими особенностями формы, не только не играло у Толстого никакой роли, но, наоборот, он ценил лишь те стихи, в которых это ощущение явственно не обнаруживалось. «Я вообще не люблю стихов, – говорил он. – Стихи должны быть очень хороши, так, чтобы в них не чувствовалась *la facture* (деланность), подыскивание рифм. У нас Пушкин, Лермонтов, Тютчев – три одинаково больших поэта». Прочитав «Иоанна Дамаскина» А.К. Толстого и оставшись недовольным прочитанным, Толстой на вопрос своей собеседницы «Вы не любите стихов?» ответил: «Нет, кроме самых больших талантов, как Пушкин, Тютчев. У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать; а здесь я чувствую, что то же самое можно сказать на тысячу различных ладов».

Эта абсолютная адекватность мысли и выражения ее считались Толстым непременным условием подлинного поэтического произведения. И стихи потому так часто его не удовлетворяли, что в них он в большей степени, чем в прозе, склонен был усматривать наличность случайных, не оправданных необходимостью элементов. От стихов, как и от прозы, Толстой требовал прежде всего правдоподобия, точного соответствия действительности и точности языка. «За обедом, – пишет В. Булгаков, – стали говорить о стихах. Л.Н. высказался против стихосочинительства. “Я сегодня видел ландыш, совсем готовый бутон, должен вот-вот распуститься. Почему ландыш называют серебристым? Ничего нет похожего на серебро... Это сказано только для рифмы, для рифмы к “душистый”. Эпитет должен рисовать предмет, давать образ, а это совершенно фальшивое представление. И так у всех поэтов, и у Пушкина тоже”». В другой раз, в беседе с С.А. Стахович, Толстой указал, что Пушкин в стихе «...Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь» – употребил слово «как-нибудь» вместо «кое-как» неправильно, исключительно для рифмы. Также неудачен, по мнению Толстого, стих из пушкинской «Тучи», «...и молния грозно тебя обвивала», потому что молния не «обвивает». Прочитав стихотворение Фета «В дымке-невидимке выплыл месяц вешний», Толстой указал автору на то, что разновременные явления, бывающие весной (одно в апреле, другое в мае) у него происходят одновременно. И Фет исправил стихи, прислушавшись к указанию Толстого.

Репозиторий ВГУ

Иногда Толстой в своих оценках стихов бывал явно придирчив и несправедлив. Не любя стихов А.К. Толстого, он не нашел у него ни одного хорошего стихотворения и в письме к Фету от 7 декабря 1876 года, упоминая об одном не из худших у Толстого «Милый друг, тебе не спится...», привел из него строчку «Не скрипят в сенях ступени» и спросил при этом: «Отчего же не сказано, что не хрюкают в хлеве свиньи?». Беспристрастное чтение стихотворения убеждает в том, что эта строка на месте во всех отношениях, и острота Толстого бьет явно мимо цели.

Однако в иных случаях Толстой ценил стихи как раз за то, в чем он им большей частью отказывал: за возможность именно в стихах наиболее точно и образно выразить какое-нибудь ощущение или впечатление. Когда однажды в 1909 году в обществе Толстого зашел разговор о стихах, он, сославшись на свою нелюбовь к стихам, сказал: «Так трудно выразить свою мысль вполне ясно и определенно, а тут еще связан рифмой, размером. Но зато у настоящих поэтов в стихах бывают такие смелые обороты, которые в прозе невозможны, а между тем они передают мысль лучше самых точных». Далее следовала цитата из Фета, в которой Толстой выделил строку «Дыханьем ночи обожгло». Тут он увидел чисто тютчевский прием и добавил: «Как смело; и в трех словах вся картина!».

В другой раз, в том же году, по поводу стихов какого-то полуграмотного крестьянина Толстой сказал: «Это странная вещь, – я стихов не люблю, но понимаю, что ими можно выразить часто гораздо короче и сильнее то, чего так сказать нельзя. Как это у Тютчева: “паутины тонкий волос блестит на праздной борозде”. Здесь это слово “праздной” как будто бессмысленно, и не в стихах так сказать нельзя, а между тем этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление. В умении находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер».

Однажды, задолго до этого, Толстой как будто даже встал на защиту стихов. Когда Фет пожаловался ему, что в литературе распространяется мнение о том, что поэзия отжила свой век и лирическое стихотворение стало невозможным, Толстой сказал: «Они говорят – нельзя, а вы напишите им отличное стихотворение: это будет наилучшим возражением».

И в стихах, и в прозе Толстой, по свидетельству А.Ф. Кони, усматривал три элемента: самый главный – содержание, затем любовь автора к своему произведению, наконец, техника. «Только гармония содержания и любви, – говорил он, – дает полноту произведению, и тогда, обыкновенно, третий элемент – техника – достигает совершенства сам собою».

Репозиторий ВГУ

Г Л А В А I

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII века

Всего два свидетельства нам известны из наследия Л.Н. Толстого о **М.В. Ломоносове**.

Середина 1870-х годов. Разгар одновременной работы писателя над «Новой азбукой» и романом «Анна Каренина» [1]. Лев Николаевич пишет А.А. Толстой, что, занявшись школьным делом (это уже 2-й этап; 1-й связан с созданием яснополянской школы для крестьянских ребят и журнала «Ясная Поляна» в конце пятидесятых годов) в своем уезде, он «полюбил опять, как четырнадцать лет тому назад», «эти тысячи ребятишек», и дело у него «идет очень хорошо». «Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе». Как видим, авторитет Ломоносова как писателя, мыслителя, ученого, педагога для Толстого безусловен. Это, так сказать, к общей постановке вопроса.

Другое свидетельство касается проблемы народности, – во-первых, в широком смысле слова, в значении «любви к народу» и, во-вторых, относительно народности литературы, языка. Личный врач Толстых Д.П. Маковицкий передает слова Льва Николаевича: «Как Герцен прав, отзываясь с таким уважением о декабристах. Как они относились к народу! Они, как и мы (Л.Н. упомянул и Кропоткина. – *А.Н.*), через нянек, кучеров, охотников полюбили народ… У французов этого чувства к народу – связи сердечной с прислугой, с народом – нет. Англичане, когда пишут о народе, передают язык народа исковерканным; то же самое и французы. У немцев народу надо учиться hochdeutsch (литературному языку), а не литераторам у народа его языку. А мы все *учимся* (курсив А.Б. Голденвейзера) у народа. Ломоносов, Державин, Карамзин – до Пушкина, Гоголя, – и даже о Чехове можно это сказать, да и я».

Из истории русской литературы XVIII века известна большая роль журналистики в 1760-х – первой половине 1770-х годов. Имеются в виду сатирические журналы **Н.И. Новикова**, которые не только будили русскую общественную мысль, но и способствовали формированию русской художественной литературы на пути к реализму.

В декабре 1853 года Толстому случайно попались номера журнала Новикова «Утренний свет» за 1777 год. Из предисловия Новикова к своему журналу Толстой узнает, что целью журнала издатель ставил «развитие человеческого ума, воли и чувств, направление их к добродетели». В журнале помещались философские рассуждения о бессмертии души и о назначении человека, переводы диалогов Платона, биография Сократа и т.п. Такое содержа-

Репозиторий ВГУ

ние журнала нравится Толстому, хотя он и видит в этом крайность; по его мнению, «единственная цель литературы – нравственная». Ему даже является мысль самому издавать журнал подобного направления. «Вот цель благородная и для меня посильная, – записывает он 20 декабря в дневник, – издавать журнал, целью которого было бы единственно распространение полезных (морально) сочинений». Из журнала была бы исключена всякая полемика и «насмешка над чем бы то ни было».

Это был один из многих проектов молодого Толстого, к осуществлению которого он никогда не приступал. Для нас же важно даже в таком случае то, что из опыта Новикова Толстой хотел почерпнуть лишь морально-этическую сторону журнального проповедничества, опустив сатирическую направленность печатного органа [2].

К опыту Новикова Толстой обращается через 5 лет (в 1858 г.). Это связано с речью-воззванием Александра II к московскому дворянству об устройстве быта помещичьих крестьян (старт «реформы сверху» 1861 г.).

Эта царская речь, с одной стороны, была по-лисьи льстива, а с другой – выказывала крайнее беспокойство по поводу пассивности московского дворянства – форпоста российского престола – в деле «изменения крепостного права» в том смысле, что лучше «начать его сверху, нежели снизу».

Толстой был крайне возмущен и отозвался «Запиской о дворянском вопросе». Упреки Александра II в адрес московского дворянства были квалифицированы им как хитрый ход с целью взять из огня каштаны чужими руками, то есть обелить правительство и обвинить дворянство. В пику Александру II Толстой говорит: «Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом, и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах и во все царствование Николая за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря на все противодействие правительства, поддерживало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее».

В этих словах Толстой впервые выразил вполне определенно свое сочувствие и декабристам, и петрашевцам в их борьбе с правительством Николая I за уничтожение крепостного права. «Они-то, эти мученики, – говорит Толстой, – а не правительство, и поддерживали в обществе идею освобождения».

Толстой не утверждает, что все дворянство сочувствует освобождению крестьян: ему сочувствует только меньшинство; но это меньшинство является в то же время «большинством по образованию и влиянию».

Толстой и впоследствии твердо держался того взгляда, что инициатива освобождения крестьян принадлежала не правительству Александра II, а передовым просвещенным людям дворянского класса. В статье «Великий грех» (1905) он писал: «Освобождение крестьян в России совершено не Александром II, а теми людьми, которые поняли грех крепостного права и старались, независимо от своей выгоды, избавиться от него; преимущественно же совершено такими людьми, как Новиков, Радищев, декабристы, – теми людьми, которые

Репозиторий ВГУ

готовы были страдать и страдали сами… ради верности тому, что они признавали правдой». Также и в очерке «Три дня в деревне» (1910) Толстой писал: «В пятидесятых годах лучшие люди общества, преимущественно сами дворяне, владельцы крепостными, поняв преступность своего положения, разъяснили правительству необходимость отмены этого явно несвоевременного и безнравственного права, и крепостное право уничтожилось».

По отношению к личности **А.Н. Радищева** Толстой свою позицию выражал тоже в морально-политическом аспекте, уважительно отзываясь о гражданственности и просветительстве его творчества. Это видно из цитированных выше строк статьи «Великий грех».

Кстати, незаконченная и необработанная «Записка о дворянском вопросе», о которой упоминалось выше в связи с Н.И. Новиковым, замечательна той резкостью, с которой Толстой критикует и речь царя, и самый образ действий правительства в крестьянском вопросе, и, главное, тем сочувствием к «мученикам» за дело освобождения крестьян, гонимым Екатериной (Радищеву и Новикову, декабристам и петрашевцам), которое впервые с полной определенностью высказано Толстым в этой записке.

Интересна случайная (случайна ли?) перекличка толстовской «Записки…» об *освобождении* крестьян в России середины XIX века с его письмом к музыкальному критику и крупному общественному деятелю В.В. Стасову в 1902 году с просьбой содействовать *освобождению* тульского крестьянина М.П. Новикова, арестованного по распоряжению министра внутренних дел за поданную им в тульский комитет Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности докладную записку о тяжелом положении крестьян. Толстой писал Стасову: «Новиков – замечательный по уму, образованию и горячности крестьянин, мне давно знакомый и близкий. Он подал в тульский комитет записку, которая для тульских консерваторов показалась, вероятно, такою же, как “Путешествие” Радищева Екатерине, и вот с ним хотят сделать то же, что и с Радищевым». Как видим, гражданский пафос «Путешествия из Петербурга в Москву» первого русского революционера А.Н. Радищева в сознании Л.Н. Толстого эхом откликнулся через 112 лет в судьбе другого честного гражданина России, смело, как и Радищев, вставшего на защиту обездоленного крестьянства.

Интерес Л.Н. Толстого к **Н.М. Карамзину** был разнопланов: как к историку, затем как к писателю, носителю русского литературного языка и, наконец, как к знаковой личности своей эпохи.

Первое известное нам упоминание о Карамзине относится к концу 1853 года. С 18 ноября по 16 декабря Толстой читает «Историю государства Российского», при этом слог автора находит «очень хорошим», а предисловие Карамзина к своему труду вызывает у Толстого «пропасть хороших мыслей».

Имя Карамзина связано и с неосуществленным замыслом конца 70-х годов произведения времен Николая I, действие которого должно было происходить осенью 1829 года в южном городе по окончании войны с турками 1828–1829 гг. (Адрианопольский мир).

Репозиторий ВГУ

Первоначально Толстой предполагал начать свой роман с 1816 года. В записной книжке намечены три круга действия: «В России – правительственное», «В России – общественное», «В России – литературное». Каждый круг обозначен сведениями по данной теме. Так, в «России – общественное» отмечены события из жизни Пушкина и Карамзина, упомянуты – с одной стороны – кружок императрицы Марии Федоровны, с другой – «разгар войны литературной» и приведена эпиграмма на противников Карамзина.

Затем план начатого романа подвергся существенным изменениям. Прежде всего сменилось время действия: не 1816 год, а «1824 год, весна». Далее перечисляются высшие должностные лица того времени: министр юстиции, председатель Государственного совета, министр народного просвещения, обер-прокурор и обер-секретарь Синода. Затем записываются данные о местопребывании в том же 1824 году Пушкина, Ермолова, Карамзина, Александра I. Во второй редакции этого нового плана отмечен выход 10 и 11 томов «Истории государства Российского» Карамзина.

Любопытна карамзинская реминисценция в повести Толстого «Отрочество». Здесь, как и в «Детстве», еще нет принципиального отрицания крепостного права. Мы находим здесь лишь признание равенства людей из народа и людей привилегированных классов в отношении способности к глубоким и сильным чувствам. Свой рассказ о любви дворового Василия к горничной Маше автор предваряет следующим обращением к читателю: «Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас! Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся». Как видим, Толстой повторяет здесь сентенцию, высказанную еще Карамзиным в 1792 году в повести «Бедная Лиза» словами: «И крестьянки любить умеют».

Мы уже отмечали высокую оценку Толстым языкового стиля «Истории государства Российского» («очень хорошо»). Это – про научное сочинение. Но вот к художественному – повести «Бедная Лиза» – Толстой в этом плане более взыскателен, и тут проявилась его принципиальная позиция писателя-реалиста, далеко ушедшего вместе с русской литературой от времен русского сентиментализма, с которым мы связываем прежде всего творчество Карамзина.

История вопроса такова. В период работы над «Азбукой» (середина 1870-х годов) Толстой увлекся изучением русского народного творчества и фольклора других народов. Живое общение с крестьянскими детьми поставило перед Толстым во всей силе вопрос о народности литературы. По этому поводу возник письменный диалог с публицистом и литературным критиком Н.Н. Страховым. Скорее всего, взыскательный писатель, каким всегда был Л.Н. Толстой, в своих письмах к Страхову слишком строго и несколько тенденциозно оценивает достижения новой литературы, считая, что «последняя волна поэтическая… была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывает, Бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет». И еще более резко: «Противен этот наш теперешний язык и приемы, а к

Репозиторий ВГУ

другому языку и приемам (он же и случился народный) влекут мечты невольные». Более того, Толстой и себя заодно с русскими писателями-реалистами корит за «ложные приемы, ложный язык».

И как пример искусственности содержания и языка Толстой приводит повесть Карамзина «Бедная Лиза» и противопоставляет ей народное творчество. «“Бедная Лиза”, – говорит он, – выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уж ее не прочтет, а песни, сказки, былины – все простое будут читать, пока будет русский язык».

Мы можем шутливо воскликнуть: «Бедная “Бедная Лиза”!». А если серьезно, то здесь явное «преувеличение от увлечения», типичный пример субъективного взгляда крупного таланта на состояние дел в компетентной для него области русской литературы.

Нам кажется, Толстой в этом случае спорил сам с собою. И крайность, в которую он явно впадал (народный языковой стиль лучше, вековечнее литературного), проистекала из постоянной работы мысли художника, мыслителя-проповедника, гражданина, человека. Какая-то составляющая в какой-то момент перевешивала – и высказывались односторонние, субъективные утверждения. Это естественно. Затем, по спокойной взвешенности аргументов «за» и «против», торжествовало объективное. Как, вот, и с Карамзиным… В сентябре 1885 года Толстой вел оживленную переписку с П.И. Бирюковым о содержании и языке предполагавшегося народного журнала. Опустим все перипетии, помешавшие осуществиться этой доброй затее. Отметим главное для нас. Очень озабочивал Толстого язык будущего народного журнала. В одном из писем он писал: «Язык надо бы по всем отделам (больше всего его смущал научный отдел, где скорее всего могла укрепиться языковая “пошлость”. – *А.Н.*) держать в чистоте – не то, чтобы он был однообразен, а напротив – чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, но только не наш газетный. Если газетный язык будет в нашем журнале, то все пропало».

Все встало на свои места, а Карамзину Лев Николаевич отвел первое…

Репозиторий ВГУ

Г Л А В А II

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX века (1-я половина)

1. До Пушкина

Знакомство с баснями **И.А. Крылова** у Толстого восходит к концу 1830-х – началу 1840-х годов, когда Лёвушке было 11–12 лет – пора ученичества. Сохранилась тетрадь ученических сочинений и переложений Толстого. Там всего 11 сочинений и переложений. По своему содержанию они разделяются таким образом: четыре рассказа на исторические темы, четыре описания различных времен дня и года, одно описание пожара в Туле и два переложения басен Крылова.

Наибольший интерес представляют именно переложения басен Крылова – «Фортуна и нищий» и «Собачья дружба». Изложение мальчика Толстого не только вполне передает содержание обеих басен, но и воспроизводит встречающиеся в них наиболее удачные в художественном отношении выражения, как например: нищий *«таскался»*, он *«расправил»* свою суму, сума *«тяжеленька»*, *«новые друзья к ней взапуски летят»* (у Крылова: *«несутся»*). Некоторые предложения, особенно запечатлевшиеся в художественной памяти мальчика Толстого, он поместил в свое изложение буквально, как например: *«не треснула б»* (сума), *«это дело», «фортуна скрылася»* и даже целиком два стиха: *«Тут нищему Фортуна вдруг предстала и говорит ему».* Но во многих других случаях маленький Толстой заменил выражения Крылова своими, более простыми. Так, у Крылова нищий расправил свой кошель – *«и щедрою рукой тут полился в него червонцев дождь златой».* У Толстого сказано просто: *«Нищий расправил свою суму, и в нее посыпались червонцы».* Вместо крыловского: *«Еще, еще маленько, хоть горсточку прибавь»* – у Толстого кратко: *«Прибавь еще немного».* У Крылова новые друзья *«не знают с радости, к кому и приравняться»*, а у Толстого *«не знают, как себя назвать»*. Вместо стиха, которым у Крылова заканчивается басня и в котором баснописец употребляет несколько искусственный оборот: *«И нищий нищеньким по-прежнему остался»* – у Толстого читаем: *«И удивленный нищий пошел по-прежнему скитаться»* [3].

Вообще, изложение обеих крыловских басен мальчиком Толстым по своей простоте и сжатости напоминают те его пересказы басен Эзопа и других баснописцев, какие были написаны им, уже прославленным художником, тридцать лет спустя (в 1871–1872 гг.) в его «Азбуке» и «Книгах для чтения».

Следующая творческая «встреча» Толстого с Крыловым произошла уже в юности, в бытность его студентом Казанского университета. По предложенному ему профессором Д.И. Мейером заданию студент Толстой напи-

Репозиторий ВГУ

сал небольшое исследование по сравнительному анализу «Наказа» Екатерины II и «Духа законов» Монтескьё.

Разбирая «Наказ», студент Толстой стоит на точке зрения интересов своего (дворянского) сословия. Он скорбит об упадке знатного дворянства. Причину этого он видит в том, что «благородные стыдились заниматься торговлею». «Высокое назначение» «благородных» в том, «чтобы усилиться». Однако он не считает, как Екатерина II, заслугой дворянства «одно только знатное происхождение». «После басни Крылова о гусях, – замечает Толстой, – против этой ложной мысли ничего больше сказать нельзя».

Не мог Толстой обойти творчество Крылова и работая над «Войной и миром». Эпизод в Вильне, где князь Андрей встречается с Николаем Ростовым, который уже получил согласие от княжны Марьи. Вечером того же дня в Вильну приезжает из партизанского отряда, жив и невредим, Петя Ростов. На другой день утром «оба новые родные», князь Андрей и Николай Ростов, отправляются к фельдмаршалу просить: Ростов об отпуске на 28 дней, а Болконский – о зачислении в действующую армию (не в штаб). Фельдмаршал соглашается на то и на другое. На другой день состоялся смотр, на котором после церемониального марша Кутузов поздравил войска с победой. Толстой присоединил сюда и эпизод с произнесением Кутузовым стиха из басни Крылова «Волк на псарне», в действительности происходивший в другое время (в окончательном тексте этого эпизода нет).

Как не сказать о творческой перекличке Толстого и Крылова в момент его увлеченной работы в 1870-е годы над «Азбукой»! Известно, что для этой книги Толстой переводил басни Эзопа. Известно также, что эзоповским наследием пользовались Лафонтен и Крылов.

Как творческая личность, Толстой «приспособил» опыт родоначальника басенного жанра к своим задачам создания учебно-воспитательной книги, какой виделась ему его «Азбука». Так, у Эзопа везде нравоучение, «мораль» дана в конце басни словами самого автора. У Толстого, напротив, во всех баснях нравоучение вовсе отсутствует. В педагогических целях он считал более целесообразным, чтобы ученики «передавали не только самое содержание басни, но и тот общий вывод, который, по их понятиям, вытекает из басни».

Но в то же время в баснях у Толстого, так же, как и у Эзопа, отсутствуют художественные детали, каких так много у Лафонтена и Крылова, пользовавшихся сюжетами Эзопа; нет даже эпитетов, характеризующих то или другое действующее лицо. Это объясняется стремлением обоих баснописцев (Эзопа и Толстого) сосредоточить все внимание на основной идее басни и не направлять его на подробности, не имеющие существенного значения для смысла. Все басни начинаются не с характеристики действующих лиц, не с описания обстановки, а с действия: «Галка увидела, что голубей хорошо кормят», «Поймал рыбак рыбку», «Попалась лисица в капкан», «Шли по лесу два товарища» и т.д. Басни Эзопа в «Азбуке» Толстого так же просты по содержанию и языку, как просты они в подлиннике.

И вот мы подошли к тому самому моменту, который выявляет неповторимую субъективность большого мастера при оценках других мастеров своего «цеха».

Репозиторий ВГУ

1878 год. Похороны Н.А. Некрасова [4]. Толстого там не было, но Н.Н. Страхов в письме к нему подробно рассказал об этом траурно-торжественном акте. Рассказ Страхова произвел на Толстого тяжелое впечатление, так как он считал кощунством хвалебные речи над могилой усопшего, ничего общего не имеющие, по его мнению, с великим таинством смерти.

Невольно (а точнее сказать, – по просьбе Страхова) Толстой высказал свое мнение на это время о поэзии Некрасова. Вот дословно эта субъективная оценка, идущая в параллели с мнением о творчестве русского баснописца Крылова: «О Некрасове я недавно думал. По-моему, его место в литературе будет место Крылова. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера – потрафил по вкусу времени – и то же невыработанное и не могущее быть выработанным настоящее присутствие золота, – хотя и в малой пропорции и в не подлежащей очищению смеси».

В одной из басен 1892 года Толстой делает лингвистический анализ языкового стиля басен Крылова – как бы в подтверждение сказанного Страхову 14 лет назад: «Не люблю я его quasi-народный язык». Толстой указывает как на пример на басню «Кот и Повар», в которой находит ряд неупотребительных в народе слов и неправильных оборотов: *«грамотей»* («К чему *грамотей*?»), *«тризна», «стеречи»*; а также на басню «Ворона и Лисица», где Крылов пишет: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру» («Откуда вороне добыть сыра?»); у Эзопа – *«кусок мяса»*. Лафонтен, которого переводил Крылов, изменил *«мясо»* на *«сыр»* для рифмы: *«fromage»* и *«plumage»* [*«сыр» и «перья»*].

Невеликое по объему, но яркое творчество **А.С. Грибоедова** Толстой также не обошел вниманием.

Первое упоминание в дневнике о чтении комедии Грибоедова «Горе от ума» относится к февралю 1855 года (севастопольский период). После Севастополя Толстой отправился в Петербург, на литературный «Олимп» (журнал «Современник» во главе с Н.А. Некрасовым и целой плеядой уже знаменитых русских писателей). Из Петербурга по пути домой, в Ясную Поляну, Толстой остановился в Москве. В это время развивался его роман с Валерией Арсеньевой, семья которой жила в имении Судаково недалеко от Ясной Поляны. В Москве он испытал «невыразимую тоску» из-за отсутствия Валерии. В таком грустном состоянии он посетил Малый театр, где увидел спектакль по комедии Грибоедова «Горе от ума». Постановка ему очень понравилась: «Отлично», – записал он в дневнике.

В это время Толстой вообще увлекся русской драматургией – благодаря первым пьесам А.Н. Островского. Особенно восхитила Толстого пьеса «Доходное место». И характерно, что, говоря о ней, Толстой проводит генетическую линию от Грибоедова – к Островскому. В январе 1857 года он писал В.П. Боткину: «Комедия Островского (“Доходное место”. – *А.Н.*), по-моему, есть лучшее его произведение. Та же мрачная глубина, которая слышится в “Банкруте” (“Свои люди – сочтемся”. – *А.Н.*), после него в первый раз слышится тут в мире взяточников, чиновников. Так же, как и в “Банкруте”, слышится этот сильный протест против современного быта; и как там этот быт выразился в молодом приказчике (Подхалюзине. – *А.Н.*), как в “Горе от ума” в Фамусове, так здесь в старом взяточнике секретаре Юсове. Это лицо восхитительно.

Репозиторий ВГУ

Вся комедия – чудо». «Протест против современного быта» есть в глазах Толстого великое достоинство комедий Грибоедова и Островского.

И тем не менее, признавая образцовыми произведениями комедии «Горе от ума» Грибоедова и «Ревизор» Гоголя, Толстой относит их к «самому мелкому, слабому роду» драматической литературы – сатирическому (дневник от 3 февраля 1870 года). В этом сказалось стойкое толстовское убеждение в приоритете пафосного звучания драмы над комедией вообще (см. его статью «О Шекспире и о драме»).

2. Пушкин и Толстой

Объяснить неизбежную генетическую связь творчества А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого можно, наверное, какой-то всеобъемлющей формулой. К счастью, такая формула есть, и выработана она великим Пушкиным: «Слова поэта суть уже его дела». Если это утверждение Пушкина справедливо относительно всех писателей вообще, то тем более справедливо оно в отношении таких писателей, каким был Лев Толстой, который всегда, во всех своих произведениях, – пользуясь его собственным выражением, – «хотел сказать» нечто такое, что в данное время представлялось ему особенно важным и нужным. «Поэт лучшее свое отнимает от жизни и кладет в свое сочинение», – записал Толстой в своей записной книжке 27 ноября 1866 года. Он же отметил в одном из писем жене: «Писанье мое есть весь я».

Пушкина Толстой читал еще в раннем детстве. Это касается декламирования им двух стихотворений поэта в присутствии отца. Известны два рассказа Толстого об этом эпизоде. Первый записан с его слов его женой Софьей Андреевной в 1876 году: «Не было Льву Николаевичу восьми лет, как раз его отец застал его за какой-то хрестоматией, в которой маленький Лёвочка с большим увлечением и интонацией читал стихи Пушкина “На смерть Наполеона”. Отца поразила, вероятно, верность интонации и увлечение ребенка; он сказал: “Каков Лёвка! Как читает! Ну-ка, прочитай еще раз” и, вызвав из другой комнаты крестного отца Льва Николаевича С.И. Языкова, он при нем заставил сына читать стихи Пушкина».

Вторично рассказал Толстой о том же эпизоде в своих «Воспоминаниях» (1902): «Помню, как он (отец. – *А.Н.*) раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: “К морю” (“Прощай, свободная стихия!”) и “Наполеон” (“Чудесный жребий совершился: угас великий человек” и т.д.). Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим».

Отец почувствовал в своем младшем сыне одаренность, какой он не замечал в старших сыновьях, и это подействовало на маленького Лёвушку ободряюще. Конечно, мальчику не все было понятно в этих стихотворениях Пушкина. Ему было неведомо отношение Пушкина к Наполеону (хотя самого Наполеона он представлял по рассказам старших), так же, как упоминание о «могучей страсти» Байрона. Но своим природным художественным чутьем мальчик почувствовал, хотя и смутно, всю силу и красоту пушкинских обра-

Репозиторий ВГУ

зов и пушкинского стиха и усвоил основной тон обоих стихотворений, что и позволило ему «с пафосом», как писал он уже глубоким стариком, их декламировать. Это было первое известное нам проявление художественной одаренности будущего гениального писателя. Лучи поэзии Пушкина освещали сознание Льва Толстого еще на утренней заре его жизни…

К лету 1846 года относится первое чтение Толстым «Евгения Онегина». Произошло это чтение при следующих обстоятельствах. Толстой приехал к соседнему помещику князю Гагарину в его имение Сергиевское покупать тирольских телят, остался ночевать у управляющего и на сон грядущий взял первую попавшуюся книгу, стал читать и прочел всю до конца; потом стал читать вторично с начала и так и не заснул всю ночь до самого утра. Это и был «Евгений Онегин». Кстати, в 1848 году Толстой составил список книг, произведших на него большое впечатление от 14 до 20 лет – то есть с 1842 по 1848 год. Роман Пушкина помечен оценкой «очень большое» (впечатление).

1852 год. Кавказ… Толстой по-новому взглянул на его живописную природу и человека в ней (прежде всего – военного человека). Замышляются «Очерки Кавказа» для некрасовского «Современника». Начинались они «Записками о Кавказе. Поездкой в Мамакай-Юрт». Автор начинает «Записки…» с воспоминаний о том, как он в детстве или ранней юности читал Марлинского, «и, разумеется, с восторгом, читал тоже не с меньшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова». Из чтения Марлинского и Лермонтова, а также Пушкина у Толстого составилось поэтическое представление о Кавказе. В его воображении сложились «поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар… Бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место». Кавказ был для него «поэмой на незнакомом языке». Когда же он сам увидел Кавказ, то он «во многих случаях пожалел о вымышленной поэме», но в других случаях «убедился, что действительность была лучше воображаемого».

Приступая к «Запискам…», автор предупреждает своих читателей, что, читая его сочинение, им придется отказаться «от многих звучных слов и поэтических образов». Но автор выражает желание, чтобы для читателя «взамен погибших» «возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны». Он считает, что хотя и «воображаемое» нелегко выразить словом, но «выразить действительность еще труднее». «Верная передача действительности есть камень преткновения для слова» [5].

Изучение опыта Пушкина углубляется. Большое значение в этом смысле имеет дневниковая запись от 1 ноября 1853 года там же, на Кавказе, в которой Толстой выражает свое отношение к художественной прозе Пушкина. «Я читал “Капитанскую дочку”, – пишет он, – и увы! должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара – не слогом, но манерой изложения. Теперь справедливо в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то». В этой записи Толстой указывает на самое существенное отличие своего творческого метода от творческого метода Пушкина – на чрезвычайно существенную особенность своей манеры, которую Н.Г. Чернышевский в 1856 году определит как изуми-

Репозиторий ВГУ

тельную способность к раскрытию «диалектики души» героев толстовских произведений.

Но с течением времени отношение Толстого к прозе Пушкина совершенно изменилось.

В год начала работы над «Анной Карениной» (1873) Толстой усиленно перечитывает Пушкина и своим восторгом от чтения прозаических произведений гениального поэта делится с другом Н.Н. Страховым, которому пишет 25 марта 1873 года: «Не только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не восхищался. “Выстрел”, “Египетские ночи”, “Капитанская дочка”!!!» Как видим, через 20 лет после замечания о том, что «повести Пушкина голы как-то», Толстой вновь перечитал «Капитанскую дочку», и теперь это перечитывание ничего не вызвало в нем, кроме восторга. 30 марта того же года в письме к П.Д. Голохвастову Толстой писал относительно «Повестей Белкина», что «писателю надо не переставать изучать это сокровище», и что недавнее перечитывание в седьмой раз «Повестей Белкина» произвело на него «сильное действие». А до этих признаний, а именно 19 марта 1873 года, Толстой сказал Софье Андреевне: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться».

Весной и летом 1854 года во время служебной поездки по Молдавии, Валахии и Бессарабии Толстой много читает (больше, чем сам пишет). В частности, Пушкина. Его в этот раз поразили «Цыганы», «которых, странно, – пишет он, – я не понимал до сих пор» (дневник, 9 июля). Совершенно понятно, почему именно «Цыганы» особенно понравились Толстому: ему близка была идея этой поэмы – противопоставление простых, цельных, живущих естественной общей жизнью людей изломанному, испорченному ложной цивилизацией эгоисту Алеко.

О глубоком интересе Толстого к творчеству Пушкина свидетельствует и тот факт, что он с восторгом прочитал все 11 статей В.Г. Белинского о Пушкине (в январе 1857 года). (Кстати, именно статьи о Пушкине привели Толстого к восторженному восприятию таланта их автора – Белинского).

Толстой то и дело цитирует Пушкина. Так, работая над повестью «Поврежденный» (в будущем – «Альберт»), эпиграфом делает строки Пушкина:

…Не для корысти, не для битв, –
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв [6].

После поездок в Москву и Петербург летом 1857 года Толстой истосковался по родной тульской земле. Было радостно вновь увидеть дорогую сердцу природу. В начале августа, возвратившись из Петербурга в Ясную Поляну, он в дневнике приветствовал родное гнездо стихом Пушкина:

Приветствую тебя, пустынный уголок!

Постепенно для Толстого становится обычным, работая над собственными произведениями, сверять их идею, а то и форму с опытом Пушкина. Например, во время работы над повестью «Казаки» (точнее, над первым ее вариантом – «Беглецом») Толстой, не довольствуясь, как Гомер, поэтическими красотами и раскрытием психологии («диалектики души») своих героев,

Репозиторий ВГУ

хочет показать проявление добра в сфере близкой к природе казацкой жизни; хочет, как Пушкин в «Цыганах», показать, что и в этой сфере жизни, как и во всякой другой, «те же страсти»; хочет, наконец, провести мысль, что «дикое состояние», то есть близкая к природе первобытная жизнь, имеет преимущества перед жизнью цивилизованной. Это перекличка-диалог с Пушкиным.

И вот мы подошли к 60-м годам, а именно к роману «Война и мир». Откуда такое название? Сочетание понятий *«война»* и *«мир»* еще до Толстого неоднократно встречалось в русской литературе. Так, у Ломоносова в его трагедии «Томира и Селим» (1750) находим стих: «Война и мир против моей любви воюет». У С. Раича есть стихотворение «Война и мир» (1854); так же называется одно из стихотворений В. Бенедиктова (1857). В записках С. Глинки, которые Толстой усердно изучал, сказано, что в 1812 году «мир и война шли рядом».

Упомянем еще о том, что в 1864 году вышло в русском переводе теоретическое сочинение Прудона под заглавием «Война и мир», по своим основным положениям не имеющее, впрочем, ничего общего с романом Толстого.

Но, вероятнее всего, заглавие романа появилось у Толстого как реминисценция выражения, употребленного Пушкиным в обращении летописца Пимена к Григорию:

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей…[7].

Интересно, как всплыло имя Пушкина в восприятии романа «Война и мир» историком М.П. Погодиным. Он восторженно приветствовал выход первых четырех томов «Войны и мира». 3 апреля 1868 года он писал Толстому: «Читаю, читаю – изменяю и Мстиславу, и Всеволоду, и Ярополку, вижу, что они морщатся на меня, досадно мне, – а вот сию минуту дочитал до 149 страницы третьего тома и просто растаял, плачу, радуюсь». Перефразируя то, что Толстой писал про Наташу Ростову, Погодин далее пишет о самом Толстом: «Где, как, когда всосал он в себя из этого воздуха, которым дышал в разных гостиных и холостых военных компаниях, этот дух и проч. Славный вы человек, прекрасный талант!..».

На другой день 4 апреля:

«Послушайте – да что же это такое! Вы меня измучили. Принялся опять читать… и дошел… И что же я за дурак! Вы из меня сделали Наташу на старости лет, и прощай все Ярополки! Присылайте же, по крайней мере, скорее Марью Дмитриевну какую-нибудь, которая отняла бы у меня ваши книги, посадила бы меня за мою работу…

Ах – нет Пушкина! Как бы он был весел, как бы он был счастлив и как бы стал потирать себе руки. – Целую вас за него и за всех наших стариков. Пушкин – и его я понял теперь из вашей книги яснее, его смерть, его жизнь. Он из той же среды – и что это за лаборатория, что за мельница – святая Русь, которая все перемалывает. Кстати – любимое его (Пушкина. – *А.Н.*) выражение: все перемелется, мука будет …» [8].

Репозиторий ВГУ

Как известно, роман «Война и мир» был встречен в литературных кругах неоднозначно. И.С. Тургенев, например, который был на 10 лет старше Л.Н. Толстого и желавший стать своеобразным патроном начинающего молодого писателя (чему воспротивился самодостаточный характер Толстого), в письмах к П.В. Анненкову дает высокую оценку роману «Война и мир» («теперь Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями»); однако упрекает романиста в том, что в «Войне и мире» характеры развиваются «прыжками» и что Толстому свойственно «преднамеренное, упорное повторение одного и того же штриха». Но Толстой не согласился бы здесь с Тургеневым, потому что этот прием весьма существенен для его художественной манеры. Такое повторение характерных внешних подробностей в портретах действующих лиц мы находим и в позднейших произведениях Толстого (косящие глаза Катюши Масловой, детская улыбка Хаджи-Мурата и т.д.). В этом приеме Толстой усматривал одно из своих отличий от Пушкина. Шурин Толстого С.А. Берс в своих воспоминаниях приводит замечание Толстого о том, что «Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он же как бы пристанет к читателю с этою художественною подробностью, пока ясно не растолкует ее».

…В июне-июле 1856 года Толстой отдыхал в деревне и много читал Пушкина и Гоголя. В дневнике: «Прочел Дон Жуана Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною никогда не предвиденная в Пушкине». Сильное впечатление произвела на него и «маленькая трагедия» «Каменный гость».

Из поэм Пушкина «Цыганы» показались Толстому «прелестны, как и в первый раз» (то есть, при первом чтении); о других же поэмах Пушкина в дневнике Толстого от 7 июня записан суровый отзыв: «Остальные поэмы, исключая “Онегина”, – ужасная дрянь».

Этот преувеличенно резкий (как это бывало у Толстого) отзыв, по-видимому, касается главным образом содержания и лишь в малой степени художественной стороны поэм Пушкина. Он становится понятен в свете общих воззрений Толстого того времени. Сказочный сюжет «Руслана и Людмилы», романтический элемент в южных поэмах, восхваление Петра I и описание Полтавского боя в классическом духе (что должно было быть особенно неприятно Толстому) в «Полтаве», несерьезное содержание «Графа Нулина» и «Домика в Коломне», идея приоритета государства над личностью в «Медном всаднике» – все это не могло вызвать сочувствия Толстого. Известно, однако, что Толстой высоко ценил художественную сторону отдельных частей пушкинских поэм. Так, в своих «Воспоминаниях», рассказывая об отце, Толстой писал, что ему «всегда казалось, что Пушкин писал с него свой выезд на охоту мужа в “Графе Нулине”», – таким типически верным находил Толстой это описание.

Что же касается «Евгения Онегина», то высокое мнение Толстого об этом произведении оставалось неизменным до самого конца его жизни. Толстой много раз в своих произведениях, письмах и дневниках цитировал отдельные стихи из «Евгения Онегина»: в последний раз он перечитывал это произведение в 1908 году. В Яснополянской библиотеке сохранился первый том сочинений Пушкина под редакцией Анненкова, содержащий «Материалы» к биографии

Репозиторий ВГУ

поэта. В этом томе имеются на полях отчеркивания некоторых мест, почему-либо обративших на себя внимание Толстого. В частности, Толстой хвалил Пушкина за то, что в «Евгении Онегине» он выказал «удивительное мастерство двумя-тремя штрихами обрисовать особенности быта того времени».

Пушкин всегда будоражил творческое воображение Толстого. Вот случай с «Кавказским пленником» (1872). Название рассказа Толстого, совпадающее с названием романтических поэм Пушкина и Лермонтова, наводит на мысль, что Толстой имел в виду написать свой рассказ совершенно иначе, чем написаны эти поэмы. В этом предположении укрепляет резко отрицательный отзыв Толстого о пушкинских поэмах (за исключением «Цыган»), записанный им в дневнике еще 7 июня 1856 года.

И действительно, ни в характерах персонажей толстовского рассказа, ни в описании обстановки, ни в изображении природы ничто не напоминает романтическую поэму. В этом рассказе Толстой нигде не переступает строгих границ реализма. Он выступил «со своим» «Кавказским пленником», опирающимся на широкую базу мирового эпоса и обращенным к читателям всех классов и возрастов. Но результат получился неожиданный: «рассказ, как будто направленный против Пушкина, оказался стоящим гораздо ближе к пушкинской прозе, чем прежние вещи Толстого. Это совершенно естественно: принципы “простоты и ясности рисунка и штриха” должны были привести Толстого к прозе Пушкина» [9]. Не случайно известный деятель народной школы профессор С.А. Рачинский в 1891 году писал, что детские книги Толстого (в «Азбуке» и четыре «Русские книги для чтения») «следует знать всякому образованному человеку… Его детские книги (для детей всех сословий) – не плод художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим вниманием ко всем его практическим подробностям, с высокой простотою и смирением. Во многих своих очерках и мелких рассказах он доходит до чисто пушкинской трезвости и силы».

Широко известно в литературоведении, как набросок Пушкина «Гости съезжались на дачу» дал Толстому толчок к уже задуманному сюжету будущего романа «Анна Каренина». В письме к Страхову от 11 мая 1873 г. Толстой писал, что занят романом, который «пришел» ему «невольно и благодаря божественному Пушкину», которого он «случайно взял в руки и с новым восторгом перечел всего». Двадцатилетней давности заявление Толстого (от 1 ноября 1853 года) о том, что проза Пушкина устарела «не слогом, но манерой изложения», что «повести Пушкина голы как-то» (речь шла о «Капитанской дочке») – в 1873 году дезавуировано. Это заявлял автор «Детства», «Набега» и «Записок маркера» – складывающийся замечательный мастер раскрытия «диалектики души». Естественно, что в период своего творческого становления Толстой-художник особенное значение придавал этой стороне своего дарования.

Теперь, через 20 лет после создания гениального романа-эпопеи «Война и мир», в творческом сознании и в художественной практике великого писателя заняли подобающее им место как «интерес подробностей чувства», так и интерес изображения событий. Этим была вызвана перемена его отношения к прозе Пушкина.

Репозиторий ВГУ

Герои «Анны Карениной» тоже сопричастны к творчеству Пушкина. В характеристике Константина Левина, данной в одной из черновых редакций начала романа устами Кити Щербацкой, сказано, что он «поэтичен и музыкален». Правда, единственное поэтическое произведение, которое с глубоким чувством вспоминает Левин в разговоре с Облонским, это «Воспоминание» Пушкина – любимое стихотворение и самого Толстого. В беседе с писательницей В.Д. Малахиевой-Мирович в ноябре 1909 года Толстой отозвался об этом стихотворении Пушкина в таких словах: «Таких стихов пять, много десять на всем свете»…

Пушкин и Толстой… Каждому из них принадлежит почетное место в русской литературе. Толстой как «младший брат» (или даже «сын», ибо однажды назвал Пушкина «наш отец») на протяжении всей творческой деятельности находился в поле притяжения пушкинского писательского таланта и опыта – то отталкиваясь от него, то испытывая благотворное влияние. Его привлекали то содержание, то форма пушкинских созданий. Это был своеобразный творческий диалог двух великих мастеров.

За несколько месяцев до смерти Л.Н. Толстой обронил в случайной беседе: «Какой удивительный мастер красоты ваш Пушкин!»…

3. Лермонтов и Толстой

Начать можно с уже упоминавшегося нами списка книг, произведших на Толстого большое впечатление в возрасте от 14 до 20 лет, то есть с 1842 по 1848 год. «Герой нашего времени: Тамань» помечен оценкой «оч. большое». Весь роман Лермонтова, а особенно его часть «Тамань», Толстой считал верхом художественного совершенства. В воспоминаниях С.Н. Дурылина, видевшегося с Толстым 20 октября 1909 года, рассказывается, что на его вопрос о том, какое произведение русской литературы он в художественном отношении считает выше всех других, Толстой «не задумываясь» ответил: «“Тамань” Лермонтова. Это совершенство… В повести нет ни одного лишнего слова, ничего нельзя ни прибавить, ни убавить». Более 60 лет разделяют эти два одинаковых, слово в слово, отзыва! Мнение юноши Толстого подтвердил преклонный старец Толстой…

…Кавказ и Лермонтов в сознании Толстого соединились естественно. В незаконченном очерке «Поездка в Мамакай-Юрт» (1852), описывая настроение, с каким он ехал на Кавказ, Толстой рассказывал: «Когда-то в детстве или первой юности я читал Марлинского и, разумеется, с восторгом; читал тоже не с меньшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова… Но это было так давно, что я помнил только то чувство, которое испытывал при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар… Бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место. Эти образы, украшенные воспоминанием, необыкновенно поэтически сложились в моем воображении».

Приехав на Кавказ, Толстой очень скоро убедился в нереальности изображений Кавказа у Марлинского. В первом своем военном рассказе «Набег», описывая одного из сослуживцев-офицеров, Толстой писал: «Этот офицер

Репозиторий ВГУ

был один из довольно часто встречающихся здесь типов удальцов, образовавшихся по рецепту героев Марлинского и Лермонтова…».

Имя Лермонтова ввел в толстоведение Н.Г. Чернышевский в своей знаменитой рецензии-статье о «Детстве», «Отрочестве» и военных рассказах Толстого. Речь шла о психологизме прозы того и другого. И если первым психологистом в русской литературе Чернышевский считал Лермонтова («Герой нашего времени»), то психологизм толстовской прозы существенно отличается от лермонтовской одним важным качеством: если у Лермонтова психологизм статичен (мы не наблюдаем психологического развития характера Печорина при всей глубине его разработки), то у Толстого видна эволюция психологического состояния героев «от» и «до» (так называемая «диалектика души»).

Но интересна не только антиномичность психологического рисунка в прозе Лермонтова и Толстого. Любопытны также и моменты сходства в использовании психологических приемов у того и другого.

В первой редакции «Детства» находим целый ряд примеров очень удачного раскрытия внутреннего значения внешних проявлений душевных движений. Так, неоднократно раскрывается различное внутреннее значение улыбки. Давая портрет матери, автор говорит, что губы ее «беспрестанно переменяли выражение: то улыбка веселия, то улыбка горести, но всегда была улыбка». И далее: «Maman с улыбкой, которая употребляется тогда, когда смеются над вашими добрыми качествами, отвечала…». Еще пример: «Я заметил эту полуулыбку de la belle Flamande, которая значила: «хотя и грустное теперь время, но все я вам рада». Толстой пытается разгадать внутренний смысл разных видов смеха. «Есть люди, – говорит он, – у которых одни глаза смеются, – это люди хитрые и эгоисты. Есть люди, у которых рот смеется без глаз, – это люди слабые, нерешительные».

Лермонтов также обращал внимание на эту особенность смеха у некоторых людей, но объяснял ее иначе, чем Толстой. Рассказав о том, что у Печорина глаза «не смеялись, когда он смеялся», Лермонтов прибавляет: «Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти» («Герой нашего времени»: «Максим Максимыч») [10].

В рассказе «Набег» Толстой вывел новый тип поручика Розенкранца (списанного со знакомого поручика Пистолькорса), играющего заметную роль в ходе рассказа. «Этот офицер, – повествует Толстой про Розенкранца, – был один из довольно часто встречающихся здесь типов удальцов, образовавшихся по рецепту героев Марлинского и Лермонтова. Эти люди в жизни своей на Кавказе принимают за основание не собственные наклонности, а поступки этих героев и смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь противоречащую действительности призму «героев нашего времени», Бэл, Амалат-Беков и Мулла Нуров. Поручик всегда ходил в азиатском платье, имел тысячи кунаков не только во всех мирных аулах, но даже в горских, по самым опасным местам езжал без оказии, ходил с мирными татарами по ночам засиживаться на дорогу подкарауливать, грабить и убирать попадавшихся горцев, имел татарку любовницу и писал свои записки. Этим-то он и заслужил репутацию джигита в кругу большей части офицеров».

Репозиторий БГУ

Летом 1854 года в Бухаресте, отдыхая после перенесенных двух операций под хлороформом, Толстой мало занимался собственной творческой работой, а больше читал. Он перечитывает Пушкина и Лермонтова, из иностранных писателей читает Беранже, Шиллера, Гёте, Диккенса, Лафонтена, Альфонса Карра, Евгения Сю. У Пушкина и Лермонтова Толстой «открыл поэтические вещи»: у Пушкина – стихотворение «Янко Марнавич» (из «Песен западных славян»), у Лермонтова – стихотворение «Умирающий гладиатор», по поводу которого Толстой замечает: «Эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша». Быть может, и ему самому приходила мечта «о доме» во время не раз угрожавшей ему в те годы опасности. Прочитав драму Лермонтова «Маскарад», Толстой нашел в ней «много нового, хорошего». Также «весьма хорошим» показалось ему начало поэмы Лермонтова «Измаил-бей», напомнившее его кавказские впечатления.

Считая И.С. Тургенева «художественно очень умным», Толстой охотно делился с ним своими размышлениями по литературным вопросам.

В 1902 году Толстой вспоминал, как в бытность свою в Париже (1857 г.) они с Тургеневым, возвращаясь из театра, беседовали о форме и содержании художественных произведений. Толстой высказал мысль, что «каждый большой художник должен создавать и свои формы», и что «если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то также и их форма». Тургенев, по словам Толстого, совершенно согласился с ним в этом вопросе. Друзья-писатели стали вспоминать лучшие произведения русской литературы – такие, как «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Записки охотника», «Детство», и пришли к единодушному заключению, что во всех этих произведениях «форма совершенно оригинальна».

Работая над «Азбукой» для крестьянских детей (70-е годы), Толстой активно изучал русское народное творчество и размышлял вообще о народности в литературе. В марте 1872 года Толстой делился со Страховым о том, что, по его мнению, в России, с одной стороны, наблюдается «упадок поэтического творчества всякого рода», а с другой – «стремление к изучению русской народной поэзии». В этом он видел «залог возрождения народности». «Последняя волна, – писал он Страхову, – поэтическая – парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет, Бог даст…».

Рассказ «Кавказский пленник», написанный специально для «Азбуки», уже упоминался нами в разделе о Пушкине. Напомним только, что название рассказа Толстого, совпадающее с названием романтических поэм Пушкина и Лермонтова, наводит на мысль, что Толстой имел в виду написать свой рассказ совершенно иначе, чем написаны эти поэмы: снять романтическую экзотику описаний, поступков героев и наполнить произведение реальной жизнью людей.

Интересно, что имя Лермонтова было свято и для Софьи Андреевны Толстой, которая в 1878 году (запись в дневнике) «взялась составить краткую биографию Левочки для нового издания Русской библиотеки, кратко составленного из произведений его по выбору Страхова… Оказалось, писать биографию дело нелегкое». «Я написала немного, – продолжает Софья Андреев-

Репозиторий ВГУ

на, – но плохо. Мешали дети, кормление, шум и незнание жизни Лёвочки до моего замужества – достаточно подробно для биографии. Взяла в образцы биографии Лермонтова, Пушкина и Гоголя».

В 1882 году о Лермонтове Толстой говорил: « – Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имеющий. У него нет шуточек… Шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего». К этой характеристике Лермонтова Толстой прибавил еще:

« – Тургенев – литератор. Пушкин был тоже им. Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев. Лермонтов и я не литераторы». Это несколько неожиданное, парадоксальное заключение Толстого следует понимать так:

«Литераторами» он здесь считает тех, кто своим творчеством «укладывается» в рамки «традиции-новаторство». Посмотрим. Тургенев, начавший писать в середине – конце 30-х годов как романтик (его стихотворения) затем преодолевал эту традицию и «вышел» на реализм – частично в поэме «Помещик» и полностью – в «Записках охотника». Пушкин «пробивался» к реализму через романтизм и даже классицизм (некоторые лицейские стихи). Гончаров – конечно, реалист, но его реализм литературный овеян романтическим восприятием действительности – в образах и Адуева-младшего, и Обломова, и Бориса Райского. Вот эти «подвижки» от одних литературных направлений, течений и методов к другим Толстой называет *«литературой»*.

Возникает вопрос о Лермонтове. Ведь он тоже, отдав дань романтизму, «продвинулся» к реализму в «Герое нашего времени». Да, но в его эволюции эта градация не такая четкая: и в романтическом «Парусе» есть твердые приметы реалистического восприятия жизни («увы, он счастия не ищет и не от счастия бежит» – человек не мечты, а дела!), и в реалистическом образе Печорина есть остатки «дежурного», «показного» романтизма. Иначе говоря, Лермонтов – где романтик, где реалист – идет от жизни, а не от литературы. Ну, и, наконец, Толстой, писательским лозунгом которого с самого начала стала *«правда»* (во втором «Севастопольском рассказе» читаем: «герой моей повести… – правда»), считает себя не «штатным» *литератором*, а правдивым и порой суровым летописцем быстротекущей сложной жизни людей.

1884 год. Обострение семейного разлада, толчком к которому явились частые выезды Софьи Андреевны Толстой в свет («Пришла Таня – отвратительно»). Даже веселость Татьяны Львовны, к которой она была очень склонна по натуре, не радовала отца. Он, который в своих наставлениях крестьянам вопреки церковному учению утверждал, что «веселье Богу приятно», который вместе с Лермонтовым был –

Готов до полночи смотреть
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужиков;

который отмечает в дневнике относительно меньших детей: «Дети очень шумели весело-глупо. Хорошо», – теперь в том же дневнике записывает: «Дома обед. Ужасно то, что веселость их, особенно Тани – веселость, наступающая не после труда – его нет, а после злости, веселость незаконная, – это мне больно»… Думается, что, вникнув в ситуацию, в которой находился в

Репозиторий ВГУ

1884 году Толстой, Лермонтов, с его серьезным взглядом на жизнь, поддержал бы своего младшего собрата по литературе и жизни…

Думается, к толстовской теории деления писателей на «литераторов» и «не-литераторов» относится и высказывание в беседе Толстого с редактором петербургского журнала «Мир искусства» С. Дягилевым и его двоюродным братом, сотрудником журнала Д.В. Философовым (весной 1892 года). В беседе Толстой заметил, что Пушкин «всегда был искренен», что «Цыганы» – «хорошая вещь», и сравнил Пушкина с Лермонтовым, у которого «гораздо больше недовольства существующим строем»: «Пушкин в общем ведь вполне примирился с этим строем»…

И завершить раздел о Лермонтове будет справедливо свидетельством Толстого в разговоре с Анри де Вогюэ (Вогюэ – сын) в феврале 1905 года: Пушкин, Лермонтов, Тютчев – «три одинаково больших поэта».

4. Гоголь и Толстой

В бытность студентом Казанского университета Толстой, как и все студенты того времени, политикой не занимались, газет не читали, да их и негде было взять, о чем свидетельствует бывший казанский студент Э.П. Янушевский в своих воспоминаниях 1893 года: «Публичных или частных библиотек для чтения тогда не было… Журналы и газеты, которые получал университет, поступали прямо в университетскую библиотеку, где ими и пользовались профессора, студенты же ходили в библиотеку только для получения источников к диссертациям, но это было уже только в последнем курсе. Беллетристические журналы попадали в руки студентов изредка только от городских знакомых. Однако же все выдающиеся в литературе студенты всячески доставали и с жадностью читали, а тогда было что почитать: писали Гоголь, Лермонтов, Соллогуб и другие…».

Мы можем приблизительно датировать зарождение первого нам известного художественного замысла Толстого – «Очерк русских нравов». Его нужно отнести к маю-июню 1846 года. Выбор темы показывает, что Толстой находился в то время под влиянием Гоголя и «натуральной школы», начавшей быстро развиваться с половины 1840-х годов.

Характерен читательский выбор студента Толстого. Из журнала, который он завел в последние полгода своего студенчества, видно, что Толстой делил свое время главным образом между университетскими занятиями, изучением языков – английского, немецкого и латинского и чтением (указаны только «Фауст» Гёте и Гоголь – без названия произведений).

В составленном самим Толстым списке книг (о котором мы уже упоминали), произведших на него большое впечатление в возрасте от 14 до 20 лет (с 1842 по 1848 год), значатся произведения Гоголя: «Шинель», «Иван Иванович и Иван Никифорович», «Невский проспект» – «большое»; «Вий» – «огромное»; «Мертвые души» – «оч. большое».

Как часто бывало (и это говорит о глубочайшем интересе Толстого к отечественной литературе), какие-то эстетические, профессиональные умозаключения, убеждения вырабатывались под влиянием писателей-предшественников, а порой и современников (в согласии или полемике с ними).

Репозиторий ВГУ

Например, замечательны мысли Толстого, будоражившие его в 1851 году – время интенсивного самообразования и начала литературного развития. В частности, мысли о народной литературе. Выписав мнение Ламартина о том, что писатели пишут только для своего круга и не пишут для народа, «в котором есть лица, жаждущие просвещения», Толстой излагает собственные соображения по этому вопросу. «Все сочинения, – говорит он, – чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь о своей прощальной повести («она выпелась из души моей»), выпеться из души сочинителя». Здесь Толстой использовал выражение, употребленное Гоголем в его «Завещании», которым открываются «Выбранные места из переписки с друзьями». Приведенная цитата доказывает, что Толстой в то время уже был знаком с книгой Гоголя. Это гоголевское положение, так сильно и образно выраженное, навсегда осталось одним из основных принципов толстовской эстетики. Через 45 лет Толстой утверждал то же самое: «В художественном произведении главное – душа автора» (1896).

К этому же ряду относится и цитированная уже дневниковая запись от 1 ноября 1853 года о том, что «проза Пушкина стара, – не слогом, но манерой изложения» и что поэтому повести Пушкина «голы как-то». На эту новую манеру толстовского повествования указал Чернышевский в рецензии-статье на первые произведения Толстого, назвав эту манеру «диалектикой души». Сам Толстой находил, что не он один, а все «новое направление» русской художественной литературы первенствующее значение придает именно изображению «подробностей чувства». Представителями этого «нового направления» Толстой, очевидно, считал тех русских писателей, произведения которых производили на него в те годы особенно сильное впечатление: Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Григоровича, Гончарова.

Другую сторону творчества Гоголя – юмор, которым произведения Толстого почти не отмечены, он ценил наряду с «подробностями чувства», то есть, психологизмом. В этом плане он высоко ставил еще двух русских писателей – Слепцова и Чехова.

Толстого беспокоило то, что ряд русских писателей, по крайней мере, к 1851 году, был не оценен в должной мере литературной критикой: это Дружинин, Григорович, Тургенев, Гоголь, Гончаров.

Не случайно в отзывах на первые произведения Толстого зазвучали из разных уст дружные оценки его как продолжателя реализма Гоголя. О второй части автобиографической трилогии «Отрочество» (1854) восторженно писали: Некрасов – Тургеневу, Боткин – Некрасову, Панаев – Лонгинову, Тургенев – Колбасину.

За два года до этого умер Гоголь. Русская литература осиротела, и перед людьми, преданными литературе, естественно, возник вопрос: кто теперь будет преемником Гоголя? Вопрос этот заинтересовал и Тургенева, и вот что он писал Л.Н. Вакселю в октябре 1854 года: «Прочтите “Отрочество” в 10 книге “Современника”. Вот наконец преемник Гоголя». То же самое писал Тургенев И.Ф. Миницкому в ноябре того же года: «В 10 № “Современника” вы найдете повесть Толстого, автора “Детства” – перед которою все попытки кажутся вздором. – Вот наконец преемник Гоголя, нисколько на него не по-

Репозиторий ВГУ

хожий, как оно и следовало». Очень тонкая характеристика реализма Толстого: он продолжает реалистическую традицию Гоголя, но в новом качестве.

Замечательное письмо Некрасова к Толстому от 2 сентября 1855 года имеет очень важное значение для уяснения отношения Некрасова к молодому писателю (Толстой на 7 лет моложе редактора «Современника»). Упомянув вкратце о том «возмутительном безобразии», которое было произведено цензурой над рассказом «Севастополь в мае», Некрасов далее переходит к общей оценке творчества Толстого. «Не хочу говорить, – пишет он, – как высоко я ставлю эту статью и вообще направление вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда – правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе». Этими словами Некрасов, как раньше Тургенев, признавал Толстого преемником Гоголя в русской литературе, – того Гоголя, которого так высоко ставила вся редакция «Современника», на смерть которого Некрасов написал свои проникновенные стихи…

В июне-июле 1856 года в дневнике Толстого отмечено чтение Пушкина и Гоголя. После Пушкина Толстой «с наслаждением» перечитывает «Мертвые души» Гоголя, находя в них «много своих мыслей».

И вот на фоне такого повышенного внимания к творчеству Гоголя Толстой втягивается в горячий спор литературной общественности о двух внешне противостоящих направлениях в русской литературе – *«пушкинском» и «гоголевском»*. Этот вопрос был поставлен еще Белинским в 1842 году в его статье «О русской повести и повестях Гоголя». К середине 50-х годов спор этот достиг крайних своих полюсов: под *«пушкинским»* направлением мыслилось так называемое «чистое искусство», не вмешивающееся в социально-политическую сферу жизни России, а под «гоголевским» подразумевалось направление общественно-воспитательное, затрагивающее самые негативные стороны государственного устройства России, и поэтому предполагающее сатирические, обличительные средства изображения («Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя). На стороне «пушкинского» направления был, в частности, А.В. Дружинин (идейный противник Н.Г. Чернышевского). В.П. Боткин, поддерживая Дружинина, предостерегал его от односторонности взгляда. *«Гоголевское»* направление, конечно, поддерживали Н.Г. Чернышевский и Н.А. Некрасов, борясь за союзничество Л.Н. Толстого. Сам Толстой весьма твердо стоял за «пушкинское» направление (письменный диалог по этому поводу с Некрасовым). В дневнике Толстой записывает: «Да, лучшее средство к истинному счастию в жизни – это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».

В этой новой формулировке своего миросозерцания Толстой впервые употребляет понятие «любовь», которому впоследствии суждено будет играть такую решающую роль в миросозерцании позднего Толстого. Раньше он говорил только о «добре». Из этого общего принципа у него складывался также определенный взгляд на назначение и задачи литературы. «Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить, – пишет он в записной книжке 29 мая 1856 года. –

Репозиторий ВГУ

Для жизни довольно будет и тех вещей, которые не возбуждают негодования, – любви. А у нас негодование, сатира, желчь сделались качествами».

В письме от 2 июля 1856 года Некрасову Толстой высказывает свое принципиальное отношение к обличительной («от Гоголя») литературе: «У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе утвердилось мнение, что быть *возмущенным, желчным, злым* (курсив Толстого. – *А.Н.*) – очень мило». В доказательство справедливости этого наблюдения Толстой приводит следующие факты: «Гоголя любят больше Пушкина. Критика Белинского – верх совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов». Толстой не соглашается с этим утвердившимся мнением; по его убеждению, напротив, «быть возмущенным, желчным, злым… очень скверно». Думает он так потому, что, по его мнению, «человек желчный, злой – не в нормальном положении; человек любящий – напротив; и только в нормальном положении можно сделать добро и ясно видеть вещи».

Этими спорами о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях навеяна запись Толстого в записной книжке 26 мая 1856 года. В этой записи Гоголь вместе с Теккереем противопоставляется Диккенсу. «Диккенсовские лица, – пишет Толстой, – общие друзья всего мира, они служат связью между человеком Америки и Петербурга; а Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны».

Вообще же, Некрасов еще в сентябре 1855 года в письме к Боткину дает замечательную формулу, правильно разрешающую возникший спор. Он пишет: «Мне кажется, в этом деле верна одна только теория: люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда все выйдет ладно: станешь ли служить искусству (“чистому”. – *А.Н.*) – послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу – послужишь и искусству».

В 1857 году Толстой читает второй том «Мертвых душ» и находит, что написано «аляповато». Тем не менее чтение это вызвало в нем ряд мыслей относительно начатого им «Отъезжего поля». Он решает, что ему следует писать одну только эту повесть, «и тетеньку туды», то есть, он предполагал ввести в свою повесть персонаж с основными чертами тетушки Татьяны Александровны Ёргольской. Очевидно, под влиянием чтения Гоголя у Толстого появилась мысль о большой повести широкого бытового охвата со многими и разнообразными характерами, но замысел этот не осуществился.

Читает Толстой осенью 1857 года и письма Гоголя к разным лицам, впервые вышедшие тогда в собрании его сочинений, и составляет себе очень невыгодное представление о его личности. «Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь», – пишет Толстой о Гоголе в дневнике. Это впечатление от прочитанных им писем Гоголя было у Толстого так твердо, что он в тех же и даже еще более сильных выражениях писал об этом спустя четыре дня своему брату Сергею Николаевичу: «Получил я новое изданье Гоголя, его письма. Что это был за дрянь человек – себе представить нельзя».

Не может быть никакого сомнения в том, что Толстой впоследствии не повторил бы такой убийственной характеристики личности Гоголя. В 1909 году в статье, написанной по поводу 100-летней годовщины со дня

Репозиторий ВГУ

рождения Гоголя, Толстой отметил в Гоголе «прекрасное сердце», но вместе с тем «небольшой, несмелый, редкий ум», чем Толстой и объяснил ту «ужасную, отвратительную чепуху», какую он находил во второй части «Мертвых душ», в заключительной сцене к «Ревизору» и во многих письмах, входящих в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями».

В феврале 1860 года Толстой переписывается с А.А. Фетом по поводу романа Тургенева «Накануне». В частности, Толстой осуждает Тургенева за то, что у него «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет». И это не сходится «с тоном и смыслом либерализма всего остального». Такой прием в обрисовке действующих лиц Толстой называет банальным и считает, что прием этот напоминает Гоголя. Толстой, однако, тут же оговаривается, что возможно резко критическое отношение к изображаемым лицам, но тогда – «ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело». Но ни на то, ни на другое не способен, по мнению Толстого, Тургенев, «одержимый хандрою и диспепсией»…

Надо сказать, И.С. Тургенев оказался более объективным критиком Толстого, когда был напечатан полностью роман-эпопея «Война и мир». Так, окончательное суждение об этой великой книге и о Толстом вообще, сложившееся у него к тому времени, Тургенев высказал в двух письмах к Фету от 2 июля и 16 августа 1871 года. В первом письме, написанном в ответ на письмо Фета о болезни Толстого, Тургенев называет Толстого преемником Пушкина, Лермонтова и Гоголя и признает его «единственной надеждой нашей осиротевшей литературы».

В предисловии к французскому переводу повести «Два гусара», напечатанном в Париже в 1875 году, Тургенев, после краткого очерка литературной деятельности Толстого, определяет тот жанр, к которому следует отнести «Войну и мир». Тургенев характеризует Толстого как «самого замечательного» представителя «новой русской литературной школы», ведущей свое начало от Пушкина и Гоголя.

…Написана «Анна Каренина». По поводу последних глав 7-й части романа, напечатанной в апрельской книжке «Русского вестника», Н.Н. Страхов 18 мая 1877 года писал Толстому: «Последняя часть “Анны Карениной” произвела особенно сильное впечатление, настоящий взрыв. Достоевский машет руками и называет Вас богом искусства. Это меня удивило и порадовало – он так упрямо восставал против Вас. Стасов написал под псевдонимом статью в “Новом времени”, в которой провозглашает Вас великим писателем, наравне с Гоголем и Шекспиром, и пророчит Вам вечную славу… Выходит, что другие хвалят Вас не меньше моего».

А вот что писал упомянутый Страховым В.В. Стасов: «Граф Лев Толстой поднялся до такой высокой ноты, какой еще никогда не брала русская литература. Даже у самих Пушкина и Гоголя любовь и страсть не были выражены с такой глубокой и поразительной правдой, как теперь у Толстого. Он решительно идет вперед…».

Конец 70-х – начало 80-х годов ознаменован переменой во взглядах Толстого на жизнь и художественное творчество. Сформировался религиоз-

Репозиторий ВГУ

ный кодекс Толстого, по которому Бог не есть телесное нечто, а присутствует в душе человека как сознание высоких нравственных чувств и потребности делать людям добро, любя их. И примером возможности такого перерождения для него становится трагический опыт Гоголя, создавшего «Выбранные места из переписки с друзьями».

18 сентября 1881 года, зайдя в Москве в частную гимназию Л.И. Поливанова по вопросу устройства сыновей Ильи и Льва, Толстой встретил кроме директора еще трех учителей той же гимназии и своего старого знакомого, бывшего учителя тульской гимназии Е.Л. Маркова, с которым Толстой полемизировал еще в 1862 году в статье «Прогресс и определение образования». Марков же в 1875 году в либеральном «Вестнике Европы» напечатал очень грубый отзыв на статью Толстого «О народном образовании». Несмотря на это, Толстой и Марков встретились как старые знакомые, и состоялась интересная беседа. Основной смысл ее заключался в настойчивом призыве Маркова продолжать Толстому художественное творчество, на что Толстой так же настойчиво убеждал собеседника в бесполезности для народа этого дела, которое он считал теперь безнравственным.

– Ваше требование этической подкладки, – говорил Марков, – ведь убивает художественное творчество, которое знает, что творит. Неужели нам придется увидеть вновь падение Гоголя – «Переписку с друзьями»? Но ведь Гоголь был больной человек, а вы – человек здоровый, полный сил.

– Вот бы уж не следовало приводить Гоголя, – возразил Толстой, – пора бы этот взгляд на перемену, совершившуюся в душе Гоголя, пущенный Белинским, оставить.

К мнению Толстого присоединился Поливанов, заметив, что подобное объяснение душевного процесса Гоголя слишком легкое.

– Именно легкое, – подтвердил Толстой. – Нет, Гоголь почувствовал потребность собственного душевного подъема. Правда, ему не удалось пережить этот процесс, он не успел, но из этого не следует, что это было падение: это был шаг, который пресекла смерть».

Одним из первых произведений, написанных Толстым после «перелома» в мировоззрении, был рассказ «Чем люди живы». Он вызвал ряд отзывов в периодической печати и откликов в частной переписке. В.В. Стасов, горячий поклонник художественного таланта Толстого и, в частности, его мастерства создавать «внутренние монологи», в письме к Толстому от 20 января 1882 года откликнулся на появление «Чем люди живы» следующим восторженным отзывом: «Мне до старости хотелось сказать вам, до какой степени я пришел в восхищение от вашей легенды “Чем люди живы”… Уже один язык выработался у вас до такой степени простоты, правды и совершенства, какую я находил еще только в лучших изданиях Гоголя…».

В январе 1884 года вышла в свет книга, рекомендованная Толстым под названием «Что читать народу?». Подзаголовок гласит: «Критический указатель книг для народного и детского чтения». Этот огромный труд в 785 страниц мелкой печати разделялся на отделы: духовно-нравственный, литературный, естествознание, сельское хозяйство и медицина, история, биографии, география и путешествия, земское дело и народное хозяйство. Всего по всем

Репозиторий ВГУ

отделам было прорецензировано 1007 книжек. В литературный отдел входили рецензии на произведения Жуковского, Пушкина, Шевченко, Кольцова, Гоголя, Лермонтова, Марко Вовчка, Тургенева, Некрасова, Л.Н. Толстого, Островского и других, а также на ряд сочинений зарубежных писателей…

Интересна параллель с Гоголем по поводу рассказа Толстого 1885 года «Упустишь огонь, не потушишь». Этот рассказ мог служить своеобразной литературной параллелью к повести Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», но отношение авторов к изображенным ими двум поссорившимся лицам различно: Гоголь описывает своих Иванов с чувством жалости к ним самим и с чувством сожаления к тем мелким обидам, которые сделали их врагами; Толстой описывает ссору соседей как грубое нарушение нравственного закона, влекущее за собой самые пагубные последствия для всей деревни. Вместе с тем для Толстого это печальное происшествие не что иное, как нарушение спокойного трудового уклада крестьянской жизни. Это не правило, а исключение [11].

Гоголь понадобился Толстому и в критический момент его семейной жизни. Зимой 1885 года он пишет большое письмо жене, в котором пробует объяснить ей, почему он чувствует себя чужим в своей семье. В частности, он признается: «Случалось так, что, когда совершался во мне душевный переворот, и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значения и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее, что это есть что-то вроде дури или душевной болезни; поддаваясь этому настроению, ты сразу стала в враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни.

Случилось так, что вся моя деятельность на этом новом пути, все, что поддерживало меня на нем, тебе стало представляться вредным, опасным для меня и для детей».

Ясно, что Толстой ссылался здесь на Гоголя, имея в виду его «перелом» в мировоззрении после ужаснувшей самого автора панорамы российской действительности, ярко-сатирически показанной в I томе «Мертвых душ», и последовавшими за этим, вслед за неудавшимся II томом «поэмы», «Выбранными местами из переписки с друзьями».

…А вот чисто творческий импульс от Гоголя. Написана Толстым пьеса «Власть тьмы» и опубликована в феврале 1887 года. Разрешение на постановку последовало лишь осенью 1895 года, когда вступил на престол новый царь – Николай II. 16 октября этого года пьеса была поставлена в Петербурге в театре Литературно-артистического кружка, 18 октября – в Александринском театре, 25 октября – в московском общедоступном театре М.В. Лентовского «Скоморох», 29 ноября – в Московском Малом театре.

На обороте листа со вторым планом трех действий комедии «Исхитрились!» (будущие «Плоды просвещения») рукой дочери Толстого Т.Л. Толстой проставлена дата «1886, 16 января, Ясная» и помечено: «I-ое действие, 4 раза переправлено» (пометка относится к контексту первого действия).

Репозиторий ВГУ

Таким образом, комедию «Плоды просвещения» Толстой начал сразу же, как была закончена «Власть тьмы». Но работал над нею недолго: в тетради, где находится первое действие «Власти тьмы», был написан черновик I действия и начало II действия. История создания пьесы развернута в статье Н.К. Гудзия (т. 27 Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого и книге В.А. Жданова «От “Анны Карениной” к “Воскресению”» (М., 1968). Н.К. Гудзий высказывает мнение, что подтолкнуло Толстого к началу комедии чтение А.А. Стаховичем в Ясной Поляне (в октябре 1886 года) пьес Гоголя. С.Н. Дурылин отметил сходство первого действия «Плодов просвещения» с драматической сценой Гоголя «Лакейская», представляющей собою отрывок незаконченной комедии «Владимир 3-й степени» (см. сб.: Творчество Л.Н. Толстого. – М., 1954. – С. 325–329) [12].

В октябре 1887 года была задумана статья о Гоголе. Биография великого писателя-сатирика и лирика закончилась, по мнению Толстого, нравственным прозрением, духовным воскресением. В судьбе Гоголя он увидел подтверждение вечного закона жизни, если эта жизнь стремится к благу – от тьмы к свету: «Различие между людьми лишь в том, что один очунается в молодости, другой в зрелых летах, третий в старости, четвертый на одре смерти».

Волновало отречение Гоголя от своих прежних сочинений (Толстой сам пережил то же), его покаяние (подобное тому, какое звучит в «Исповеди» Толстого), непонимание и насмешки окружающих.

16 октября 1887 года в письме к Н.Н. Страхову, рассказав о своем открытии «Критики практического разума» Канта, Толстой приписал: «Еще сильное впечатление у меня было, подобное Канту, – недели три тому назад при перечитывании в 3-й раз в моей жизни переписки Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено там… так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немногое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей».

О значении писателя у Гоголя говорится в письме XV «Выбранных мест из переписки с друзьями» – «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» (письма обращены к Н.М. Языкову, датированы 1844 годом).

Гоголь излагает здесь программу нравственно возвышающего и очищающего искусства.

«Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей…

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку… Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу…

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его…

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика…

Ублажи гимном того исполина, который выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра…

Репозиторий ВГУ

На колени перед Богом, и проси у него Гнева и Любви. Гнева – противу того, что губит человека, любви – к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам».

Гневом и любовью проникнуты также все сочинения позднего Толстого.

Страхову Толстой написал, что мечтает издать избранные места из «Переписки» с биографией Гоголя: «Это будет чудесное житие для народа. Хоть они поймут».

О том же, конечно, было написано и руководителю «Посредника» В.Г. Черткову и его помощнику П.И. Бирюкову: «Перечел я его (Гоголя. – *А.Н.*) переписку 3-й раз в жизни. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление, а теперь сильнее всех… 40 лет тому назад человек, имевший право это говорить, сказал, что наша литература на ложном пути – ничтожна и с необыкновенной силой показал, растолковал, чем она должна быть, и в знак своей искренности сжег свои прежние писанья. Но многое и сказал в своих письмах, по его выражению, что важнее всех его повестей. Пошлость, обличенная им, закричала: он сумасшедший, и 40 лет литература продолжает идти по тому пути, ложность которого он показал с такой силой, и Гоголь, наш Паскаль, – лежит под спудом. Пошлость царствует, и я всеми силами стараюсь, как новость, сказать то, что чудно сказано Гоголем. Надо издать выбранные места из его переписки и его краткую биографию – в “Посреднике”. Это удивительное житие».

24 января 1888 года Толстой начал свою статью о Гоголе. Предполагалось, что это будет предисловие к книге о Гоголе в «Посреднике». Но в письмах к Черткову от 2 и 7 февраля Толстой попросил «не дожидаться» его со статьей: «Предисловие остановилось». 9 февраля 1888 года – последнее соображение о статье: «Начатые статьи о пьянстве и о Гоголе лежат, и принимаюсь продолжать и останавливаюсь – не идет».

В написанном тексте изложены мысли о нравственном перевороте, случившемся с Гоголем. Обрывается рукопись на полемике с Белинским, вернее, – на пересказе точки зрения Белинского: «Белинский первый осудил “Переписку” и сказал: Проповедник кнута, апостол невежества и мракобесия, панегирист татарских нравов и т.п. Белинский сказал: “По-вашему, русский народ самый религиозный в мире. Ложь. В русском народе много суеверий, но нет и следа религиозности. Русский народ скорее можно похвалить за его образцовый индифферентизм в деле веры; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; вот этим-то может быть огромность исторических судеб его в мире…”».

Одному из своих знакомых, литератору Н.И. Тимковскому (участнику московского кружка, снабжавшего сельские школы бесплатными библиотеками), Толстой сказал, что ему «не хотелось вступать в полемику с Белинским», и потому статья о Гоголе не была закончена.

Очевидно, вместе с тем, что мысли Белинского о нерелигиозности русского народа (в церковном смысле) были чрезвычайно близки к тому, что писал в эти годы и сам Толстой. (В 1909 году к 100-летию со дня рождения Гоголя Толстой и напечатал о нем статью. Она начинается словами: «Гоголь – огромный талант, прекрасное сердце, и небольшой, несмелый робкий ум».

Репозиторий ВГУ

Это была статья о Гоголе – великом художнике. Составляя тогда же свое завещание, Толстой отдал во всеобщее достояние все свои сочинения, то есть отказался от мысли, что его творчество до перелома – «духовного рождения», как он говорил, – не нужно народу). Охладило пыл полемики с Белинским, чрезвычайно резкой в письмах 1887 года к друзьям, чтение как раз в феврале 1887 года сочинений Герцена.

Изложением философских мыслей, близких к рассуждениям трактата «О жизни» и к письмам о Гоголе, начал Толстой в ноябре-декабре 1887 года статью «Благо только для всех». Но и она осталась неоконченной.

17 и 19 декабря 1889 года Толстой дважды посетил Н.Н. Златовратского, приглашая его стать редактором народного журнала, затеянного И.Д. Сытиным. Но Сытину так и не удалось издание. Приобретенное им право на журнал вскоре было передано В.Н. Маракуеву. С сентября 1890 по декабрь 1891 года Маракуев издал 12 выпусков – без участия Толстого.

Сам Маракуев, известный деятель книжной торговли (в числе других в 1884 году он обсуждал с Толстым программу народных изданий), 16 марта 1889 года попросил составить список ста лучших книг для чтения.

Составленный Толстым список не разыскан. Некоторое представление о нем дает дневниковая запись И.М. Ивакина, посетившего Толстого как раз 16 марта 1889 года: «У него сидели Озмидов, Львов и какой-то студент и по английскому каталогу отбирали сто книг для чтения, “чтобы человек мог рассеять окружающий его мрак”. Были отобраны: Эпиктет, Кант, Шопенгауэр, Гольдсмит (“Надо, непременно надо: это прелестно!”), а из русских Гоголь (“больше некого!”)».

…25 марта – 1 апреля 1889 года Толстой окончил черновую редакцию комедии «Плоды просвещения». Недовольство первым черновиком обычно у Толстого, как обычен и дальнейший напряженный труд художественного совершенствования. Закончив «Плоды просвещения», он записал в дневнике 21 января 1890 года: «Странное дело эта забота о совершенстве формы. Не даром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе. – Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать ее совершенной художественно – тогда она пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое».

…Пришло время «возвращения» той бескомпромиссной критики в адрес русской «критической» литературы, возглавляемой Гоголем (а затем – Салтыковым-Щедриным), которую Толстой запальчиво высказывал в последнее время. Выходит в свет повесть «Крейцерова соната» (1890) и вскоре авторское «Послесловие» к ней. Повесть горячо обсуждалась в литературных кругах. 15 февраля 1890 года А.П. Чехов писал в Петербург старому литератору и редактору А.Н. Плещееву: «Неужели вам не понравилась “Крейцерова соната”? Я не скажу, чтобы эта была вещь гениальная, вечная – тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайно-

Репозиторий ВГУ

сти возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: “Это правда!” или “Это нелепо!”».

Однако после поездки на Сахалин у Чехова мнение изменилось. А.С. Суворину («спровадившему» Чехова на Сахалин) он написал 17 декабря 1890 года: «До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – черт меня знает». О «Послесловии» к повести Толстого чрезвычайно резкий отзыв: Чехов сравнивал «Послесловие» с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя: «Убейте меня, но это глупее и душнее, чем “Письма к губернаторше”, которые я презираю. Черт бы побрал философию великих мира сего! Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего. Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из “Холстомера”…».

Однажды в 1893 году попросил Толстой у А.А. Корнилова (автора книги «Семь месяцев среди голодающих крестьян Тамбовской губернии в 1891–1892 гг.») «Былое и думы» А.И. Герцена, чтобы прочесть вслух своим детям. Разговор зашел о литературе. Из десяти баллов по три было отдано Гоголю, Герцену, Достоевскому, а оставшийся один балл – Тургеневу…

Два вечера, 27 и 28 марта 1896 года, в Хамовниках в доме Толстых провел В.В. Стасов. В письме к брату Д.В. Стасову он, в частности, писал: «Тоже перебирали наших всех писателей, Герцена – которого и он, как и я, ставит выше всех, и Пушкина, и Лермонтова, у которых есть столько хорошего и чудесного при полном почти отсутствии головы, и Гоголя, и Грибоедова, и т.д.»…

В августе 1901 года, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, в разговоре о русских писателях Толстой, в частности, сказал: «Если бы меня спросили, кого из русских писателей я считаю наиболее значительными, я назвал бы: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена…, Достоевского. Ну, а затем: Грибоедова, Островского, Тютчева». «Из произведений Гоголя, – продолжает Гольденвейзер, – Лев Николаевич совсем не любит “Тараса Бульбу”. Очень высоко ставит “Ревизора”, “Мертвые души”, “Шинель”, “Коляску” («игрушечка – chéf d’oeuvres»), “Невский проспект”».

В марте 1909 года в записной книжке Толстой делает попытку объективной оценки всего творческого пути Гоголя: «Гоголь – огромный талант, прекрасное сердце и слабый, т.е. несмелый, робкий ум. Лучшее произведение его таланта – “Коляска”; лучшее произведение его сердца – некоторые из писем. Главное несчастье его всей деятельности – это его покорность установившемуся лжерелигиозному учению и церкви и государства, какое есть. Хорошо бы, если бы он просто признавал все существующее, а то он это оправдывал, и не сам, а с помощью софистов славянофилов, и был софистом и очень плохим софистом своих детских верований. Ухудшало, запутывало еще больше склад его мысли его желание придать своей художественной деятельности религиозное значение. “Письмо о Ревизоре”, 2-я часть “Мертвых душ” и др. Отдается он своему таланту – и выходят прекрасные, истинно художе-

Репозиторий ВГУ

ственные произведения; отдается он нравственно-религиозному – и выходит хорошее, полезное; но как только хочет он внести в свои художественные произведения религиозное значение, выходит ужасная, отвратительная чепуха. Так это во 2-й части “Мертвых душ” и др.».

В эти же дни, по свидетельству Д.П. Маковицкого, в разговоре о Гоголе Толстой сказал: «Много у него прекрасного, но самое прекрасное для меня – это “Коляска”, вещица: нет ничего лишнего и ничего не недостает, добродушная сатира и смешно – до невозможности!».

В письме к писателю В.Ф. Краснову в январе 1910 года Толстой дал отзыв на его рассказ «Ходынка»: «Рассказ написан так странно, с такими ненужными преувеличениями, сравнениями, так застилающими самую интересную сущность дела, которая слишком мало рассказана, что рассказ не может быть принят». Толстой советует «в писании» «не брать за образец новых, а Пушкина и Гоголя».

По воспоминаниям В.Ф. Булгакова, в октябре 1910 года (за месяц до смерти) зашел разговор о Мопассане. Толстой сказал: «У него были задатки глубокой мысли, наряду с этой распущенностью половой. Он удивительно умел изображать пустоту жизни, а уметь это может только тот, кто знает нечто, вследствие чего жизнь не должна быть пустой. Вот, как Гоголь, например. Удивительный писатель!»

5. Белинский и Толстой

Со статьями В.Г. Белинского Толстой познакомился во время учебы в Казанском университете. Студенты сначала ничего не знали об авторе критических статей, печатавшихся в «Отечественных записках» безымянно. Впервые о Белинском они услыхали от профессора Мейера. «Тогдашние “Отечественные записки”, – вспоминает бывший студент Казанского университета Пекарский, – читались с большою охотою студентами, которые были в восторге от Гоголя и осыпали насмешками “Москвитянина”, силившегося тогда в критическом отделе восставать против “Отечественных записок”. Критики последнего журнала, напротив, находили такое одобрение, что целые страницы разборов многим известны были почти наизусть. Однако студенты не знали автора и в провинциальной наивности уверены были, что нравившиеся им критические статьи писаны самим редактором “Отечественных записок”. Мейер вывел из заблуждения студентов, рассказав с большим увлечением, что за человек был Белинский, автор неподписанных критик, и какое значение имеет он для нашей литературы. Заметить надобно, что в 40-х годах в провинции все люди средних лет и известные своей солидностью, все, кто был с весом по своей должности по владеемым ими душам, находили статьи Белинского или головоломными или еретическими, а потому студенты очень удивлялись, что их профессор, читавший в аудитории такую мудрость, какой они еще и не раскусили хорошенько, удостаивает разделять их мнение касательно Белинского».

Хотя Толстой сам не принадлежал к кругу студентов, посещавших Мейера, но был знаком с некоторыми из этих студентов. В числе их был

Репозиторий ВГУ

Н.Н. Булич, который через много лет так вспоминал о чтении студентами 1840-х годов статей Белинского: «Главнейшим органом тогдашней литературы, да можно сказать и умственного движения, были “Отечественные записки”, с того времени, как отдел критики поступил в распоряжение Белинского. С нетерпением ожидалась каждая новая книжка журнала, и тогдашний студент после бесцветных, скучных по своей риторике или по очень видным уступкам господствующей действительности лекций с страстным молодым трепетом погружался в чтение новой статьи критика, казавшейся откровением. Горячие слова наполняли душу честными стремлениями, звали к честной деятельности».

Идеи Белинского, хотя косвенно, через посредство некоторых товарищей студентов, доходили и до Толстого.

Созвучно Белинскому мнение Толстого о популярной тогда, а ныне забытой повести А.В. Дружинина «Полинька Сакс» (1847). Естественно, она представляется ему второстепенной по сравнению с «Таманью» Лермонтова, «Шинелью», «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Мертвыми душами» Гоголя, о чем мы уже упоминали. Хотя и об этой повести мы имели следующий отзыв Белинского, который наверняка был знаком Толстому: «Многое в этой повести отзывается незрелостью мысли, преувеличением, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, в повести так много истины, так много душевной теплоты и верного, сознательного понимания действительности, так много таланта, и в таланте так много самобытности, что повесть тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер героини повести; видно, что автор хорошо знает русскую женщину». В.П. Боткину (с которым Толстой был в дружеских отношениях) Белинский в декабре 1847 года писал о «Полиньке Сакс»: «Эта повесть мне очень понравилась. Герой чересчур идеализирован и уж слишком напоминает сандовского Жака; есть положения довольно натянутые, местами пахнет мелодрамою, все юно и незрело и, несмотря на то, хорошо, дельно, да еще как!».

Кроме известных художественных достоинств, повесть Дружинина, несомненно, вызвала сочувствие Толстого и своей основной идеей, которая выражалась в возвеличении чувств любви и самопожертвования. Муж, узнав о том, что его жена полюбила другого, не только дает ей полную свободу, но еще обещает ее второму мужу, что будет следить за тем, чтобы она была счастлива, чтобы не пролила ни одной слезы, не проронила ни одного вздоха. Несомненно, трогала Толстого и сама история Полиньки, которая, только оставив своего Сакса, начинает понимать всю силу его любви к ней и от сознания своей ошибки чахнет и преждевременно сходит в могилу.

До глубокой старости помнил Толстой «Полиньку Сакс». В 1906 году он однажды рассказал в семейном кругу содержание этой повести, назвав ее при этом «прекрасной», что не расходилось с мнением Белинского.

Солидарен с *великим критиком* был Толстой и в оценке повести Д.В. Григоровича «Антон Горемыка». Белинский в своем «завещании» – статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал: «“Антон Горемыка”

Репозиторий ВГУ

больше, чем повесть: это роман, в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа (то есть повествование. – *А.Н.*) вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антон мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он – лицо трагическое в полном значении этого слова. Это повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные».

Впечатление, произведенное повестью Григоровича на читателей, было огромно. В письме к В.П. Боткину в декабре 1847 года Белинский более подробно рассказывает, как лично на него подействовала повесть Григоровича. «Ни одна русская повесть, – писал он, – не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удручающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязает целую вотчину – законное наследие его благородных предков».

Известны более чем похвальные отклики М.Е. Салтыкова-Щедрина и П.А. Кропоткина на произведение Григоровича.

Такое же сильное впечатление произвел «Антон Горемыка» и на Толстого. 27 октября 1893 года в поздравительном письме Григоровичу по случаю 50-летия его литературной деятельности Толстой писал: «Вы мне дороги… в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня, вместе с «Записками охотника» Тургенева, ваши первые повести. Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда шестнадцатилетнего мальчика [13], не смевшего верить себе, “Антоном Горемыкой”, бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и – хочется сказать – нашего учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом».

Во время работы над второй редакцией «Детства» (1853) Толстой много размышляет о художественном методе в литературе и склоняется к реализму. Так, он протестует против всего неестественного, фальшивого в искусстве, против деланных, искусственных сравнений. Он вспоминает, как Бальзак в своем романе «История величия и падения Цезаря Биротто», описывая действие «Пятой симфонии» Бетховена, говорит, что, слушая ее, он «видит ангелов с лазурными крыльями, дворцы с золотыми колоннами, мраморные фонтаны, блеск и свет» и пр. «Это описание, – говорит Толстой, – не напомнило мне симфонии Бетховена не только потому, что “никогда я не видал ни ангелов с лазурными крыльями, ни дворцов с золотыми колоннами”, но и потому, что “ежели бы даже, – не без иронии прибавляет Толстой, – что очень трудно предположить, я бы видел все это, – картина эта не возбудила бы во мне воспоминания о симфонии”».

Далее Толстой столь же решительно восстает против обыкновения французских писателей передавать свои впечатления от явлений жизни сравнениями с произведениями искусства. «Чтобы описать прекрасное лицо, французы говорят, что оно “было похоже на такую-то статую”; чтобы опи-

Репозиторий ВГУ

сать прекрасную природу, говорят, что она “напоминала такую-то картину”; красивую группу – что она “напоминала сцену из балета или оперы”». Против такого приема Толстой возражает самым решительным образом. «Прекрасное лицо, – говорит он, – природа, живая группа всегда лучше всех возможных статуй, панорам, картин и декораций».

Толстой приводит и другие приемы искусственных и фальшивых сравнений. Искусственные сравнения с драгоценными камнями, говорит далее Толстой, встречаются у поэтов разных народов, но больше всего у французских. «Бирюзовые и бриллиантовые глаза, – перечисляет Толстой подобного рода искусственные сравнения, – золотые и серебряные волосы, коралловые губы, золотое солнце, серебряная луна, яхонтовое море, бирюзовое небо и т.д.». И Толстой задает вопрос: «Скажите по правде, бывает ли что-нибудь подобное? Капли воды, при лунном свете падающие в море, горят лучше жемчужин, падающих в таз, и ни капли не похожи на жемчужины, ни таз – на море… Я никогда не видал губ кораллового цвета, – продолжает Толстой, – но видал кирпичного, глаз – бирюзового, но видал цвета распущенной синьки и писчей бумаги…».

Так, Толстой еще в черновой редакции своего первого большого произведения определенно и решительно провозглашает принципы реализма, ставшие его знаменем на всю жизнь. Действительность богаче и прекраснее искусства. Искусство должно быть отражением жизни. Достоинство произведения искусства определяется тем, «бывает ли что-нибудь подобное» в жизни тому, что изображено искусством. В этих своих утверждениях Толстой близко подходит к принципам реалистической эстетики, провозглашенным В.Г. Белинским и развитым Н.Г. Чернышевским.

Имя Белинского приходится вспомнить и когда говорим о кавказской тематике произведений Толстого. Ведь и здесь и Белинский, и Толстой отстаивали реалистическое видение красот Кавказа, а не его романтический антураж. Романтическая манера изображения Кавказа, применявшаяся Марлинским и его многочисленными подражателями, была осуждена именно Белинским и журналом «Современник».

Но Толстой ставил перед собой цель соединить правдивое описание Кавказа с художественным, поэтическим его изображением. Его задача, следовательно, включая в себя задачу авторов кавказских очерков, печатавшихся в «Современнике», была в то же время гораздо сложнее. И, оставив незаконченным очерк «Поездка в Мамакай-Юрт», Толстой не отказался от замысла поэтического изображения настоящего Кавказа, что он вскоре и выполнил. Некоторые отдельные выражения из очерка «Поездка в Мамакай-Юрт» впоследствии перешли в «Набег» и «Рубку леса». Жаль, что их уже не мог прочитать В.Г. Белинский. На смену ему пришел Н.Г. Чернышевский, написавший лучшую в толстоведении статью-рецензию о первых двух автобиографических повестях и военных рассказах (в том числе и «Севастопольских») Л.Н. Толстого. В этом же ключе сочетания суровой правды о человеке и поэтического восприятия природы Кавказа будут созданы впоследствии повести «Казаки» и «Хаджи-Мурат».

Конечно же, в годы сотрудничества Толстого в некрасовском «Современнике» частенько вспыхивали споры о Белинском, который для Некрасова

Репозиторий ВГУ

был открывателем новой русской литературы в ее демократическом русле. Что касается в целом принципиальных разногласий Толстого с членами редакции «Современника», то мы узнаем о них из переписки Толстого с Некрасовым 1856–1857 годов. Нередко предметом таких споров бывал Белинский, и Толстому случалось, быть может, иногда в резких и преувеличенных выражениях, высказывать свои сомнения в том значении, какое приписывали Белинскому сотрудники «Современника». Упоминание о спорах относительно Белинского находим в следующих словах письма Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 года, написанного уже из Ясной Поляны: «Не думайте, что я говорю о Белинском, чтобы спорить. Я убежден, хладнокровно рассуждая, что он был как человек прелестный и как писатель замечательно полезный».

Из этих слов письма Толстого видно, что споры о Белинском в редакции «Современника» у него действительно бывали, что споры эти должны были остаться в памяти у Некрасова, что Толстой, по его собственному признанию, не всегда «хладнокровно рассуждал» в этих спорах. Возможно, что и в данном случае, как и во многих других, Толстой отдавался своей склонности отыскивать «фразу» в речах своих собеседников, и восхваление Белинского в устах некоторых писателей представлялось ему не вполне искренним.

Обеды в память Белинского бывали в редакции «Современника»; один из таких обедов в 1858 году вызвал со стороны Н.А. Добролюбова известное сатирическое стихотворение. Возможно, что в данном случае самое поминовение вкусным и сытным обедом с дорогими винами и красноречивыми разговорами о том, кого писатели считали своим учителем, раздражало Толстого и вызвало в нем неудержимую потребность высказать свое резко отрицательное отношение к такой странной форме чествования учениками своего учителя.

Белинского уже не было в живых. После его смерти с 1849 по 1855 год литературная критика находилась в состоянии упадка, и вопросы о задачах и целях художественной литературы в печати не обсуждались. Появление в 1855 году нового издания сочинений Пушкина под редакцией Анненкова и диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» вновь привлекло внимание критики к постановке вопросов о назначении и задачах литературы. Среди писателей начинаются споры о пушкинском («чистое искусство») и гоголевском (обличение социальных и моральных нравов) направлениях в литературе – вопрос, поставленный еще Белинским в 1842 году в его статье «О русской повести и повестях Гоголя».

Характерно при этом, что Белинского Толстой чтил как огромную личность в литературной критике, а вот Чернышевского, прямого продолжателя дела Белинского, как и некоторые либеральные писатели (в частности, Григорович, Тургенев), недолюбливал. Он считал Чернышевского плохим продолжателем родоначальника русской критики. О самом же Виссарионе Григорьевиче Толстой, имея в виду, по-видимому, главным образом его письмо к Гоголю, говорит с уважением (1856): «Белинский-то говорил, что говорил, во всеуслышание говорил возмущенным тоном, потому что бывал возмущен». Белинский «выступал из ряда обыкновенных людей». Толстой признает, что Белинский «был, как человек, прелестный и, как писатель, замечательно полезный»; но он «породил подражателей, которые отвратительны». В этих

Репозиторий БГУ

словах Толстой несомненно имел в виду Чернышевского. Толстому казалось, что возмущение Чернышевского не искренне и что он «возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал «цыц!» и не посмотрел в глаза». (На основании записей в дневнике о его встречах с Чернышевским в декабре 1856 года и в январе 1857 года можно сказать с уверенностью, что высказанный здесь несправедливый взгляд на личность Чернышевского исчез у Толстого при ближайшем знакомстве с ним: «Пришел Чернышевский. Умен и горяч»).

Постоянным корреспондентом Толстого в конце 1856 – начале 1857 года был Тургенев, живший в то время в Париже.

По письмам как самого Толстого, так и их общих знакомых Тургенев видел сближение с А.В. Дружининым, но, хорошо изучив натуру Толстого, знал, что он, как сам Тургенев писал ему в одном из предыдущих писем, слишком твердо стоит на своих ногах, «чтобы сделаться чьим-нибудь последователем». Тургенев очень сомневался в прочности этого сближения.

По-видимому, Толстой в одном из своих писем выражал недовольство редакцией «Современника», в чем Тургенев с ним соглашался. (Руководили тогда «Современником» Панаев и Чернышевский; Некрасов был в то время за границей).

В письме от 16 декабря Тургенев отвечал на письмо Толстого начала декабря. Толстой в этом письме опять выражал свое недовольство редакцией «Современника» и заключенным с нею «союзом». Особенно он нападал на Чернышевского за его «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которых он, повторяя Дружинина, видел «фетишизм» в отношении автора к Белинскому и даже упрекал Чернышевского в том, что он преподносит своим читателям «тухлые яйца» вместо здоровой пищи.

В своем ответном письме Тургенев соглашался с тем, что «обязательное соглашение» с редакцией «Современника» имеет некоторые «неудобства», «но отступать теперь, – писал он, – было бы и нечестно, и неловко – даже смешно». Но Тургенев горячо встал на защиту статьи Чернышевского о Белинском и самого Белинского. «Белинский, – писал Тургенев, – был человек, который и радовался, и страдал, и жил в силу своих убеждений»; «в него за высказывание тех самых мыслей, которые стали теперь общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами»; «он смертью избежал судьбы, может быть, очень горькой». Говоря о нападках Дружинина на Белинского за его резкую статью о Марлинском, Тургенев отмечает, что вопрос здесь шел не о Марлинском: «дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета мнимой силы и величавости». И только благодаря статьям Белинского о Марлинском, Бенедиктове и других ложных авторитетах «мы пошли вперед», – говорит Тургенев.

Наконец, в последнем письме к Толстому перед его отъездом за границу, написанном 3 января 1857 года, Тургенев писал, что письма Толстого его «утешают», что в Толстом, «очевидно, происходит перемена – весьма хорошая». «Вы утихаете, светлеете и – главное, становитесь свободны от собственных воззрений и предрассудков», – писал Тургенев. И заканчивал письмо словами: «Ну, прощайте, милый Толстой. – Разрастайтесь в ширину, как Вы

Репозиторий ВГУ

до сих пор в глубину росли – а мы со временем будем сидеть под Вашей тенью – да похваливать ее красоту и прохладу».

Последнее письмо Тургеневу перед отъездом в Москву было написано Толстым 4 января 1857 года, в тот самый день, когда он с восторгом читал статьи Белинского о Пушкине. На это письмо Тургенев уже не успел ответить из-за отъезда Толстого за границу.

…И вот появляется в декабрьском номере «Современника» за 1856 год статья-рецензия Чернышевского по поводу «Детства» и «Отрочества» и «Военных рассказов». В этой статье Чернышевский ставил своей задачей определить основные особенности «прекрасного таланта» Толстого (коротко говоря: «чистоту нравственного чувства» героев Толстого и глубину психологического анализа – «диалектику души» как неповторимое, новаторское качество писательской эстетики автора).

Ни в дневнике, ни в письмах Толстого чтение статьи Чернышевского не отмечено; но не может быть никакого сомнения в том, что Чернышевский был прав, ожидая, что статья его понравится Толстому.

Всегда до тонкости разбираясь в себе самом, Толстой 14 ноября 1856 года занес в свой дневник: «Я страшно восприимчив к похвале и порицанью». Но на основании замечания не вполне расположенного к Толстому Е.Я. Колбасина мы должны в это самонаблюдение Толстого внести существенную поправку. 15 января 1857 года Колбасин писал Тургеневу про Толстого: «Он, как я заметил, страшно любит похвалы, да дело в том, что каждую он потом подвергает критике, и так спокойно и строго, как будто разбирает прочитанную книгу». И Толстой, конечно, вполне разбирался в тех похвалах себе, какие он прочел в статье-рецензии Чернышевского, и не мог не признать, что похвалы эти справедливы. Из этой статьи-рецензии он увидел с полной очевидностью, что критик обличительного направления, последователь Белинского, несравненно глубже и тоньше понял сущность его дарования, чем критики «эстетической» школы.

Таким образом, лед был сломлен; открылась возможность дружелюбного личного общения…

Последние дни 1856-го и первые дни 1857-го годов Толстой переживал состояние особенно большого умственного и нравственного подъема. Подъем этот подтверждается как дневником и письмами самого Толстого, так и письмами близких к нему лиц.

Так, Дружинин 26 декабря 1856 года писал Тургеневу: «Лев Толстой, говоря без всякого пристрастия, становится превосходным литератором, умнея и образовываясь с каждым часом. Уж он понимает “Лира” (“Король Лир” Шекспира. – *А.Н.*) и пил за здоровье Шекспира, читает Илиаду, а для того, чтобы понять все наше литературное движение, собирается прочитать все статьи Белинского…».

В.П. Боткин не только, как Дружинин, видел напряженные умственные искания Толстого, но и тот моральный подъем, который происходил в нем в то время. «Теперь настал для него период Lehr-Jahre, и он весь исполнен жажды знания и учения, – писал Боткин Тургеневу 3 января 1857 года. – Ты удивился бы, сколько цепкости и твердости в этом уме и сколько идеальности

Репозиторий БГУ

в душе его. Великий нравственный процесс происходит в нем, и он все больше и больше возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом году так затемнены были разными житейскими дрязгами прежнего кружка и прежней колеи жизни».

Весь поглощенный происходящей в нем напряженной работой, Толстой приходит к выводу, что «истина в движении – только».

Только теперь приступает Толстой к выполнению того совета, который Дружинин давал ему еще в письме от 5 октября 1856 года – «ознакомиться с ходом журналистики» и для того прочесть основные статьи Белинского. Вероятно, Дружинин и устно повторял Толстому этот совет, – тем более после двух своих статей, посвященных выяснению отношения к Белинскому.

2 января 1857 года Толстой записывает в дневник: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться». Статья, которую читал Толстой в этот день, им не названа. Быть может, это была статья о Марлинском, о которой Тургенев писал ему в письме от 16 декабря 1856 года. По крайней мере, в 1907 году Толстой говорил, что он читал Белинского для того, чтобы «с Тургеневым мог говорить про него».

На следующий день, 3 января, Толстой прочел одну из статей Белинского о Пушкине, которую нашел «прелестной». Запись следующего дня, 4 января, говорит уже о восторженном отношении к Белинскому. «Статья о Пушкине – чудо, – пишет Толстой. – Я только теперь понял Пушкина». По-видимому, здесь говорится уже о другой статье Белинского о Пушкине, а не о той, которая отмечена в записи предыдущего дня. Какие именно статьи Белинского о Пушкине читал Толстой, остается неизвестным.

Необходимо отметить, что чтение Белинского вызвало в Толстом не только умственный, но и моральный подъем. Далее в записи того же числа читаем: «Обедал у Боткина с одним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движенья вперед и вперед».

Чтение Белинского продолжалось и после 4 января, хотя в дневнике это позднейшее чтение не было отмечено. Это видно из письма к Тургеневу от 15 января 1857 года его постоянного петербургского корреспондента Е.Я. Колбасина. В этом письме Колбасин писал, что, зайдя к Толстому «дней десять тому назад», он увидел, что перед Толстым лежат статьи Белинского о Пушкине. «По поводу этого, – писал далее Колбасин, – завязался между нами разговор, и Боже! Какая славная перемена. Самолюбивый и упрямый оригинал растаял, говоря о Белинском, торжественно сознался, что он армейский офицер, дикарь, что Вы задели его страшно своею – по его выражению – “непростительною для литератора громадностью сведений” и т.д.».

Свое общее впечатление от Толстого Колбасин в этом письме выразил в следующих словах: «Он восхитил меня и порадовал, я подивился этой крепкой натуре, которая ничего не хочет принять на слово и все добывает посредством собственной критики. В добрый час, благословите этого сильного и развивающегося человека».

Репозиторий ВГУ

В то же время отношение Толстого к «бесценному триумвирату» (Боткин – Анненков – Дружинин) начинает колебаться.

Дружинин тем временем продолжает «бороться» за Толстого «в свою пользу». В одной из своих статей, обозревая современную русскую литературу, он выделяет трех писателей – Островского, Писемского и Толстого как «молодых и независимых прозаиков», «достойных зваться новейшими представителями школы чистого, независимого творчества». Далее поясняется, что под «независимостью» названных писателей автор разумеет их «независимость» от критики гоголевского периода, то есть от *Белинского*.

Собственно о Толстом Дружинин говорит: «Граф Толстой начинает свое дело как человек, твердо держащийся за свою самостоятельность назло всем недавним авторитетам». Такой отзыв об общем характере его литературной деятельности, разумеется, не мог не быть приятен Толстому. Но тому взгляду на назначение искусства, который развивал Дружинин в своей статье, Толстой сочувствовать не мог. Дружинин и здесь повторяет свой излюбленный тезис о необходимости «примирения с жизнью», «светлого взгляда на вещи», «беззлобного отношения к действительности» и восстает против «бесплодного недовольства той средой жизни, которую мы должны любить и изучать с любовью».

Консерватизм миросозерцания Дружинина выступает здесь с полной очевидностью. «Независимость» Островского Дружинин (тогда еще не знакомый с «Доходным местом») видит в том, что он «полагает предел бесплодному отрицанию и создает идеалы положительной русской жизни». Как видим, характеристика Островского, сделанная Дружининым, совершенно противоположна той, какую дает ему Толстой, высоко ценивший в этом писателе именно его «протест против современного быта». Толстой не мог сочувствовать тому взгляду на Островского, который высказывал в этой статье Дружинин; как не мог сочувствовать и выраженному в ней общему миросозерцанию Дружинина.

Проницательный Некрасов не верил в то, что Толстой может быть единомышленником Дружинина. «Вы не можете разделять убеждений г.г. Гончарова и Дружинина, – писал он Толстому 31 марта 1857 года, – хотя меня в том и уверяли как в несомненном».

В главе о Гоголе мы уже упоминали о задуманной Толстым статье, посвященной Гоголю (1888). Она не была закончена, и причиной тому были размышления о взглядах Белинского на литературу и жизнь…

До последних лет жизни Толстой продолжал осмыслять наследие Белинского, чаще всего – в связи с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя. Так, в марте 1909 года Толстой просил семейного врача Д.П. Маковицкого «поискать» в Яснополянской библиотеке «Письмо к Гоголю» Белинского. Тогда же он много думал о Гоголе и Белинском и в сопоставлении их отношения к вере видел «тему для нужной статьи» (дневник от 7 марта 1909 года).

Такая статья не была написана…

Репозиторий ВГУ

Г Л А В А III

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (2-я половина)

Следующий раздел данной монографии посвящен анализу творческих взаимосвязей и перекличек Льва Николаевича Толстого с русскими писателями второй половины XIX века, когда развился и утвердился метод социально-психологического («критического») реализма в русской литературе, особенностью которого стало не просто описать, а *исследовать* все, что писатели видят, наблюдают и что выражает общий закон наступившей в это время в России жизни.

1. *«...человек выдающийся по силе, уму, искренности»* (Л.Н. Толстой и А.И. Герцен)

В 1901 году Толстой говорил: «Если бы меня спросили, кого из русских писателей я считаю наиболее значительными, я назвал бы: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, которого наши либералы забыли, Достоевского, которого они совсем не читают. Ну, а затем: Грибоедова, Островского, Тютчева».

Что касается А.И. Герцена, то Толстой ценил его не только как человека выдающегося и блестящего ума, но и как писателя с большим литературным дарованием. И литературное дарование Герцена, видимо, больше всего импонировало Толстому. «Ведь если бы выразить значение русских писателей, процентно, в цифрах, – говорил Толстой в 1893 году, – то Пушкину надо бы отвести 30%. Гоголю – 20%, Тургеневу – 10%, Григоровичу и всем остальным около 20%. Все же остальное принадлежит Герцену. Он изумительный писатель. Он глубок, блестящ и проницателен». Если в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов Толстой относился к Герцену отрицательно, то такое отношение, видимо, вызвано было резким расхождением тогдашнего Толстого с политическими взглядами Герцена. В 1861 году состоялось личное знакомство обоих писателей в Лондоне, и после этого постепенно Толстой проникается все большей и большей любовью к Герцену...

* *
*

Будучи за границей в первый раз (1857), Толстой не смог повидаться с А.И. Герценом, которого знал заочно по его печатным работам. Интерес к этому человеку у Толстого не затухал вплоть до второго заграничного путешествия (1860–1861), во время которого 4 августа 1860 года появляется ха-

Репозиторий ВГУ

рактерная запись в дневнике: «Читал Герцена – разметавшийся ум – больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество – русские».

А знакомство состоялось в Лондоне в феврале 1861 года. «Живой, отзывчивый, умный и интересный, – рассказывал впоследствии Толстой, – Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого уж потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей...».

Конечно, не только старшинство Герцена (Толстой на 16 лет моложе него) было причиной такого восхищенного восприятия, а масштабы ума, образованности, эрудиции и гражданской значительности Герцена возбуждали благонаправленный интерес к нему Толстого.

20 марта он пишет первое письмо Герцену. Письмо это не преследовало никаких практических целей; Толстой просто почувствовал «потребность написать словечко» «знаменитому изгнаннику». Все письмо написано под обаянием сильной, даровитой, родственной Толстому личности Герцена. Толстой выражает свою радость по поводу того, что близко узнал Герцена; ему «весело думать», что есть на свете Герцен, «такой, какой есть». Толстой восхищался тем, что Герцен способен «сбегать за микстурой для Тимашева», – то есть написать то, что он написал. Здесь Толстой имеет в виду едкую статью Герцена, напечатанную в новогоднем номере «Колокола» за 1861 год под названием «Тимашев, сидите дома, как Бейст (реакционный министр иностранных и внутренних дел в Саксонии. – *А.Н.*), – не ездите, как Гайнау Г». Статья Герцена была написана по поводу приезда в Лондон начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением Тимашева. Герцен напомнил ему судьбу австрийского фельдмаршала Гайнау, который после подавления рабочего движения в Вене также приехал в Лондон; здесь он посетил одну фабрику, на которой рабочие его узнали и избили.

Далее Толстой пишет Герцену: «Дай-то Бог, чтобы через шесть месяцев сбылись ваши надежды». Толстой не поясняет, о каких надеждах Герцена он говорит. Объяснение этой фразы нужно искать, по-видимому, в том, что Герцен в то время еще не оставил надежд на либеральные реформы Александра II, придавая особое значение отмене крепостного права. В словах Толстого чувствуется скептическое отношение к этим надеждам Герцена; тем не менее, он интересуется предположенной Герценом «иллюминацией», то есть банкетом по поводу манифеста 19 февраля 1861 года.

Свое мнение о том, какое действие на помещиков произведет освобождение крестьян от крепостной зависимости, Толстой выразил в словах: «Все будут либералы теперь, когда интересы будут натыкаться только на стеснения, а не поддерживаться ими». Толстой разумел здесь помещиков-крепостников, которым новый порядок несет «стеснения» и которые поэтому сделаются «либералами», то есть недовольными правительством.

26 марта – новое письмо Герцену. Прежде всего, ему хотелось высказать свое мнение о последней (шестой) книжке «Полярной звезды», которую он нашел «превосходной». Главное содержание этого номера составляли материалы о декабристах и о Пушкине и несколько глав «Былого и дум». В чис-

Репозиторий ВГУ

ле этих глав была и статья Герцена о Роберте Оуэне. Толстой выражает полное согласие с основными утверждениями Герцена в этой статье. «Ваша статья об Оуэне, – пишет он, – увы! слишком, слишком близка моему сердцу».

Статья Герцена о Роберте Оуэне – одна из самых сильных и обличительных статей против западноевропейского – в особенности английского – буржуазного общественно-политического строя.

Герцен в этой статье, как и Оуэн, отрицает все религии (основателя христианства он относит к числу «преобразователей и предтеч переворотов»), отрицает буржуазную идеологию, особенно яростно восставая против «мещанского болота английской жизни» и «нравственной несвободы англичан», отрицает, как и Оуэн, уголовный суд, находя, что в преступлениях виноваты не столько сами преступники, сколько общественные условия, порождающие преступления, и что поэтому «мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо», что «целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно».

Герцен не верит в близкое падение «старого порядка». «Неразвитость масс, не умеющих понимать, – говорит он, – с одной стороны, и корыстный страх – с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок». «Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести, – не новость», но «опыт не доказывает, чтобы их утопии были осуществляемы». «Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать, но они с ужасом отпрядывают, когда дунет на них свежий ветер разума и критики». Появление людей, «протестующих во имя разума», «доказывает без малейшего сомнения возможность человека развиваться до разумного понимания». Но для Герцена остается неразрешенным вопрос, «может ли это исключительное развитие сделаться общим».

Герцен допускает возможность того, что «будущее войдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем, и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его». Но «то, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет», и, «принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность здравого смысла». Природе надолго хватит «исторического бреда».

В качестве примера, иллюстрирующего его мысли, Герцен упоминает о Наполеоне. В противоположность Оуэну, мечтавшему достигнуть всеобщего благополучия, Наполеон «добра желает себе одному, а под добром разумел власть». Он «пролил крови больше, чем все революции вместе. Видя, что французы «страстно любят кровавую славу», Наполеон «стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту». Популярность Наполеона объясняется «одинаковостью вкусов» его и толпы: «*он сам принадлежал толпе* и показал ей *ее самое*..., возведенную *в гения* и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния, вот отчего толпа плакала о нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет».

Репозиторий ВГУ

Эта характеристика Наполеона как гения толпы, думается, была понятна Толстому, так как сам он точно так же смотрел на Наполеона (см. роман-эпопею «Война и мир»).

Не существует, говорит далее Герцен, никакого вперед предназначенного пути истории. «Бесконечный прогресс впереди» – такая же сказка, как золотой век позади. «Ни природа, ни история *никуда не идут* и потому готовы идти *всюду*, куда им укажут, *если это возможно*, то есть, если ничего не мешает». Люди живут для настоящего, «для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для *скорейшего* достижения *бесконечного* развития совершенства».

«Мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется... И это не все: мы можем *переменить узор ковра*. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа да мы одни-одинехоньки».

«Будущность людей, народов» зависит «от *нас с вами*».

Толстой пишет Герцену, что его статья об Оуэне – «правда – quand meme [во что бы то ни стало], что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или русского человека». По мнению Толстого, в статье Герцена содержится такая правда, которую мог высказать разве только житель другой планеты, то есть существо, не опутанное с детства теми предрассудками, в которых воспитываются европейские народы, или же «русский человек», совершенно свободно относящийся к европейской культуре и цивилизации.

Только по двум пунктам Толстой расходится с Герценом.

Во-первых, ему кажется неубедительной та часть статьи Герцена, где он «на место разбитых кумиров» ставит «самую жизнь; произвол, узор жизни». Толстой полагает, что поставленный на место отвергаемых Герценом «огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов и т.п., этот узор – ничто, пуговка на месте колосса». По мнению Толстого, ничего не нужно ставить на место разрушенных «огромных надежд» – «ничего, исключая той силы, которая свалила колоссов». (Герцен этой силой считал разум).

Во-вторых, Толстой протестует против того общего пессимистического взгляда на историю человечества, каким проникнута статья Герцена, несмотря на его неопределенные заявления о том, что «мы можем переменить узор ковра» и что будущее народов «зависит от нас с вами». Толстой говорит Герцену: «Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это – тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим». Толстой указывает, откуда он ожидает появление этого нового «пузыря истории». «И этот пузырь, – говорит он, – есть для меня твердое и ясное знание моей России». «Моей Россией» Толстой называл Россию народную, то есть в его представлении – Россию крестьянскую. В основах народной, то есть крестьянской, жизни думает Толстой найти разрешение всех неразрешенных историей вопросов.

Репозиторий ВГУ

Далее Толстой в своем письме к Герцену переходит к критике манифеста 19 февраля. Он недоволен ни содержанием, ни слогом манифеста.

Подобно тому, как в 1858 году в «Записке о дворянстве» Толстой отказывал Александру II во славе великого преобразователя России, так и теперь он оскорблен за народ тем, что «тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу», в то время как в действительности манифест содержит «одни только обещания».

Уже обосновав свою позицию сторонника философии патриархального крестьянства, Толстой с прежним вниманием прислушивался к голосу «с того берега» – к голосу А.И. Герцена.

В частности, одним из важных событий духовной жизни Толстого в конце 80-х годов было чтение именно Герцена. 9 февраля 1888 года В.Г. Черткову он писал: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых писателей с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий – нужно только читать Герцена, как казнится всякое насилие именно самим делом, для которого оно делается. Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла… И хороший, искренний человек... Оттого, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть, не есть то, что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, которые идут за ним. Чудно и жалко». И через несколько дней – второму своему другу, художнику Н.Н. Ге (как и Толстой, лично знавшему Герцена): «Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган».

По-видимому, тогда же Толстой обдумывал, как устранить эту ошибку и несправедливость и как переиздать в каком-то виде Герцена в России – например, выпустить книгу в издательстве «Посредник».

В 1888 году, да и позднее, Толстого особенно интересовала книга Герцена «С того берега» – горькое раздумье русского писателя о европейских буржуазных революциях. Толстой был убежден в неизбежности крушения старого мира и не уверен вполне в путях достижения нового, справедливого строя. Именно в этой книге Толстой находил больше всего близкого собственным мыслям.

В трактате «Царство Божие внутри вас» Толстой привел большую цитату из третьей главы «С того берега» – «LVII год республики, единой и неразделной». Беспощадно критикуя буржуазную республику, установившуюся после поражения революции, Герцен прославлял отвагу людей, умеющих оторваться от старого мира, «лишиться всех удобств» и плыть по безбрежному океану в новую жизнь. Вот те «слова Герцена», на которые, несколько сокращая их (сами эти сокращения весьма характерны), ссылается Толстой:

Репозиторий ВГУ

«Что будет там, за стенами оставляемого нами мира?

Страх берет – пустота, ширина, воля... Как идти, не зная куда, как терять, не видя приобретений!..

Если бы Колумб так рассуждал, он никогда не снялся бы с якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой – вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если бы народы переезжали из одного готового garni в другой, еще лучший, – было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане, – ничего нет, – оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром, – старайтесь его сохранить, он очень хил и надолго его не станет; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнью, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных средневековых свобод на свой страх. (Далее в цитате опущена революционная мысль Герцена: «Отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости». – *А.Н.*). Я очень знаю, что это нелегко. Шутка ль расставаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди готовы на страшные жертвы, но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, плодов, которыми мы хвастаемся три столетия (далее Толстой опустил: «которые нам так дороги». – *А.Н.*), лишиться всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность образованной дряхлости, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо лучше нас?».

Приведя эту цитату из Герцена, Толстой от себя писал: «Так говорил почти полстолетия тому назад русский писатель, своим проницательным умом уже тогда ясно видевший то, что видит теперь уже всякий самый мало размышляющий человек нашего времени: невозможность продолжения жизни на прежних основах и необходимость установления каких-то новых форм жизни».

Толстой ясно сознавал исчерпанность насильственного государственного режима, который правил в России того времени, и здесь он в лице Герцена имел самого сокровенного единомышленника. Но революционную «технологию» в переустройстве российской действительности политического эмигранта Герцена Толстой принять не мог, ибо мир виделся ему в ненасильственных отношениях между людьми. Он осуждал непомерное богатство одних (людей своего круга, в том числе и себя) и огорчался бедности других (прежде всего – многомиллионного трудового крестьянства). Но справедливость в решении этого давнего социального противоречия лежит, по его убеждению, не на пути резкой революционной встряски (по Герцену), а средствами личного нравственного самоусовершенствования. Поэтому критический пафос книги «С того берега» он щедро цитирует в своем программном трактате, но своевольно отсекает те герценовские мысли-фразы о решительных формах переустройства российского общества, которые не соответствовали

Репозиторий ВГУ

его религиозному учению. Да и общая интерпретация, которую Толстой предлагает в письме к своему единомышленнику «толстовцу» Черткову по поводу книги Герцена, откровенно «подверстана» под учение Толстого. Но вот что интересно: попутно возникла парадоксальная ситуация, когда (но теперь уже совершенно объективно!) с «царством Божиим в себе» Лев Толстой горячо возмущается официальным запретом в России на все труды материалиста и атеиста Александра Герцена...

Здравый смысл всегда располагается поверх идеологических барьеров...

И в 90-е годы Толстой «нуждается» в Герцене с его умом и бесспорным авторитетом энциклопедиста. Писательница Л.И. Веселитская (В. Микулич) приводит признание Толстого в середине мая 1893 года: «Сейчас перечитывал Герцена, и с большим удовольствием. И не потому, что внешне так блестяще и изящно, а потому, что видишь человека, которому было ясно, что делается вокруг... И такой писатель не входит в учебники, а зубрят о Жуковском, который был за смертную казнь!» (В. Микулич. Встречи с писателями. – Л., 1929. – С. 25–26).

В июле того же года Толстой в письме к Н.Н. Ге называет «прекрасной» его мысль написать воспоминания о Герцене. «Только не торопитесь, – советует Толстой художнику-другу, – а постарайтесь подробнее, то есть ничего не забыть и посжатее написать».

В июне 1897 года Толстой читает «о последних днях Герцена».

В марте 1903 года читает вслух воспоминания Т.П. Пассек о Герцене.

В июле 1905 года читает «растроганным голосом» первую главу рассказа Герцена «Долг прежде всего»: «Ничего подобного нет в русской литературе». «Кто виноват?» – робкое, а это – бойкое».

Месяц спустя Толстой прочел вслух рассказ Герцена «Поврежденный» и восхищался им: «В мыслях «поврежденного», – считает он, – Герцен высказывает свои мысли, которые он не берет на себя, чтобы прямо высказывать, а это так можно кидать необдуманно, смело... Герцен поэтическая натура и философская».

Октябрь 1905 года. Запись в дневнике: «Читал Герцена «С того берега» и восхищался. Следовало бы написать о нем так, чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их».

Личный врач Толстых Маковицкий через год свидетельствует: Толстой сказал, что получил книгу Чаадаева, но ему «скучно» ее читать. На слова сына С.Л. Толстого, что «это все устарело», Толстой заметил: «А Герцена всегда будут читать».

Июнь 1908 года. Из воспоминаний А.Б. Гольденвейзера, жены С.А. Толстой и Д.П. Маковицкого: «Чтение “продолжения” “Доктора Крупова” Герцена – “Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова”. Отзыв Толстого: “Очень сильно, остроумно, но с еще большим пессимизмом”; “Чтение Герцена и о Герцене”; “Толстой опять говорил о Герцене: “Герцен удивительный в художественном смысле. Я другого такого не знаю. Остроумие, небрежность, блеск”...».

Репозиторий ВГУ

2. Толстой и писатели-демократы 1860-х годов

Л.Н. Толстой не обошел вниманием писателей-разночинцев демократического направления 1860-х годов, пришедших на смену корифеям 1830-х – 1850-х годов. Для В.А. Слепцова, Ф.М. Решетникова, Н.Г. Помяловского и других из этой молодой плеяды правдивое отображение жизни было все равно что просвещение русского народа и его освобождение, как и для их более знаменитых современников – Ф.М. Достоевского, А.И. Герцена, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и, естественно, Л.Н. Толстого. Конечно, общественно-политические взгляды тех и других были не одинаковы, но единственным был для всех их глубокий *социальный* интерес к происходящим в России после 1861 года изменениям, когда феодально-помещичья страна должна была «въезжать» в буржуазно-капиталистические «ворота».

* * *

Интересна своей неожиданностью творческая перекличка **В.А. Слепцова**, автора известной повести «Трудное время», и Л.Н. Толстого, относящаяся к первому послереформенному периоду российской истории.

В декабре 1863-го и в январе 1864 года Толстой отвлекся от романа «Война и мир» работой над комедией, впоследствии получившей название «Зараженное семейство». 24 февраля 1864 года Толстой извещал свою сестру, что «между прочим» он написал комедию, которая «вся написана в насмешку эмансипации женщин и так называемых нигилистов».

Толстому хотелось узнать мнение Островского о своей пьесе, он пригласил его к себе и прочитал ему пьесу. Островскому комедия не понравилась. Толстому он высказал свое мнение в смягченной форме, сказав, что в пьесе «мало действия, надо переделать». В письме к Некрасову Островский более откровенно высказался о «Зараженном семействе»: «Когда я еще только расхварывался, утащил меня к себе Л.Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения».

Мнение Островского, очевидно, произвело впечатление на Толстого, ибо, извещая сестру Марию Николаевну о том, что он не успел поставить комедию до окончания театрального сезона, Толстой прибавлял: «Да и комедия, кажется, плоха».

Когда в августе 1864 года А.А. Фет вместе с В.П. Боткиным (по дороге из своего имения в Петербург) заехал в Ясную Поляну, Толстой прочел им «Зараженное семейство».

Боткин нашел, что комедия «вовсе не так дурна, как говорили». К числу недостатков комедии Боткин относил то, что «первый и второй акты растянуты, и вообще нет комической струи». Несомненно, что, работая над комедией, Толстой особенно старался усиливать комизм положений и рассуждений героев. Но Боткину, не разделявшему идей революционно-демократического движения, очевидно, хотелось, чтобы «нигилисты» были выставлены в комедии Толстого в еще более смешном и нелепом виде. Вообще же Боткин находил, что комедия

Репозиторий ВГУ

Толстого «имеет значение в общественном отношении и бьет прямо в жилу современного общества. Если он поработает над двумя первыми актами, то все-таки выйдет весьма верная и современная вещь».

Но Толстой в то время уже до такой степени был поглощен работой над будущим романом «Война и мир», что не мог и думать ни о какой переработке написанной им комедии.

И хотя самому Толстому его комедия с художественной стороны нравилась, серьезного значения ей он не придавал.

«Так причем же здесь творчество Слепцова?» – спросят нас.

Действие комедии Толстого происходит в 1862–1863 годах, то есть после отмены крепостного права – как и в повести Слепцова «Трудное время». Кстати говоря, «Зараженное семейство» первоначально было озаглавлено «Современные люди», затем заглавие было изменено на «Новые люди». Это первоначальное заглавие ясно указывает на то, что комедия полемически была направлена против романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?», имевшего подзаголовок «Из рассказов о новых людях».

В пьесе изображена растерянность помещиков, с трудом приспособляющихся к новым порядкам.

Герои комедии сделали себе из либерализма доходную статью – это и типичный консерватор-крепостник Иван Михайлович Прибышев, и жених Любови Ивановны. Анатолий Дмитриевич Венеровский (!), акцизный чиновник, читающий… «Полярную звезду» Герцена; под стать Венеровскому и его приятель Беклешов.

Студент Твердынский настроен внешне критически к Венеровскому, резко отзывается о самом Прибышеве. Но все «крайние» фразы Твердынского не соответствуют его духовному облику. Он называет себя «тружеником и борцом», а в действительности бездельник и трус. У Прибышева он пристает к горничным, назойливо ухаживает за его дочерью, делает грубые предложения «нигилистке» Катерине Матвеевне. Его изломанный язык вызывает презрительное отношение к нему старосты ямщиков на почтовой станции, который на его кривляния пренебрежительно отвечает: «Будет баловаться-то, барин, ну вас к Богу». Он уговаривает племянницу помещика отправиться вместе с ним в петербургскую коммуну, где «супружества не существует, а совершенно свободные отношения». Как известно, после появления романа Чернышевского «Что делать?» в Петербурге было основано несколько коммун, из которых наибольшей известностью пользовалась коммуна, устроенная В.А. Слепцовым. Как видно из комедии Толстого, неясные и явно извращенные слухи об этих коммунах дошли и до Ясной Поляны.

В своей повести «Трудное время», которую Толстой прочел в 1865 году, о петербургских коммунах Слепцов говорит в совершенно ином тоне. Мария Николаевна Щетинина, увлеченная «новыми» идеями разночинца журналиста Рязанова, в котором больше умеренности, чем порыва, оставляет своего мужа, чтобы пойти – надо думать – революционным путем. Причем, она действует решительнее самого Рязанова, когда заявляет ему (фактически идя на разрыв), что «едет туда», то есть в одну из петербургских коммун.

Репозиторий ВГУ

(До какой степени были распространены сплетни и вздорные слухи относительно коммуны Слепцова (не в повести «Трудное время», а в жизни), видно из того, что даже жена самого устроителя обращалась к жившим в коммуне женщинам с вопросом, правда ли, что у них всех общие мужья) [14].

Как видим, авторские позиции Толстого и Слепцова противоположны в оценке революционно-демократических средств изменения жизни в России: Слепцов движется в русле идей Чернышевского – Толстой высмеивает эти идеи, впрочем, не оставляя в покое и либералов, наивно веривших в реформы сверху.

И в тогдашней литературной критике «разводили» Толстого и Слепцова. Вот характерный пример. Критик народнического направления П.Н. Ткачев написал в 1875 году разгромную рецензию под названием «Салонное художество» на роман Толстого «Анна Каренина». На эту статью откликнулся Е. Марков. Автор статьи «Салонное художество» (то есть Ткачев), писал Марков, «стоит на том, что граф Л. Толстой не художник, а фотограф, что он не умеет создавать типы, писать портреты, что его герои выходят не живыми людьми и т.д.». «Читатель, читавший Толстого, знающий Толстого, конечно, рассмеется без всякой церемонии в глаза чересчур уже хитроумному критику», который не понял Толстого «ни в общем характере его творчества, ни в его частностях. А так как в его голове уже были готовые суждения о фотографичности искусства, то он вместо Успенского или Слепцова бойко навязал их на шею гр. Толстому».

В 1889 году Толстой был занят хлопотами по подготовке домашнего спектакля по своей новой комедии «Плоды просвещения». Дав согласие на постановку, Толстой принялся исправлять пьесу, испытывая то стыд оттого, что и сам участвует в «барской затее», то радуясь каждой удачно найденной детали и слову. 17 декабря в дневнике отмечено: «Пять дней ничего не писал и не делал. Только читал и терпел боль. Пробовал поправлять комедию, остановился на середине 1-го акта. Читал “Revue des 2 Mondes” и Слепцова. В “Revue” очень замечательный роман “Chantepleure”, замечательный описанием бедности и унижения бедности по деревням (это роман Эмиля Пувильона. – *А.Н.*). Эйфелева башня и это». Повесть Слепцова «Трудное время» (Толстой читал ее в журнале «Современник», 1865, № 4–8) вызвала спустя два дня важное размышление и запись: «Да, требования были другие в 60-х годах. И оттого, что с требованиями этими связалось убийство 1-го марта, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут до тех пор, пока не будут исполнены».

О том, как читал Толстой вслух рассказы Слепцова, А.М. Новиков вспоминал: «Особенно любил он читать Слепцова, и из Слепцова у него было два любимых произведения: “На постоялом дворе” – и глаза его оживлялись, в голосе появлялись вибрирующие интонации, его самая простая, обыкновенная дикция была полна естественного юмора, и он сам и слушатели покатывались со смеха, и “Шпитонка”, которую Толстой никогда не мог дочитать до конца. Вначале его чтения этого рассказа по обыкновению было очень выразительно, но под конец глаза заволакивались, черты лица заострялись, он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно уходил в будуар графини…».

* *
*

Репозиторий ВГУ

Не сам Толстой, а его литературный современник И.С. Тургенев совместил его имя с одним из талантливых писателей-разночинцев 1860-х годов **Ф.М. Решетниковым.**

…Л.Н. Толстой уже знаменитый писатель. Он завершает свой роман-эпопею «Война и мир». Вся литературная общественность следит за его успехами. Одним из самых заинтересованных собратьев Толстого по перу был именно Тургенев. Он с нетерпением ждет выхода очередного тома «Войны и мира». «После *правды* (курсив автора. – *А.Н.*) Л.Н. Толстого, – пишет Тургенев И.П. Борисову, – вся эта старенькая чиновничья литература (имелось в виду, в частности, творчество И.А. Гончарова. – *А.Н.*) отдает фальшью».

В том же 1869 году Тургенев впервые высказался о Толстом в печати. В «Воспоминаниях о Белинском», перечисляя лучшие художественные произведения, появившиеся после смерти Белинского, Тургенев прежде всего упомянул о Толстом. «Как бы порадовался он (Белинский. – *А.Н.*), – писал Тургенев, – поэтическому дару Л.Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, *трезвой правде Решетникова*! (курсив наш. – *А.Н.*)». Славный ряд!..

Иногда имена Толстого и Решетникова совмещались критиками по каким-то субъективным соображениям.

В 1872 году была напечатана «Азбука» Толстого. Посыпались в печати обвинения, потому что его новаторская педагогика раздражала традиционалистов и консерваторов от воспитания и образования. Кампанию против «Азбуки» начал П.Н. Полевой, сын Николая Полевого, бывший профессор в Варшавском университете. Вся рецензия Полевого, кстати, написана без малейшего недоброжелательства к автору разбираемой книги. Просто привыкнув к установившемуся в то время типу учебных книг для чтения, он не понял новизны и своеобразия толстовской «Азбуки».

Иным характером отличалась рецензия, появившаяся в либеральном журнале «Вестник Европы». Автором, по всей вероятности, был знакомый Толстого, бывший преподаватель тульской гимназии Е.Л. Марков, против которого Толстым в 1862 году была написана статья «Прогресс и определение образования». Вся рецензия написана в издевательском тоне по отношению к Толстому и к его книге, которая иронически называется «четырехактной мистерией для возвращения любознательности молодежи».

Чтобы окончательно «убить» Толстого, рецензент советует ему не писать ничего своего, а составить хрестоматию из русских песен и былин, из летописей, из «наших образцовых писателей: Гоголя, Тургенева, Аксакова, Решетникова… и многих других, более или менее удачно схватывавших заветную жизнь народа и всего общества».

Тенденциозность, если не злопыхательство Маркова, здесь очевидны. Для нас же важно то, что близорукий критик Толстого невольно оказал услугу менее знаменитому писателю Решетникову, когда хотел унизить своего великого оппонента, а возвысил второстепенного автора. Что ж, от Толстого не убыло, а за Решетникова – спасибо…

Н.Г. Помяловский, автор пронзительной по жалости к работному человеку повести «Подлиповцы» и глубоко правдивых «Очерков бурсы», не был близок Толстому своими разночинно-демократическими идеями. Но за-

Репозиторий ВГУ

метим при этом, что полемическая заостренность противостояния Толстого – Помяловскому здесь тоже, как и в случае с Решетниковым, проистекает от излишней идеологической нетерпимости (в прежнем случае – критика Маркова, здесь же – самого Льва Николаевича).

Речь пойдет о черновой редакции начала будущего романа «Война и мир» – его первой части «1805 год». Там описывается вечер у фрейлины Анет Б. и сцена задушевного разговора князя Андрея с Пьером. Затем – сцена ночного кутежа у Анатоля, в которой автор пытается дать объяснение необузданному кутежу Долохова и его товарищей. Он пишет в том смысле, что, «несмотря на пьяное их состояние, все они были разнообразны, но все в своем роде хороши собой и преисполнены силы, которую не знали куда девать…».

К описанию кутежа у Анатоля в черновой редакции присоединена вводная глава, цель которой – объяснить причины, по которой автор выбирает своих героев исключительно из аристократического общества.

Объяснение это содержит шесть пунктов.

Первое обоснование вытекает из характера начатого Толстым произведения: источниками той исторической эпохи, которую взялся представить писатель в своем романе, являются «только переписки и записки людей высшего круга».

Второй пункт – личного и отчасти литературного порядка.

«Жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразною, скучною, и все действия этих людей, как мне представляется, вытекающими большей частью из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и матерьяльных страстей».

Этот второй пункт совершенно определенно направлен против демократической (в том числе разночинно-демократической) литературы 1860-х годов; нетрудно назвать тех писателей, которых имел здесь в виду Толстой. Это Островский («жизнь купцов»), Помяловский («жизнь каторжников»), Николай и Глеб Успенские («жизнь мужиков») – те самые Островский и Достоевский, о которых Толстой еще недавно с такой похвалой отзывался в своих письмах, и те самые Глеб и Николай Успенские, рассказы которых он печатал в «Книжках» журнала «Ясная Поляна».

Следующие четыре причины мы опускаем. В них апологетизируется свое аристократическое происхождение и его преимущества.

Какие причины могли вызвать появление, хотя бы в черновой редакции романа, такой странной декларации, в которой мы никак не можем узнать автора «Севастопольских рассказов», «Утра помещика», «Поликушки», «Тихона и Маланьи» и «Кому у кого учиться писать – крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят» (послéднее, утверждал Толстой, имея в виду искренность и правдивость сочинений деревенских детей)?

Причин было несколько [14, с. 714].

Во-первых, Толстой, хорошо знавший направление критики того времени, не сомневался в том, что его роман подвергнется нападкам уже за одно то, что действующие в нем лица взяты из аристократической среды (в этом Толстой не ошибся). Зная это, он поспешил сразу перейти от обороны к нападению – сам ополчился против современной литературы (в том числе и раз-

Репозиторий ВГУ

ночинно-демократической) и сделал это в преувеличенных, резких, вызывающих выражениях.

Но не все в этой декларации объясняется одной резкостью и запальчивостью полемики. В одном из писем конца 1863 года к тетушке Александре Андреевне он признавался в ослаблении любви к народу. Одновременно с этим в нем заговорили еще не изжитые до конца унаследованные им аристократические предрассудки.

Но Толстой в своем объяснении сгустил краски. Даже и в этой черновой редакции романа «1805 год» изображены в числе других и такие представители аристократии, «любить» которых он никак не мог. О министре князе Василии Пьер Безухов (а вместе с ним – чувствуется – и сам автор) говорит: «Вся эта семья, такая comme il faut u grand seigneur (порядочная и барственная. – *А.Н.*), вся эта семья грязнее грязи». Уже одно сочетание в этой характеристике светской порядочности и крайней моральной низости показывает, что для Толстого того времени (как и раньше) светский лоск и изысканность манер представителей высшей аристократии отнюдь не совпадали с чистотой нравственной.

Вся эта вдруг загоревшаяся в Толстом вспышка полемического задора в соединении с сословной гордостью, в которой он был воспитан, быстро погасла. Глава была переписана, но в следующую редакцию романа Толстой ее не ввел.

3. *«...вот где учишься жить»* (Л.Н. Толстой и И.А. Гончаров)

В январе 1852 года, работая над двумя дополнительными главами 2-й редакции «Детства», Толстой коснулся проблемы «писатель-читатель-критик». Он не жалует критиков, ибо они, по его мнению, не озабочены оценкой литературных произведений, а лишь упражняются в остроумии, часто в оскорбительной для автора форме. «Достается» при этом журналу «Библиотека для чтения», библиографический отдел которого «не давал понятия о ходе литературном, о значении и достоинстве новых книг».

Поэтому-то произведения лучших современных писателей остаются, на взгляд Толстого, не оцененными критикой.

Толстой перечисляет этих лучших, по его мнению, современных писателей, не оцененных критикой: это Дружинин, Григорович, Тургенев, Гоголь, Гончаров. Произведения всех этих писателей, кроме Гончарова, названы Толстым в списке книг, произведших на него большое впечатление в его молодые годы. Присоединение к их числу Гончарова показывает, что Толстой уже в то время хорошо знал и ценил его «прелестную» «Обыкновенную историю» и «Сон Обломова», которыми тогда был известен И.А. Гончаров. Рекомендуя Валерии Арсеньевой прочесть «Обыкновенную историю», Толстой писал ей 7 декабря 1856 года: «... Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее».

В период появления «Детства» автобиографический жанр был широко распространен в русской литературе. Причина этого в последние годы царствования Николая I заключалась, в частности, в том, что, вследствие невоз-

Репозиторий ВГУ

можности по цензурным условиям касаться основных вопросов общественной жизни того времени, литература направляла свое внимание преимущественно на явления внутренней жизни человека и их развитие (см. «Семейство Тальниковых» Н. Станицкого, т.е. А.Я. Панаевой и Н.А. Некрасова; различные «Записки студента», «Дневник сельского учителя», «Дневник бедного священника»; переводные «Признания» Ламартина, «Замогильные записки» Шатобриана, «Сказка моей жизни» Андерсена и др.).

Именно тогда же в журналах появилось и несколько повестей из жизни детей, как «Неточка Незванова» и «Маленький герой» Ф.М. Достоевского, «Адам Адамыч» М.И. Михайлова, «История Ульяны Терентьевны» П.А. Кулиша. Сам Толстой, прочитав повесть Кулиша, записал в дневнике 29 сентября 1852 года: «Читал новый “Современник”. Одна хорошая повесть, похожая на мое “Детство”, но он было написал: “хуже”, а затем поправил: “неосновательная”».

Если не считать превосходных страниц, посвященных детству Обломова в романе Гончарова, то можно сказать, что повесть Толстого «Детство» была первой в русской литературе попыткой художественного изображения внутренней жизни ребенка. Этим объясняется ее необыкновенный успех и в литературных кругах, и среди читателей «Современника».

Гончаров был свидетелем споров Толстого с Тургеневым и дружеским ему «бесценным триумвиратом» (Анненков, Боткин, Дружинин) и, как видно, был на стороне своего упрямого младшего собрата-спорщика. Он вспоминает об этом в письме к Толстому от 22 июля 1887 года: «Помню ваши иронические споры, всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом их поклонении разным литературным авторитетам: помню комическое негодование их на Вас за непризнание за “гениями” установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск».

О явной симпатии Гончарова к Толстому говорят и следующие строки из этого же письма: «Помню и вечер, проведенный мною с Вами в спектакле. Давали “Завтрак у предводителя” Тургенева. Мы сидели рядом и дружно хохотали, глядя на Ланскую, Мартынова и Сосницкого, которые дали плоть и кровь этому бледному произведению».

Толстому не безразлично было мнение Гончарова о своем творчестве. Так, его волновала в 1856 году реакция писателей на повесть «Утро помещика». Когда автор 29 ноября прочитал свою повесть в редакции «Отечественных записок», то Дудышкин и Гончаров, как с грустью записал он в дневнике, только «слегка похвалили» его произведение.

Но это вовсе не повлияло на объективно-положительное отношение Толстого к творчеству Гончарова. Судя по написанному им 16 апреля 1859 года письму Дружинину, Толстой живо интересовался всеми последними литературными новинками и, в частности, только что напечатанным тогда романом Гончарова «Обломов», о котором говорит с восхищением. «“Обломов”, – пишет Толстой, – капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от “Обломова” и перечитываю его еще

Репозиторий ВГУ

раз. Но что приятнее ему будет – это что “Обломов” имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный, в настоящей публике». Толстой оговаривается, что он нашел в романе Гончарова и некоторые недостатки, о которых он не будет писать в письме, но хочет поговорить при личной встрече с Дружининым.

Дружинин передал Гончарову похвалу Толстого, которой Гончаров был очень обрадован. Вскоре (13 мая) он написал Толстому благодарственное письмо, в котором говорил: «Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже пугающее своей смелостию; если не во всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в вас доброжелателя новому моему труду».

Через посредство Ф.М. Достоевского мы узнаем отзыв Гончарова о романе «Анна Каренина», о котором Федор Михайлович подробно говорит в своем июльско-августовском номере «Дневника писателя» за 1877 год.

Разбор «Анны Карениной» Достоевский начинает с характеристики автора романа. Толстой для Достоевского – «огромною Россиею человек», «один из самых значительных современных русских людей». Далее Достоевский описывает свою недавнюю случайную встречу на улице с одним «милым и любимым» им романистом, который (“на вид человек не восторженный”) сразу заговорил с ним об “Анне Карениной” и поразил его “твердостью и горячею настойчивостью своего мнения” об этом романе. Речь идет, очевидно, о Гончарове. Собеседник Достоевского сказал ему относительно «Анны Карениной»: «Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может поравняться с этим? А в Европе – кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?».

Достоевский выражает полное согласие с мнением своего собеседника. «Книга эта, – пишет он, – прямо приняла в глазах моих размер... того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе».

...С И.А. Гончаровым Толстой познакомился в ноябре 1855 года, по возвращении из Севастополя. Затем была редкая переписка, которая с 1859 года прекратилась. В июне 1887 года Толстой передал Гончарову через А.Ф. Кони «сердечный» привет и выражение «особой симпатии». В ответ автор «Обломова» написал, что память о нем Толстого «тронула» его «помимо всяких литературных причин»: «В те еще дни, когда я был моложе, а Вы были просто молоды, и когда Вы появились в Петербурге, в литературном кругу, я видел и признавал в вас человека, каких мало знал там, почти никого, и каким хотел быть всегда сам. Теперь я уже полуослепший и полуоглохший старик, но не только не изменил тогдашнего своего взгляда на Вашу личность, но еще более утвердился в нем. Если этот взгляд мой не превратился во мне в живое дружеское чувство, то это с моей стороны только потому, что между Вами и мною легла бездна расстояния и постоянной разлуки».

Репозиторий БГУ

Толстой, конечно, тотчас же пригласил Гончарова сотрудничать в «Посреднике». Письмо это не сохранилось, но содержание его ясно из ответа Гончарова от 2 августа 1887 года.

Сообщив, что он теперь совсем не пишет и лишь «начиркал весной» несколько эскизов для журнала «Нива» с небольшим предисловием, Гончаров далее продолжал: «Из этого предисловия Вы ясно сразу усмотрите, почему я никак не мог бы, обладая даже таким талантом, как Ваш, идти вслед за Вами работать в тот рудник, куда Вы меня так ласково зовете, говоря, что “если б я захотел, то мог бы написать и для этого читателя”, то есть для обширного круга читателей, “явившихся к Вам на смену прежних”...

Вы правы – это надо делать. Но я не могу: не потому только, что у меня нет Вашего таланта, но у меня нет и других Ваших сил: простоты, смелости или отваги, а может быть, и Вашей любви к народу. Вы унесли смолоду все это далеко от городских куч в ваше уединение, в народную толпу».

В приписке Гончаров, однако добавил: «Вы правы: писать надо для народа» – так, как Вы пишите; но многие ли это могут? Мне, однако, жаль, если Вы этому писанию пожертвуете и другим, то есть образованным кругом читателей. Ведь и Вы сами пожалели бы, если бы Микель-Анджело бросил строить храм и стал бы только строить крестьянские избы, которые могли бы строить и другие. Пожалели бы Вы также, если б Диккенс писал только свои “Святочные рассказы”, бросив писать великие картины жизни для всех».

В этом же письме Гончаров дает оценку драмы Толстого «Власть тьмы», которую считает «сильным произведением», «художественную сторону» которого «ценят немногие, тонко развитые люди, большинство же читателей не понимают, многие даже отвращаются, как от напитанной слишком сильным спиртом склянки. Они не выносят крепости духа. Я высоко ценю эту вещь».

В конце этого же года Гончаров сообщил еще, что попросил издателя «Нивы» посылать Толстому журнал «на весь будущий год».

Через полгода после гончаровского восхищенно-почтительного письма Толстой, касаясь последних, не лучших, произведений Гончарова «Слуги» и «На родине», отметил у их автора «узкий кругозор». А в 1899 году, перечитывая вслух роман Гончарова «Обломов», высоко отозвался об «идеале его», но «историю любви и описание прелестей Ольги» посчитал «невозможно пошлыми». Это не было ворчанием литературного «мэтра», а соответствовало изменившемуся мировоззрению Толстого, а вместе – и иной эстетике, все дальше уходящей от книжности («литературщины») в область простых и ясных морально-нравственных ценностей. Именно поэтому еще в самом начале «перелома» в мировидении (1883) Толстой подразделил крупных писателей на «литераторов» (не озабоченных высокоморальными, религиозными проблемами) и «не-литераторов»: «Тургенев – литератор, Пушкин был тоже им. Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев. Лермонтов и я не литераторы». Субъективность этих толстовских расценок основана, однако, на четких объективных онтологических критериях.

Доказательством глубокой продуманности высказанного однажды убеждения может служить признание Толстого 1901 года: «Я любил Тургенева как человека. Как писателю, ему и Гончарову я не придаю особенно боль-

Репозиторий БГУ

шого значения. Их сюжеты – обилие обыкновенных любовных эпизодов – и типы имеют слишком преходящее значение».

И подводя итог толстовского отношения к И.А. Гончарову как человеку и писателю, можно сослаться на дневниковую запись Толстого от 20 апреля 1909 года, где зафиксирован его ответ на вопрос преподавателя французского языка в Харькове А. Мазона: Гончаров был «сдержанным, корректным и приятным человеком» и по отношению к нему самому «доброжелательным»; а «лучшее, что он (Гончаров. – *А.Н.)* написал, – «Обыкновенная история» (в беседе с Г.А. Русановым в апреле 1884 года)...

4. *«Тургенева с любовью вспоминаю» (1907)* (Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев)

Параллели между этими двумя крупнейшими творческими личностями и их биографиями начинаются с самого раннего детства того и другого.

Учебные занятия маленького Левочки проходили под руководством немца-гувернера и тетушки Александры Ильиничны. Своего гувернера Фридриха Росселя, которого Толстые звали Федором Ивановичем, Лев Николаевич обессмертил в повестях «Детство» и «Отрочество» под именем Карла Ивановича Мауэра.

Федору Ивановичу было строго приказано никогда не бить детей; однако он все-таки прибегал к некоторым видам телесных наказаний – ставил провинившегося мальчика в угол на колени, а «в минуту досады» даже «лично расправлялся линейкой или помочами». Надо думать, что при жизни Марии Николаевны, матери Толстого, рано умершей, ему не было бы позволено прибегать к таким мерам воздействия. Во всяком случае детство Толстого в этом отношении протекало совсем в иных условиях, чем, например, детство Тургенева, который рассказывал про свое детство: «Драли меня за всякие пустяки чуть не каждый день». Ничего подобного не было в детстве Толстого.

Также и отношение к крепостным крестьянам в помещичьих домах Тургеневых и Толстых было разным. В Ясной Поляне в годы детства Толстого оно было, очевидно, сравнительно гуманным. Толстому не приходилось видеть около себя тех ужасов крепостничества, какие видели в домах своих отцов Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин, и потому Толстой, противник крепостного права, *по личным впечатлениям* не мог написать ничего, подобного ни хватающим за душу первым главам «Былого и дум» Герцена, ни скорбному стихотворению Некрасова «Родина», ни трогательному рассказу Тургенева «Муму», ни потрясающей «Пошехонской старине» Салтыкова-Щедрина.

Это социальное различие семейных укладов Толстого и Тургенева не помешало быть сходным литературным пристрастиям в их юные годы (Тургенев на 10 лет старше Толстого). Примером может служить восторженное отношение будущих реалистов русской литературы к творчеству пламенного романтика Марлинского. В списке произведений, произведших на него впечатление в возрасте от 14 до 20 лет, Толстой первоначально пометил повести Марлинского «Мулла-Нур» и «Фрегат Надежда». Знал он хорошо также и повесть Марлинского «Аммалат бек». Мы можем представить себе, что́ поража-

Репозиторий ВГУ

ло его у Марлинского: его поражали необыкновенные характеры, фантастичность сюжетов и грандиозные картины природы. Все персонажи Марлинского сильно действовали на воображение юного мечтателя. Преувеличенность выражений чувств этих героев, свойственный Марлинскому «яркий блеск завитой формы» (выражение из повести «Юность»), изобилующий цветистыми метафорами, гиперболами, остроумными каламбурами, – не казались недостатком юноше Толстому.

Вообще Марлинский считался многими (особенно до появления убийственной статьи о нем В.Г. Белинского) «царем прозаиков», как Пушкин – «царем поэтов». Тот же Тургенев писал Толстому в декабре 1856 года, что он когда-то «целовал имя Марлинского на обертке журнала» и сначала пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего руку на Марлинского. Он же в повести «Стук…стук…стук» писал о Марлинском: «Марлинский теперь (конец 40-х годов. – *А.Н.*) устарел – никто его не читает – и даже над именем его глумятся; но в тридцатых годах он гремел, как никто, – и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним. Он не только пользовался славой первого русского писателя; он даже – что гораздо труднее и реже встречается – до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение. Герои à la Марлинский попадались везде, особенно в провинции, и особенно между армейцами и артиллеристами. Они разговаривали, переписывались его языком, в обществе держались сумрачно, сдержанно, “с бурей в душе и пламенем в крови”, как лейтенант Белозор “Фрегата Надежды”. Женские сердца “пожирались” ими. Про них сложилось тогда прозвище – “фатальный”».

Из составленного Толстым списка видно, что в 1847 году он был усердным читателем «Современника». Именно в этом прогрессивном журнале за этот год появились и «Полинька Сакс» Дружинина, и «Антон Горемыка» Григоровича, и первые шесть рассказов из «Записок охотника» Тургенева. Повесть Григоровича и рассказы Тургенева имели огромное значение для выработки миросозерцания молодого Толстого. В октябре 1893 года в поздравительном письме Григоровичу по случаю 50-летия его литературной деятельности Толстой писал: «Вы мне дороги… в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня, вместе с “Записками охотника” Тургенева, ваши первые повести. Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда шестнадцатилетнего мальчика, не смевшего верить себе, “Антоном Горемыкой”, бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и – хочется сказать – нашего учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом».

И о повести Григоровича, и о рассказах Тургенева Толстой вспомнил еще раз в 1900 году, когда писал трактат «Рабство нашего времени». В одной из черновых редакций этого трактата Толстой упоминает о том, что в то время, когда существовали «рабовладельцы прежнего рабства» (то есть, до реформы 1861 года. – *А.Н.*), «явились люди, которые… прямо показали людям рабовладельцам всю жестокость их жизни, как это показали у нас “Записки охотника”, Григорович и др., и в Америке Бичер-Стоу, и люди рабовладельцы поняли, почувствовали, что они виноваты».

Репозиторий ВГУ

Именем Тургенева («старшего собрата» Толстого по литературе) поверяется его «вес», оригинальность в русской литературе. Это проявилось в оценках критики уже первого произведения Толстого – повести «Детство» – вполне самобытного, авторского. Н.Г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» относил Толстого, вместе с Гончаровым, Григоровичем, Тургеневым и Островским, к числу тех писателей, произведения которых «не наводят на мысль о заимствовании, не напоминают что-либо чужое».

Ну, а дальше идут обычные «хлопоты» по выпестыванию литературных талантов. О впечатлении от «Детства» Некрасов, напечатавший в «Современнике» этот дебют Толстого, писал не только автору, но и Тургеневу, который находился тогда в ссылке в своем имении Спасское. «Обрати внимание, – писал он в сентябре 1852 года, – на повесть «Детство» в IX номере – это талант новый и, кажется, надежный». В мае 1853 года Тургенев в одном из писем назвал «Детство» «прелестной повестью».

Тогда же в журналах появилось несколько повестей из жизни детей: «Неточка Незванова» и «Маленький герой» Достоевского, «Адам Адамыч» М. Михайлова, «История Ульяны Терентьевны» и «Яков Яковлич» П. Кулиша. И все эти произведения ни в какое сравнение не могут идти с повестью Толстого. Тургенев в ноябре 1852 года писал Некрасову: «Я прочел “Якова Яковлича”. В авторе есть талант, но не большой и не надежный. Но все-таки “Яков Яковлич” – повесть не дюжинная, и если автор молод – выработается. Только от него до Толстого (Льва Николаевича. – *А.Н.*), как от земли до неба…». Сам Толстой, прочитав «Историю Ульяны Терентьевны», записал в дневнике 29 сентября 1852 года: «Читал новый “Современник”. Одна хорошая повесть, похожая на мое “Детство”», но он было написал: “хуже”, а затем поправил: “неосновательная”.

В хоре похвал Толстому за его первую повесть голос Тургенева выделяется многократно. Сестра Толстого Мария Николаевна писала ему в апреле 1852 года, что написанное им «очень мило» и что это не только ее личное мнение (которое может быть пристрастно в силу любви к брату), но что это общий голос. Она прибавляла, что от невестки И.С. Тургенева, ее соседа по имению, она слышала: «Иван Сергеевич прочел эту статью (повесть “Детство”. – *А.Н.*) и очень ее хвалит, и очень желал бы с тобой познакомиться, он даже посылал к нам узнать, правда ли, что ты будто приехал с Кавказа. Каким образом все узнали, что ты писал, я не знаю, но мне все знакомые твердят: “Как ваш брат мило пишет!”».

Толстой, со своей стороны, ревностно следит за творчеством Тургенева. Летом 1853 года на Кавказе (в Пятигорске) Толстой страдал от одиночества. В эти поры он обычно усиленно работает (здесь – над второй повестью трилогии «Отрочество») и читает. Так, перечитывание «Записок охотника» вызывает у него в дневнике следующую выразительную запись (27 июля): «Читал “Записки охотника” Тургенева, и как-то трудно писать после него». Идейную сторону «Записок охотника» Толстой оценил еще гораздо раньше; теперь его внимание останавливает художественное мастерство Тургенева.

Репозиторий ВГУ

Но более, чем художественная сторона произведений Тургенева, Толстого волновала идейная направленность его творчества, прежде всего в «Записках охотника», где представлены были «живые души» крестьян, с симпатией изображенных автором. Именно эта, социально-нравственная авторская, оценка в «Записках охотника» импонировала Толстому. В октябре 1853 года Толстой делает запись, имеющую очень большое значение для раскрытия эволюции его идейно-творческих взглядов. Запись была вызвана чтением романа Григоровича "Рыбаки", печатавшегося в «Современнике» за 1853 год. Толстой пишет: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше говорить про него… одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его "Рыбаков". Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного; поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго».

Запись эта служит одновременно и выражением отношения Толстого того времени к «простому народу», и изложением того принципа, которым, по его мнению, должен руководиться писатель при изображении людей из «простого народа».

Взаимные симпатии Толстого и Тургенева крепли год от года. Этому споспешествовало появление в «Современнике» в 1854 году «Отрочества» Толстого, которое, по словам Некрасова, «произвело в читающем мире то, что называется, эффект». И ряд хвалебных отзывов об «Отрочестве» находим в письмах Тургенева. В частности, Е.Я. Колбасину он писал в октябре 1854 года: «Очень рад я успеху Отрочества. Дай только Бог Толстому пожить, а он, я твердо уверен, еще удивит нас всех – это талант первостепенный».

Другие высказывания Тургенева о Толстом, вызванные появлением «Отрочества», еще более значительны.

За два года до этого умер Гоголь. Русская литература осиротела, и людям, преданным литературе, естественно, представлялся вопрос: кто теперь будет преемником Гоголя? Вопрос этот занимал и Тургенева, и вот что писал он Л.Н. Вакселю в октябре 1854 года: «Прочел "Отрочество" в 10 книге "Современника". Вот наконец преемник Гоголя». То же самое писал Тургенев И.Ф. Миницкому месяц спустя: «В 10 № "Современника" вы найдете повесть Толстого, автора "Детства", – перед которою все попытки кажутся вздором. – Вот наконец преемник Гоголя, нисколько на него не похожий, как оно и следовало».

Предвидя будущую славу Толстого, Тургенев в октябре 1854 года писал П.В. Анненкову: «Я на днях познакомлюсь с сестрой Толстого (автора "Отрочества", – скоро не нужно будет прибавлять этого эпитета – только одного Толстого и будут знать в России)».

24 октября 1854 года в Покровском состоялось знакомство Тургенева с М.Н. Толстой. Инициатива знакомства исходила от Тургенева. 17 октября он писал В.П. Толстому: «Милостивый государь, посылаю Вам № "Современника", в котором помещена повесть брата Вашей супруги – "Отрочество" – думая, что это будет интересно для Вас. – Я давно имел желание с Вами познакомиться; если и Вы с Вашей стороны не прочь от этого, то назначьте мне

Репозиторий ВГУ

день, когда мне к Вам приехать, начиная со вторника. – Я чрезвычайно ценю талант Льва Николаевича и весьма желал бы знать о нем, где он и что с ним». Сестре Толстого Тургенев писал в декабре: «“Отрочество” произвело здесь глубокое впечатление – Лев Николаевич стал во мнении всех в ряду наших лучших писателей – и теперь остается ему написать еще такую же вещь, чтобы занять первое место, которое принадлежит ему по праву – и ждет его. – Извещайте меня о нем, пожалуйста».

О знакомстве Тургенева с Марьей Николаевной первым известил Толстого его брат Николай Николаевич. Лев Николаевич в январе 1855 года писал тетушке Ергольской, что он «в восторге от этого знакомства и просит сказать Тургеневу, что хотя он знаком с ним только по его сочинениям, он многое хотел бы сказать ему».

21 марта 1855 года Толстой записывает, что получил «восхитительное» письмо от сестры, в котором она описывала свое знакомство с Тургеневым. В этом письме, к сожалению, не сохранившемся, М.Н. Толстая передавала какое-то очень сочувственное мнение Тургенева о Толстом, на что указывает запись Толстого от 27 марта, где он выражает согласие с мнением Тургенева о том, что «нашему брату, литератору, нужно одним чем-нибудь заниматься». Тургенев, очевидно, говорил сестре Толстого, что, по его мнению, Льву Николаевичу, как одаренному несомненным и большим художественным талантом, следует оставить военную службу и заняться исключительно литературой. Вполне понятна запись Толстого в дневнике относительно письма сестры с отзывом Тургенева: «Милое, славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к деятельности».

Симпатии Толстого к Тургеневу нашли свое воплощение в следующем факте. 1 июня 1855 года Толстой взялся за работу над окончанием «Записок юнкера» и закончил их через 17 дней. В тот же день рассказ был отправлен в редакцию «Современника». Он появился в 9-м номере за 1855 год. В конце рассказа стояла обычная в то время подпись Толстого – Л.Н.Т. Рассказ назывался «Рубка леса. Рассказ юнкера», с посвящением И.С. Тургеневу.

В основу сюжета рассказа положен эпизод похода против горцев зимою 1853 года, в котором Толстой принимал участие.

Рассказ начинается с описания ночного выступления колонны войск на рубку леса. Рассказчик, юнкер, за отсутствием офицера, командует взводом, как и было в действительности с Толстым. Дойдя до описания начала стрельбы, Толстой не упускает случая, как он делал это всегда при описании сражений, упомянуть о том, что звуки первых винтовочных выстрелов «как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех».

Далее дается сцена разговора солдат-артиллеристов у костра в то время, как пехота занята рубкой леса. По-видимому, именно эта сцена и заключительная глава рассказа, где также приводится разговор солдат у костра с участием самого рассказчика, дали повод Толстому заметить в рассказе какое-то воздействие «Записок охотника» Тургенева. В письме к редактору «Современника» Некрасову от 14 июня 1855 года Толстой, обещая в ближайшие дни послать «Записки юнкера», вместе с тем просил узнать у Тургенева, разрешит ли он посвятить ему этот рассказ. «Эта мысль, – писал Толстой, – пришла мне

Репозиторий ВГУ

потому, что когда я прочел статью, я нашел в ней много невольного подражания его (Тургенева. – *А.Н.*) рассказам». (Как известно, в центре рассказа Тургенева «Бежин луг» – ночной разговор мальчиков у костра).

В сентябрьской книжке «Современника» 1855 года Некрасов писал по поводу «Рубки леса»: «Дельное, так сказать, практическое направление, принятое нашей литературой в последние пятнадцать или двадцать лет и состоящее в стремлении к изучению своего, национального, во всех его проявлениях и сословиях, почти не коснулось сословия военного. Со времени фразистых повестей Марлинского, в которых и офицеры, и солдаты являлись в несвойственной им мантии средневековых воинов, мы не имели ничего о русском солдате. И вот является писатель, который вводит нас в этот совершенно новый для нас мир. Подобно г. Тургеневу, который девять лет тому назад начал свои очерки народных характеров (в “Записках охотника”. – *А.Н.*) и постепенно представил перед нами ряд оригинальных, живых и действительных лиц, о которых мы до него не имели понятия, г. Л.Н.Т. в своей “Рубке леса” представляет нам несколько типов, которые могут служить ключом к уразумению духа, понятий, привычек и вообще составных элементов военного сословия. Еще несколько таких очерков – и военный быт перестанет быть темною загадкою. Мастерство рассказа, полное знание изображаемого быта, глубокая истина в понимании и представлении характеров, замечания, исполненные тонкого и проницательного ума, – вот достоинства рассказа г. Л.Н.Т.».

Дальше – больше. В июньской книжке «Современника» появляется рассказ Толстого «Севастополь в декабре месяце», который имел большой успех в письмах разных лиц, а также в отзывах журналов и газет. Тургенев из своего Спасского писал И.И. Панаеву в июле 1855 года: «Статья Толстого о Севастополе – чудо! Я прослезился, читая ее и кричал ура!.. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий».

Следующий рассказ севастопольского цикла «Севастополь в мае» взбудоражил редакцию «Современника». И.И. Панаев, прочитав рукопись рассказа Толстого (Некрасова в это время не было в Петербурге), утверждал в письме Толстому от 18 июля 1855 года, что новый рассказ Толстого «несравненно лучше» его первого севастопольского очерка (“Севастополь в декабре месяце”), но что, несмотря на это, рассказ этот «меньше понравится по той причине, что героем его – *правда* (курсив наш. – *А.Н.*), а правда колет глаза, голой правды не любят, к правде без украшений не привыкли».

Сходную с робкой панаевской оценкой «Севастополя в мае» высказал эпикуреец Боткин: «Вторая статья Толстого о Севастополе необыкновенно хороша, но она напечатается с большими изменениями или, лучше сказать, с переменою духа ее». Отдавая должное «большому тонкому таланту» Толстого, Боткин в то же время находил, что «статья унылая; она непременно произвела бы самое дурное впечатление».

Не так отнесся к рассказу Толстого в его не тронутом редакцией и цензурой виде Тургенев. Извещая сестру Толстого о том, что он достал рассказ ее брата «в целости» и заказал для нее копию этого рассказа, прибавил: «Страшная вещь».

Репозиторий ВГУ

Во второй половине 1855 года встал вопрос об уходе Толстого с военной службы. Решению оставить ее немало способствовали полученные Толстым письма от Панаева, Некрасова и позднее – Тургенева.

Именно об этом он писал Толстому в своем первом письме от 9 октября 1855 года, направленном из имения сестры Толстого Покровского. Начав с выражения горячей благодарности за посвящение ему «Рубки леса» («ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию…»), далее Тургенев писал: «Жутко мне думать о том, где вы находитесь. – Хотя с другой стороны я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям – но всему есть мера – и не нужно вводить судьбу в соблазн – она и так рада повредить нам на каждом шагу. – Очень было бы хорошо, если б Вам удалось выбраться из Крыма – Вы достаточно доказали, что Вы не трус – а военная карьера все-таки не Ваша – Ваше назначение – быть литератором, художником мысли и слова… Повторяю Вам – Ваше орудие – перо – а не сабля – а Музы не только не терпят суеты (перефразированные слова из стихотворения А.С. Пушкина: “Служенье Муз не терпит суеты”. – *А.Н.*) – но и ревнивы». Тургенев прибавлял, что если бы Толстому удалось приехать хотя бы на время в отпуск в Тульскую губернию, он нарочно приехал бы туда из Петербурга, чтобы познакомиться с ним лично. «Мне кажется, мы бы сошлись – и наговорились – вдоволь, и может быть наше знакомство не было бы бесполезным для обоих».

…С отъездом Толстого из Севастополя и с приездом его 19 ноября 1855 года в Петербург началась новая полоса в его жизни и творчестве.

Толстой сразу вошел в круг самых известных русских писателей. Тургенев взял на себя роль гостеприимного хозяина, гида и… немножко ментора, от роли которого Толстой мягко заставил Тургенева постепенно отказаться.

Остановившись в гостинице, он сейчас же отправился к Тургеневу. Встретившись с ним, они, как на другой день писал Толстой сестре, «сейчас же изо всех сил расцеловались». «Он очень хороший», – писал Толстой про Тургенева.

Тургенев уговорил Толстого из гостиницы переехать к нему на квартиру, на что Толстой согласился. Переехав к Тургеневу, Толстой сразу же вошел в курс всех событий дня среди сотрудников «Современника». У Тургенева и Некрасова Толстой знакомится со многими другими петербургскими писателями: Дружининым, Тютчевым, Гончаровым, Майковым, Писемским, Огаревым, Жемчужниковым, Анненковым, Боткиным, Фетом…

Тургенев в письмах к разным лицам продолжает отзываться о Толстом с большим сочувствием. «Ты уже знаешь от Некрасова, – писал он В.П. Боткину, – что Толстой здесь и живет у меня. – Очень бы я хотел, чтобы ты с ним познакомился. – Человек он в высшей степени симпатичный и оригинальный». Затем – П.В. Анненкову: «Вообразите: вот уже более двух недель у меня живет Толстой (Л.Н.Т.), – и что бы я дал, чтобы представить, что это за милый и замечательный человек – хоть он за дикую реальность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое».

Пояснением письма Тургенева может служить запись в дневнике Дружинина в декабре 1855 года. Дружинин пишет, что накануне за обедом у Не-

Репозиторий БГУ

красова, где были также Панаев с женой и цензор «Современника» Бекетов, «Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редифом. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, затем объявил, что не считает себя литератором и т.д.». От Некрасова поехали к больному Тургеневу, и там Толстой «объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою». Такое суждение о Шекспире должно было сильно задеть за живое членов редакции «Современника», преклонявшихся перед Шекспиром. Дружинин и в дальнейших записях своего дневника отмечает жаркие споры Толстого с Тургеневым. Так, 26 декабря у Тургенева «Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез»; 1 января нового 1856 года у Боткина «Тургенев спорил с Толстым по обыкновению».

Однако на первых порах все споры Толстого с писателями протекали в дружелюбной и благодушной атмосфере. Тургенев, руководимый «отеческим чувством», старался внушить «троглодиту», бывшему моложе его на десять лет, все те литературные взгляды, которые разделял он сам.

Одно время «отеческое чувство» Тургенева возмущалось тем образом жизни, который Толстой вел в Петербурге. 14 декабря Дружинин записывает в своем дневнике: «Тургенев в великом озлоблении на башибузука за его мотовство и нравственное безобразие». О том же рассказывает Фет в своих воспоминаниях. Придя раз к Тургеневу, он узнал, что у него живет приехавший из Севастополя Толстой. Было десять часов утра, но Толстой еще не просыпался. «Вот все время так, – с усмешкой сказал Фету Тургенев. – Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой».

В декабре Толстой присутствует на чтении Тургеневым только что законченного им романа «Рудин». Новый роман Тургенева не произвел на Толстого большого впечатления. В 1894 году Толстой рассказывал: «Я помню… слушал “Рудина”; Тургенев читал у Некрасова. Были тут Анненков, Боткин; все глубокомысленно обсуждали; я был моложе их всех; я был удивлен, как это Тургенев – и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь».

9 декабря Тургенев писал Анненкову, что Толстой читал «начало своей “Юности” и начало другого романа – есть вещи великолепные!». «Другой роман» – это, конечно, «Беглец» (первая редакция «Казаков»).

31 января 1856 года Толстой вместе с Майковым, Анненковым, Гончаровым, Фетом, Панаевым и Григоровичем слушает у Некрасова новый перевод «Короля Лира» Шекспира, сделанный Дружининым. «Вечером, – пишет в этот день в дневнике Дружинин, – я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира». 3 февраля Дружинин уже сообщает Боткину, что «Толстой покупает себе Шекспира и хочет с сим великим мужем примириться».

6 февраля 1856 года у Толстого произошло первое нам известное принципиальное столкновение с сотрудниками «Современника». В этот день, как записано у него в дневнике, он «поссорился с Тургеневым». Об этом столкновении сохранились рассказы Тургенева и Некрасова в письмах к В.П. Боткину.

Тургенев писал Боткину 8 февраля: «С Толстым я едва ли не рассорился, – нет, брат, невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или

Репозиторий ВГУ

иначе. Третьего дня за обедом у Некрасова он по поводу Ж. Занд высказал столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя. – Спор зашел очень далеко – словом – он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете. – Когда-нибудь расскажу тебе, а писать неловко».

Первое серьезное столкновение Толстого с сотрудниками «Современника» и в особенности с Тургеневым не надолго отдалили их друг от друга. Уже 19 февраля Толстой записывает в дневнике: «Обедал у Тургенева, мы снова сходимся».

В мартовской книжке «Современника» за 1856 год появился рассказ Толстого «Метель». Знатоки литературы оценили его очень высоко. Тургенев в письме к С.Т. Аксакову называет рассказ Толстого «превосходным».

14 апреля была закончена новая повесть Толстого «Отец и сын». По совету Некрасова ей дано было название «Два гусара». А днем раньше повесть была прочитана автором Тургеневу, который «хлопал себя по ляжке и говорил, что прелестно».

Отношения Толстого с Тургеневым в последние месяцы его пребывания в Петербурге весною 1856 года были очень неровные. «С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся», – записывает Толстой 12 марта. Но уже 13 апреля Толстой читал Тургеневу своих «Двух гусаров», а 20 апреля «очень весело болтал» с ним. 25 апреля Толстой был у Тургенева и провел у него время «с удовольствием». После отъезда Тургенева из Петербурга в свое Спасское 10 мая Толстой пишет тетушке Т.А. Ёргольской, что ему очень хочется поскорее уехать из Петербурга. «Тургенев уехал, которого я чувствую теперь, что очень полюбил, несмотря на то, что мы все ссорились. Так что мне бывает ужасно скучно», – писал Толстой.

Очень переживал по поводу ссор Толстого и Тургенева Н.А. Некрасов, который убеждал Толстого: «Эта душа (Тургенев. – *А.Н.*), вся раскрывающаяся, – при Вас сжалась и как-то упорно не размыкается. Грустно вас видеть вместе. Вы должны бы быть друзьями, а вы что?».

А.А. Фет совершенно был прав, когда утверждал, что общественно-политические воззрения Тургенева не отличались большой определенностью. Но он не улавливал основной причины, вызывавшей столкновения Толстого с Тургеневым. Основная же причина столкновения лежала не только в разногласиях по политическим вопросам, но также и в том, что Толстой не верил в искренность и глубину литературных воззрений Тургенева. По мнению Толстого, суждения, которые высказывал Тургенев, не были тем кровным убеждением, которое человек готов отстаивать ценою жизни, а были лишь «праздными разговорами», «фразой» (Толстой в то время любил употреблять это слово) [14, с. 42–43].

Следует сказать, что присутствие «фразы» в речах Тургенева признавал не только Толстой, но и его брат Николай Николаевич, которого так любил и ценил Тургенев. 19 июля 1860 года Лев Николаевич писал Фету, что любит его за то, что в нем «нет фразы, как например, в милейшем и пр. Иване Сергеевиче». Заметим, однако, что столь напряженные и неровные отношения складывались у Толстого из всех старых сотрудников «Современника» с одним только Тургеневым.

Репозиторий БГУ

Разумеется, было бы большой ошибкой думать, будто каждая встреча Толстого с членами редакции «Современника» непременно приводила к спору или даже к ссоре. Вспоминая это время, Гончаров рассказывает, что когда он в 1855 году приехал в Петербург, он сблизился с кружком писателей, в который входили Тургенев, Анненков, Боткин, Некрасов, Панаев, Григорович и к которому позднее присоединился и Толстой. «Лев Николаевич, – пишет Гончаров, – сходился с нами почти ежедневно у тех же лиц – Тургенева, Панаева и пр. Говорили много о литературе, обедали шумно, весело, словом, было хорошо».

В мае 1856 года Толстой навестил Тургенева в его имении Спасское. «Дом его, – записал Толстой в дневнике про Тургенева, – показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним». То же самое писал Толстой о Тургеневе Некрасову 12 июня: «Его надо показывать в деревне. Он там совсем другой, более мне близкий, хороший человек». «Поболтавши» с Тургеневым «очень приятно», Толстой 1 июня увез его с собой в имение Покровское своей сестры Марии Николаевны. Дорогой тоже «понятно болтали»; в Покровском опять «очень хорошо болтали» с Тургеневым.

В середине июня Толстой написал Тургеневу не дошедшее до нас письмо, в котором извещал о неудачах своих переговоров с крестьянами и вспоминал об «овраге», их разделяющем, как он называл свои недоразумения с Тургеневым. Вероятно, Толстой писал о своем желании уничтожить этот «овраг». Тургенев отвечал на это письмо в примирительном тоне: «Что касается до “оврага”, – писал он, – то между нами осталось только воспоминание недоразумения, которое исчезает или даже уже исчезло давно».

А вот уже чисто творческая взаимосвязь этих двух литературных талантов. Можно сказать, что Тургенев имеет прямое отношение к замыслу Толстого «писать историю лошади» (дневник от 31 мая 1856 года). В 1881 году Тургенев рассказывал, как они с Толстым летом в деревне на выгоне увидели старую лошадь жалкого обличья: ноги погнулись, кости выступили от худобы, она даже травы не щипала и лишь отмахивалась от мух. Толстой погладил жалкое животное, приговаривая, чтó старый мерин, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Тургенев даже заслушался. Толстой не только вошел сам, но и Тургенева ввел в положение этого несчастного существа. Он не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью».

А вот в июле 1856 года произошла очередная встреча Толстого с Тургеневым в Покровском, произведшая на Толстого совершенно противоположное впечатление. В дневнике Толстой записывает: Тургенев «решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойдусь». И через три дня: «Тургенев глупо устроил себе жизнь. Нельзя устроить необыкновенно. У него вся жизнь притворство простоты. И он мне решительно неприятен».

Со своей стороны, Тургенев пытается честно объясниться с Толстым в письме от 13 сентября из предместья Парижа Куртавнеля. В нем сквозит уже большая доля скептицизма: «Я никогда не перестану любить вас и дорожить вашей дружбой, – писал Тургенев, – хотя – вероятно по моей вине – каждый из нас в присутствии другого будет еще долго чувствовать небольшую нелов-

Репозиторий ВГУ

кость». Тургенев пытается определить, в чем заключается причина этой неловкости. «Вы единственный человек, – пишет он, – с которым у меня произошли недоразумения; это случилось именно оттого, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными сношениями – я хотел пойти далее и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; вот отчего и образовался этот "овраг" между нами». Тургенев говорит далее, что между ним и Толстым, кроме собственно литературных интересов, мало точек соприкосновения. Каждый идет своей дорогой. Толстой, по мнению Тургенева, и не может быть ничьим последователем. «Вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем», – пишет Тургенев. С большой прозорливостью устанавливает Тургенев, что они с Толстым никогда не будут друзьями «в Руссовском смысле» (то есть, в смысле душевной близости и откровенности), «но каждый из нас будет любить другого, радоваться его успехам».

Это письмо не понравилось Толстому.

14 октября Толстой у своей сестры в ее Покровском беседовал с вольноотпущенным Тургенева Кудряшовым, заведовавшим больницей в Спасском, который, как записал Толстой, «с наслаждением часа два» ругал дядю Тургенева, управлявшего его имением. Но Толстой в этом случае не принял сторону Ивана Сергеевича. «Тургенев кругом виноват, – записал он в дневнике. – Никакая художническая струя не увольняет от участия в общественной жизни». (Еще раньше Толстой записал: «Тургенев ничем не хочет заниматься под предлогом, что художник неспособен»). Этими словами Толстой, по-видимому, хотел сказать, что он не оправдывает того, что Тургенев, считая себя исключительно художником, совершенно отстранялся от всякого участия в жизни своих крепостных, всецело предоставив устройство их быта своему управляющему.

Из последующего обмена письмами взаимоотношения Толстого и Тургенева не претерпели существенного изменения. Толстой вновь пытался уяснить свои отношения с литературным собратом. Тургенев опять повторяет, что не может быть совершенно откровенен с Толстым и хотя и любит его как человека («об авторе и говорить нечего»), но многое в нем его коробит, и он счел «удобнее» держаться от него подальше (!). «В отдалении, – признается Тургенев, – (хотя это звучит довольно странно. – *А.Н.*) сердце мое к Вам лежит как к брату, – и я даже чувствую нежность к вам». Не сомневаясь в том, что он любит Толстого, Тургенев надеется, что «со временем» из этого «выйдет все хорошее».

В сентябре 1856 года А.В. Дружинин пишет почти провокационное письмо Толстому, которого подталкивает в союзе с Тургеневым и Островским взять «контроль» над «Современником» Некрасова и Чернышевского [15]. «Спешите же, – писал он далее, – ознакомиться с ходом журналистики, изучить теории Белинского, потому что на этом пункте будет у вас огромное разногласие [16], и з г о т о в и т ь с я (разрядка наша. – *А.Н.*) к делу и посредством взаимного соглашения и где можно уступок, принять голос, вам подобающий. Не принимайтесь за дело круто и до времени терпите безобразие Чернышев-

Репозиторий ВГУ

ского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете. Зато высмотревши все и решившись, поднимайте голос и стойте за свои мнения».

В ответном письме Дружинину Толстой на последнюю часть его письма отозвался только такими словами: «Безобразие Чернышевского, как вы называете, все лето тошнит меня». Что же касается предложения Дружинина «изготовиться» (военный термин!) к тому, чтобы взять контроль над «Современником» и быть вместе с Тургеневым и Островским его представителями, то это предложение, по-видимому, не встретило в Толстом никакого сочувствия. Он ни одним словом не ответил на него в своем письме и к чтению статей Белинского не приступил. Все, что сделал Толстой по этому пункту письма Дружинина, состояло в том, что он в тот же день написал письмо Тургеневу, в котором, обсуждая свои с ним отношения, сообщая о нездоровье сестры и об окончании первой половины «Юности», что-то неодобрительное (письмо до нас не дошло) писал о статьях Чернышевского. Тургенев согласился с ним лишь отчасти. «Теперь о статьях Чернышевского, – писал он в ответном письме. – Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души; но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском – выпискам из его статей, – радуюсь тому, что, наконец, произносится с уважением это имя. – Впрочем, вы этой моей радости сочувствовать не можете», – с грустью прибавлял Тургенев, вспоминая резкие отзывы Толстого о Белинском.

Весь ноябрь и большую часть декабря 1856 года Толстой проводит в усиленной литературной работе. Он ведет замкнутый, уединенный образ жизни, не бывает в свете, видится главным образом с литераторами, слушает музыку и сам занимается музыкой, ежедневно делает гимнастику, читает и пишет. Все писатели, видившиеся и переписывавшиеся с Толстым в то время, замечали большую перемену, происшедшую с ним за время пятимесячного пребывания в деревне. Он уже не держался с литераторами так вызывающе, как в первые месяцы после Севастополя. Боткин 6 декабря писал Тургеневу в Париж: «Толстой делается решительно милым, простым и восхитительным». «Толстой делается проще и легче для меня», – писал в тот же день Тургеневу Панаев. На это письмо Тургенев ответил Панаеву: «Радуюсь появлению “Юности” и умиротворению самого Толстого – это очень хорошо». Самому Толстому в ответ на его письмо Тургенев 8 декабря писал: «Ото всего письма веяло чем-то кротким и ясным, какой-то дружелюбной тишиной».

В ноябрьской книжке «Отечественных записок» Толстой прочитал рецензию С.С. Дудышкина на отдельное издание его «Детства и Отрочества» и «Военных рассказов». Рецензия была неблагоприятная. Однако Толстой, всегда склонный умалять достоинства своих произведений, не только не заметил вопиющей несправедливости рецензии «Отечественных записок», но, напротив, нашел ее «умной и дельной» (запись в дневнике от 11 ноября). И тут за Толстого возмутился не кто-нибудь, а Тургенев, который 13 января 1857 года писал Дружинину из Парижа: «Каков однако бессовестный Андриас (Дудышкин – *А.Н.*)! Какую статеечку он об “Детстве” и “Отрочестве” тиснул!». В свою очередь, и Толстой возмутился, когда тот же журнал обрушился со столь же несправедливой статьей на Тургенева. Е.Я. Колбасин писал Турге-

Репозиторий ВГУ

неву по поводу этой статьи о нем в «Отечественных записках»: «Из литераторов больше всех почувствовал эту философски рассчитанную ложь… кто бы вы думали? Толстой. К моему крайнему изумлению, он был возмущен страшно, а остальные литераторы только помалчивали».

Еще один пример объективности великих писателей в оценке творчества друг друга, несмотря на возможные шероховатости в личных взаимоотношениях, – оценка Тургеневым повести Толстого «Утро помещика». «Главное нравственное впечатление этого рассказа (в русском литературоведении XX века за этим произведением закрепилось жанровое определение повести. – *А.Н.*), – писал Тургенев Дружинину в январе 1857 года относительно "Утра помещика", – (не говорю о художественном) – состоит в том, что пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения – "это впечатление хорошо и верно"». Какое точное определение замысла автора и авторской позиции в повести «Утро помещика»! Правда, далее Тургенев – неизвестно на каком основании – делает оговорку, что рядом с главным впечатлением от рассказа «бежит другое, побочное, пристяжное, – а именно то, что вообще просвещать мужика, улучшать его быт ни к чему не ведет – и это впечатление неприятно». По-видимому, Тургенев так субъективно и пессимистично истолковал авторскую позицию финала повести, где главный герой Нехлюдов пребывает в растерянности от неудавшегося «гуманитарного» эксперимента; но опускать руки он не намерен, и именно просвещением крестьян думает заняться, – как это осуществит на деле сам автор повести Л.Н. Толстой, создав в конце 50-х годов в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и разработав специальную для этого методику (ныне именуемую «Школой Л.Н. Толстого»).

Но, как всегда чуткий к художественным достоинствам произведений Толстого, Тургенев заключает свой отзыв об «Утре помещика» словами: «Но мастерство языка, рассказа, характеристики великое».

Конец 1856 года обозначен влиянием Дружинина, ярого оппонента Чернышевского, на Толстого. Это общеизвестно в толстоведении. Об этом свидетельствуют и Анненков, и Д. Колбасин, и брат Колбасина Елисей. Это касалось первой статьи Дружинина «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», направленной против статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы».

Вторая статья Дружинина (декабрь 1856 года) посвящена поэзии, и она не встретила сочувствия у Толстого. Это явилось первым поводом отторжения Толстого от теории «чистого искусства». Толстой, в отличие от Дружинина, не считал литературу средством доставления читателю только эстетического наслаждения, и этой стороны творчества Толстого Дружинин не учитывал, если не сказать – совершенно не понимал. В то время как для Тургенева «Севастополь в мае» был «страшной вещью», для Дружинина этот хватающий за душу рассказ был только изображением «поэзии военного быта», то есть Дружинин в своих статьях о Толстом проявил полное непонимание основного движущего начала творчества Толстого.

Репозиторий ВГУ

Но следует сказать и о том, что члены «эстетического триумвирата» (Боткин – Анненков – Дружинин) высоко ценили в Толстом его моральные качества. Они видели также (особенно Анненков и Боткин), что интересы Толстого не ограничиваются одной сферой искусства, что в нем идет напряженная внутренняя работа и никогда не прекращается борьба с самим собою. Своими впечатлениями от личности Толстого и бесед с ним все члены «триумвирата» делились с их общим другом Тургеневым, находившимся в то время за границей.

Еще до приезда Толстого в Петербург Дружинин писал Тургеневу в октябре 1856 года: «Я не понимаю, отчего вы всегда не ладили с Толстым. Чем больше узнаю я и его, и его талант, тем более я к нему привязываюсь. Вот настоящая юная и сильная натура, русская, светлая, привлекательная и в капризах, и в ребячестве».

Боткин писал Тургеневу в январе 1857 года: «Толстой все это время здесь – ты бы не узнал его, если бы увидел. Это во всех отношениях редкая натура; много сил и необыкновенное внутреннее стремление».

В январе 1857 года, уже по отъезде Толстого из Петербурга, Анненков писал Тургеневу: «В последнее время я пришел к такому убеждению, что между нами нет лица более *нравственного* (курсив Анненкова. – *А.Н.*), чем Толстой. Он способен к героизму внутренней честности или по крайней мере “понимает ее в героических размерах”».

Но и Боткин, и Анненков (не говоря уже о Дружинине) были способны только на то, чтобы «любоваться» той внутренней работой, которая происходила в Толстом. Поэтому и дружба его с «триумвиратом», чуждым тех моральных исканий, к которым постоянно непреодолимо тяготел Толстой, не могла быть прочной и через некоторое время сошла на нет.

Постоянным корреспондентом Толстого в последние месяцы 1856-го и в январе 1857 года был Тургенев.

В письме от 1 декабря 1856 года Толстой хвалил повесть Тургенева «Фауст» и выражал ему свое дружеское расположение.

Тургенев вполне оценил и то, и другое. «Ваше сочувствие меня искренно и глубоко обрадовало», – писал он в ответе от 8 декабря по поводу отзыва Толстого о его «Фаусте». На выражение Толстого своего дружеского чувства к нему Тургенев в том же письме отозвался так: «Мне остается протянуть Вам руку через овраг, который уже давно превратился в едва заметную щель, да и о ней упоминать не будем – она этого не стоит».

Делился Толстой с Тургеневым и своим сожалением о том, что вступил в «коалицию», то есть заключил «обязательное соглашение» с редакцией «Современника» о печатании своих новых произведений исключительно в этом журнале, «коалиция» эта, по мнению Толстого, не заключала в себе ничего «величественного». И в этом Тургенев соглашался с Толстым.

Получение этого письма Тургенева Толстой ответил в своем дневнике под 20 декабря словами: «Получил милое письмо от Тургенева».

В следующем письме от 16 декабря Тургенев отвечал на письмо Толстого, написанное в начале декабря. Толстой в этом письме опять выражал свое недовольство редакцией «Современника» и заключенным с нею «сою-

Репозиторий ВГУ

зом». Особенно он нападал на Чернышевского за его «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которых он, повторяя Дружинина, видел «фетишизм» в отношении автора к Белинскому и даже упрекал Чернышевского в том, что он преподносит своим читателям «тухлые яйца» вместо здоровой пищи.

В своем ответном письме Тургенев не спорил с тем, что «обязательное соглашение» с редакцией «Современника» имеет некоторые «неудобства», «но отступить теперь, – писал он, – было бы и нечестно, и неловко – даже смешно». Но Тургенев горячо встал на защиту статьи Чернышевского о Белинском и самого Белинского. Белинский, – писал Тургенев, – был человек, «который и радовался, и страдал, и жил в силу своих убеждений»; «в него за высказывание тех самых мыслей, которые стали теперь общими местами, со всех сторон бросали грязью, камнями, эпиграммами, доносами»; «он смертью избежал судьбы, может быть, очень горькой». Говоря о нападках Дружинина на Белинского за его резкую статью о Марлинском, Тургенев говорит что вопрос здесь шел не о Марлинском: «дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого, дело шло об разрушении авторитета мнимой силы и величавости». И только благодаря статьям Белинского о Марлинском, Бенедиктове и других ложных авторитетах «мы пошли вперед», – заключает Тургенев. Боясь, что это письмо раздражит Толстого, Тургенев в конце сделал оговорку, что письмо его «вышло как-то очень полемично».

Но опасения Тургенева не оправдались: Толстому, напротив, понравилась искренность и горячность этого письма. «Получил сухое, но милое письмо от Тургенева, – записал он в дневнике 1 января 1857 года (“сухое”, надо полагать, – в отношении к нему, Толстому)».

Расположение Тургенева к Толстому как к автору и как к человеку доходило в то время до того, что в письме к Панаеву он поручал Толстому держать корректуру предназначавшейся для «Современника» и ранее не пропущенной цензурою его пьесы «Нахлебник», причем давал Толстому право делать «поправки и сокращения». Но это поручение Тургенева не могло быть исполнено, так как его письмо уже не застало Толстого в Петербурге.

Постепенно отношение Толстого к «бесценному триумвирату» (так он называл «тройственный союз» Боткина, Анненкова, Дружинина) начинает колебаться. 2 января 1857 года Толстой писал брату Сергею Николаевичу: «Хотя я душевно люблю этих литературных друзей: Боткина, Анненкова и Дружинина, но все *умные* (курсив Толстого. – *А.Н.*) разговоры уже становятся скучны мне, хотя и были истинно полезны для меня». Что же касается главы «триумвирата» А.В. Дружинина (оппонента Чернышевского), то Толстой неожиданно для самого себя чувствует в это время не только охлаждение к нему, но даже отчуждение от него («удивительно, что мне с ним тяжело с глазу на глаз» – запись Толстого 8 января).

Таким образом, предвидение Тургенева сбылось: Толстой «объелся» Дружининым, вероятно, даже раньше, чем этого ожидал Тургенев…

…Первое заграничное путешествие Толстого (1857 год). Из Варшавы Толстой отправил телеграмму в Париж Тургеневу, прося ответить, долго ли он пробудет в Париже. Тургенев сейчас же ответил, что пробудет долго и что

Репозиторий ВГУ

вместе с ним в Париже находится Некрасов. Получив это известие, Толстой срочно почти без остановки доехал по железной дороге до Парижа (9 февраля 1857 года). В первый же день по приезде Толстой поспешил увидеться с Тургеневым и Некрасовым, но, вопреки его ожиданиям, встреча была нерадостна. «Они оба блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь», – писал Толстой на другой день Боткину.

Мрачное состояние Тургенева и Некрасова вызывалось как их болезненным состоянием, так и осложнениями в их личной жизни. Некрасов на другой же день уехал в Рим, а с Тургеневым Толстой виделся почти ежедневно во все время своего пребывания в Париже.

Тургенев, приехавший в Париж раньше Толстого, писал ему в конце ноября 1856 года: «Французская фраза мне так же противна, как и Вам, и никогда Париж не казался столь прозаически плоским. – Довольство не идет ему; я видел его в другие мгновенья – и он мне тогда больше нравился». (Тургенев был в Париже в 1848 году во время революции). Именно эта сторона парижской жизни – шум и блеск парижских развлечений – прежде всех других бросились и в глаза Толстому.

Живя в Париже, Толстой большую часть времени проводил в том, что со свойственной ему ненасытной любознательностью всматривался в новые для него условия жизни, поражавшие его своим разнообразием и отличием от условий русской жизни того времени. «Толстой здесь и глядит на все, помалчивая и расширяя глаза», – писал Тургенев Боткину 1 марта 1857 года. Иногда Толстой просто скитался по парижским улицам и бульварам, всматриваясь и вслушиваясь в шумную уличную жизнь французской столицы.

Толстой не усмотрел проявлений собственного поэтического творчества у французских поэтов и прозаиков того времени. Вместе с Тургеневым он приходил к заключению, что французы – народ не поэтический. «Правду писал Тургенев, – писал Толстой Боткину 5 апреля, – что поэзии в этом народе il n'y a pas» (не существует). Недостатком французской литературы того времени Толстой считал ее несамостоятельность, слишком большое приспособление ко вкусам читателей.

Краткость списка литературных знакомств Толстого в Париже объясняется тем, что хотя Тургенев и был знаком со многими французскими писателями того времени, в том числе с А. Дюма и Мериме, Тургенев сам не испытывал чувства удовлетворения от общения с ними.

В одном из парижских салонов, куда Толстой зашел вместе с Тургеневым, он познакомился с некоторыми французскими академиками, имена которых им не названы, но академики эти произвели на него невыгодное впечатление (как и на Тургенева), которое он выразил в дневнике словами: «мелко, пошло, глупо».

Что касается дружеских отношений, то друзьями Толстого во время его пребывания в Париже можно считать Боткина и, конечно, Тургенева.

Отношения с Тургеневым продолжали оставаться, как и раньше, очень изменчивыми, несмотря на их постоянные усилия сойтись как можно ближе. Записи парижского дневника Толстого о встречах и разговорах с Тургеневым очень многочисленны и часто противоречивы. Для нас ценны такие: «За обедом

Репозиторий ВГУ

сказал ему (Тургеневу. – *А.Н.*), чего он не думал, что я считаю его выше себя»; «Заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал из меня другого человека». Эта прочувствованная запись, говорящая об истинно дружеских отношениях Толстого к Тургеневу, завершает собою записи о Тургеневе в парижском дневнике Толстого.

Что касается Тургенева, то о своих впечатлениях от Толстого и об отношениях к нему он писал из Парижа многим из общих знакомых. Вот самые существенные характеристики: «С тех пор, как я писал вам (Анненкову. – *А.Н.*), много произошло нового… Толстой приехал. Действительно, он изменился во многом и к лучшему…»; «Толстой здесь. В нем произошла перемена к лучшему весьма значительная. Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след»; «Толстой… поумнел очень… Я радуюсь, глядя на него: это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы»; «Я вижусь с ним ежедневно и нахожу, что он изменился к лучшему во многом. – Он работает прилежно, и должно думать, что из него выйдет большой человек»; «Из него выйдет человек замечательный – и я первый буду любоваться и рукоплескать – издали». И, наконец, последнее упоминание о Толстом в парижских письмах Тургенева находим в его письме к Боткину от 4 апреля 1857 года: «Толстой начинает приучаться к терпимости и спокойствию; перебродит это вино – и сделается напитком, достойным богов».

Общий смысл всех высказываний Тургенева о Толстом в его парижских письмах сводится к тому, что, при всех колебаниях в личных отношениях, Тургенев нисколько не сомневается в блестящей литературной будущности, которая, по его мнению, предстоит Толстому.

24 января Толстой принялся за начатый им еще в Петербурге рассказ «Пропащий» (будущий «Альберт»), но написал только один листок. И так – 26, 27 февраля. В условиях рассеянной парижской жизни работа не шла; между тем Толстому хотелось поскорей закончить рассказ, чтобы он мог поспеть к апрельской книжке «Современника».

Когда Тургенев в начале марта собрался ехать для лечения в город Дижон, Толстой решил поехать вместе с ним, чтобы там в тишине и уединении докончить начатый рассказ.

Началась интенсивная работа. 10 марта Тургенев сообщал Анненкову: «Вообразите себе, что я здесь не один. Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы привести к окончанию начатую большую повесть. Несмотря на жесточайший холод, царствующий в комнате гостиницы, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом камине, на самом пылу огня, – он работает усердно, и страницы исписываются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность».

13 марта Толстой прочел «Пропащего» Тургеневу, но тот «остался холоден». Однако в своих письмах Тургенев отзывался об этом рассказе с большой похвалой. Так, Анненкову он писал 17 марта: «Толстой в Дижоне окончил вещь, которую он читал мне. Ее надо будет несколько переделать и обчистить – и тогда выйдет отличнейшая штука. Вы увидите».

Париж, в конце концов, «не пришелся в лад духовному строю» (слова Тургенева) Толстого, и он внезапно уехал в Женеву. Тургенев в письме к Ан-

Репозиторий ВГУ

ненкову от 15 апреля дает следующую общую характеристику личности Толстого, какой представлялась она ему в то время: «Странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича – что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо – высоко нравственное и в то же время несимпатичное».

Осенью 1857 года была напечатана повесть Толстого «Люцерн». Либеральные писатели и критики все без исключения отнеслись к «Люцерну» отрицательно – не за выраженные в ней религиозно-философские мысли, которые прошли никем не замеченными, кроме Тургенева, но за его критику западноевропейских нравов и буржуазных общественно-политических порядков (Панаев, Боткин, Анненков).

Разумеется, совершенно не одобрил «Люцерн» и Тургенев, который читал эту повесть еще в рукописи в Баден-Бадене, получив ее из рук автора. «Я прочел небольшую его (Толстого. – *А.Н.*) вещь, написанную в Швейцарии, – писал Тургенев Боткину 4 августа. – Не понравилась она мне: смешение Руссо, Теккерея и краткого православного катехизиса». Самому Толстому Тургенев писал 25 ноября 1857 года: «Идите своей дорогой – и пишите, – только, разумеется, не люцернскую морально-политическую проповедь».

1858 год. Интерес к социально-общественным, актуальным вопросам современности стал в это время преобладающим в литературе. Вызван он был переменами в самой жизни, обстановкой общественного возбуждения, предшествовавшей революционной ситуации 1859–1861 годов. Толстой еще в 1857 году замечал усилившееся тяготение массы читателей к обличительному направлению в литературе. Теперь это тяготение еще больше усилилось и определилось. Он считал, что художественные произведения, не связанные непосредственно с текущей жизнью («наша литература»), доступны и интересны только незначительному меньшинству. В этих словах Толстого – зародыш того отрицательного отношения к искусству «образованных классов» (в противоположность народному творчеству), которое через пять лет Толстой выскажет в своих педагогических статьях. Он доволен тем, что не послушал Тургенева, который доказывал ему, что «литератор должен быть только литератор»: «Это было не в моей натуре», – резюмировал Толстой.

Тургенев забеспокоился. «Я не хочу верить, – писал он Толстому из Рима 25 ноября 1858 года, – чтобы нынешнее юридическое направление литературы Вас сбило с толку; идите своей дорогой – и пишите…». Здесь Тургенев явно обеспокоен тем, как бы вечно ищущий и мечущийся Толстой, у которого, по образному выражению Тургенева, всегда «гончие под черепом гоняли до изнеможения», не был бы захвачен новым («юридическим», как его называл Тургенев) направлением литературы, которому Тургенев не мог сочувствовать.

Интересна история с несостоявшимся проектом Толстого по изданию *чисто художественного журнала.*

Опасения Тургенева относительно склонности Толстого поддаться господствующему в 60-е годы течению либерально-обличительной, а тем более революционно-демократической беллетристики были напрасны, ибо сам Толстой решил «дерзнуть» – вступить с этим течением в борьбу. А средством борьбы Толстому представилось издание нового, совершенно чуждого общест-

Репозиторий ВГУ

венно-политическим вопросам, журнала. Он советовался с Тургеневым, Фетом, Боткиным, Дружининым. Идею такого журнала встретили одобрительно Гончаров, Писемский, Анненков, Майков, поэт Михайлов и многие другие.

Боткин и Тургенев отказались участвовать в этом предприятии – и тем не менее Толстой упорно думал о таком независимом от злобы дня журнале. Причина этого «рвения» – в общем отношении Толстого той поры к обличительной литературе 60-х годов. По его мнению, назначение литературы – во всестороннем отражении *внутренней* жизни человека. И потому он опасался, что господство обличительного направления сделает литературу односторонне-тенденциозной. Другая причина состояла в том, что большинство произведений либерально-обличительного (не революционно-демократического – Чернышевский, Решетников, Г. Успенский) направления было очень слабо в художественном отношении.

Д.И. Писарев, как бы стоявший над устаревшими уже плоскими спорами о «гоголевском» и «пушкинском» направлениях, по-базаровски реалистично мыслящий критик (см. его статью «Мыслящий пролетариат») в своей статье «Цветы невинного юмора» (1864) утверждал, что «беллетристика и искусство вообще» теперь оттеснены на задний план. «В последнее пятилетие, – писал Писарев, – не было решительно ни одного чисто литературного успеха… Вот вам пример: “Подводный камень” (роман М.В. Авдеева. – *А.Н.*), роман, стоящий по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имеет огромный успех, а “Детство, отрочество и юность” графа Л. Толстого – вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа, читается холодно и проходит почти незамеченной».

В общем, содержание обличительных повестей и рассказов того времени было довольно однообразно. Это были обличенья помещичьего деспотизма в прошлом и настоящем, мошеннических проделок на дворянских выборах, взяточничества судейских чиновников и полицейских властей, пустоты армейского офицерства.

Н.А. Добролюбов в 1859 году в статье «Литературные мелочи прошлого года» тоже обратил внимание на эту сторону литературного процесса: «Явится статейка, доказывающая, что не следует заставлять людей совершенно даром на нас работать, а нужно только стараться нанять их как можно дешевле: все в восхищении и кричат, что общечеловеческие начала у нас превосходно выработались… Смотреть на подобных господ серьезно – значит оскорблять собственный здравый смысл… Один из видов гласности составляла обличительная литература (в 1858 году. – *А.Н.*). В этой отрасли, кроме безыменности, обращает на себя внимание еще мелкота страшная…».

Для Толстого, который в своем «Люцерне», по справедливому замечанию историка «Современника» В. Евгеньева-Максимова, «шел уже к осуждению самих основ современного ему социального порядка» [17], идея «чисто художественного журнала» устарела сама по себе, под влиянием времени. Можно сказать, Толстой «обогнал сам себя», выйдя на дорогу предельной строгости к художественной литературе и в отношении жизненной содержательности, и касательно художественной формы.

Репозиторий ВГУ

Между тем повсеместно ощущалось приближение политических перемен. «Верхи», опасаясь нежелательных (стихийных) действий «снизу», готовили свою крестьянскую реформу, пытаясь феодально-крепостническую Россию перевести на капиталистические рельсы.

Либерально настроенная часть дворянства и интеллигенции отнеслась восторженно к первым признакам будущей крестьянской реформы. Сам Тургенев писал Толстому из Рима 17 января 1858 года: «Давно ожиданное сбывается – и я счастлив, что дожил до этого времени».

Как отреагировал Толстой на манифест 1861 года, мы коснемся ниже. Сейчас же отметим: шаткость приводимых Толстым аргументов в пользу отказа от общественно-политической деятельности заставляет думать, что основной причиной этого отказа были для Толстого в то время не принципиальные соображения, а то отрицательное впечатление, которое производили на него те, кто занимался открыто общественно-политической деятельностью. Но через три года Толстой принял самое деятельное участие в такой общественной деятельности (посредничество), которая не находилась в противоречии с его моральными требованиями и приносила действительную пользу народу.

Отношения между Толстым и Тургеневым в течение 1858–1859 годов резко изменились к худшему. После своего посещения Тургенева в Спасском в августе 1858 года Толстой записал 4 сентября в дневнике: «Ездил к Тургеневу… Тяжел невыносимо». Тургенев в письмах к знакомым также сообщал об ухудшении своих отношений с Толстым. Гончарову он писал 7 апреля 1859 года: «…думает же Толстой, что я и чихаю, и пью, и сплю – ради фразы». Через пять дней Тургенев сообщал Боткину: «Я с Толстым покончил все свои счеты: как человек он для меня более не существует. Дай Бог ему и его таланту всего хорошего – но мне, сказавши ему: здравствуйте – неотразимо хочется сказать: прощайте – и без свиданья. Мы созданы противоположными полюсами…».

На ухудшение отношений между Толстым и Тургеневым оказали влияние отношения Тургенева к его сестре Марии Николаевне. К замужней женщине Тургенев проявил интерес, и нешуточный. А когда Мария Николаевна осталась одна и тоже увлеклась Тургеневым, он повел себя, как «русский человек на rendez – vous», то есть вдруг охладел к ней. Конечно, вся эта история представила Тургенева Толстому в весьма неприглядном свете.

Но это – сфера личностных, даже интимных отношений. Литературные же пути этих двух талантов обречены были на пересекаемость. Так произошло и с новой повестью (романом, может быть) «Семейное счастие» (1859), которую (который) большинство критиков встретило благожелательно. Идея «Семейного счастия» – переход отношений влюбленных супругов в любовь к детям – была несомненно сочувственна Толстому (он одно время хотел даже жениться без любви ради семейной жизни). Однако идея эта в то время воспринималась Толстым только рассудком и не переходила в область чувства; от этого и в воплощении этой идеи в художественном произведении чувствовалась рассудочность. Отсюда некоторая холодность повести, справедливо подмеченная Боткиным («все исполнено какого-то холодного блеска»).

Репозиторий ВГУ

Причиной недовольства Толстого «Семейным счастием» могло служить также и то, что произведение это написано не в стиле Толстого, а скорее в чуждом для него стиле Тургенева. Но это было неизбежно. Если бы светская женщина того времени стала писать записки о своей любви в манере Толстого и его языком, получилась бы нестерпимая фальшь, которую прежде всех, конечно, осудил бы сам автор.

Но, несмотря на суровый приговор автора («постыдная мерзость»), «Семейное счастие» остается замечательным произведением, в котором во всей силе проявилось изумительное мастерство Толстого в раскрытии «диалектики души» обоих главных героев. И Толстой неизменно включал это произведение во все собрания сочинений, издававшихся при его участии (в 1866, 1873 и 1880 годах).

Литературное творчество Толстого и Тургенева, несмотря на неровные личные отношения, развивалось своими путями. Тургенев опубликовал роман «Накануне». Толстой откликнулся на это событие в письме к Фету 23 февраля 1860 года. Роман Тургенева ему не нравится. Он находит, что в романе хороши отрицательные типы – художника (Шубина) и отца героини; «другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое или уж они совсем пошлы». «Девица – из рук вон плоха», – говорит Толстой про героиню повести Елену.

Толстой осуждает Тургенева за то, что у него «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет (через систему “авторского начала”. – *А.Н.*)». И это больно жюрирует (то есть не сходится) «с тоном и смыслом либерализма всего остального». Такой прием в обрисовке действующих лиц Толстой называет банальным и считает, что прием этот напоминает Гоголя. Толстой, однако, тут же оговаривается, что вообще возможно резко критическое отношение к изображаемым лицам, но тогда – «ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело». Но ни на то, ни на другое не способен, по мнению Толстого, Тургенев, «одержимый хандрою и диспепсией».

И все-таки, несмотря на все недостатки романа Тургенева, Толстой считает его выдающимся литературным явлением. Он утверждает, что «никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет».

Глубокое проникновение в человеческие характеры – это «приоритет» Толстого-художника. Наверное, этим объясняется его придирчивое отношение к новому произведению Тургенева. Подтверждение данному соображению находим в очень интересном ответе Толстого на вопрос его немецкого биографа Л. Левенфельда в 1898 году о впечатлениях от посещения Рима во время второго заграничного путешествия (1861): «Должен сознаться, что античное искусство не произвело на меня того необычайного впечатления, которому, по-видимому, подчинялись все вокруг меня. Я тогда много говорил по этому поводу с Тургеневым, я был убежден в том, что классическое искусство слишком уж высоко ценят… Для меня вообще наибольший интерес представлял *человек* (курсив наш. – *А.Н.*). В том, что вы писали обо мне, я

Репозиторий ВГУ

прочел вчера замечание, которое мне показалось удачным. Вы говорите, что меня повсюду интересует только *человек* (курсив наш. – *А.Н.*); насколько это верно, свидетельствует мое пребывание в Риме (в 1861 году. – *А.Н.*). Когда я мысленно возвращаюсь к тому времени, в моей памяти пробуждается только одно маленькое происшествие. Я предпринял с своим товарищем небольшую прогулку в Монте Пинчио. Внизу у подошвы горы стоял восхитительный ребенок с большими черными глазами. Это был настоящий тип итальянского ребенка *из народа* (курсив наш. – *А.Н.*). Теперь еще слышу его крик: «Date mi un baloccо» [«Дайте мне игрушку»]. Все прочее почти исчезло из моей памяти. И произошло это потому, что *народом* (курсив наш. – *А.Н.*) я интересовался больше, чем прекрасной природой, которая меня окружала, и произведениями искусства».

Во время второго заграничного путешествия (1860–1861 годы) Толстой посетил в Париже Тургенева. В дневнике в апреле 1861 года он записал, что произошло его «сближенье с Тургеневым». Тургенев спустя две недели писал Анненкову: «На днях приехал сюда из Италии Толстой, – не без чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата (Николая Николаевича. – *А.Н.*) сильно на него подействовала. Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность». Как писал Толстой Герцену в марте 1861 года, он читал Тургеневу написанное им задолго до этого начало романа о декабристе, и Тургеневу «понравились первые главы». Чуткий к поэзии Тургенев, вопреки распространенным в то время в литературной среде толкам о падении таланта Л.Н. Толстого, вызванным его последними произведениями («Альберт», «Люцерн», «Три смерти». – *А.Н.*), по прослушанным им главам определил, что Толстой как писатель далеко еще не сказал своего последнего слова и что ему предстоит великая будущность.

Следует отметить, что расхождения между Толстым и Тургеневым отходили на задний план и в вопросах индивидуального литературного творчества, и когда дело касалось крупных литературных личностей. Так, Тургенев много сделал, чтобы во время второго заграничного путешествия познакомить Толстого с Герценом (в марте 1861 года).

Отношения двух «Т» снова потеплели. Тургенев в ответ на письмо Толстого из Брюсселя 22 марта выражает радость по поводу того, что в письме Толстого он увидал «окончание тех, если не неприязненных, то по крайней мере холодных отношений», которые существовали между ними. «Наша последняя встреча в Париже уже указывала на это, – писал Тургенев, – …прошедшим недоразумениям конец. Я уверен, что мы встретимся в России хорошими приятелями и останемся таковыми, покуда Бог продлит жизни».

Когда-то Тургенев огорчался тем, что Толстой недооценивал, если не сказать больше, «Фауста» Гёте, Шекспира. Теперь же в письме к Тургеневу Толстой дает высокую оценку «Фауста», чему Тургенев, разумеется, очень обрадовался. «Вот Вы и “Фауста” полюбили, и Гомера; авось дойдет очередь до Шекспира», – писал Тургенев Толстому в своем ответном письме от 26 марта. Еще больше обрадовался Тургенев тому, что Толстой писал ему о своем возвращении к искусству (после сильного увлечения педагогической

Репозиторий ВГУ

деятельностью). «Специальность, – писал Тургенев, – есть признак всякого живого организма, – а Ваша специальность все-таки искусство».

Летом 1861 года произошла ссора между Тургеневым и Толстым в имении А.А. Фета, чуть не приведшая к дуэли. Повод был, вроде бы, пустяшный. Тургенев, придававший в это время важность воспитанию своей внебрачной дочери, стал расхваливать английскую гувернантку за ее педагогические методы. Во-первых, как ее добродетель Тургенев считал ее просьбу к нему определить сумму, которой его дочь может располагать для благотворительных целей. Во-вторых, с одобрением сообщил Тургенев друзьям о требовании англичанки, чтобы его дочь забирала у бедняков худую одежду и, собственноручно починив ее, возвращала по принадлежности.

« – И это вы считаете хорошим? – спросил Толстой.

– Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

– А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

– Я вас прошу этого не говорить! – воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

– Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, – отвечал Толстой.

Не успел Фет крикнуть Тургеневу: «перестаньте!», как бледный от злобы он сказал:

– Так я вас заставлю молчать оскорблением». (Сцена в пересказе Фета).

Фет приложил много усилий, чтобы разладить наметившуюся дуэль между двумя великими писателями.

Причины этой драматической размолвки лежат не в поводе к ней, далеко не принципиальном *по существу*. По признанию самого Тургенева, ссора была предопределена «противоположными натурами» его и Толстого, «раздражением, вызванным крайним и постоянным антагонизмом» их воззрений.

Итак, конкретный повод к ссоре между Толстым и Тургеневым – спор о методах воспитания дочери Тургенева и о благотворительной деятельности – кажется сначала слишком незначительным для того, чтобы привести к полному разрыву. Но горячность, проявленная Толстым в этом споре, имеет свое объяснение. В словах Тургенева он увидел ту склонность к либеральной «фразе», которую он и ранее замечал в нем. «Разряженная девушка», держащая на коленях «грязные лохмотья» бедняков, – вся фальшь и неискренность этой сцены были ему особенно очевидны и неприятны тогда, когда он находился в близком общении с народом, в жизни которого не было никакой фальши и неискренности [18].

…Жизнь продолжалась, и порой сами жизненные обстоятельства сближали, а не разводили Толстого и Тургенева.

В конце 1850-х – начале 1860-х годов Толстой увлеченно занимается педагогической деятельностью как практически (создание яснополянской школы для крестьянских детей), так и теоретически (серия статей по педагогике – «Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования», «Кому у кого учиться писать – крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» и др.).

Репозиторий ВГУ

Статья Толстого «Об общественной деятельности на поприще народного образования» посвящена критике возникшего в 1861 году Петербургского Комитета грамотности. В состав Комитета вошли наиболее известные в то время педагоги-теоретики и практики. В 1862 году в число членов Комитета были выбраны также Толстой и Тургенев…

Пришло время и литературной критике того времени выделить этих двух писателей на «Т», сопоставив их художественное творчество.

В августе 1864 года в Петербурге в издательстве Ф. Стелловского вышло в свет первое издание собрания сочинений Толстого в двух томах. В него вошли все написанные им к тому времени повести, рассказы и очерки, и только пять педагогических статей. Это первое издание сочинений Толстого вызвало в печати несколько критических материалов.

Первой появилась замечательная по своей общей оценке творчества Толстого статья Д.И. Писарева под заглавием «Промахи незрелой мысли». Упрек в незрелости мысли, которая привела к промахам, был направлен критиком не против какого-либо другого критика, а против самого себя.

Писарев вспомнил свою статью «Цветы невинного юмора», напечатанную в том же году, в которой он «мельком упоминал о литературной деятельности графа Толстого», объяснял равнодушие читающей публики к Толстому «тем обстоятельством, что в произведениях графа Толстого нет ничего, кроме чистой художественности». Теперь Писарев находит, что это объяснение «никуда не годится». Он сообщает, что в собрании сочинений Толстого он прочел «Детство», «Отрочество», «Юность», «Утро помещика» и «Люцерн», и его «изумили обилие, глубина, сила и свежесть мыслей» в этих произведениях. Теперь Писарев видит ясно, что «критика наша молчала о Толстом или, еще того хуже, говорила о нем ласкательные пустяки единственно по своему признанному бессилию и скудоумию». Толстой, по словам Писарева, остается в тени. «Его читают, его любят, его знают как тонкого психолога и грациозного художника, его уважают как почтенного работника в яснополянской школе; но до сих пор никто не подхватил, не разработал и не подвергнул тщательному анализу то сокровище наблюдений и мыслей, которое заключается в превосходных повестях этого писателя».

В этом отношении Писарев противопоставляет Толстому Тургенева. «О каждом романе Тургенева, – говорит критик, – кричат и спорят по крайней мере до полугоду. Толстого прочитают, задумаются, ни до чего не додумаются, да так и покончат дело благоразумным молчанием». Писарев решается «нарушить» это молчание.

Газета «Петербургские ведомости» в одной и той же заметке сообщила читателям о выходе пятого тома сочинений Тургенева и второго тома сочинений Толстого. Критик противопоставлял этих двух писателей: в то время как у Тургенева в его последнем этюде «Довольно» сказались «грусть и разочарование», в Толстом чувствуется «кипучая сила созревающего, крепнущего таланта, полного сознания своей силы, даже несколько самоуверенного и потому иногда исключительного и склонного к эксцентричности».

В трудах литературных среди их ценителей для Толстого всегда оставался И.С. Тургенев. Так, когда в 1865 году появилась первая часть «Войны и

Репозиторий ВГУ

мира» под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год», Толстому хотелось узнать суждение о ней тех лиц, мнением которых он особенно дорожит. К числу таких лиц он относит Фета, к которому обращается с такими словами: «Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого, – Тургенева». И еще. Когда в 1866 году появилась вторая часть его романа, озаглавленная «Война», Толстой вновь просит Фета высказать свое мнение о его романе, но теперь уже с такой характерной оговоркой: «Я очень дорожу вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда, времени и того безумного усилия (которое вы знаете), так люблю свое писание, особенно будущее – 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад осуждению. Например, мнение Тургенева о том, что нельзя на десяти страницах описывать, как NN положила руку, мне очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем».

А что же Толстой о Тургеневе в это время (когда создавался роман-эпопея «Война и мир»)? Из его писем к Фету мы узнаем, что Толстой следил за новыми произведениями Тургенева, но относился к ним отрицательно. Так, 7 октября 1865 года Толстой писал Фету: «Довольно» (рассказ Тургенева. – *А.Н.*) мне не понравилось. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания». Также не понравился Толстому и «Дым», о котором он высказался в письме к Фету от 28 июня 1867 года, служащем ответом на письмо Фета от 15 июня того же года, в котором Фет дал резко отрицательную оценку роману Тургенева «Дым».

Толстой отвечал Фету: «Я про “Дым” думаю то, что сила поэзии лежит в любви – направление этой силы зависит от характера. – Без силы любви нет поэзии; ложно направленная сила – неприятный, слабый характер поэта – претит. В “Дыме” нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна. Вы видите, это то же, что вы пишите».

Судя по «Дыму», Толстому казалось даже, что Тургенев «кончил» свою литературную деятельность. Относительно себя Толстой уверен, что его «черед» перестать быть писателем «никогда не придет».

Ни один писатель, ни один критик не уделил «Войне и миру» столько внимания, как друг-недруг Толстого И.С. Тургенев. Отзывы Тургенева о «Войне и мире» в письмах и в печати очень многочисленны, иногда странны и противоречивы, но постепенно противоречия сглаживались, и у Тургенева установилась одна совершенно определенная точка зрения на произведение Толстого.

Вот он пишет И.П. Борисову 16 марта 1865 года: «К истинному своему огорчению, я должен признаться, что роман этот мне кажется положительно плох, скучен и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь – и все его недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные, мелкие психологические замечания, которые он под предлогом “правды” выковыривает из подмышек и других темных мест своих героев – как это все мизерно на широком полотне исторического романа! И он ставит этот несчастный продукт выше “Казаков”! Тем хуже для него, если

Репозиторий ВГУ

это он говорит искренно. И как это все холодно, сухо – как чувствуется недостаток воображения и наивности в авторе, – как утомительно работает перед читателем одна память, мелкого, случайного, ненужного. И что это за барышни! Все какие-то золотушные кривляки. Нет, эдак нельзя; так пропадешь даже с его талантом. Мне это очень больно, и я желал бы обмануться».

Трудно понять причины столь несправедливого приговора. Как мог Тургенев утверждать, что вся та обширная галерея действующих лиц, с которой Толстой знакомит читателя в первой части своего романа, создана не творческим воображением, а исключительно «памятью мелкого, случайного»? Почему Тургенев не заметил того, что сложный психологический анализ дается Толстым только относительно тех героев, психология которых действительно отличается сложностью, а такие типы, как все семейство Ростовых (Наташа еще девочка), князь Василий, княгиня Друбецкая, Анна Павловна Шерер и посетители ее салона наделены весьма простой и несложной психикой? Отчего Тургенев, обратив внимание на изображенных Толстым «барышень» (что всегда его особенно интересовало в художественных произведениях), всех их – и резвую черноглазую Наташу, и Соню с ее «девически страстным обожанием» Николая, и княжну Марью с ее «прекрасными лучистыми глазами», зачислил в разряд «золотушных кривляк», на которых они нисколько не похожи?

Объяснение, по-видимому, кроме некоторой предубежденности против автора, с которым Тургенев находился в ссоре, следует искать в том, что та совершенно новая и оригинальная манера, в которой написана «Война и мир», совершенно не свойственная Тургеневу, не сразу была им воспринята и оценена по достоинству.

Вторая часть «1805 года» получила со стороны Тургенева не менее резкую оценку. 25 марта 1866 года он писал Фету: «Вторая часть 1805 года тоже слаба: как это все мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, – трус, мол, я или нет? – Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена; но она была бы хороша как узор на фоне, – а фона-то и нет».

Каких именно «исторических красок», «черт эпохи» 1805 года не находил Тургенев в романе Толстого, – трудно сказать. Что же касается неудовольствия Тургенева по поводу того, что герои Толстого занимаются рассуждениями о том, «трус, мол, я или нет», то здесь Тургенев разумел, конечно, восьмую главу второй части первого тома «Войны и мира», где Николай Ростов, в первый раз участвующий в сражении, против ожидания испытывает особенное желание жить и боязнь смерти и по окончании сражения думает: «Все кончилось; но я трус, да, я трус». Но Тургенев не обратил внимания на то, что всего несколькими строками ниже Толстой писал: «Каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер». Толстой, следовательно, в переживаниях Ростова имел в виду описать общее, по его наблюдениям, состояние всех, в первый раз идущих в сражение. Впоследствии Ростов избавился от этого страха. Через 7 лет, в 1812 году, отправляясь в дело, Ростов «не испытывал ни малейшего чувства страха». Он «выучился управлять своею душою перед опасностью» – приучил себя, идя в дело, думать о посторонних предметах.

Репозиторий ВГУ

В следующем письме к Фету от 27 июня Тургенев писал: «Роман Толстого плох не потому, что он также заразился “рассудительством”: этой беды ему бояться нечего; он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких-то рабски списанных современных генеральчиков». Это изумительное по своей несправедливости суждение об образах Кутузова и Багратиона в «Войне и мире» можно объяснить только тем, что Тургенев, так же, как и Вяземский, не отрешился еще вполне от представления о том, что исторических личностей нельзя, как это делал Толстой, изображать как простых людей, со всеми их достоинствами и недостатками, в простой, будничной обстановке, а следует изображать как «олимпийцев». По мнению военного критика М.И. Драгомирова, Багратион изображен у Толстого «идеально хорошо». Кутузов списан Толстым с какого-то «современного генеральчика» – это замечание, конечно, не нуждается в опровержении.

Итак, как в художественном, так и в историческом отношении новый роман Толстого, по мнению Тургенева, ниже всякой критики. Вскоре, однако, обнаружилось, что это не совсем так, – в сплошном мраке появился некоторый просвет.

28 октября 1867 года Тургенев пишет И.П. Борисову: «Прочел я в последнее время всего Л.Н. Толстого: экой сильный и свежий талант – но не в “Семейном счастии”, не в педагогических статьях – и должен прибавить, за исключением некоторых удивительных сцен – не в 1805 годе!».

Тургенев, разумеется, сейчас же прочел появившиеся в 1867 году три тома «Войны и мира». О собственном впечатлении он написал своим друзьям одно за другим три письма, довольно близкие по оценке произведения Толстого.

В письме к Анненкову от 14 февраля 1868 года Тургенев начинает с похвалы его статьи о «Войне и мире»: «Вы ничего умнее и дельнее не писали; вся статья свидетельствует о верном и тонком критическом чувстве автора, и только в двух-трех заметна неясность и как бы спутанность выражений». Перейдя затем к роману Толстого, Тургенев начинает свою критику с восторженной похвалы: «Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных – все бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т.д.)». Но дальше Тургенев в весьма резких выражениях отзывается о недостатках романа. Таких недостатков Тургенев устанавливает три. По-прежнему он недоволен исторической стороной романа: «Историческая прибавка, от которой читатели в восторге, кукольная комедия и шарлатанство… Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он *все* об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только что эти мелочи». Во-вторых, Тургенев относится скептически к «так называемой психологии» Толстого. Он находит, что в «Войне и мире» «настоящего развития нет ни в одном характере, и есть старая замашка представить колебания, вибрации одного и того же чувства, положения, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и в сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я, а в сущности ненавижу и т.д., и т.д. …Другой психологии Толстой словно не знает или с наме-

Репозиторий ВГУ

рением ее игнорирует». И в-третьих, Тургенев находит «мучительными» «эти преднамеренные, упорные повторения одного и того же штриха, – усики на верхней губе княгини Болконской и т.д.». Указав все эти кажущиеся ему недостатки, Тургенев заканчивает свой отзыв восторженной похвалой: «Со всем тем, есть в этом романе вещи, которые, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать, и некоторые возбудили во мне озноб и жар восторга».

Отзыв Тургенева о «Войне и мире» в письме к И.П. Борисову от 27 февраля 1868 года почти совпадает с отзывом в письме к Анненкову. Тургенев опять начинает письмо с восторженной похвалы «Войне и миру»: «Я с великим наслаждением прочел роман Толстого, хотя многим не совсем остался доволен. Вся бытовая сторона (и военная) удивительна: есть тут вещи, которые не умрут, пока будет существовать русская речь». Далее идет перечисление тех же недостатков, как и в письме к Анненкову. Такое же восторженное и общее заключение: «но со всем тем – в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не сознаться, что с появления «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями. С нетерпением ожидаю четвертого тома».

6 марта 1868 года в письме к Я.П. Полонскому Тургенев дал следующее краткое резюме своих подробных отзывов о трех первых томах «Войны и мира» в письмах к Анненкову и Борисову: «Роман Толстого – вещь удивительная; но самое слабое в нем – именно то, чему восторгается публика: историческая сторона – и психология. История его – фокус, битье тонкими мелочами по глазам; психология – капризно-однообразная возня в одних и тех же ощущениях. – Все бытовое, описательное, военное – это первый сорт, и подобного Толстому мастера у нас не имеется».

Вскоре Тургенев прочитал и четвертый том «Войны и мира». 12 апреля Тургенев пишет Фету: «Я только что кончил 4-й том “Войны и мира”. Есть вещи невыносимые, и есть вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем; да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й и 1-й том слабее 2-го и особенно 3-го; 3-й том почти весь chef-d’oeuvre».

На другой день 13 апреля Анненкову: «Доставили мне 4-й том Толстого… Много там прекрасного, но и уродства не оберешься! Беда, коли автодидакт, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь калечку, придумает какую-нибудь одну систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как, например, исторический фатализм, да и пошел писать! Там, где он касается земли, он, как Антон, снова получает все свои силы: смерть старого князя, Алпатыч, бунт в деревне, все это – удивительно. Наташа однако, выходит что-то слабо и сбивается на столь любимый Толстым тип нерях».

Нельзя не обратить внимание на то, что в этих отзывах о четвертом томе «Войны и мира» мы не находим ни одного отрицательного суждения о художественной стороне романа, за исключением мнения на образе Наташи. Однако, в четвертом томе первого издания «Войны и мира», соответствую-

Репозиторий БГУ

щим первым двум частям третьего тома позднейших изданий, Наташе посвящено только несколько глав, описывающих ее болезнь после увлечения Анатолем, ее религиозное настроение (как Лизы у Тургенева) и затем патриотический подъем при известии о начале войны. Ни одна из этих глав не могла дать Тургеневу материала для его пренебрежительной характеристики любимой героини Толстого.

Перечитав первый том, Тургенев находит его слабее второго и третьего томов, но не повторяет сурового приговора, высказанного ранее в письме к Фету. Не говорит уже Тургенев и того, что Кутузов, действующий под Бородином, похож на «современных генеральчиков».

Тургенев высказывает недовольство признанием исторического фатализма, которое он нашел в «Войне и мире», называя при этом Толстого автодидактом (то есть самоучкой). Нельзя, впрочем, не заметить, что Тургенев в своих произведениях и письмах сам нередко предстает сторонником фатализма, хотя и выраженного в смутной и неопределенной форме и по большей части с пессимистической окраской в духе философии Шопенгауэра. Особенно это сказалось в его «Стихотворениях в прозе», но те же мысли находим и в некоторых более ранних произведениях Тургенева, как «Накануне» и «Довольно». Толстой в «Войне и мире» проводит мысль, что исторические личности обычно не могут предвидеть последствий своей деятельности; Тургенев в речи «Гамлет и Дон-Кихот», произнесенной в 1860 году, высказывает соображения, очень близкие к этому мнению Толстого: «Нам кажется, – говорит Тургенев, – что главное дело – в искренности и силе самого убеждения… а результат – в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы… Наше дело вооружиться и бороться».

С нетерпением ожидал Тургенев выхода пятого тома «Войны и мира». 16 ноября 1868 года он писал Борисову: «Вы мне ничего не пишете о 5-м томе “Войны и мира” – неужели он еще не вышел? И что делает автор?».

Читая «Обрыв» Гончарова, Тургенев вспоминает Толстого. «В первом номере “Вестника Европы”, – писал он Борисову 12 января 1869 года, – прочел я начало нового романа Гончарова – и остался им весьма недоволен: многословие невыносимое, старческое – и ужасно много условной рутины, резонерства, риторики. Должно признаться, что после *правды* (курсив Тургенева. – *А.Н.*) Л.Н. Толстого – вся эта старенькая чиновничья литература очень отдает фальшиво, да какой-то кислой неприятной фальшью».

Тургенев – Борисову (12 февраля 1869 года): «Очень радуюсь известию о скором выходе 5-го тома “Войны и мира”; при всех своих слабостях и чудачествах, при всем даже своем вранье – Толстой настоящий гигант между остальной литературной братьей – производит на меня впечатление слона в зверинце: нескладно, даже нелепо – но огромно – и как умно! Дай Бог написать ему еще 20 томов!».

В том же 1869 году Тургенев впервые высказался о Толстом в печати. В «Воспоминаниях о Белинском», перечисляя лучшие художественные произведения, появившиеся после смерти Белинского, Тургенев прежде всего упомянул о Толстом: «Как бы порадовался Белинский поэтическому дару

Репозиторий ВГУ

Л.Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова!».

Однако в опубликованной одновременно с «Воспоминаниями о Белинском» статье по поводу «Отцов и детей» Тургенев повторил свое двойственное отношение к «Войне и миру». Здесь он писал: «Самый печальный пример отсутствия истинной свободы, проистекающего из отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л.Н. Толстого (“Война и мир”. – *А.Н.*), которое в то же время по силе творческого поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что являлось в европейской литературе с 1840 года. Нет! без образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, – немыслим истинный художник».

Как видно из контекста, под «отсутствием истинного знания», в чем он обвинял Толстого, Тургенев разумел не что иное, как недостаток систематического, в данном случае философского образования, а под «отсутствием истинной свободы» – философско-исторические воззрения Толстого.

Свидетельств о реакции Тургенева на 5-й том «Войны и мира» не сохранилось, но есть его мнение, составленное на основании газетных статей об этом томе. 12 марта 1869 года Тургенев пишет Борисову: «…судя по доходящим отзывам, наш гениальный чудак совсем закусил удила. Можно ли, из вражды к философии и фразам, втемяшиться в такую философию и фразу! То, что всякому мужику понятно, как польза хлеба, – а именно польза человеческого ума, рассудка – то-то и нужно искоренить!! То-то и есть чепуха! И нужно же, чтобы эдакая ерунда залезла в голову *самого даровитого* (курсив Тургенева. – *А.Н.*) писателя во всей современной европейской литературе. Но я заранее умиляюсь перед теми прелестями, которыми непременно изобилует этот 5-й том».

В марте 1870 года Тургенев получил, наконец, шестой том «Войны и мира». По-видимому, он остался удовлетворен художественной стороной самого романа, так как все его замечания в письме к Борисову от 15 марта направлены только против эпилога. Тургенев писал: «Прочел я 6-й том “Войны и мира”; конечно, есть вещи первоклассные; но не говоря уже о детской философии – мне неприятно было видеть отражение *системы* (курсив Тургенева. – *А.Н.*) даже на образах, рисуемых Толстым».

Тургенев перечисляет те случаи «отражения системы» в эпилоге «Войны и мира», которыми он остался недоволен. «Отчего это, – недоумевает Тургенев, – у него непременно все хорошие женщины не только самки – даже дуры?». Эти недостатки Тургенев склонен объяснять влиянием на Толстого славянофильства, «к которому он, кажется, попал в руки».

Трудно согласиться с этими замечаниями Тургенева. Наташа и княжна Марья, конечно, не дуры, а княжна Марья, кроме того, и не самка. Да и Наташа не только самка (хотя автор и называет ее этим именем). Она с уважением относится к умственным занятиям своего мужа и защищает перед братом его взгляды. Уверений в обязательной лживости всякой «умной и развитой» женщины в «Войне и мире» нет. Элен Безухова только представляется умной

Репозиторий ВГУ

и развитой, а на самом деле, как это знает Пьер, она не только не умна и не развита, а просто глупа.

«Как это, – писал далее Тургенев, – он упустил из вида весь *декабристский* (курсив Тургенева. – *А.Н.*) элемент, который такую роль играл в 20-х годах?». Но Толстой вовсе не «упустил из вида» декабристский элемент. Пьер Безухов в эпилоге – типичный представитель идей и настроений будущих декабристов в 1820 году. Это понимал Достоевский, это понимал критик Буренин, который в молодости в эпоху своего радикализма знал вернувшихся из ссылки декабристов – Батенкова, Бобрищина-Пушкина; это понимал критик газеты «Голос», который писал, что в перспективе, открывающейся в эпилоге, «возможность новых бурь и волнений: Пьер недоволен реакционным направлением 20-х годов, громко осуждает правительство и говорит о необходимости образования обществ для противодействия злу; юный Николенька Болконский жадно впитывается в речи Пьера». Тургенев, вероятно, в то время имел не вполне ясное представление об эволюции социально-политических воззрений декабристов и считал, что уже в 1820 году декабристы были настроены революционно.

Окончательное суждение о «Войне и мире» и о Толстом вообще, сложившееся у него к тому времени, Тургенев высказал в двух письмах к Фету – от 2 июля и от 16 августа 1871 года. В первом, написанном в ответ на письмо Фета о болезни Толстого, Тургенев называет Толстого преемником Пушкина, Лермонтова и Гоголя и признает его «единственной надеждой нашей осиротевшей литературы». Во втором письме Тургенев беспокоится: «Это очень плохо, что о Толстом нет вестей. Вы не можете иметь о нем более высокого мнения, чем я». И далее Тургенев называет «Войну и мир» «поистине великим романом», хотя так же отрицательно высказывается об изложенных в романе философско-исторических воззрениях автора.

«Война и мир» становится любимой книгой Тургенева, которую он перечитывает неоднократно. Об этом читаем в письме самому Толстому от 28 декабря 1879 года. Извещая о том, что вышел французский перевод «Войны и мира» и что он раздал экземпляры его влиятельным французским критикам, Тургенев прибавлял: «Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи… Я на днях в пятый и шестой раз с новым наслаждением перечел Ваше поистине великое произведение».

Превосходную характеристику «Войны и мира» дал Тургенев в двух заметках, написанных для французских читателей.

В предисловии к французскому переводу «Двух гусаров», напечатанном в Париже в 1875 году, Тургенев, после краткого очерка литературной деятельности Толстого, определяет тот жанр, к которому следует отнести «Войну и мир». Тургенев характеризует Толстого как «самого замечательного» представителя «новой русской литературной школы», ведущей свое начало от Пушкина и Гоголя. «Война и мир» – это «произведение оригинальное и многостороннее, заключающее в себе вместе эпопею, исторический роман и очерк нравов». После появления «Войны и мира», писал Тургенев, Толстой «решительно занимает первое место в расположении публики».

Репозиторий ВГУ

Вторая заметка написана в форме письма к редактору газеты «Le XIX-e Siêcle» Эдиону Абу, которому Тургенев послал французский перевод «Войны и мира». Письмо помечено 20 января 1880 года. Здесь Тургенев дает такую характеристику произведению Толстого: «Лев Толстой – наиболее популярный из современных русских писателей, а “Война и мир”, смело можно сказать, – одна из замечательнейших книг нашего времени. Дух эпоса веет в этом обширном произведении, где мастерски обрисован общественный и частный быт России в первые годы нашего века. Целая эпоха, богатая великими событиями и крупными фигурами (рассказ начинается незадолго до Аустерлицкого сражения и доходит до сражения под Москвой), целый мир, множество типов, схваченных живьем, из всех кругов общества, развертываются перед читателем. Способ, каким граф Толстой обрабатывает свой предмет, столь же своеобразен, как и нов; это – не метод Вальтер Скотта и, само собою разумеется, также не метод Александра Дюма. Граф Толстой – русский писатель до мозга костей; и те из французских читателей, кого не оттолкнут немногие длинноты и причудливость некоторых оценок (имеются в виду, очевидно, характеристики Наполеона и его маршалов. – *А.Н.*), будут вправе сказать себе, что “Война и мир” дала им более непосредственное и верное представление о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской жизни, чем если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и истории. Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин и др.), чьи черты установлены навеки; это – непреходящее. Как видите, я смел в выражениях; и однако, мои слова еще далеко не передают моей мысли… Это – великое произведение великого писателя, и это – подлинная Россия».

Этой замечательной характеристикой Тургенев погасил все свои предыдущие нападки на художественную сторону «Войны и мира», признав и высокое мастерство Толстого в изображении типических характеров, и своеобразие его художественного метода, и полноту и историческую достоверность картин эпохи, и точность портретов исторических лиц, выведенных в эпопее, и верность представлений о характере русского народа и о русской жизни, данных в «Войне и мире». Оправдалось, таким образом, предвидение Толстого, высказанное им еще в 1865 году в письме Фету, что Тургенев поймет и по достоинству оценит его замечательное произведение [19].

Наступило время создания третьего романа Толстого «Анна Каренина» (первые два – «Семейное счастие» и «Война и мир»). Неожиданно и тут пересеклись творческие линии Толстого и Тургенева – правда, в рассуждении третьего лица. Критик Н.Н. Страхов всячески побуждал Толстого не прекращать работу над романом «Анна Каренина» (летом 1874 года он охладел к своей новой работе). В письме от 23 июля Страхов, в частности, писал Толстому: «Все взято у Вас (в “Анне Карениной”. – *А.Н.*) с очень высокой точки зрения – это чувствуется в каждом слове, в каждой подробности, и этого Вы, вероятно, не цените, как должно, а, может быть, не замечаете. Ужасно противно читать у Тургенева подобные светские истории, например, в “Дыме”. Так и чувствуешь, что у него нет точки опоры, что он осуждает что-то второстепенное, а не глав-

Репозиторий ВГУ

ное… Вы в полном смысле слова *обязаны* (курсив Страхова. – *А.Н.*) напечатать Ваш роман, чтобы разом истребить всю эту и подобную фальшь…».

А работа над романом «Анна Каренина» шла трудно. 6 апреля 1876 года жена Толстого Софья Андреевна писала своему дяде В.А. Иславину, что «роман “Анна Каренина”, кажется, стал». 9 апреля Толстой пишет Страхову, что не может приняться за чтение корректур своего романа, предназначенных для апрельской книжки «Русского вестника». Причины такого творческого спада были личные: две смерти близких людей (любимой воспитательницы Толстого Т.А. Ёргольской и тетушки, родной сестры его отца, П.И. Юшковой) да еще частые раздумья о смысле жизни, угрызения совести по поводу социально и религиозно неправедного существования, причиной чего была также мысль о самоубийстве (ср. об этом же страницы романа «Анна Каренина», где подобные муки переживает один из главных героев – Константин Левин).

В вышеозначенном письме к Страхову Толстой, в частности, просит своего друга и известного критика, почитателя его таланта «показать искреннюю дружбу»: или ничего не писать про роман, или написать «только все, что в нем есть дурно»; и если правда то, что он слабеет, то так и написать ему. «И не стесняйтесь мыслью, – писал далее Толстой, – что вы строгим суждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше остановиться на “Войне и мире”, чем писать “Часы” или т.п.», – прибавлял Толстой, имея в виду только что появившуюся тогда повесть Тургенева.

Но тем не менее уговоры друзей и близких вселили в Толстого уверенность, и работа над «Анной Карениной» была продолжена. По мере опубликования глав романа, страсти вокруг него разгорались. Казалось, и «Война и мир» отошла на второй план в сознании читателей.

16 января 1877 года Страхов еще раз писал Толстому о своем впечатлении от последних глав «Анны Карениной»: «Что касается до “Анны Карениной”, то должен сообщить Вам, что здесь – общий восторг. Я все раздумывал, не подкуплен ли я своим хорошим расположением духа и любовью к Вам; но слышу со всех сторон, что мое впечатление – необычайной свежести и силы этого отрывка – повторяется у всех. Стасов говорит, что не одобряет содержания романа, но тут сила изображения, *скульптурность* (курсив Страхова. – *А.Н.*), как он выражается, такова, что Тургенев в подметки не годится… Даже *передовые* (курсив Страхова. – *А.Н.*) педагоги находят, что в изображении Сережи заключаются важные указания для теории воспитания и обучения.

Наоборот, “Новь” (роман Тургенева, напечатанный в то же время. – *А.Н.*) шлепнулась самым жестоким образом».

Давний спор, чуть не приведший их к дуэли, неожиданно нашел отражение в новом романе Толстого.

В черновой редакции описания вечера у Щербацких Левин спорит с гостями относительно благотворительной деятельности светских женщин. Выражая мысль автора, для которого вопрос о светской благотворительности когда-то был поводом ссоры с Тургеневым, Левин говорит: «…Я потому только не верю в добродетельность светских дам, что они, раздавая фуфайки по двадцать копеек людям, умирающим от холода, сами носят четыретысячирублевые собольи шубы».

Репозиторий БГУ

В «Анне Карениной» Толстой изобразил светское общество в гораздо более черных красках, чем это было сделано им в «Войне и мире». Становится понятным то, что писал Толстому Страхов 7 мая 1877 года: «…Только прочитавши Вас (имеется в виду роман “Анна Каренина”. – *А.Н.*), можно понять, что это за мир (светское общество. – *А.Н.*); Вы не рассказываете никаких ужасов, а всё невинные и даже смешные вещи, но, конечно, *обличаете* (курсив Страхова. – *А.Н.*) больше, чем Тургенев, Некрасов и Салтыков, напрягающиеся для этого изо всех сил» [20].

Приветствовал появление романа Толстого также и анонимный критик либеральной газеты «Новости», который писал: «Новый роман гр. Толстого “Анна Каренина” отличается теми же достоинствами, как и прежние его произведения; герои проходят перед вами совершенно живыми… При этом граф Толстой так соразмерно во всех частях ведет свой рассказ, что не утомит вас ужасным и мелочным психическим анализом, как г. Достоевский, ни беспрестанными, иногда безбожно скучными описаниями природы, как г. Тургенев, ни длинной, характерной, может быть, в этнографическом смысле, но чуть идущей к делу болтовней, как г. Гончаров…».

«Астраханский справочный листок» писал: “Анна Каренина” …есть такое талантливое произведение, на котором отрадно остановиться и которое приятно читать… Тургенев, Гончаров, Писемский, Островский, не говоря уже о более мелкой литературной братии, в своих позднейших произведениях не заявили и десятой части того таланта, какой присутствует в новом романе графа Л. Толстого».

В газете «Голос» было напечатано четыре восторженных статьи критика под псевдонимом «IV». В первой статье автор подробно рассказывает содержание опубликованных глав. Останавливаясь на личности Каренина, он сравнивает его с Сипягиным Тургенева в романе «Новь» и в художественном отношении отдает предпочтение Каренину, «этому доведенному до полнейшей оконченности образу *человека-чиновника* (курсив автора статьи. – *А.Н.*)».

Ряд писем с отзывами об «Анне Карениной» находим в переписке Тургенева.

В феврале 1875 года – Анненкову: «Что роман Толстого неудовлетворителен – это горестно… Я нашел “Анну Каренину” (ее начало) манерной, мелкой и неинтересной. Может быть, дальше пойдет лучше. – Будем ждать. Кропотливо и вяло – вот общее впечатление; есть места хорошие, но немного».

В марте – А.В. Топорову: «Мне давали читать “Анну Каренину”. Не могу сказать, что я остался ею доволен – хотя сильный талант Толстого проявляется иногда в полном блеске».

По поводу второй части романа Тургенев в апреле 1875 года писал из Парижа А.С. Суворину: «Талант из ряду вон, но в “Анне Карениной” он a fait fausse route (сделал ложный шаг): влияние Москвы, славянофильского дворянства, старых православных дев, собственного уединения и отсутствие настоящей художественной свободы. Вторая часть просто скучна и мелка, вот что горе!».

Почти через год – 10 марта 1876 года Тургенев – Ю.П. Вревской (той самой, которой посвящено его стихотворение в прозе «Памяти Ю.П. Вревской»): «Как ни велик талант Л. Толстого, а не выдраться ему из московского

Репозиторий ВГУ

болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла – хаос одним словом. И в этом хаосе должен погибать такой одаренный человек! Так на Руси всегда бывает».

Н.Я. Стечькин в своих воспоминаниях 1903 года о Тургеневе записал следующее его мнение об «Анне Карениной», высказанное в 1878 году: «Ну, возьмите графа Льва Толстого. Он теперь первый писатель не только в России, но и во всем мире. Некоторые его страницы, например, свидание Анны Карениной с сыном, – какое совершенство! Когда я прочитал эту сцену, у меня книга из рук выпала. Да неужели, говорил я мысленно, можно *так* (курсив автора воспоминаний. – *А.Н.*) хорошо писать? А что же! Ни “Война и мир”, ни “Анна Каренина” при всем гении Толстого не оставляют цельного впечатления о целой вещи».

Наконец, 12 января 1880 года Тургенев, отвечая Флоберу на его мнение о философии «Войны и мира», писал: «Да, это мощный человек, и все-таки вы попали в его больное место. Он создал себе философскую систему, – мистическую, детскую и дерзкую в одно и то же время, и она черт знает как испортила его второй роман, написанный после «Войны и мира», в котором тоже есть вещи, совершенно из ряда вон выходящие».

Характерно, что при всем своем недовольстве «Анной Карениной» Тургенев не переставал считать Толстого, как он говорил Стечькину, «первым писателем не только в России, но и во всем мире».

Последнее упоминание в переписке Тургенева об «Анне Карениной» находим в его письме от 26 июля 1881 года. Письмо написано после того, как Тургенев, примирившись с Толстым, дважды побывал в Ясной Поляне и Толстой прислал ему в Спасское собрание своих сочинений. И вот Тургенев пишет жене Толстого: «Я получил сочинения Льва Николаевича, которые он мне прислал, и теперь с особенным вниманием перечитываю “Анну Каренину”».

Тургенев, очевидно, хотел проверить свое первое впечатление от «Анны Карениной» и потому решил перечитать роман…

Как бы между прочим, а на самом деле неотступно Толстого преследовала мысль о каком-то воскресении души, и связал он это беспокойство с историей их взаимоотношений с Тургеневым. 6 апреля 1878 года на вопрос его постоянного корреспондента профессора биологии С.А. Рачинского о его «планах» (подразумевается – художественных работ) Толстой отвечает: «Планы есть, но для забавы – любоваться ими, но, кажется, уже нет сил, ни времени приводить их в исполнение. Планы одни личные, душевные – спасти душу».

«Спасти душу» означало – исполнять в жизни христианское учение любви. По христианскому учению требовалось, прежде чем приступить к молитве, «примириться с братом», то есть уничтожить все неприязненные отношения с кем бы то ни было. Такой человек, с которым у Толстого были неприязненные отношения, был только один – Тургенев. И Толстой решает написать Тургеневу примирительное письмо 6 апреля 1878 года. В нем он писал:

Репозиторий ВГУ

«Иван Сергеевич!

В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если так, то, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами.

Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью и помню, как вы любили и мое писанье, и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас.

Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо – любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся. Гр. Л. Толстой. Адрес: Тула».

8 мая 1878 года Тургенев ответил следующим письмом:

«Любезный Лев Николаевич!

Я только сегодня получил Ваше письмо… Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли – и осталось одно воспоминание о Вас как о человеке, к которому я был искренно привязан, и о писателе, первые шаги которого мне пришлось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. – Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений.

Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, – и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего – и еще раз дружески жму вам руку. Иван Тургенев».

В начале августа 1878 года Тургенев известил Толстого, что вскоре приедет в Тулу по делам и желал бы повидаться с ним. Он прибыл в Ясную Поляну 8 августа и провел там два дня. Лев Николаевич держал себя с Тургеневым слегка почтительно и очень любезно. «Встреча Тургенева с отцом, – писала Т.Л. Сухотина-Толстая, – была сердечна и радостна. Между отцом и Тургеневым восстановились самые дружеские и даже нежные отношения, но ни о чем серьезном они не говорили, как будто стараясь касаться только тех предметов, на которых не могло произойти между ними разногласий».

Сын Толстого Сергей Львович слышал, как между его отцом и Тургеневым происходил разговор о литературе, в частности, о стихотворении Пушкина «Пир Петра Великого» и о «Евгении Онегине». Тургенев говорил, что в стихах «И Нева пальбой тяжелой Далеко потрясена» слышится «гром пушек». Толстой соглашался, что стихотворение «прекрасно по форме, но не по содержанию».

За общей беседой Тургенев задал присутствующим вопрос: «Какой стих в пушкинской “Туче” нехорош?». Толстой тотчас же указал на стих: «И мол-

Репозиторий ВГУ

ния грозно тебя обвивала». – «Конечно, – согласился Тургенев. – И как это Пушкин мог написать такой стих? Молния не обвивает. Это не дает картины».

Тургенев прочел вслух свой рассказ «Собака», но на слушателей он не произвел впечатления. На прощанье Тургенев сказал Софье Андреевне: «До свиданья, мне было очень приятно у Вас».

Из Ясной Поляны он поехал к себе в Спасское-Лутовиново, оттуда 14 августа писал Толстому: «Любезнейший Лев Николаевич, я благополучно прибыл сюда в прошлый четверг, – и не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла для нас недаром – и что и Вы, и я, мы оба стали лучше, чем 16 лет назад; и мне было приятно это почувствовать. Нечего и говорить, что на обратном пути я снова – всенепременно – заверну к Вам».

Толстой ответил в том же дружеском духе. И Тургенев 25 августа откликнулся: «Мне очень приятно узнать, что все в Ясной Поляне взглянули на меня дружелюбным оком. А что между нами существует та связь, о которой вы говорите, – это несомненно, – и я очень этому радуюсь…».

Однако при всем дружелюбном отношении Толстого к Тургеневу, при всем желании Толстого совершенно изгладить из памяти Тургенева все бывшие между ними недоразумения, различие во взглядах на основные вопросы жизни между обоими писателями мешало непринужденному обмену мнениями, чувствовалась настороженность и нарочитость в выборе тем для разговора. Об этом свидетельствуют письма Толстого к Фету и Страхову. «Тургенев, – писал Толстой Фету 5 сентября, – на обратном пути был у нас… Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна». Страхову в тот же день Толстой писал более откровенно: «Тургенев был опять, и был так же мил и блестящ, но – пожалуйста, между нами – немножко как фонтан из привозной воды. Все боишься, что скоро выйдет, и кончено». Но Тургенев продолжал быть доволен своим пребыванием у Толстых. 30 сентября он писал Фету: «Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я провел у него три приятных дня; все семейство его очень симпатично; а жена его – прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность; нам, русским, давно известно, что у него соперника нет».

Переписка Толстого с Тургеневым в октябре и ноябре и его отзывы о Тургеневе в письмах за то же время показывают, что, несмотря на все его усилия, у него не устанавливались дружеские отношения с Тургеневым. 27 октября в ответ на резкий отзыв Страхова о Тургеневе в письме от 28 сентября (Страхов не любил Тургенева как человека) Толстой писал ему: «Зачем вы сердитесь на Тургенева? Он играет в жизнь, и с ним надо играть. И игра его невинная и не неприятная, если в малых дозах».

1 октября Тургенев извещал Толстого, что «Казаки» вышли в двух английских переводах (в Лондоне и в Америке) и, по слухам, пользуются большим успехом; что английский литератор В. Рольстон взялся написать большую статью о «Войне и мире»; что он послал этому литератору «небольшой перечень» известных ему фактов из литературной и общественной жизни Льва Николаеви-

Репозиторий ВГУ

ча; что «Казаки» печатаются во французском переводе…, и что он предлагает свое посредничество для отдельного издания этого перевода в Париже. «Мне будет очень приятно содействовать ознакомлению французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке», – прибавлял Тургенев.

Все эти сведения и хвала «Казаков» не вызвали в Толстом ни тщеславия, ни радостного чувства. По получении этого письма Тургенева он и написал Страхову, что Тургенев «играет в жизнь». Толстой в то же время чувствовал глубокую неудовлетворенность своими прежними художественными произведениями. Он ответил Тургеневу 27 октября: «Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю, но ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятное сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются…

Как я ни люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что и вы надо мной смеетесь. Поэтому не будем говорить о моих писаньях». В конце письма Толстой прибавлял: «Не могу не желать вам все-таки того же, что и для меня составляет главное счастие жизни, – труда, с уверенностью в его важности и совершенстве».

Естественно, что это письмо вызвало в Тургеневе недоумение. В бытность его в Ясной Поляне, по-видимому, не возникал разговор об отношении Толстого к его прежним художественным произведениям, и отрицательное суждение о них явилось для Тургенева полной неожиданностью. Он помнил Толстого писателем, центром жизни которого было художественное творчество. Ему была неизвестна та душевная работа, которая привела Толстого к перемене взгляда на свои прежние художественные произведения, *и он принял на свой счет* все, что Толстой писал по этому поводу. 15 ноября он отвечал Толстому: «Хоть Вы и просите не говорить о Ваших писаниях – однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось “даже немножко” смеяться над Вами; иные Ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились [21]; иные, как например “Казаки”, доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смеяться? Я полагал, что Вы от подобных “возвратных” ощущений давно отделались».

Письмо Тургенева не понравилось Толстому (?). Он увидел, что Тургенев, как и прежде, недостаточно чутко относится к его душевному состоянию, и 22 ноября он написал Фету: «Вчера получил от Тургенева письмо. И, знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный».

Думается, здесь Толстого подвела излишняя мнительность.

На это письмо Тургенева Толстой, по-видимому, не ответил.

В декабре 1879 года Толстой написал Тургеневу письмо, остающееся для нас неизвестным, как и большинство писем Толстого к Тургеневу (последние годы Тургенев жил в Париже, и его архив остался там). Из ответного письма Тургенева от 28 декабря 1879 года узнаем, что Толстой просил Тургенева передать какую-то сумму денег известному революционеру-семидесятнику («народнику») Н.В. Чайковскому. Далее Тургенев сообщал, что в Париже вышел французский перевод «Войны и мира», прибавляя: «Я на днях в 5-й и 6-й раз с новым наслаждением перечел Ваше поистине великое произведение».

Репозиторий ВГУ

Толстой при его напряженных занятиях и появившемся уже в то время отрицательном отношении к своим прежним художественным произведениям едва ли обратил большое внимание на это сообщение Тургенева. Но, несомненно, он был доволен тем, что Тургенева «очень тронуло сочувствие», выраженное ему Толстым по поводу оскорбительной заметки про Тургенева в «Московских ведомостях». В ней официозный беллетрист Б.М. Маркевич «исхлестал» либерала Тургенева за его сочувственное предисловие к воспоминаниям эмигранта И.Я. Павловского «В одиночном заключении. Воспоминания нигилиста». Тургенев, в частности, писал в своем предисловии: «Эти нигилисты, о которых говорят в последнее время, и не так черны, и не так ожесточены, как их обыкновенно изображают». Маркевич в своей заметке обвинял Тургенева в «кувыркании перед молодежью» и назвал его «адвокатом русских нигилистов».

4 мая 1880 года Тургенев навестил в Ясной Поляне Л.Н. Толстого. Цель поездки была убедить Толстого приехать в Москву на открытие памятника Пушкину. Но попытка эта не удалась.

Этот приезд Тургенева и свой отказ поехать на пушкинский праздник Толстой вспомнил почти через 30 лет – в 1908 году, когда готовилось торжественное чествование его восьмидесятилетия. В письме от 25 марта в редакцию «Русских ведомостей» Толстой так объяснил причину своего отказа: «Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался…, потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и не скажу – ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».

Разговор Толстого со старым другом касался не только литературных вопросов (один из них – беседа о талантливом молодом писателе В.М. Гаршине, прошедшая в полном единодушии). В письме к Страхову 4 мая 1880 года Толстой писал: «С Тургеневым много было разговоров интересных. До сих пор, простите за самонадеянность, все, слава Богу, случается со мною так: “Что это Толстой какими-то глупостями занимается. Надо ему сказать и показать, чтобы он этих глупостей не делал”. И всякий раз случается так, что советчикам станет стыдно и страшно за себя. Так, мне кажется, было и с Тургеневым. Мне было с ним и тяжело, и утешительно. И мы расстались дружелюбно». Из этого письма видно, что Толстому, по его мнению, кое в чем удалось убедить Тургенева.

В октябре 1880 года у Толстого побывал В.В. Стасов. Шел разговор о русской литературе, о Тургеневе, Достоевском, но Стасов, не зная мнения Толстого об этих писателях, из предосторожности не высказывал своего отношения к ним – «не ровен час, пожалуй, опять напорешься на историю».

Стасов передал Толстому рассказы Тургенева, с которым он виделся в Париже, о пушкинском празднике в Москве. Тургенев, только что вернувшийся из Москвы, говорил Стасову «с досадой и злобой и даже криком, как все тогда словно с ума сошли, придя в восхищение от нелепостей и безобразий, наговоренных Достоевским в речи, как все точно пьяные или наевшиеся дурмана чуть не на стену лезли от открытых Достоевским русского “всечеловека” Алеко и русской “всеженщины” Татьяны и плакали, и рыдали, и обни-

Репозиторий ВГУ

мались, словно в Пасху или радостное какое-то торжество… Вот это все я тут с досадой рассказывал Толстому – он крепко морщился».

Отношения Толстого и Тургенева, возобновившиеся после их примирения в 1878 году, продолжали оставаться самыми дружелюбными.

В мае 1881 года Тургенев говорил о Толстом литератору С.Н. Кривенко: «Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним! Ему в теперешней европейской литературе нет равного. Ведь он за что бы ни взялся, все оживает под его пером. И широка область его творчества – прямо удивительно! Будет ли это целая историческая эпоха, как в “Войне и мире”, будет ли это отдельный современный человек с высшими духовными интересами и стремлениями, или просто крестьянин с его чисто русскою душою – везде он остается мастером. И барыня высшего круга выходит у него, как живая, и полудикарь-черкес, даже животных, вы посмотрите, как он изображает.

И в то же время одинаково ему доступны и психическая сторона высокоразвитого человека, высшая философская мысль. Но что вы с ним поделаете? Весь с головою ушел в другую область – окружил себя библиями, евангелием чуть ли не на всех языках, исписал целую кучу бумаги. Целый сундук у него с этой мистической моралью и разными кривотолкованиями. Читал мне кое-что, – просто не понимаю его… Говорил ему, что это не его дело, а он отвечает: Это-то и есть самое дело».

Из писем Тургенева Толстому от 21 июня и Толстого Тургеневу от 27 июня видно, что во время визита Тургенева в Ясную Поляну 6 июня Толстой говорил ему о своем предполагаемом путешествии в Оптину пустынь и по возвращении обещал съездить к Тургеневу в Спасское, а Тургенев просил Толстого привезти ему новое издание его сочинений, вышедшее в свет в 1880 году.

Толстой пробыл у Тургенева в Спасском 9 и 10 июля. Там он встретился с поэтом Я.П. Полонским, который уже после смерти Тургенева написал воспоминания об этой встрече трех русских писателей в Спасском. Встреча была содержательной и сердечной. Толстой интересно и любопытно рассказывал о своем пешем путешествии в Оптину пустынь Калужской губернии в простом крестьянском одеянии и обуви. Много рассказывал Толстой также о сектантах «воздыханцах», которых преследовало правительство.

«Что касается до положения нашего крестьянства, – пишет Полонский, – граф полагает, что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что если все пойдет по-старому, через 25 лет 9/10 народа не будут знать, чем кормить своих детей».

Отмечал Полонский и такую перемену в Толстом, как его мягкость, внимательность, доброту и даже уступчивость. В Спасском Толстой не склонен был спорить по какому-то вопросу, не навязывал свой образ мыслей и спокойно выслушивал возражения Тургенева.

Возвратившись от Тургенева, Толстой записал в дневнике: «9, 10 июля. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и – бедный – спокойный Тургенев – боится имени Бога, а признает Его. Но тоже наивно спокойный, в роскоши и праздности жизни».

Репозиторий ВГУ

Сделанная Толстым в этих строках характеристика Тургенева: «боится имени Бога, а признает Его», принимая во внимание то значение, которое Толстой придавал понятию «Бог», может быть понята только в том смысле, что Тургенев, отрицая религиозное понимание жизни, в то же время признает любовь основой жизни, в чем Толстой и видел сущность христианского учения.

В августе 1881 года в Ясную Поляну приехал Тургенев. О его пребывании сам Толстой рассказывает в предисловии к русскому переводу сочинений Ги де Мопассана 1894 года. Тургенев познакомил Толстого с повестью Мопассана «Дом Телье» и охарактеризовал молодого писателя как «прекрасного сына, прекрасного друга и надежного человека». Кроме того, подчеркнул Тургенев (для Толстого это имело значение), Мопассан «имеет сношения с рабочими, руководит ими, помогает им». Далее Толстой пишет: «Время это, 1881 год, было для меня самым горячим временем внутренней перестройки всего моего миросозерцания, и в перестройке этой та деятельность, которая называется художественной и которой я прежде отдавал все свои силы, не только потеряла для меня прежде приписываемую ей важность, но стала прямо неприятна мне по тому несвойственному месту, которое она занимала в моей жизни и занимает вообще в понятиях людей богатых классов».

Тургенев много рассказывал о современных французских писателях: Флобере, Золя, Доде, бр. Гонкурах, Мопассане и др. Когда разговор зашел о Шекспире, Тургенев, как он делал это много раз прежде, старался внушить Толстому все величие Шекспира, указывая «на истинно драматические положения, в которые Шекспир ставит своих героев». Оригинальное мнение об «обратном общем месте» высказал Тургенев о Достоевском.

Несомненно, что Толстой принимал деятельное участие во всех этих беседах, но его суждения не были записаны.

Вечером молодежь затеяла танцы – кадриль. Кто-то спросил у Тургенева, продолжают ли во Франции танцевать старую кадриль или она совершенно вытеснена непристойным канканом. Тургенев отвечал, что старый канкан – совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафешантанах; это – приличный и грациозный танец. И Тургенев пригласил за даму двенадцатилетнюю Машу Кузминскую… Все хохотали.

А Толстой, находившийся в те дни в особенно серьезном настроении, записал в дневнике: «Тургенев – cancan. Грустно». Это единственная запись в дневнике Толстого о его последней встрече с Тургеневым…

Очень отрадны были Толстому в те годы осветившиеся новым светом его дружеские отношения с Тургеневым.

В начале мая 1882 года Толстой писал Тургеневу в Париж, обеспокоенный известиями о его болезни. «Я почувствовал, – писал Толстой, – как я вас люблю… Обнимаю вас, старый, милый и очень дорогой мне человек и друг. Ваш Толстой».

Письмо это глубоко тронуло Тургенева. Оно всколыхнуло в нем незабытые воспоминания о его хотя и неровной, но крепкой в своей основе дружбе с молодым Толстым. «Милый Толстой, – писал Тургенев в ответном письме 14 мая, – не могу сказать, как меня тронуло Ваше письмо. Обнимаю Вас за каждое в нем слово». Рассказав далее о своей болезни, Тургенев далее писал:

Репозиторий ВГУ

«Что же касается до моей жизни – так я, вероятно, еще долго проживу, хотя моя песенка уже спета: – вот Вам надо еще долго жить – и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому Вы призваны и на которое, кроме Вас, у нас мастера нет. Вспоминаю Ваши прошлогодние полуобещания и не хочу думать, что бы Вы их не исполнили! Не могу много писать – но Вы меня понимаете».

Здесь Тургенев, очевидно, намекал на свои встречи с Толстым в Спасском и Ясной Поляне в 1881 году, когда он убеждал Толстого вернуться к художественной работе, на что Толстой ответил «полуобещаниями».

На настойчивые уговоры Тургенева вновь приняться за художественную работу Толстой отвечал, что прежде всего нужно жить «как следует».

Получив и прочитав «Исповедь», Тургенев убедился, что философские основы мировоззрения Толстого очень далеки от основ его мировоззрения. Решив не высказывать автору своего мнения относительно его новой работы, Тургенев выразил свое отношение к «Исповеди» в письме к Д.В. Григоровичу от 31 октября 1882 года. «Прочел ее с великим интересом, – писал Тургенев, – вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убежденья. Но построена она вся на неверных посылках – и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни… Это тоже своего рода нигилизм». Закончил же Тургенев свой отзыв об «Исповеди» словами: «И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России!».

В одном из писем Тургеневу Толстой хвалил некоторые из только что появившихся тогда «Стихотворений в прозе» Тургенева («Голуби», «Что я буду думать?», «Русский язык», «Морское плавание»). «Морское плавание», так же как и другое стихотворение в прозе Тургенева – «Воробей», Толстой в 1904 году поместил в свой «Круг чтения».

После письма от 15 декабря 1882 года Тургенев послал Толстому еще написанное под диктовку письмо от 8 января 1883 года с описанием перенесенной им операции. И на этом его переписка с Толстым вследствие все усиливавшейся мучительной болезни прекратилась впредь до его последнего, предсмертного письма…

В воспоминаниях Г.А. Русанова под заглавием «Поездка в Ясную Поляну 24–25 августа 1883 года» приводятся интересные и характерные суждения Толстого о русских писателях.

Вот, например: «Тургенев – литератор, Пушкин был тоже им, Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев. Лермонтов и я не литераторы» [22].

У Тургенева, как сказал Толстой Русанову, ему нравятся только «Записки охотника», «хотя теперь, – прибавил он, – уж нельзя изображать народ, как он там изображается». «Все остальное у Тургенева, – продолжал Толстой, – я не очень ценю, и мне кажется, что слава его сочинений не переживет его». «Песнь торжествующей любви» Толстой назвал «отвратительной». На замечание Русанова, что у Тургенева прекрасные описания природы, Толстой ответил: «Да. Несравненные».

В беседе с Г.А. Русановым 24 августа 1883 года Толстой спросил его, что слышно о болезни Тургенева. Он не знал, что за 2 дня до этого, 22 августа, Тургенев скончался.

Репозиторий ВГУ

В конце июня 1883 года Тургенев написал Толстому последнее, ставшее знаменитым, письмо, которое имело целью излить просившиеся наружу более чем дружеские чувства, какие питал умирающий Тургенев к Толстому, и умолить его вернуться к художественной работе.

«Милый и дорогой Лев Николаевич! – писал Тургенев. – Долго Вам не писал, ибо был и *есмь* (курсив Тургенева. – *А.Н.*), говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу – и думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, – и чтобы сказать Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. – Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! Я же человек конченый – доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Ни ходить, ни есть, ни спать, – да что! Скучно даже повторять все это! – Друг мой, великий писатель Русской земли – внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших не могу больше устал» (так в тексте).

Поражает необычайная деликатность, проявленная Тургеневым в этом письме по отношению к религиозному миросозерцанию Толстого. Тургенев знал, что добиться своей цели – побудить Толстого вернуться к художественной работе – он мог бы наиболее успешно, употребив аргументы религиозного характера; но он был атеист и не хотел кривить душой. И он находит такую формулировку своего мнения, которая и для Толстого была бесспорна: «Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое»…

Письмо Тургенева тронуло Толстого. Однако он не ответил. Чем это можно объяснить? Толстой мог бы ответить Тургеневу так, что ответ его более или менее удовлетворил бы знаменитого романиста. На вопрос Русанова, сделанный тогда же, будет ли он писать художественные произведения, Толстой ответил: «Конечно, буду. Если умеешь писать, нельзя не писать, так же как если умеешь говорить, то нельзя не говорить».

Можно подумать, что Толстой не ответил на письмо Тургенева потому, что из его письма увидал, что он уже близок к смерти. И, смотря на смерть как на «высочайший момент в жизни», он счел неуместным писать умирающему другу о своих будущих литературных занятиях.

Смерть Тургенева всколыхнула в Толстом всю полноту дружеского чувства к тому писателю, в котором он при первом знакомстве почувствовал «прелесть, привязывающую с первого раза». «Смерть Тургенева я ожидал, – писал Толстой Н.Н. Страхову 2 сентября, – а все-таки очень часто думаю о нем теперь». И он интенсивно читает и перечитывает Тургенева, даже иногда меняя отрицательные оценки на положительные (как, например, вышло с рассказом «Довольно»).

В октябре 1883 года Обществом любителей российской словесности было постановлено устроить специальное торжественное заседание в память И.С. Тургенева. Конечно, были приглашены ближайшие друзья покойного, в том числе и Толстой. Он охотно согласился на просьбу Общества и стал готовить выступление, которое всячески попытались заблокировать (начальник

Репозиторий ВГУ

Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов – когда-то друг Тургенева и член кружка Грановского, а теперь крайний реакционер; министр внутренних дел граф Д.А. Толстой, четвероюродный брат Л.Н. Толстого; и, конечно, обер-прокурор К.П. Победоносцев).

Но Толстой изложил свои мысли предполагаемого выступления историку литературы А.Н. Пыпину. «Я и всегда любил его, – так начал Толстой свою характеристику Тургенева, – но после его смерти оценил его как следует».

Переходя далее к характеристике Тургенева, Толстой писал: «Тургенев прекрасный человек (не очень глубокий, очень слабый, но добрый, хороший человек), который хорошо говорит всегда то, *самое* (курсив Толстого. – *А.Н.*) то, что думает и чувствует. Редко сходятся так благоприятно эти три фактора [23], и больше нельзя требовать от человека, и потому воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел – все, что нашел. Он не употреблял свой талант (умение хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу».

Толстой видит три фазиса в жизни и произведениях Тургенева: «1) вера в красоту (женскую любовь – искусство). Это выражено во многих и многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно, и прелестно в «Довольно»; и 3) не формулированная, как будто нарочно, из боязни захватить ее (он сам говорит где-то, что сильно и действительно в нем только бессознательное), не формулированная, двигавшая им и в жизни, и в описаниях вера в добро – любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче и прелестнее всего в “Дон-Кихоте” (Толстой имеет в виду речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», написанную в 1860 году. – *А.Н.*), где парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра».

Характеристику Тургенева, эволюции его творчества и миросозерцания, сделанную Толстым в письме к А.Н. Пыпину, следует считать наиболее полным выражением его общего отношения к Тургеневу.

В переписке со Страховым Толстой уже после смерти Тургенева использовал его имя как аргумент против Достоевского, а точнее против его творчества. 5 декабря 1883 года Толстой писал Страхову: «Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми преувеличения его значения… – возведения в пророка и святого, человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомства нельзя человека, *который весь борьба* (курсив Толстого. – *А.Н.*)… Чем больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. А главное, за то, что он был без заминки и свезет, а то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Pressensé (Пресенсе – протестантский богослов, автор сочинений по истории христианства. – *А.Н.*), и Достоевский оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого ум и сердце пропали за ничто. Ведь Тургенев переживет Достоевского, и не за художественность, а за то, что без заминки…» [24].

Репозиторий БГУ

Спустя много лет после смерти Тургенева Толстой высказывался о его произведениях в беседах с разными людьми. Эти отзывы носят частный характер. Конечно, они субъективны и не могут влиять на общую концепцию отношения Толстого к творчеству Тургенева, «вычерченную» нами в этой главе. Но учитывать их необходимо, так как любое мнение великого писателя о своем знаменитом собрате-современнике имеет интерес исторический.

Так, например, В.Ф. Лазурский записал летом 1894 года отзывы Толстого о Тургеневе: «Я помню, – говорил Толстой, – Тургенев произвел на меня сильное впечатление “Записками охотника”. Потом я слушал “Рудина”: он читал у Некрасова… Я был удивлен, как это – Тургенев, и мог написать такую фальшивую, придуманную вещь». «Выше всех, – пишет далее Лазурский, – он ставит “Довольно” и статью “Гамлет и Дон-Кихот”… Высоко ставит “Живые мощи”… “Новь” мне, представьте, – говорит Толстой, – понравилась; “Пунин и Бабурин”, “Колосов” – это Бог знает что такое; “Вешние воды” – это к тому же разряду: “все выдуманное, хотя хорошо выдуманное”».

Тогда же Толстой читал вслух изданные письма Тургенева к Аксаковым и «радовался блестящему изложению, восхищался его критическими замечаниями», повторяя: «Удивительно хорошо!» (дневник В.Ф. Лазурского).

Там же, летом 1894 года, о братьях Аксаковых: «Православие их, которое стояло в связи с славянофильской системой, было напоказ. Тургенев был гораздо искреннее… За это он был всегда ближе мне… Чтобы понять Тургенева, нужно читать последовательно: “Фауст”, “Довольно” и “Гамлет и Дон-Кихот”. Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина».

Летом 1896 года Толстой слушает чтение повести Тургенева «Первая любовь». Заметил, что «конец сделан классически».

В мае 1898 года в письме к Я.П. Полонскому Толстой пишет, что, проезжая по делам помощи голодающим через Спасское, он «проехал через сад, посмотрел на кособокий милый дом… и очень живо вспомнил Тургенева и пожалел, что его нет». «Очень приятно было узнать, что крестьяне в имении нашего друга были так хорошо наделены землею, в особенности, в сравнении с окружающими, что нужды там нет».

В апреле 1900 года А.М. Сухотин прочитал «Старые портреты» Тургенева. Лев Николаевич не помнил этой вещи и после чтения очень ею восхищался.

В июле того же года о Тургеневе: «Это был типичный представитель людей пятидесятых годов, либеральный в лучшем смысле этого слова. Замечательна его борьба против крепостничества, и потом его любовь к тому, что он описывает… его чуткость к красотам природы» (А.Б. Гольденвейзер).

Август 1901 года: «Я любил Тургенева как человека. Как писателю, ему и Гончарову я не придаю особенно большого значения. Их сюжеты – обилие обыкновенных любовных эпизодов – и типы имеют слишком преходящее значение» (А.Б. Гольденвейзер).

Июль 1902 года: «Лев Николаевич говорил, что у Баратынского отношение к смерти правильное и христианское, а у Фета, Тургенева и Василия Боткина – эпикурейское» (С.А. Толстая).

В воспоминаниях Х.Н. Абрикосова читаем (за апрель 1903 года): «Про Достоевского Лев Николаевич сказал, что одна его строчка стоит целой по-

Репозиторий ВГУ

вести Тургенева, хотя язык Тургенева нельзя сравнить с языком Достоевского. У Тургенева самое лучшее – это “Довольно”, “Гамлет Шигровского уезда”, “Фауст”, недурно “Затишье”».

Запись в дневнике 30 сентября 1906 года: «Читаю Гёте и вижу все вредное влияние этого даровитого человека на то поколение, которое я застал – в особенности бедного Тургенева с его восхищением перед “Фаустом” (совсем плохое произведение) и Шекспиром…».

В записной книжке Толстого от 21 марта 1907 года: «Чтение в английском переводе стихотворения в прозе “Порог” Тургенева – “ужасно”» (неясно, к чему относится его оценка – к произведению Тургенева или к его переводу).

Запись в дневнике личного врача Д.П. Маковицкого 7 сентября 1907 года: «А.Б. Гольденвейзер спросил Льва Николаевича о ссоре, которая была между ним и Тургеневым. Л.Н. не отвечал, ему как будто не хотелось вспоминать об этом. Потом сказал: “Тургенева с любовью вспоминаю”».

Тогда же: На слова С.А. Толстой, что Тургенев очень любил Льва Николаевича, Толстой возразил: «Нет, наоборот. Он скорее любил меня как писателя. А как человек я не встречал в нем настоящей теплоты и сердечности. Да он и никого так не любил, кроме женщин, в которых бывал влюблен. У него не было никого друзей» (А.Б. Гольденвейзер).

Запись в дневнике Д.П. Маковицкого 12 июня 1908 года: «Тургенев – я его всегда любил – был человек добрый, но он не был самобытный…».

Запись в дневнике Д.П. Маковицкого 6 апреля 1909 года: «В разговоре о Жорж Санд Толстой вспоминает о своем отношении к ней в молодости: “Я в свое время кроме отвращения ничего к ней не чувствовал, в то время как Тургенев восхищался ею”…».

* * *

Творческие и личные отношения Толстого и Тургенева, двух величайших художников слова, представляют собой одно из редких явлений в истории не только русской, но и мировой литературы. В их взаимоотношениях ощущается тесная преемственная связь в развитии национальной литературы, для возвышения славы которой они так много сделали. И если дореволюционные исследователи творчества Толстого и Тургенева стремились не к объективному рассмотрению творчества двух «Т», а к противопоставлению одного из них другому, то тем самым они только обедняли их творческий диапазон и искажали в целом историко-литературный процесс. Совершенно оригинальные по методу и стилю и во многом по своему мировоззрению, они сходились в главном – в понимании роли литературы как «дела жизни» (Толстой), как «сосредоточенного отражения» ее (Тургенев). Своим пониманием литературы они способствовали духовному обогащению и пробуждению общественного сознания у народа.

Это общее у Тургенева и Толстого отнюдь не делает их безликими. Напротив, в сравнительном сопоставлении каждый из них еще рельефнее выделяется своим видением мира и его отражением: каждый из них имел свой творческий голос, свое открытие мира прекрасного.

Репозиторий ВГУ

В личных отношениях Толстого и Тургенева со всей ясностью отразилось столкновение «предрассудков вековых», старых отживавших нравственных принципов, привитых воспитанием, феодально-самодержавным строем, с нарождавшимся новым понятием о морали, в основе которой лежала сила разума, осознание своих действий и поступков. Оба они в минуту острых конфликтных столкновений могли впасть в безрассудство, увлечься минутной вспышкой гнева. Но по «размышлении здравом» Толстой и Тургенев сумели трезво, критически оценить свои поступки и силой разума победить «горечи бед и обид». Они с честью вышли из жестокой ссоры, которая никак не помешала их творчеству. Например, даже тогда, когда между ними возникали «овраги» и «щели», эти писатели внимательно продолжали следить за новыми сочинениями друг друга, что способствовало развитию их таланта и возвеличению русской литературы. В творчестве Толстого она достигла недосягаемых высот; Тургенев с гордостью писал, что в Европе нет равного Толстому-художнику.

5. «Он мне нравился своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием» **(Л.Н. Толстой и А.Н. Островский)**

Современная Л.Н. Толстому и А.Н. Островскому критика отметила главное, чем они оказались близки, – с а м о б ы т н о с т ь литературного дарования. Будучи на 5 лет старше Толстого, Островский чуть раньше вошел (на эти же 5 лет) в литературу, и к моменту появления в «Современнике» толстовского «Детства» был уже известным писателем. Вослед высокой оценке, данной этой повести Некрасовым как редактором «Современника» в личном письме автору, и критики не усматривали в «Детстве» никаких элементов подражательности и считали его произведением вполне самобытным. Н.Г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» относил Островского, вместе с Толстым, Гончаровым, Григоровичем и Тургеневым, к числу тех писателей, произведения которых «не наводят на мысль о заимствовании», «не напоминают что-либо чужое».

Находясь при штабе начальника артиллерии в Кишиневе (август 1854 г.) Толстой много читает. Он впервые знакомится с комедиями Островского «Свои люди – сочтемся» и «Бедность не порок», из которых первую называет «прекрасной», а вторую – «чудной».

В декабре 1855 года Толстой у Тургенева читал сцены из новой комедии Островского «Не так живи, как хочется». Как вспоминал Толстой через тридцать лет, читал он эту комедию «очень хорошо»; «особенно удалась ему роль Груни – ее молодое, разудалое веселье и поразившее ее неожиданное горе». Толстой на всю жизнь запомнил и содержание этой комедии, и свое чтение этой комедии. «Короткая, веселая», отозвался он об этой комедии в 1905 г., рассказав о своем чтении ее у Тургенева.

В ноябре 1855 года, получив отпуск, Толстой приехал в Орел к больному брату Дмитрию. Не в силах помочь ему, он в январе 1856 года уезжает в Москву, пробыв там около четырех недель. Он познакомился со славянофилами С.Т. и К.С. Аксаковыми, а также с поэтессой Е.П. Ростопчиной, которой

Репозиторий БГУ

выразил свое желание познакомиться с Островским. 25 января Ростопчина писала Островскому, что с ним желает познакомиться «удивительно симпатичное существо – граф Лев Толстой»…

Лишь осенью 1856 года Толстой побывал в Москве у Островского, который произвел на него впечатление человека доброго и вместе с тем «холодного самолюбца». Находясь в тоскливом расположении духа, Толстой в разговоре с Аполлоном Григорьевым и Островским (в доме В.П. Боткина), как записал он в дневнике, «старался оскорбить их убеждения». «Зачем? не знаю», – с недоумением говорит он в дневнике об этом споре, отдавая себе отчет о прошедшем дне.

Весь ноябрь и большую часть декабря 1856 года Толстой проводит в усиленной литературной работе. В дневнике его за этот период отмечено чтение «прелестной» «Обыкновенной истории» Гончарова и «слабой», по его мнению, комедии Островского «Бедная невеста».

Усиленная литературная работа Толстого в ноябре-декабре была вызвана тем, что в октябре в газетах уже появилось объявление редакции «Современника» о том, что с 1857 года четыре известнейших литератора – Григорович, Островский, Толстой и Тургенев – будут помещать все свои новые произведения исключительно в «Современнике». Участники этого «обязательного соглашения» не имели права в следующем 1857 году печататься в каких-либо журналах, кроме «Современника»…

К сожалению, потом это «соглашение» было нарушено всеми членами этой «четверки» (так называемый «раскол» в «Современнике»).

Причудливо переплелись имена Толстого, Островского, Боткина (теория «чистого искусства») и … Фета в связи со статьей Боткина о Фете. Прочитав ее еще в рукописи, Толстой остался чем-то в ней недоволен. Надо думать, что именно теория «искусства для искусства», так решительно провозглашаемая Боткиным, – та теория, всю несостоятельность которой Толстой ясно видел уже в то время, оттолкнула его от статьи Боткина.

Если говорить в целом, то Толстой в письме к автору высоко оценивает его статью о Фете как «поэтический катехизис поэзии» – и тут Боткину есть что сказать, по мнению Толстого. Но похвала здесь касается лишь принципов художественности в поэзии Фета, изложенных Боткиным во второй, конкретно-аналитической, части статьи. Первая же, теоретическая, часть не вызвала у Толстого сочувствия.

Почему? – Потому что в ней ни слова не было сказано о «воззрении автора» в художественном произведении – об «авторской позиции», «точке зрения» автора, системе «авторского начала» в произведении. А эта категория, как убедительно показало литературоведение XX века, есть система идейно-художественных средств изображения. Именно поэтому в том же самом письме Толстой, говоря о пьесе Островского «Праздничный сон до обеда», указывает недостаток этой пьесы, состоящий, по его мнению, в том, что «воззрение» автора «мелко»…

В эти годы (1856–1857), разделяя некоторые взгляды теоретиков «чистого искусства» (Боткина, Анненкова, Дружинина), Толстой начинает колебаться в своем отношении к этому «бесценному триумвирату» (его слова).

Репозиторий ВГУ

2 января 1857 года он пишет брату Сергею Николаевичу: «Хотя я душевно люблю этих литературных друзей: Боткина, Анненкова и Дружинина, но все *умные* (курсив Толстого. – *А.Н.*) разговоры уже становятся скучны мне, хотя и были истинно полезны для меня». Такое «промежуточное» отношение вынуждало иногда быть неоткровенным (в частности, с «главным теоретиком» Дружининым).

Но эта непоследовательность – особенно в самом близком для него деле искусства – была совсем не в характере Толстого. Например, в письме к Островскому от 29 января 1857 года он высказал совершенно откровенно свое мнение как о достоинствах, так и о недостатках его новой пьесы «Доходное место», несмотря на то, что ему было известно, какого высокого мнения держался о своих пьесах сам Островский.

10 января 1857 года Толстой после долгих хлопот получил заграничный паспорт, чтобы отправиться в первое заграничное путешествие, и выехал из Петербурга в Москву.

25 января он виделся с Островским. На этот раз Островский как человек произвел на Толстого невыгодное впечатление: «самолюбие невозможное», – записал Толстой про Островского. Он находил, что эта черта характера вредит творчеству. «Островский, – писал Толстой Боткину, – который был сочен, упруг и силен, когда я познакомился с ним прошлого года, в своем льстивом уединении, хотя так же силен, построил свою теорию, и она окрепла и засохла».

Через 9 дней тому же Боткину: «Островский – не шутя гениальный драматический писатель; но он не произведет ничего вполне гениального, потому что сознание своей гениальности у него перешло свои границы. Это сознание у него уже теперь не сила, движущая его талант, а убеждение, оправдывающее каждое его движение».

Толстому удалось послушать чтение двух новых комедий Островского: «Праздничный сон до обеда» и «Доходное место». Суждения его об этих комедиях интересны тем, что раскрывают взгляды на литературу, которых он в то время придерживался. Относительно первой комедии Толстой писал Боткину: «Мотивы все старые, воззрение мелкое…, но талантливо очень и отделано славно». Отзыв этот не оставляет сомнения в том, что для Толстого того времени «воззрение» писателя, то есть основная мысль, тенденция, идея произведения, стояло на первом плане. Художественные достоинства произведения, как бы они ни были велики, не освобождают автора от необходимости проводить в своем произведении известное воззрение, и воззрение это не должно быть мелко.

Те же мысли высказывает теперь Толстой и в своих отзывах о другой комедии Островского – «Доходное место». «Островского “Доходное место”, – записал Толстой в дневнике 25 января, – лучшее его произведение и удовлетворенная потребность выражения взяточного мира». Смысл этой необработанной, набросанной автором только для себя, оценки комедии Островского раскрывается в письмах Толстого к Боткину и к самому автору, написанных, вероятно, в один и тот же день – 29 января. «Комедия Островского, – писал Толстой Боткину, – по-моему, есть лучшее его произведение. Та же мрачная

Репозиторий ВГУ

глубина, которая слышится в “Банкруте” (первоначальное название комедии “Свои люди – сочтемся”. – *А.Н.*), после него в первый раз слышится тут в мире взяточников чиновников, который пытались выразить Соллогубы, Щедрины и компания. Теперь же сказано последнее и настоящее слово. Так же, как и в “Банкруте”, слышится этот сильный протест против современного быта; и как там этот быт выразился в молодом приказчике, как в “Горе от ума” в Фамусове, так здесь в старом взяточнике секретаре Юсове. Это лицо восхитительно. Вся комедия – чудо».

Самому Островскому Толстой писал, что «Доходное место» – «огромная вещь по глубине, силе, верности современного значения и по безукоризненному лицу Юсова».

Смысл сделанной Толстым оценки «Доходного места» совершенно ясен. Толстой придает первостепенную важность общественному (по его терминологии, «современному») значению художественного произведения. Обличение мира чиновников-взяточников представляется ему удовлетворением назревшей в обществе потребности. Общественное значение «Доходного места», по мнению Толстого, подобно общественному значению для своего времени «Горя от ума» и первой комедии Островского «Свои люди – сочтемся», а по художественным достоинствам комедию Островского он ставит выше «Губернских очерков» Щедрина. «Протест против современного быта» есть в глазах Толстого великое достоинство комедий Грибоедова и Островского.

Интересно, что принципы оценки Толстым «Доходного места» находятся в полном противоречии с той формулой назначения искусства (общей для теоретиков «чистого искусства»), которую он сам записал в своей записной книжке 29 мая 1856 года: «Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить».

Стоило Толстому познакомиться с произведением обличительного характера, удовлетворяющим его художественным требованиям, как он совершенно забыл свою собственную формулу искусства, направленную против обличительной литературы.

Однако, надо сказать, в личном плане характер Островского был не адекватен восприятию Толстого, и наоборот. В 1857–1858 годах Толстой несколько раз был у Островского, и Островский был у него, но особенной близости между ними не было. После одного посещения Островского Толстой отмечает в дневнике 11 ноября 1857 года, что Островский был к нему «холоден». В другой раз (27 марта 1858 года) записано даже, что Островский «несносен».

23 февраля 1860 г. Толстой пишет большое письмо Фету с обстоятельным разговором о романе Тургенева «Накануне». Тут же Толстой высказывается и по поводу другой литературной новинки того времени – драмы Островского «Гроза». «“Гроза” Островского, – пишет он, – есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех».

Этот отзыв трудно комментировать. Может быть, Толстой имел в виду «сильный драматизм» (термин Островского, которым, наряду с другим термином – «крупный комизм», он обозначал двуединый признак реалистической драматургии) – «сильный драматизм» основной коллизии в пьесе «Гроза», кульминацией которой явилось самоубийство женщины – явление, конечно, «плачевное» в жизни, семантику обозначения которого Толстой пере-

Репозиторий БГУ

нес, вероятно, и на художественные качества пьесы Островского… Но зритель со времен великих древнегреческих трагедий очищался благодаря катарсису – потрясению, являвшемуся следствием предельно трагических ситуаций – убийств и самоубийств, истязаний и самоистязаний, душевных драм. Толстой это тоже хорошо знал и учитывал в данном случае, предрекая «Грозе» «успех» у зрителей.

…Конец 1862-го – начало 1863-го года Толстой и его молодая жена С.А. Толстая (Берс) были в Москве. 23 января появляется пространная запись в дневнике, касающаяся творческой лаборатории писателя (об «эпическом роде» литературы, о регулярности писательского процесса, об отсутствии сюжетов и т.д.). В частности, его интересует такой сюжет: столкновение «любви мужа, строгой к себе, все поглощающей, сделавшейся делом всей жизни», «с увлечением вальса, блеска, тщеславия и поэзии минуты», которому поддалась его жена. К такому сюжету, по мнению Толстого, подходит давно им прочитанная повесть Дружинина «Полинька Сакс» «и пожалуй, нынешняя драма «Грех да беда на кого не живет». Здесь Толстой называет драму Островского «нынешней драмой» потому, что видел первую постановку ее в Малом театре 21 января. Пьеса очень понравилась Толстому. «Я никогда не испытывал более сильного и ни одной фальшивой нотой не нарушенного впечатления», – записал он в дневнике 23 января.

В декабре 1863 и в январе 1864 года Толстой отвлекся от романа «Война и мир» работой над комедией «Зараженное семейство». К началу февраля 1864 года она была закончена. Толстому хотелось поставить свою комедию на сцене Малого театра в Москве. Но было уже поздно, театральный сезон заканчивался 23 февраля, и постановка комедии не состоялась.

Но Толстому хотелось узнать мнение Островского о своей комедии, он пригласил его к себе и прочитал ему пьесу. Островскому комедия не понравилась. Толстому он высказал свое мнение в смягченной форме, сказав, что в пьесе «мало действия, надо переделать». «Куда торопиться, поставь лучше на будущий год». На возражение Толстого, что его пьеса «очень современная и к будущему году не будет иметь того успеха», Островский отозвался иронически: «Что же, боишься за год поумнеют?». В письме к Некрасову от 7 марта 1864 года Островский более откровенно высказался о «Зараженном семействе»: «Когда я еще только расхварывался, утащил меня к себе Л.Н. Толстой и прочел мне свою новую комедию; это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения».

Мнение Островского, очевидно, произвело впечатление на Толстого. 24 февраля, извещая сестру о том, что он не успел поставить комедию до окончания театрального сезона, Толстой прибавлял: «Да и комедия, кажется, плоха».

В черновой редакции первой части романа «Война и мир» («1805 год») Толстой объясняет причины, по которым автор выбирает своих героев исключительно из аристократического общества. Один из доводов (а всего их шесть) – личного и отчасти литературного порядка: «Жизнь купцов (это Островский), кучеров, семинаристов (Помяловский), каторжников (Достоевский) и мужиков (Николай и Глеб Успенские) [25] для меня представляется однообразною, скучною…».

Репозиторий ВГУ

Этот довод совершенно определенно направлен против тематики разночинно-демократической литературы 60-х годов – явное влияние идей «чистого искусства» «бесценного триумвирата», и прежде всего – Дружинина. Толстой быстро избавился от этого «высокомерия» и в литературной, и в общественной деятельности. Достаточно назвать имевшие большой успех: создание яснопольской школы для крестьянских детей (еще до работы над первой частью «Войны и мира» – «1805 годом»!); работу мировым посредником в тульском суде, где решались тяжбы между помещиками и крестьянами; колоритные образы капитана Тушина, Платона Каратаева в том же романе «Война и мир»; неоконченные рассказы из деревенской жизни 1860-х годов и т.д. – вплоть до «народных рассказов» 1880-х годов и повестей «Хозяин и работник», «Холстомер»…

А свою пьесу «Зараженное семейство» и Островского Толстой вспомнил в связи с интенсивной работой над романом «Война и мир». 14 ноября 1865 года Лев Николаевич сообщил А.А. Толстой, что им написана треть всего романа. Он прибавлял при этом, что не будет печатать ничего из написанного до тех пор, пока не кончит всего романа; что будет, как он рассчитывал, лет через пять. Он не спешит со своим романом потому, что считает его нисколько не связанным с современной жизнью. Он вспоминает, как в прошлом году, когда он написал комедию «Зараженное семейство» и торопился поставить ее на сцене, «потому что комедия очень современна и к будущему году не будет иметь того успеха», Островский иронически заметил ему: «Ты боишься, что очень скоро поумнеют». «Так я не боюсь в отношении своего романа», – прибавлял Толстой, объясняя свое решение не печатать роман отдельными частями».

14 апреля 1884 года состоялась беседа Л.Н. Толстого с Христиной Даниловной Алчевской – деятельницей по народному образованию, основательницей (в 1862 году) и бессменной преподавательницей Харьковской женской воскресной школы. На ее вопрос, как он находит понимание народом сочинений Островского, Толстой ответил: «Прелестно. Я давно не читал Островского и не виделся с ним, а потому и впечатления от его произведений как-то улеглись и стушевались. Но по прочтении этих отзывов он вдруг опять вырос передо мной во весь рост, и я пришел в такой азарт, что собрался одеваться и ехать к нему делиться впечатлениями, да что-то помешало».

А 22 мая 1886 года Толстым было отправлено замечательное письмо А.Н. Островскому, которое подвело итог долголетним личным и литературным отношениям между Толстым и великим драматургом. Островский получил это письмо за несколько дней до смерти (он умер скоропостижно 2 июня 1886 года).

«Любезный друг Александр Николаевич, – писал Толстой. – Письмо это передаст тебе мой друг Влад. Григор. Чертков, издающий дешевые книги для народа. Может быть, ты знаешь наши издания и нашу программу, если нет, то Чертков сообщит тебе. Цель наша издавать то, что доступно, понятно, нужно всем, а не маленькому кружку людей, и имеет нравственное содержание, согласное с духом учения Христа. – Из всех русских писателей ни один не подходит ближе тебя к этим требованиям, и потому мы просим тебя разрешить печатание твоих сочинений в нашем издании и писать для этого изда-

Репозиторий ВГУ

ния, если Бог тебе это положит на сердце. Обо всех подробностях, если ты согласишься (о чем я очень прошу и в чем почти уверен), то о всех подробностях что и как печатать и многом другом переговори с Чертковым. Я по опыту знаю, как читаются, слушаются и запоминаются твои вещи народом, и потому мне хотелось бы содействовать тому, чтобы ты стал теперь поскорее в действительности тем, что ты есть несомненно – общенародным в самом широком смысле писателем».

Чертков не застал Островского в Москве – тот уехал в деревню – имение Щелыково Костромской губернии. Туда была отправлена заказная посылка с письмом Толстого и экземпляром собрания сочинений: Чертков просил Островского «для начала» две пьесы – «Бедность не порок» и «Не так живи, как хочется».

В марте 1887 года к Толстому в Москве пришел сын Островского и принес подарок от своей матери, бывшей актрисы Малого театра М.В. Островской: сочинения отца и разрешение печатать в «Посреднике» обе комедии.

Интересен случай, когда творчество Островского побуждало Толстого к размышлениям о современной жизни, о закономерностях ее эволюции, прогресса.

25 ноября 1895 года с дочерью Сашей и ее подругой Надей Мартыновой Толстой смотрел в Малом театре комедии Островского – «Таланты и поклонники» и отрывки из двух других: «Волки и овцы» и «Лес». Как отмечено в дневнике, по дороге домой «они стали говорить про то, какой будет скоро матерьяльный прогресс, как – электричество и т.п. И мне жалко их стало, и я им стал говорить, что я жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь, о другом единственно важном прогрессе – не электричества и летанья по воздуху, а о прогрессе братства, единения, любви, установления Царства Божия на земле. Они поняли, и я сказал им, что жизнь только в том и состоит, чтобы служить приближению, осуществлению этого Царства Божия. Они поняли и поверили. Серьезные люди – дети, “их же есть Царство Божие”».

Известно крайне отрицательное отношение Толстого к творчеству Шекспира.

В декабре 1895 года в беседе с Ф.А. Страховым Толстой высказал свое мнение («дикое», как говорил сам Лев Николаевич) о Шекспире. Он критиковал пьесы «Король Лир», «Ромео и Юлия» за неестественность; «клоунада не забавляет публику, а глумится над простым народом»; «возмутительно равнодушие Шекспира, называемое объективностью: Отелло ли душит Дездемону или убивают подряд несколько человек – ему все равно…». «Мольер художественнее Шекспира, Бомарше – и подавно. У Мольера, правда, нет такого разнообразия и глубины содержания, но зато всякая вещица хорошо отделана, художественна. Даже некоторые из первых вещей Островского художественнее некоторых шекспировских…».

В зиму 1895–1896 года Толстой побывал в народном театре на фабрике Прохорова в Москве, где давали «Мещанина во дворянстве» Мольера. Толстой был в восторге от пьесы: «Какой юмор и какая художественная правда! Превосходны эти классики». Толстой советовал фабриканту, по воспоминаниям писателя С.Т. Семенова, «непременно познакомить его публику с «Королем Лиром» Шекспира и с «Разбойниками» Шиллера… Из русских авторов Толстой реко-

Репозиторий ВГУ

мендовал «Горькую судьбину» Писемского и бытовые комедии Островского: «Бедность не порок», «Не в свои сани не садись», «Не так живи, как хочется».

В апреле 1899 года литератор В.Ф. Лазурский записывает в дневнике отзывы Толстого о писателях. В частности, об Островском: «Островского он делит вообще на две половины. Первую ставит высоко, особенно “Свои люди – сочтемся”. Его трогает конец этой пьесы, когда Большов падает с высоты своего величия, зритель жалеет его и негодует на жестокого Подхалюзина. Высоко ставит также “Бедность не порок”, “Не так живи, как хочется”. Падение начинается, когда из желания угодить либеральной критике, Островский стал писать “Доходное место” и громить “темное царство”. Жадова, этого студента-резонера, Лев Николаевич находит из рук вон плохим… Неодобрительный отзыв его о “Грозе” известен. Недавно с Софьей Андреевной видел он в театре “Горячее сердце” и ахал от невозможности сцен. Сцену объяснения городничего с просителями (“А принеси законы!”) находит хоть и смешной, но выдуманной».

Известный музыкант А.Б. Гольденвейзер в августе 1901 года записал: «В разговоре о русских писателях Толстой (в частности. – *А.Н.*) сказал: «Если бы меня спросили, кого из русских писателей я считаю наиболее значительными, я назвал бы: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, которого наши либералы забыли, Достоевского, которого они совсем не считают. Ну, а затем: Грибоедова, Островского, Тютчева…».

Свидетельство В.Ф. Лазурского, приведенное выше, подтверждается семейным врачом Толстых Д.П. Маковицким в «Яснополянских записках» (январь 1907 года). Толстой говорил: «Островский разделяется для меня на две резко отличающиеся одна от другой половины… “Свои люди – сочтемся” – это составляет часть классической русской литературы: “Не живи, как хочется…”, “Бедность не порок”, “Не в свои сани не садись” и еще маленькие, всего шесть-семь драм хорошие. Последняя “Не так живи, как хочется…”, мы ее вместе читали с Тургеневым, я у него жил в Петербурге; она появилась в “Современнике”. Потом пошло!.. Я говорил ему про “Снегурочку”. Он сказал, что и у Шекспира есть рядом с серьезными сказочные…».

И заключить этот раздел будет логично и справедливо свидетельством Н.Г. Молоствова, биографа Толстого, который летом 1908 года (за два года до смерти писателя) расспрашивал Толстого о его старых знакомых литераторах. Толстой сказал, что он был на ты с одним только Островским. «Он мне нравился, – сказал Лев Николаевич об Островском, – своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием. Он был самобытный, оригинальный человек, ни у кого не заискивал, даже и в литературном мире».

6. *«Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия»* (Л.Н. Толстой и Н.А. Некрасов: опыт анализа творческой переклички прозаика и поэта)

Тема «Некрасов о Льве Толстом», как и «Лев Толстой о Некрасове», интересна уже в силу сопряжения этих славных и таких разных имен. Но она проще в том смысле, что печатных свидетельств Некрасова о Толстом осталось больше, чем Толстого о Некрасове. Последнее обстоятельство, в первую очередь, и питало наше любопытство.

Репозиторий ВГУ

Н.А. Некрасов считается «литературным крестным отцом» Толстого: это ему, редактору «Современника», неким автором была послана с Кавказа повесть «Детство», затем рассказ «Набег» и продолжение первой повести – «Отрочество»; это он, Некрасов, мужественно деливший себя между литературой и журналистикой, прозорливо угадал в человеке, скрывавшемся за инициалами «Л.Н.Т.», писателя «правды, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе» (Н-12, X, 241)[1].

Сначала деловая и дружеская переписка, а затем личное знакомство Толстого и Некрасова вкраплены в отрезок времени длиною в 23 года. И так получилось, что в этих взаимоотношениях Некрасов навсегда остался для Толстого редактором, пестуном, а усложненные поиски истины, которые всю жизнь вел великий протестант и поборник справедливости, оказались удаленными от поэзии, наполненной скорбью, гневом и решимостью. Видимо, поэтому Некрасов оставил существенные оценки художественного творчества своего младшего собрата по литературе, а Толстой по отношению к поэзии Некрасова всегда оставался лишь читателем.

Не следует забывать и того, что дружба Толстого с некрасовским «Современником» однажды драматически расстроилась, вследствие идейного раскола редакции, и уже не возобновлялась по существу. Некрасов и Толстой оказались в разных идейных группировках. И без того не слишком прочные контакты совсем ослабли.

Между тем вопрос о соотношении творчества Толстого и Некрасова всегда оставался актуальным. Даже наугад выхваченные параллели интересны для исследования.

В самом деле. В чем отличие Петра Ивановича Лабазова из несостоявшейся повести Толстого «Декабристы» от некрасовских декабристов в его историко-революционных поэмах «Дедушка» и «Русские женщины»? Как решается проблема «герой и народ» в «Войне и мире» и поэме «Кому на Руси жить хорошо?»? Как освещается народная жизнь в этой поэме и в тогда же написанной «Анне Карениной»? Насколько перекликается образ некрасовского безымянного мужика из стихотворения «С работы» с чертами характера толстовского Платона Каратаева? А когда мы читаем в трактате «В чем моя вера?» о «казни людей такими же людьми» с помощью шпицрутенов, гильотин, виселиц, разве не вспоминается некрасовское:

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабана, цепей, топора?.. (Н-15, II, 152).

Уже эти параллели свидетельствуют об определенной взаимоконтекстности этих вроде бы неблизких художественных миров.

---

[1] Некрасовские тексты цитируются по двум изданиям:
Н.А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. – М., 1948–1953;
Н.А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. – Л., 1981.
(Сокращенно: Н-12 и Н-15, затем римскими цифрами указывается том, арабским – страницы).

Репозиторий БГУ

Толстой читает Некрасова

В отзыве одного художника о другом, быть может, самое ценное – неповторимость мнения. Толстой, как известно, судил об искусстве своеобразно и вместе с тем нелицеприятно. Если учесть это обстоятельство и иметь в виду историю и характер взаимоотношений Толстого и Некрасова, а также не забыть, что они работали в разных родах и жанрах литературы, то станет понятно, насколько сложным могло быть отношение Л.Н. Толстого к поэзии Н.А. Некрасова.

На чем укрепилось доверительно-уважительное отношение молодого Толстого к опытному уже литератору, каким был в начале 50-х годов Некрасов? – На общности художнических принципов. Если редактор «Современника» подметил в «Детстве» Толстого «простоту и действительность содержания» (Н-12, X, 176), то лучшей оценки молодой автор не мог и ждать, так как сам дорожил тем же. На фоне рецидивов отжившего выспренне-романтического направления в русской литературе того времени подобное взаимоотношение означало много. Путь Некрасова к его знаменитому сборнику 1856 года пролегал тоже через школу «простоты и действительности содержания». А Толстой в 1853 году записывает: «Пробный камень ясного понимания предмета состоит в том, чтобы... передать его на простонародном языке необразованному человеку» (ПССТ, XLVI, 286)[2]. И когда пал Севастополь, защитником которого вместе с «необразованными людьми» был и Толстой, то Некрасов в Петербурге написал о «действительном содержании»:

О, не склоняй победной головы
В унынии, разумный сын отчизны,
Не говори: погибли мы. Увы! –
Бесплодна грусть, напрасны укоризны (Н-15, I, 174).

Очень близка этому четверостишию дневниковая запись Толстого, сделанная буквально 18 дней спустя: «Я, кажется, сильно на примете у синих (жандармов. – *А.Н.*) за свои статьи («Севастопольские рассказы». – *А.Н.*). Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть и тоже писать из пустого в порожнее, без мысли и, главное, без цели!» (ПССТ, XLVII, 60).

Несомненно, запись эта могла появиться только после ободряющего письма Некрасова (от 2 сентября 1855 г.), строчку из которого мы цитировали в самом начале. Толстой благодаря Некрасову почувствовал себя писателем, полезным своей стране.

Однажды зимой, уже в Петербурге, мучительно почувствовав свое одиночество, Толстой пошел к Некрасову. Его он застал в подобном же состоянии и, кроме того, больным. Поэт тогда писал одно из лучших своих стихотворений «Замолкни, Муза мести и печали!» Оно очень понравилось Толстому. Не столько жалость к товарищу по перу, сколько общее душевное настроение сблизило их. А стихотворение это, как вспоминал он уже в 1908 г., Толстой запомнил сразу наизусть, особенно первую строфу:

---

[2] *Л.Н.Толстой.* Полн. собр. соч.: в 90 т. (Юбил. изд). – М., 1928–1958. – Т. 46. – С. 286. Далее ссылки на это издание даются в тексте главы (ПССТ, римскими цифрами – том, арабскими цифрами – страница).

Репозиторий ВГУ

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю – и молчу (Н-15, I, 182).

Общие моменты в литературных судьбах Некрасова и Толстого обнаруживаются подчас неожиданно (но не случайно).

Январь 1857 года. Повесть Толстого «Юность» уже отпечатана для первого номера «Современника». И все-таки цензура успевает ее повымарать. Оказывается, усиленную зоркость она проявила не зря: за два номера до этого Н.Г. Чернышевский рискнул перепечатать из только что вышедших в свет «Стихотворений» Некрасова «Поэта и гражданина», «Забытую деревню» и «Отрывки из путевых записок гр. Гаранского»; редактор был строго предупрежден против подобных «нежелательных публикаций». Своим взволнованным чувством близок Толстому и некрасовский «Рыцарь на час». Близок своей пронзительной самокритичностью, гражданским пафосом и демократизмом авторской позиции:

Что друзья? Наши силы не ровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на все безрассудно дерзал.
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет –
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни – вперед и вперед! (Н-15, II, 138).
И особенно вот это:
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви! (Н-15, II, 138).

Это произведение Некрасов создает в разгар революционного подъема (1862) – страстную исповедь поэта, признание в жажде очищения от конъюнктурных забот, от сделок с совестью, от всего того, что отягчает жизнь истинного борца за свободу народа. И напряженность гражданственного и нравственного чувства Некрасова в этом значительном стихотворении передалась Толстому не случайно. Вспомним, что именно в это время, находясь за границей, Толстой начинает писать роман «Декабристы» – зародыш будущей эпопеи «Война и мир», тогда же, во Флоренции, он с большим волнением знакомится с декабристом С.Г. Волконским. В марте 1861 г. в письме к А.И. Герцену дает известную резко отрицательную оценку манифесту 19 февраля; и вскоре в Брюсселе, по рекомендации того же Герцена, посещает польского революционера Иоахима Лелевеля, портрет которого по возвращении в Ясную Поляну повесил в своем кабинете; а весь остаток 1861 г. прошел у Толстого в хлопотах об издании народного педагогического журнала «Ясная Поляна» и организации третьей по счету школы для крестьянских детей. «Реестр» бурной деятельности Толстого в этот период хочется закончить напоминанием о том, что в январе 1862 г. были установлены тайные наблюде-

Репозиторий ВГУ

ния за Толстым со стороны III отделения. Как и Некрасов, Толстой в это время захвачен, словами поэта, «безумной жаждой жизни», т.е. активной гражданской деятельностью.

Кстати, «Рыцарь на час» надолго и глубоко тронул писателя, он вспоминает о нем и спустя 45 лет, в 1907 г., когда читали эти стихи вслух в доме Толстых.

Некрасов как мастер мастеру пишет Толстому в 50-е годы о своем неустанном упорстве в работе над рифмой (к сожалению, письмо это не сохранилось). Это уже разговор профессионалов, не только достойных друг друга, но друг другу доверяющих.

Из дневника Толстого известно, что в сентябре 1884 г. он перечитывал Некрасова, чтобы выбрать стихотворения, подходящие для чтения детям, в один и тот же день читал Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Некрасова – «все прекрасно» (ПССТ, XLIX, 121). Жаль, что ни одно из этих произведений в дневнике не названо. А год спустя, сравнивая баллады А.К. Толстого со стихотворениями Некрасова, Л.Н. Толстой говорил, что у его однофамильца не выдержан поэтический тон: «начнет высоко, а кончит куплет уж водевильно», в то время как у Некрасова «тон всегда выдержан от начала до конца, у того (Некрасова. – *А.Н.*) чутья больше...». В устах Толстого после «перелома» в мировоззрении, когда далеко не все в искусстве им одобрялось, эта тонкая оценка поэзии Некрасова может считаться высокой похвалой. Кроме того, светская поэзия А.К. Толстого, представляющая собой иногда стилизацию под славянофильское народничество, мало что могла говорить Льву Николаевичу.

Поликушка – Иван (тип крестьянина 60-х годов XIX века у Толстого и Некрасова)

Толстой читает вслух домашним нравящееся ему стихотворение «Эй, Иван!». Этот отзыв побуждает нас поразмышлять, и не только в плане «выдержанности тона» некрасовского стихотворения. Совершенно очевидно, что в этом случае налицо своеобразная творческая перекличка двух писателей-современников.

Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 года, то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов. Такова была и позиция некрасовского «Современника». И хотя в редакции задолго до этого произошло идейное размежевание творческих сил, «ушедший» из журнала Л.Н. Толстой, не сговариваясь с теперешними своими оппонентами, оценил манифест в той же степени, как и они, отрицательно: «..Мужики ни слова не поймут, а мы (передовые люди из дворян. – *А.Н.*) ни слову не поверим», – писал он о манифесте А.И. Герцену (ПССТ, LX, 372).

Н.А. Некрасов «отметил» факт крестьянской реформы как редактор вполне определенно: в мартовском номере журнала не было хвалебных статей по поводу манифеста, а были помещены переведенные М.Л. Михайловым «Песни о неграх» Г. Лонгфелло, где говорилось о рабовладельчестве. Была напечатана статья В.А. Обручева «Невольничество в Северной Америке», а чуть позже – поэма Т.Г. Шевченко «Гайдамаки», рисующая народный бунт.

Репозиторий ВГУ

Как человек и поэт Некрасов, резко отрицательно (по словам Чернышевского) встретивший манифест, откликнулся на реформу стихотворением «Свобода», в котором подал голос не восторга, но надежды:

Родина мать! По равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким!

И в заключение:

Муза! с надеждой приветствуй свободу! (Н-15, II, 127).

Общий «безоблачный» тон стихотворения, не характерный для крестьянских стихов Некрасова, вступал в явное противоречие с позицией «Современника» по отношению к реформе. Поэтому «Свобода» была напечатана лишь в 1869 году.

Л.Н. Толстой же в 1861–62 годах пишет, а в 1863 году публикует повесть «Поликушка», где «мир рабства» становится главной темой авторского исследования. Сопоставление крепостной забитости мужика и потенциала возможностей народного сознания обретает здесь трагичное звучание. Это был своеобразный художественный отклик Толстого на реформу 1861 года – совсем в духе «Современника», хотя написанный «оппозиционером» этого журнала.

А что же Некрасов? В течение плодотворного «грешневского лета» 1861 года, когда поэт прямо общался с крестьянским миром, были созданы подлинно народные произведения: «На смерть Шевченко», «Похороны», «Дума», «Крестьянские дети», «Коробейники». Они как бы покрывали своей прозрачной и горькой правдивостью «неверный звук» стихотворения «Свобода».

Проходит еще 6 лет – и появляется стихотворение Некрасова «Эй, Иван!» (1867). Оно написано в один год с покаянным стихотворением «Умру я скоро», в котором трогательная мольба о прощении:

За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости!.. (Н-15, III, 41)

мотивировалась целым рядом судьбоносных моментов жизни поэта: и гнетущими впечатлениями детства и молодости, и отсутствием творческой свободы, и невольной оторванностью от народа, и уходом от единомышленников.

Будучи великим актом, устранившим многовековое зло, отмена рабства не могла устранить все последствия этого зла, не могла излечить ни барина, ни мужика от той порчи, той деморализации, которая была порождена рабством. «Оскудение» материальное и еще больше нравственное по необходимости должно было продолжаться и после реформы («дело веков поправлять нелегко» – читаем в поэме Некрасова «Саша»); и оно было бы еще значительнее и печальнее, если бы ряд других реформ 60-х годов не внес некоторого оздоровляющего начала в русскую жизнь. К сожалению, эти реформы остались незавершенными, и последовавшая вскоре реакция в значительной мере парализовала их благое действие.

Недовольство и сопротивление обманутых и обобранных крестьянских масс было очень велико, особенно в первые два года после манифеста (напомним: повесть «Поликушка» написана именно в это время; к этому же периоду относится и судьба героя некрасовского стихотворения «Эй, Иван!»,

Репозиторий ВГУ

отнесенного автором к «типу недавнего прошлого»). Весь набор «аргументов и фактов» неладных отношений мужика и барина собран в бедном Иване:

На желудке мало пищи,
Чуть живой на взгляд,
Не прикрыты, голенищи
Рыжие торчат...
.....
На запятках и в передней
Жизнь веками шла.
.....
Выпить может сто стаканов –
Только подноси...
Мало ли таких Иванов
На святой Руси?

И, как результат пьяного угара, – бесшабашное отчаяние:

В Ваньке пляшут все суставы
С ног и до ушей,
Пляшут ноздри, пляшет в ухе
Белая серьга.
Ванька весел, Ванька в духе –
Жизнь не дорога! (Н-15, III, 55–56).

Пьянство, конечно, не красит русского человека; бедность не порок, но и пьянство не добродетель. Все это так. Но вот что вспоминает известный русский юрист и литератор А.Ф. Кони об одном из разговоров с Толстым (конец 80-х годов), где ему пришлось высказать перед писателем свое понимание этого русского порока в людях типа Ивана и Поликушки. Это была «одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели».

«Иногда, простившись со мною, – пишет Кони, – Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение (комнаты «под сводами». – *А.Н.*), и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. “А какого вы мнения о Некрасове?”, – спросил он у меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. “Он был, – продолжал я, – одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но порочный человек не всегда дурной человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые хорошие люди подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие.

Репозиторий ВГУ

Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми жизненной скупости и черствой расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинной добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди – почти всегда пьяные люди, и пьяные люди – всегда добрые люди".

...Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на "краешек", сказал мне: "Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, – это различие необходимо делать!" – и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение нашей общей мысли».

Мы имеем здесь еще одно мнение Толстого о Некрасове, высказанное Кони. Это мнение – двухаспектное: о Некрасове-художнике и Некрасове-человеке. Оценка Кони художественного таланта Некрасова носит хотя и общий, но проницательный характер: любовь к русской сельской природе и простому русскому человеку в его лирических произведениях «пользует» молодых русских, родившихся и воспитанных в городах. Несомненно, что Толстой, написавший трактаты «Так что же нам делать?», «Что такое искусство?», «Исповедь», «народные» рассказы, полностью разделял этот взгляд. Второй аспект отношения Кони и Толстого к Некрасову – «морально-бытовой» – более развернут и носит характер оправдательного приговора по отношению к порочным людям, как правило, добродетельным за пределами этого порока.

А.Ф. Кони написал эту тираду, конечно, ради оправдания известных «недостатков» Некрасова его «литературными и нравственными заслугами».

Но мы можем применить сей высокопедагогичный принцип и к литературному герою Некрасова Ивану, а также к Поликушке Толстого.

Трудно сказать, насколько Некрасов считал Толстого своим единомышленником после «раскола» в «Современнике», но написано стихотворение «Эй, Иван!» не случайно: не случайно – в один год с «Умру я скоро...», не случайно и его поразительное фабульное сходство с повестью Толстого «Поликушка».

В самом деле, читая некрасовскую «маленькую поэму», уже со второй строфы:

Род его тысячелетний
Не имел угла... (Н-15, III, 55)

улавливаешь поразительное сходство его судьбы – судьбы «неумытого, угрюмого, оплеванного, вечно пьяного» дворового – с историей толстовского «незначительного и замаранного» Поликушки из одноименной повести. Незадачливый Поликей у Толстого перепробовал все рабочие должности (чистильщик хлева, ткач, садовник, каменщик, коновал). И у Некрасова:

Ремесла Иван не знает,
Делай, что дают:
Шьет, кует, варит, строгает.

«Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало». Таков и Иван:

...Грубит, ворует,
Божится и врет,
И за рюмочку целует

Репозиторий ВГУ

Ручки у господ (Н-15, III, 55).

Если Поликушка неравнодушен к игре купеческой барышни «в фортепьян» («Поиграл бы я, право!.. Я до этих делов ловок»), то и некрасовский Ванька –

Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур... (Н-15, III, 57).

Трагическая история Поликея начинается с набора в рекруты, куда ему подпало идти – и Иванов барин мечтает:

«Лишь бы лоб ему забрили
– Вешайся, потом!» (Н-15, III, 57).

Наконец, мрачная неотвратимость Поликушкиного исхода (повесился) во многом совпадает с шагом отчаяния Ивана, которого «чуть живого сняли с петли». И даже мотивы покушения на собственную жизнь у Поликея и Ивана сопряжены, хотя кроткий толстовский герой умер бессловесно, а герою Некрасова, в силу счастливой случайности, удалось высказать свою сокровенную обиду на господ:

«Хоть бы раз Иван Мосеич
Кто меня назвал!..» (Н-15, III, 57).

Но мотив, побудивший обоих крепостных крестьян рассчитаться с опостылевшей им «развеселой жизнью» таким страшным способом, конечно, един: корень зла не столько в барыне Поликушки и в барине Ивана, сколько в самом типе сложившихся отношений между помещиком и крестьянином, так как эти отношения мешают безопасности эксплуатируемого человека, направлены против единства человека со всеми людьми и поэтому не могут быть защитой от надвигавшегося тогда на деревню «мрачного духа». Тогда – это и в 1861–1862 годах, когда был написан «Поликушка», и в 1867 году, когда появилось стихотворение «Эй, Иван!».

В некрасовском стихотворении, естественно, нет психологизма, которым наделен толстовский Поликушка. Рамками прямой речи ограничено нравственное наполнение самосознания Ивана. Но вот «диалектика души» его вполне прослеживается сквозь восемь строф: от удручающего «выходного» портрета – через тысячелетнюю родословную Ивана, в которой потерялась его человеческая личность, ставшая знаком безремесленничества и пьянства, воровства и бесцельного волокитства – к отчаянию самоубийства – и кульминационной развязке этого «малого эпоса»:

«Хоть бы в каторгу урода –
Лишь бы с рук долой».
К счастью, тут пришла свобода:
«С Богом, милый мой!».
И, затерянный в народе,
Вдруг исчез Иван...
Как живешь ты на свободе:
Где ты?.. Эй, Иван! (Н-15, III, 58).

Иронична авторская позиция относительно «пришедшей свободы». Холодком ужаса веет от авторской констатации насчет «исчезновения Ивана», «затерянного в народе»: что может быть страшнее стадного состояния бывшего

Репозиторий ВГУ

крепостного? И, наконец, горька риторичность последних вопросов и восклицания, давшего название этой вещи: «Эй, Иван!» Он растворился как личность или умер – что одно и то же. Такая, вот, «свобода», – как бы говорит Некрасов.

Подойдем теперь к этому сложному вопросу и с другой стороны. Вспомним, как некрасовские «крестьяне добродушные» однажды, при виде рыдающего помещика, «подумали про себя» (насчет реформы 1861 года):

Порвалась цепь великая,
Порвалася – расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!.. (Н-15, V, 83).

Социальная ситуация вследствие крестьянской реформы глубоко отразилась и на положении, на политической деятельности дворянства. Реформа была для русских помещиков своего рода историческим испытанием. И этого испытания русские помещики, в общем, не выдержали. В своем подавляющем большинстве они после реформы не обнаруживали ни заинтересованности, ни способности к решительному хозяйственному переустройству.

Вот как Толстой рисует первое появление барыни в своей повести: «Тут уже (речь идет о вербовке в рекруты. – *А.Н.*) барыня ничего не понимала, – пишет Толстой, – не понимала, что значили тут “двойниковый жребий” и “добродетель” (эти доводы приводил приказчик. – *А.Н.*); она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня» (ПССТ, VII, 5).

Новый буржуазный лад не прельщал широкие слои консервативного дворянства, и они продолжали эксплуатировать крестьян старыми полуфеодальными способами. Неясности жизненных перспектив сопутствовали мотовство (вследствие этого значительная часть небогатого дворянства приходила к разорению) или хищническая скупка земель.

Это, конечно, отразилось и на политических позициях большинства русского дворянства и дворянской интеллигенции. Получив новые земли при выгодном распределении угодий, остро чувствуя недовольство и возмущение обобранных крестьян, дворянство еще больше, чем казалось, заинтересовано в сильной самодержавной власти. И если до 1861 года

Были зубы – били в зубы,
Нет – трещит скула (Н-15, III, 56)

– как было с Иваном, то теперь дворянство всецело поддерживает репрессии правительства по отношению к народу и демократическим кругам, увлекаясь поэтому религиозно-философскими поисками – в сфере лирического творчества по преимуществу (А.А. Фет). Писатели же, стоявшие на либеральных или консервативно-оппозиционных точках зрения (И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой) в период реформы испытывали глубокие идейные колебания, приведшие в дальнейшем к идейному переходу в общедемократический лагерь.

Репозиторий БГУ

Тема оскудения помещика-дворянина получила детальную обработку в талантливых очерках С.Н. Терпигорева, а вопрос об оскудении мужика, о разложении крестьянского быта, об общине, о городе и деревне, о кулаках и мироедах стал предметом внимательного изучения и отражения для целой школы писателей-народников, истинным основателем которой следует признать Некрасова с его великой поэмой о веселой жизни на Руси, и, определенно, с его «маленькой поэмой» «Эй, Иван!».

Оба писателя одинаково чувствовали «мрачность» шестого десятилетия XIX в. в России, где только что «отменили» крепостное право. Объединить эти два значительных произведения русской литературы 60-х годов позволяет подзаголовок некрасовского стихотворения: «тип недавнего прошлого», то есть тип времени создания толстовского «Поликушки»! А композиционное завершение повести Толстого и стихотворения Некрасова убеждает нас не только в сходном содержании этих произведений, но и в сходстве их авторских идейных позиций. Ожиданием перемены проникнута и цитированная выше последняя строфа стихотворения, относящаяся ко времени, когда «пришла свобода» (то есть реформа 1861 года): «Как живешь ты на свободе? Где ты?.. Эй, Иван!». И повесть Толстого кончается тоже вопросом: все осталось как прежде, ужас совершившегося забыть нельзя; жизнь застыла за наигранным весельем Дутловых, возвращающихся домой вместе с выкупленным на потерянные Поликушкой деньги Ильей и провожаемых проклятием купленного ценой человеческой жизни рекрута.

Как видим, на социально-характерологическом уровне сопоставление толстовского и некрасовского **литературного типа** (Поликушка-Иван) не дает возможности оттенить какие-то особенности воплощения этого типа одним и другим писателем. Разница выявляется в анализе родовых и жанровых признаков прозы Толстого и стихотворной речи Некрасова. Но это уже тема специального исследования.

И венцом доброго отношения писателя-мыслителя к поэту-демократу могут служить слова, сказанные Толстым в 1905 году, о том, что в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» «есть места, из которых видно, что он действительно любил русский народ».

На волне творческой дискуссии

Но последний отзыв уже настораживает: «есть места». Значит, можно думать, другие «места» поэмы (и всей поэзии Некрасова?) Толстому могли чем-то не понравиться?

Если это так, то тому должны быть серьезные причины.

5 мая 1856 года на обеде у Тургенева Толстой, по его словам, был «глупо оскорблен стихом Некрасова» (ПССТ, XLVII, 69). Даже не имея точного сведения, мы может предположить, какой мыслью поэта мог «оскорбиться» Толстой. Именно в это время среди писателей шли горячие споры о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе. Толстой решает этот вопрос независимо от спорящих сторон, совершенно самостоятельно. Он считает «лучшим средством к истинному счастью в жизни» «цепкую путину любви» – любви всеобъемлющей, распространяющейся «и на старушку, и на ребенка, и на женщину, и на квартального» (ПССТ, XLVII, 71). Толстой впервые упот-

Репозиторий ВГУ

ребляет понятие «любовь» в том смысле, которым будет проникнуто миросозерцание писателя впоследствии. Раньше он говорил только «о добре». Из этого общего принципа у Толстого складывался также определенный взгляд на назначение и задачи литературы. «Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить», – подчеркивает он в записной книжке 29 мая 1856 года. И продолжает: «Для женщины довольно будет и тех вещей, которые не возбуждают негодования, – *любви.* А у нас негодование, сатира, желчь сделались качествами».

Здесь коренится причина расхождения Толстого с направлением «Современника», которая впервые обозначилась в его письме к Некрасову от 2 июля 1856 года – так называемом письме «о “Современнике” и о злости», по словам самого автора. Считая, что «человек желчный, злой – не в нормальном положении», а «человек любящий – напротив», Толстой, раздражаясь, сетует в письме на то, что Гоголя любят больше Пушкина, что стихи самого Некрасова «любимы из всех теперешних поэтов». Исключение делается для «последних стихов» Некрасова (можно предположить, что это – «Внимая ужасам войны...», «Поражена потерей невозвратной», «Праздник жизни...» или, может быть, «Как ты кротка...»), в которых «грусть и любовь, а не злоба, то есть ненависть» (ПССТ, LX, 75). Исходя из этого, можно считать, что в любимом Толстым «грустном» стихотворении «Замолкни, Муза мести и печали!..» концовка:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть –

в лучшем случае смущала его: ведь она выражала основную идею стихотворения, неадекватную тогдашним убеждениям Толстого.

Некрасов же любовь и ненависть не противопоставлял. Он видел их единство в разной направленности: любовь – к людям труда, обездоленным; ненависть – к угнетателям («Он проповедует любовь / Враждебным словом отрицанья», «...и как любил он – ненавидя», «Клянусь, я честно ненавидел, / Клянусь, я искренно любил!»).

К тому же, в письме Толстого «о злости» есть существенное противоречие. Толстой говорит, что быть возмущенным «очень скверно» и в то же время хвалит Белинского за то, что тот искренне «бывал возмущен». И заметив в записной книжке: «все то, на что нужно негодовать, лучше обходить», – он менее чем через две недели набрасывает начало комедии «Дворянское семейство», темой которой служит «окружающий разврат в деревне». Точно так же, говоря, что только «человек любящий» находится в нормальном состоянии, он пишет письмо очень резкое и по тону, и по выражениям, в нем содержащимся.

Некрасов ответил Толстому 22 июля. Он пытается поразить Толстого его же оружием. «Нельзя, – пишет он, – чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным» (Н-12, X, 283–284).

Затем Некрасов переходит к основному вопросу, затронутому Толстым в его письме. Он пишет: «Вам теперь хорошо в деревне, и вы не понимаете, зачем злиться. Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени пе-

Репозиторий БГУ

ред человеком, который лопнул бы от искренней злости – у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, – то есть больше будем любить – любить не себя, а свою родину» (Н-12, X, 284).

Толстой ответил Некрасову в начале августа письмом, до нас, к сожалению, не дошедшим. Судя по ответному письму Некрасова от 22 августа, письмо Льва Николаевича было написано в примирительном духе. Он, видимо, старался смягчить тон своего предыдущего резкого письма и писал о различии, которое он делает между Некрасовым-редактором и Некрасовым-человеком. В своем ответном письме Некрасов писал, что он был «несказанно доволен и тронут» последним письмом Толстого и думал о нем «с любовью». И далее в письме Некрасова читаем следующие знаменательные слова о его личном отношении к Толстому: «...ничто случившееся со времени нашего знакомства с Вами не убавило во мне симпатии к той сильной и правдивой личности, которую я угадывал по Вашим произведениям, еще не зная Вас. На мои глаза, в Вас происходит та душевная ломка, которую, в свою очередь, пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только – к выгоде или невыгоде – отсутствием скрытности и пугливости» (Н-12, X, 291).

К этому Некрасов прибавляет еще свое мнение о Толстом как о писателе: «...я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя – есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных» (Н-12, X, 291–292). Но Некрасову еще раз удалось доказать своему упорному оппоненту, что недооценка критического взгляда на жизнь уводит писателя от самой жизни. Летом 1857 года поэт писал:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина (Н-15, II, 46).

Тогда же Толстой (возвратившись в это время из-за границы) 18 августа писал А.А. Толстой почти дословно то же: «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (ПССТ, LX, 222). За шесть дней до этого подобная мысль прозвучала в не дошедшем до нас письме Некрасову, на которое тот веско мог ответить следующее: «Так Вам многое не понравилось вокруг Вас. Ну, теперь будете верить, что можно искренно, а не из фразы – ругаться» (Н-12, X, 360). Это Некрасов намекает на прошлогодние горячие споры Толстого в кругу «Современника». Тут же, как бы укрепляя свои позиции в споре с Толстым, Некрасов спешит сообщить ему о «длинных стихах, исполненных любви (не шутя) к Родине». Стихи (это была небольшая поэма «Тишина») понравились Толстому, но именно в той (первой!) части, где любовь к родине провозглашается хотя и проникновенно, но, так сказать, издалека, в общих чертах (поэма создавалась по возвращении Некрасова из-за границы) – как «увертюра» к разработке этой темы в последующих трех частях:

Все рожь кругом,
Как степь живая...

Репозиторий ВГУ

«Первое превосходно, – писал он Некрасову про эту часть стихотворения, – это самородок». Когда же любовь к Родине, к «народу-герою» Некрасов пытается окрасить в конкретно-исторические тона:

Светлее твой венец терновый
Победоносного венца! (Н-15, IV, 54)

– Толстой здесь бездоказательно нарекает стихи «слабыми и сделанными». Мы не знаем, как прореагировал Толстой на 4-ю часть «Тишины», где говорится о смирении как одной из духовных черт русского народа. Не уточняет Толстой в дневнике и свое мнение («плохая вещь». – ПССТ, XLVIII, 8) о первоначальном варианте поэмы «Несчастные», напечатанном в 1858 году.

Любопытен факт своеобразной косвенной дискуссии Толстого с Некрасовым... через спор с близким тогда к поэту В.П. Боткиным.

Осенью 1857 года Толстой в письме к последнему рисует мрачную картину современной ему литературы (вспомним для сравнения приведенную выше полемику с Некрасовым): «Островский говорит, что его поймут через 700 лет, Писемский тоже, Гончаров в уголке потихоньку приглашает избранных послушать его роман... Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше... Наша литература, то есть поэзия, есть если не противозаконное, то ненормальное явление».

Боткин излагает Толстому свое понимание сложной ситуации современной им литературы. Он разъясняет, что обличительные рассказы нужны для пробуждения человеческого самосознания.

В противоположность мнению Толстого, он считает, что «поэзия нормальна, но только для малейшего меньшинства. Да и где же поэтические произведения существуют для большинства? В России появилась литература, понятная большинству. Оскорбленное чувство, как всякое оскорбление, требовало возмездия и бросилось с злым наслаждением читать рассказы о всяких общественных мошенничествах... всякому они были близки и знакомы; явились читатели, которые прежде книги в руки не брали... В тихие интимные созерцания немногих людей истинного искусства – ворвалась наша грубая, гадкая практическая жизнь».

В этом же письме Боткин объясняет причины обращения литературы к обличительству с точки зрения патриотизма: «Вас приводит в недоумение новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика; но разве Вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшие ее неспособностью, безурядицей и всяческим воровством. Пороки, вкравшиеся в русскую общественность и к которым так привыкли, что считали их необходимыми, вдруг показались ужасными, когда пришли в соприкосновение с национальным чувством».

Некрасов и Боткин аналогично излагают Толстому свои сходные позиции по поводу текущего момента в русской литературе, несмотря на некоторые групповые расхождения во взглядах.

Если боткинско-некрасовское влияние в приведенном примере высвечивает прежде всего «источник», определенным образом воздействующий на «объект», то другой факт целиком определяет самостоятельную принципи-

Репозиторий ВГУ

альную позицию самого Толстого по отношению к старшему товарищу по литературе и редактору Некрасову. Мы имеем в виду историю с так называемым «Обязательным соглашением», которое было заключено зимой 1856 года Некрасовым и Чернышевским для объединения крупнейших писателей вокруг некрасовского журнала «Современник». 14 февраля 1856 года состоялось это «Соглашение», по которому с 1857 года Тургенев, Толстой, Григорович и Островский печатают свои произведения только в «Современнике». «Соглашение» воспринималось противниками «Современника» весьма серьезно, о чем свидетельствует хотя бы одно из писем А.В. Дружинина к Толстому, где он, испрашивая позволения печатать его и тургеневскую повесть в 1857 году в своей «Библиотеке для чтения», как бы вскользь замечает, что Григорович (несмотря на «Обязательное соглашение» – *А.Н.*), обещает для «Библиотеки...» свое произведение. В конце концов «Соглашение» не оправдало себя. Верен ему остался только Толстой как самый дисциплинированный участник «Соглашения». Но дело здесь даже не в том, что Толстой отдает свои сочинения в «Современник». Кроме этого, он вместе с Некрасовым ведет борьбу за выполнение «Соглашения». К началу 1857 года, когда этот документ должен было начать действовать, «голова “Современника” была в одном Боткине, а трудящийся сотрудник у него один – это Толстой», – справедливо замечает тот же Дружинин 26 января 1857 года в письме к Тургеневу.

Некрасов в это время находится за границей. А Толстой выступает за действенность «Соглашения» на стороне Некрасова. Охладев к «эстетическим» идеям Дружинина, в 1857 году Толстой сближается с Боткиным, так что дело тут не столько во «влиянии» Некрасова и Чернышевского, сколько в дружеских чувствах Толстого к Некрасову, которому он решает помочь в редакторских делах. Не углубляясь в эту историю (в частности, не разъясняя, почему попытки Толстого спасти «Обязательное соглашение» не увенчались успехом, почему после ликвидации «Соглашения» сам Толстой напечатал в «Современнике» лишь повесть «Альберт»; насколько «виноват» или «не виноват» в развале «Соглашения» Толстой, сам, якобы, намеревавшийся издавать «чисто эстетический журнал»), – коротко мы лишь утверждаем, что в этой истории Толстой выступает на стороне Некрасова. Им движет дружеское чувство к своему «крестному отцу» в литературе. Да и сотрудником «Современника» Толстой, смеем предположить, становится не случайно: его влечет туда прежде всего личность Некрасова – мятущаяся, оригинальная и непредсказуемая; в его идеях видятся ему мысли о добре, о стремлении принести пользу ближнему, – что созвучно с толстовскими мыслями. Дружеские чувства побуждают Толстого помочь редактору в сложные времена для журнала.

Общение с Некрасовым в период сотрудничества в «Современнике» для молодого Толстого было одним из главных этапов жизненного и творческого пути.

«Задачи» же «момента» Некрасов и Толстой понимали по-разному. Это, между прочим, отразилось в читательской реакции на их произведения. Секретарь журнала «Беседа» Н. Лысцев вспоминал в 1903 г., что в 60–70 годы демократически настроенные читательские круги признавали «бесспорно высокое почетное место» Толстого как автора «Войны и мира», но «настоящими же вла-

Репозиторий БГУ

стителями дум читающей русской публики оставались в то время Салтыков-Щедрин и Некрасов». Сам Толстой уже после смерти Некрасова, в 1886 году, признавал, что Некрасов, Никитин и другие (поэты «некрасовской школы»), писавшие о народе «сочувственно», делали необходимое, «нужное» дело.

Не удивит нас субъективно-отрицательное отношение Толстого к стихам Некрасова и в период, когда он свою эстетику пытался втиснуть в рамки трактата «Что такое искусство?»: «Некрасов никогда поэтом не был» (1899).

Вечный риск субъективного взгляда

Всего точнее отношение Толстого к поэзии Некрасова выражает отзыв, данный в письме к Н.Н. Страхову от 27 января 1878 г., в год смерти Н.А. Некрасова: «По-моему, его место в литературе будет место Крылова. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера – потрафил по вкусу времени – и то же невыработанное и не могущее быть выработанным – настоящее присутствие золота, – хотя и в малой пропорции и в не подлежащей очищению смеси» (ПССТ, LXII, 379). Эта оценка, напоминающая, кстати, мнение Г.В. Плеханова (в статье «Н.А. Некрасов»), тем не менее, не истинна хотя бы потому, что противоречит толстовским же положительным оценкам творчества великого поэта, о которых шла речь выше. Но даже в этом, в общем-то, отрицательном, отзыве Толстой указывает на «настоящее присутствие золота» в поэзии Некрасова. Нельзя не принять в расчет и авторитетного свидетельства А.М. Горького, который пишет, как Толстой в 1901 г. «рассказывал о Некрасове – холодно и скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети, а он, отец, знает все недостатки».

Не забудем и того, что в силу духовного склада своего Толстой большей частью равнодушно или даже отрицательно относится к стихотворной поэзии. Поэтому и высказывался о ней реже, чем о прозе, и часто пристрастно. В отношении к русской поэзии Толстой оставался и в своих высказываниях читателем, не заботясь об объективности оценок. В случае же с Некрасовым, как мы видели, определенную роль сыграла и разница в литературно-общественных позициях того и другого. Что касается художественного различия этих двух мастеров русской литературы, один из которых жил и работал в неустанных поисках путей к всеобщей справедливости, а другой был «глашатаем истин вековых», то здесь у каждого было и свое видение мира, и свои средства изобразить этот путь правдиво. И Лев Толстой недаром записал в свою рабочую книжку в год выхода «Стихотворений» Николая Некрасова (1856): «Каждый должен говорить своим языком» (ПССТ, XLVII, 193).

Воистину так!

«Смерть Некрасова, – писал Толстой, – поразила меня. Мне жалко было его не как поэта, тем менее как руководителя общественного мнения, но как характер, который и не пытаюсь выразить словами, но понимаю совершенно и даже люблю – не любовью, а любованием» (ПССТ, LXII, 369). Толстой не мог примириться с «прозаизмами» в стихах Некрасова, но характер поэта – резкий, иногда грубый, но прямой и искренний – импонировал Толстому. И хотя на вопрос, мог ли он быть другом Некрасова, Толстой ответил отрицательно, он любил его как человека «очень правдивого, прямого», «говорившего прямо и просто».

Репозиторий ВГУ

И, конечно же, эти «прямота и простота» характеризуют и стихи, и редакторские пристрастия человека, который мерил русскую литературу одной жесткой меркой. Ею была, как известно, правда, нужная русскому обществу, которую он первым разглядел в таланте будущего автора «Войны и мира».

И хочется в заключение привести свидетельства толстовского мнения о Некрасове как человеке, ибо в нем больше, чем в деталях творческой эстетики, объективности и здравомыслия. И славно, что Толстой, как бы помня о заслугах редактора Некрасова перед ним, оставил своим современникам свидетельства о поэте Некрасове по-человечески справедливые. «К Некрасову как к человеку, – мы читаем, например, у П.А. Сергеенко (мнение Толстого относится к 1890–1900-м годам и воспринимается как итоговое. – *А.Н.*), – Лев Николаевич относился с симпатией и, видимо, признает его влияние на себя. Однажды кто-то спросил у Льва Николаевича, ясен ли для него Некрасов как человек.

– О, вполне, – ответил Лев Николаевич. – Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия. Всегда он открыто говорил о своих делах и чувствах, доводя иногда даже как бы до некоторого цинизма свою откровенность».

Да и прежде превалировало доброе отношение. Еще в 1850-х годах при личных встречах Толстой проявлял, по словам самого Некрасова, «скрытое, но несомненное участие в нем» (Н-12, X, 275). В 1870-х годах Толстой пишет Некрасову о том, что с ним связано у него «много хороших молодых воспоминаний» (ПССТ, LXII, 110).

Молодость иногда ошибается. Здесь – не ошиблась: зрелость это подтвердила.

7. *«Увлекался я когда-то Пушкиным, Лермонтовым; потом в Петербурге указали мне на Тютчева, которого я полюбил...»* (Л.Н. Толстой и Ф.И. Тютчев)

После воинской службы, приехав в Петербург (центр литературной жизни России), Толстой остановился у И.С. Тургенева. Там он вошел сразу же в курс всех событий дня ведущего в то время журнала «Современник», редактором которого был Н.А. Некрасов. У Тургенева и Некрасова Толстой знакомится со многими петербургскими писателями. В частности, 23 ноября 1855 года на вечере у Тургенева он знакомится с Тютчевым, Гончаровым, Майковым, Писемским и другими.

Примерно через месяц, 28 декабря, Толстой у Некрасова слушал чтение стихов Ф.И. Тютчева. Как вспоминал Толстой впоследствии, Некрасов, Тургенев и Дружинин, подготовившие к печати первый сборник стихотворений Тютчева, настойчиво советовали ему познакомиться с произведениями этого поэта. Предубежденный против стихов вообще, Толстой неохотно взялся за чтение Тютчева; но, познакомившись с его произведениями, сделался на всю жизнь горячим поклонником Тютчева, которого он ставил наравне с Пушкиным и Лермонтовым. Одну из заслуг Некрасова Толстой видел в том, что тот «умел ценить поэзию», и одним из первых оценил Тютчева.

Толстой в зиму 1857–1858 года неоднократно виделся с Тютчевым. В архиве Толстого сохранился автограф стихотворения Тютчева «Над этой

Репозиторий ВГУ

темною толпой…», написанного 15 августа 1857 года. Можно предполагать, что поэт сам прочел это стихотворение Толстому, и Толстой, восхищенный и мыслью, и формой стихотворения, обратился к нему с просьбой подарить ему автограф [26]. Но какие-то стихотворения Тютчева, которые Толстой 28 ноября слышал на вечере у Сушковых, он нашел «плохими», как тогда же было им записано в дневнике…

9 апреля 1858 года рано утром Толстой вместе с Фетом и его женой выехал из Москвы в Ясную Поляну. «Новые радости, как выедешь из города», – записал он в дневнике.

В Ясную Поляну приехали в ночь того же дня. Фет с женой на другой день уехал в свое имение Новосёлки в восьми верстах от Мценска.

Наступление весны, как всегда, подействовало на Толстого возбуждающим и бодрящим образом.

1 мая Толстой пишет А.А. Толстой о том, как действует на него весна: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве… Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья. “И ринься бодрый, самовластный в сей животворный океан” – Тютчева “Весна”, которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки»…

В списке книг, которые, по воспоминаниям Толстого, произвели на него наибольшее впечатление (или, как сказано в черновой редакции списка, оказали «влияние») в возрасте от 20 до 35 лет, то есть с 1848 по 1863 год, «Тютчева стихотворения» помечены: «большое».

Тютчев первый свой отзыв о произведениях Л.Н. Толстого посвятил повести «Казаки», напечатанной в 1863 году. Критика разошлась во мнениях об этом произведении. Так, П.В. Анненков очень высоко оценил «Казаков». Известная в свое время писательница Евгения Тур (псевдоним графини Е.В. Салиас де Турнемир) похвалила художественные достоинства повести. Но, перейдя к рассмотрению содержания «Казаков», Евгения Тур объявила, что это не что иное, как «поэма, где воспеты не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность дикаря-зверя. Рядом с этим дикарем-зверем унижен, умалён, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества» и т.п. Примитивность литературно-критического подхода к оценке выдающегося творения Л.Н. Толстого здесь очевидна.

Но, как это ни странно, и мнение Тютчева о повести Толстого «Казаки» до известной степени приближалось к мнению Евгении Тур. Ему принадлежит следующая эпиграмма на «Казаков»:

Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.

Косвенно пересеклись взгляды Толстого и Тютчева в романе-эпопее «Война и мир» – не противоположно, а согласованно. В трактовке автором «Войны и мира» важнейших событий в жизни героев и особенно их смертей чувствуется каратаевское стремление видеть «благообразие» во всех явлениях жизни. Мы чи-

Репозиторий ВГУ

таем в романе: «Представителю русского народа (Кутузову. – *А.Н.*) после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую ступень своей славы, русскому человеку как русскому делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер». Или: «Именно в то время, когда дела графа (Ильи Андреевича. – *А.Н.*) так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер».

В некоторых крестьянских образах классических русских писателей можно найти отдельные черты сходства с образом Платона Каратаева. Его черты заметны: и в некрасовском безымянном мужичке из стихотворения «С работы», который, проработав целый день, ложится спать голодный (хлеба нет, и печь нетоплена) и заботится о том, чтобы жена накормила Савраску, который, «сердешный», «за зиму вывез триста четыре бревна»; и в никитинском «дедушке», который «за скорби славит Бога» и рад жить, но «не прочь и в могилу, в темный уголок»; и, конечно, в тургеневской Лукерье из рассказа «Живые мощи», для которого автор недаром взял эпиграфом стихи Тютчева о долготерпении русского народа…

Престарелый князь П.А. Вяземский, в молодости друг Пушкина и Гоголя, в 1869 году выступил со своими воспоминаниями о 1812 годе в журнале «Русский архив». Вяземский отдавал «полную справедливость живости рассказа в художественном отношении (в романе-эпопее Толстого “Война и мир”. – *А.Н.*)»; вместе с тем он осуждал тенденцию «Войны и мира», в которой увидел «протест против 1812 года», «апелляцию на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям и на авторитете русских историков этой эпохи». По мнению Вяземского, «Война и мир» вышла из «школы отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее, разуверения в народных верованиях». И Вяземский произносит такую тираду: «Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей». «Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм».

Эту явно консервативно-охранительскую точку, направленную против толстовской философии истории в «Войне и мире», заключающейся в том, что историю творят не отдельные личности, а народ, – эту точку зрения оспорил Ф.И. Тютчев, написавший много стихотворений на историческую тему. Он писал по поводу статьи Вяземского: «Это довольно любопытно как воспоминания и личные впечатления и весьма неудовлетворительно как литературная и философская оценка. Но натуры столь резкие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем являются для малоисследованной страны предубежденные и враждебно настроенные посетители».

Летом 1871 года Толстой отправился на кумысное лечение в Самарскую губернию. В конце июля он был уже в Ясной Поляне.

19 августа он поехал к Фету в его Степановку. От Фета он приехал в свое имение Никольское и на станции Чернь встретился с Тютчевым, ехавшим в Москву. Толстой проехал с ним четыре станции. Разговор с Тютчевым произвел на него сильное впечатление. По возвращении в Ясную Поляну он

Репозиторий ВГУ

писал Фету: «Последняя поездка к вам была самая приятная из всех, которые я делал… Оттуда встретил Тютчева в Черни и четыре станции говорил и слушал, и теперь что ни час вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика».

О том же писал Толстой и Н.Н. Страхову 13 сентября: «Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы четыре часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик».

Сам Тютчев о встрече с Толстым упоминал в телеграмме, посланной им жене из Москвы 22 августа: «Утомительно, но не скучно. Много спал. Приятная встреча с автором “Войны и мира”».

В начале февраля 1873 года Толстой, узнав о тяжелой болезни Тютчева, писал тетушке Александре Андреевне: «Я слышал уже про болезнь Тютчева, и вы не поверите, как это меня трогает. Я встречался с ним раз десять в жизни, но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки. Как он примет смерть, которая во всяком случае близка ему?

Если ему лучше, передайте ему через кого-нибудь мою любовь».

Прочная литературная дружба Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова, видного литературного критика, завязалась в 1870–1871 году. Толстой увидел в Страхове своего единомышленника по многим вопросам. В упомянутом уже сентябрьском 1871 года письме к Страхову, рассказывая о своей встрече с Тютчевым, Толстой прибавлял: «Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил». Тут же Толстой спешит оговориться, что единомыслие его со Страховым имеет границы. «Но на известной высоте душевной, – продолжает он, – единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в наших сферах деятельности – для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем». Но несмотря на это, «радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встретясь с вами и с Тютчевым».

Поэзия Тютчева не была случайным увлечением Толстого. Например, в конце декабря 1886 года, когда Толстой принимал у себя в Хамовническом доме чету Чертковых (Владимир Григорьевич Чертков – преданный друг – единомышленник Толстого, активный деятель толстовского издательства «Посредник»), – во время беседы обсуждался состав стихотворного сборника «Гусляр», намеченного к изданию в «Посреднике». Толстой назвал своим «любимым поэтом» Тютчева и прочел наизусть его стихотворение «Silentium».

В августе 1894 года В.Ф. Лазурский записывает суждения Толстого о Пушкине и Тютчеве: «Сила Пушкина… в лирических его произведениях и, главным образом, в прозе. Его поэмы – дребедень и ничего не стоят. А Тютчев как лирик – несравненно глубже Пушкина».

Тот же Лазурский записывает в своем дневнике отзывы Толстого о писателях, в частности: «Увлекался я когда-то Пушкиным, Лермонтовым; потом в Петербурге указали мне на Тютчева, которого я полюбил…» (1899).

Репозиторий ВГУ

В декабре 1900 года посетивший Хамовники А.Б. Гольденвейзер увидал на столике том Тютчева. «Заговорили о Тютчеве, – вспоминает молодой пианист. – На днях Льву Николаевичу попалось в “Новом времени” его стихотворение “Сумерки”. Он достал по этому поводу их все и читал больной…

– Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет – это истинное искусство. Или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас его скажу.

Лев Николаевич начал прерывающимся голосом:

– “Тени сизые смесились”…».

Д.П. Маковицкий отмечает в феврале 1905 года: «Разговор Толстого с Вогюэ о литературе и живописи… “Пушкин, Лермонтов, Тютчев – три одинаково больших поэта”».

Н.Н. Гусев в своих воспоминаниях пишет (февраль 1908 года): «Толстой слушает чтение стихотворений Тютчева. Одобрил стихотворения: “На смерть Пушкина”, “Фонтан”, “Не то, что мните вы, природа” и не одобрил “Последнюю любовь”.

Чуть больше года оставалось до кончины Л.Н. Толстого, а муза Тютчева продолжала доставлять ему благословенные минуты. По воспоминаниям Гольденвейзера, в сентябре 1909 года Толстой вдруг продекламировал стихотворение другого своего любимого поэта Фета «Осенняя роза»:

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

«Как это хорошо: “Дыханьем ночи обожгло”! – сказал он. – Это совсем тютчевский прием… Как смело, и в трех словах вся картина!». Здесь тютчевская поэзия берется как эталон, художественная мерка.

В тот же день в разговоре с Гольденвейзером Толстой вспомнил стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной…», особенно остановившись на эпитете «праздная борозда» в двустишии:

И паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

«В уменье находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев был великий мастер», – сказал Лев Николаевич.

В декабре 1909 года Толстой был «растроган» игрой на фортепиано сына Сергея Львовича, исполнявшего русские народные песни и потом «что-то» Шопена. «Вот это музыка – это Тютчевы, Пушкины…», – заметил он (свидетельствует Д.П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках»).

В октябре 1910 года, за 36 дней до смерти, вспомнив «Silentium» Тютчева, которое он перечитал в «Круге чтения», Толстой сказал: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения» (А.Б. Гольденвейзер) [27].

И 24 октября 1910 года, за 13 дней до смерти, в письме к И.И. Горбунову-Посадову по поводу изданий «Посредника» для третьего отдела Толстой советует выбрать «самые лучшие стихотворения Пушкина, Тютчева, Лермонтова, даже Державина. Если мания стихотворства так распространена, то пус-

Репозиторий ВГУ

кай, по крайней мере, они имеют образец совершенства в этом роде», – заключил Толстой.

Таким образом, более 50 лет своей жизни Л.Н. Толстой самым серьезным образом и неизменно интересовался и восхищался поэзией Ф.И. Тютчева, которую он ставил на уровень, а иногда и выше самых лучших ее образцов в русской литературе.

8. *«...Это превосходно, здесь каждый стих – картина»* (Л.Н. Толстой и А.А. Фет)

Осенью 1855 года Толстой прибыл в Петербург из Севастополя. Вероятно, в декабре произошло знакомство его с А.А. Фетом – одним из многих петербургских литераторов, с которыми отношения Толстого в то время были ровные и дружелюбные, несмотря на частые и горячие споры.

29 января 1856 года Толстой после обеда у Некрасова вместе с Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Чернышевским и Дружининым слушает «предполагаемое собрание очищенных (то есть отредактированных Тургеневым. – *А.Н.*) стихотворений Фета». «Впечатление осталось отличное», – прибавляет записавший об этом чтении в своем дневнике Дружинин. К этому же времени относится, очевидно, и более близкое знакомство Толстого с Фетом, который произвел на него очень приятное впечатление. «Фет очень мил», – записал Толстой в дневнике 4 февраля. И позднее, 12 мая, встретившись с Фетом на обеде у Некрасова, Толстой записывает: «Фет душка и славный талант».

В октябре 1857 года Толстой из Ясной Поляны приехал в Москву, где побывал у Аксаковых, у Фета, у Берсов; но вследствие ли резкости перехода от тихой деревенской жизни к рассеянной московской, Толстой в этот свой приезд в Москву большей частью находился в мрачном настроении и потому в мрачном свете видел и все окружающее. У Аксаковых ему была неприятна «отвратительная литературная подкладка»; в Фете, несмотря на его добродушие, не понравилась Толстому «перенятая литераторская вычурность», и сам Фет показался ему «самолюбив и беден» («беден» не в материальном смысле)…

В конце 1857 года Толстой, в противовес господствующему течению либерально-обличительной беллетристики, решил «дерзать» – вступить с ним в борьбу. Средством борьбы Толстому представилось издание нового, совершенно чуждого общественно-политическим вопросам журнала.

Слух о намерении Толстого издавать подобный журнал уже в декабре 1857 года достиг Петербурга. Е.Я. Колбасин писал Тургеневу: «От него же (Некрасова. – *А.Н.*) я услышал и другую курьезную новость: Толстой и Фет хотят издавать в Москве новый журнал – чисто эстетический, искусство для искусства! Не знаю, до какой степени это справедливо». С полным сочувствием к задуманному Толстым журналу отнесся Панаев: «Фет с Толстым предпринимают журнал, – писал он одному знакомому в мае 1858 года. – Я уверен, что это будет превосходный журнал».

Цель журнала одна: «плакать и смеяться». Назначение – «сделаться учителем публики» в деле художественного вкуса. Журнал не хочет знать никаких литературных направлений; не хочет он знать также и «потребностей

Репозиторий БГУ

публики» (то есть требований современности). В числе будущих сотрудников Толстой называет Тургенева, Фета, себя самого и, как он надеется, других авторов, которые будут разделять убеждения редакции; редактором, по его мнению, должен быть Боткин.

Практичный Боткин ясно видел, что чисто художественный журнал в то время не мог рассчитывать на успех. Прохладно отнесся к этой затее и Дружинин.

На этом переписка Толстого с его литературными друзьями об издании чисто художественного журнала прекратилась. Вопрос больше не поднимался.

В зиму 1857–1858 года Толстой неоднократно виделся с Фетом и иногда проводил у него вечера «очень приятно», «славно», а иногда ему казалось, что в его отношениях с Фетом «все что-то не то».

Сближала Толстого с Фетом любовь и чуткость Фета к искусству. Однажды после того как Фет прочел Толстому свой перевод трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», между ними завязался разговор, в котором Фет «разжег» его «к искусству» (дневник 11 ноября 1857 года) – продолжению повести «Казаки».

С мая 1858 года у Толстого начинается оживленная переписка с Фетом, продолжавшаяся более двадцати лет. Кроме того, что Толстой считал Фета истинным поэтом, Фет нравился ему как человек. Фет для Толстого «милашка» (1859), «драгоценный дяденька» (1860). Сначала переписка эта носила просто дружеский характер, но затем Толстой начал сообщать Фету свои мнения о последних появлявшихся в печати литературных произведениях и о стихах самого Фета. Позднее, в 1870-х годах, в эпоху своего духовного кризиса, Толстой делился с Фетом самыми задушевными своими мыслями по самым важным вопросам.

Фет был горячим поклонником художественного гения Толстого. С большим удовольствием поспешил он 12 июля 1858 года послать Толстому полученную им от Боткина вырезку из английского журнала «Continental Review», где была напечатана статья о «Детстве» Толстого с большими цитатами из этой повести и с хвалебными отзывами о ней. «Как я за вас радовался от души, – писал Фет. – Дай Бог, чтобы за меня так радовались. Некому». В этих словах Толстой увидал даже некоторую зависть Фета к его таланту, как записал он в дневнике.

В феврале 1859 года на заседании Общества любителей российской словесности по предложению Толстого членом Общества был выбран Фет.

Отказ Толстого от художественного творчества, о котором он с осени 1859 года неоднократно писал своим приятелям, не мог быть полным. Толстой был художником по самой своей природе, по своему призванию; художественное творчество было для него не прихотью, не развлечением, не делом временного увлечения, а непреодолимым требованием его натуры.

24 октября 1859 года, вскоре после того, как он писал Фету, что «повести писать стыдно», он признается тому же Фету, что, разбираясь в своих чувствах к нему, он приходит к следующему заключению: «А может быть, против моей воли и сознания, не я, а сидящая во мне… повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и ко-

Репозиторий ВГУ

ростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю». Через несколько строк Толстой писал в том же письме: «А иногда так вдруг захочется быть великим человеком и так досадно, что до сих пор еще это не сделалось. Даже поскорей торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать». Здесь Толстой выступает со своей обычной манерой – говорить о себе с юмором, под видом шутки излагать серьезную мысль. Смысл этой шуточной фразы может быть только один: у Толстого появлялись иногда значительные по своему содержанию художественные замыслы, и он чувствовал себя в силах их воплотить, хотя и не приступал к их осуществлению.

В феврале 1860 года Толстой вновь на короткое время возобновил работу над «Казаками». 16 февраля он записал в дневнике задание на этот день: «Писать казаков утром». Судя по записи следующего числа, задание это было выполнено.

Возможно, что Толстой еще раньше, в конце января, вновь начал работу над «Казаками». Фет в письме от 2 февраля выразил свою радость по поводу того, что он узнал от брата Толстого Сергея Николаевича о новом его приступе к работе над «Казаками».

Толстой ответил Фету 15 февраля. Это письмо, брызжущее переполнявшей его до краев бодростью и жизнерадостностью, характерно для того настроения, в котором находился Толстой в период увлечения школьными занятиями.

В начале письма Толстой пародирует известное стихотворение Баратынского, положенное на музыку Глинкой:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей…

Он пишет: «Дяденька!

Не искушай меня без нужды
Лягушкой выдумки твоей.
Мне как учителю уж чужды
Все сочиненья прежних дней.

Показания Сережи несправедливы, никаких казаков я не пишу и писать не намерен. Извините, что так, без приготовления наношу вам этот удар. Впрочем, больше надейтесь на Бога и вы утешитесь. А ожидать от меня великого я никому запретить не могу. Когда я увижу вас, драгоценный дядюшка – так мне брюхом иногда хочется подразнить вас, вызвать на закурдялены и посмотреть, как вы, отмочив пулю, открыв челюсти и подобрав язык под зубы, улыбнетесь и думаете: “Вот на-ка, выкуси!..” Хотел было описать прелестное нынче случившееся событие в моей школе, да не опишу хорошенько, лучше расскажу. Вот другое, маленькое. Мальчик богатый, сын дворника [28], видал попугая и рассказывает другим, которые не верят: “Да ты толкуй, как человек говорит”. – “Ну!” – “Да он тебя так обсрамит, что и умному человеку так не обрезонить”. – Прощайте. Обнимаю вас».

Как видим, Толстой в этом письме отрицает то, что действительно было: то, что он возобновил работу над «Казаками». Объяснить это можно только тем, что, удовлетворяя своему непреодолимому влечению к художественному творчеству, Толстой на этот раз писал только для себя и потому желал избежать всяких дальнейших расспросов и переписки относительно этого.

Репозиторий ВГУ

23 февраля 1860 года Толстой пишет Фету, где высказывает неодобрительное отношение к новому роману Тургенева «Накануне» (у автора «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет») и драме Островского «Гроза» («плачевное сочинение, а будет иметь успех»). И далее Толстой прибавляет: «Не Островский и не Тургенев виноваты, а время». Характерные же особенности того «времени», то есть начала 1860 годов, Толстой определял тогда следующим образом: «Характер нашей эпохи (сделалось уже пошлостью) есть скептицизм вообще».

В письме к Фету Толстой выступает решительным противником господствующего направления… в этих двух важнейших пунктах: в «разрушении эстетики» (выражение Писарева) и в признании свободы любви.

Любопытна реакция Фета на это письмо Толстого. В письме от 28 февраля Фет, ничего не отвечая на замечания Толстого о «Грозе», писал: «Много хорошего, хотя причудливо-капризно-носовздернуто сказали Вы о “Накануне”. Над чем посмеешься, тому поработаешь, и Вы будете удивительно работать, пиша повести. Это я вам предрекаю с радостию. Если вы, оставшись здоровым человеком, бросите писать, это будет значить, что истории нет, и Ромул Августул не был свергнут с престола. А он был свергнут и, следовательно, и вы должны писать, вопреки вашей надменности педагога. Марфутку нужно учить, но нельзя живому человеку не учиться ежедневно самому мозгами или боками – все равно».

Фет был свидетелем создания Толстым и повести «Казаки», и романа «Декабристы». В трех главах, написанных в 1860 году, нет ни малейшего отражения того мрачного настроения, в котором находился Толстой во время работы над этим романом. Преобладает юмористическое или сатирическое отношение к изображаемым лицам. В юмористическом свете представляется даже старый декабрист, с его детской наивностью, оторванностью от жизни.

Вдумываясь в текст романа и сравнивая его с написанным одновременно письмом к Фету от 29 октября 1869 года, нельзя не задать двух вопросов.

Как согласовать: общий дух «Декабристов», в которых нет и намека на какой-либо пессимизм, с безысходным, казалось бы, отчаянием, которым проникнуто письмо к Фету?

И другой вопрос: как согласовать факт работы Толстого над романом с его категорическим заявлением в том же письме к Фету, что «искусство есть ложь», а он не может «любить прекрасную ложь»?

Ответ на первый вопрос следует искать в той могучей жизненной силе, в той неиссякаемой любви к жизни во всех ее проявлениях, которой всегда, в особенности в свои молодые годы, был преисполнен Толстой.

Что касается второго противоречия, то, по-видимому, оно до известной степени разрешается тем, что Толстой в то время на первый план ставил свою педагогическую деятельность, а не литературную работу, и «говорить правду» старался не в форме художественных произведений, а в форме педагогических статей.

Фет, который упорно повторял Толстому, что не верит в прочность и продолжительность его отхода от литературы, не должен был ничего знать об

Репозиторий ВГУ

этом, как не должен был он знать в феврале того же года о том, что Толстой (хотя и не надолго) возобновил свою работу над «Казаками» [29].

В общем списке книг, которые, по воспоминаниям Толстого, произвели на него наибольшее впечатление, оказали влияние в возрасте от 20 до 35 лет (с 1848 по 1863 год), стихотворения Фета отмечены оценкой «большое».

Следует сказать, что у Толстого с Фетом была короткая размолвка в осень – зиму 1861–1862 года, связанная со ссорой между Тургеневым и Толстым, в которой Фет оказался «мировым посредником». Размолвка, к счастью, закончилась благополучно. Это произошло между 14 и 20 января 1862 года. По письму Фета к Тургеневу от 8 ноября 1874 года, дело произошло таким образом: «Однажды, делая сначала вид, что не замечает меня в театральном маскараде, Толстой вдруг подошел ко мне и сказал: “Нет, на вас сердиться нельзя”, – и протянул мне руку».

В первой и второй книжках «Русского вестника» за 1865 год появилась первая часть нового произведения Толстого, озаглавленного «Тысяча восемьсот пятый год». Эта часть соответствует первой части первого тома «Войны и мира».

С появлением в печати нового сочинения Толстой еще больше, чем прежде, почувствовал себя писателем. Фету 23 января 1865 года он писал в шутливом тоне, но серьезно по мысли: «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я – литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор». Этими словами Толстой, очевидно, хотел сказать, что он не стоит и не намерен встать близко к литературным кругам и к редакциям журналов, что, очевидно, не мешает ему сознавать себя писателем.

Толстому хочется узнать суждение о первой части его романа тех лиц, мнением которых он особенно дорожит. К числу таких лиц он относит Фета, к которому обращается с такими словами: «Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого – Тургенева». Но Толстому хочется узнать мнение также и рядовых читателей: «Напишите, – просит он Фета, – что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, – говорит Толстой далее, – а то ругательства расстраивают трудный процесс работы».

Была одна область общественной жизни, к которой Толстой никак не мог остаться равнодушным. Это – жизнь народа, «жизнь мужиков».

В мае 1865 года в Тульской губернии стояла сильная засуха. 16 мая по этому поводу он писал Фету: «Последнее время я своими делами (хозяйственными. – *А.Н.*) доволен, но общий ход дел, то есть предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, молодые наши дамы в кисейных платках рады, что жарко и тень, а там этот злой черт – голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта скотины и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платках и с желтым сливочным маслом на расписном блюде – достанется. Право, страшная у нас погода, хлеба и луга. Как у

Репозиторий ВГУ

вас? Напишите повернее и поподробнее». Толстой не только видел угрожающую помещикам опасность, но и сознавал нравственную незаконность своего положения обеспеченного землевладельца среди окружающей бедноты.

С наступлением лета 1865 года работа над романом «Война и мир» прекратилась. Толстой, как это бывало с ним в 60–70-е годы, усиленно занялся хозяйством. Однако эти занятия теперь уже не стояли для него на первом плане, как это было в первый год после женитьбы (осень 1862 года и далее). Как писал он Фету 16 мая 1865 года, он «перепряг свою колесницу» – в корень запряг «мысль и художество», а хозяйство – на пристяжку, и тогда «гораздо покойнее поехал». Поэтому его творческие усилия по-прежнему сосредоточивались главным образом на продолжении романа.

Толстого не покидало чувство бодрости и уверенности в своих силах и глубокой удовлетворенности своей работой. В декабре 1865 года он писал Фету: «Я довольно много написал нынешнюю осень – своего романа. Ars lonqa, vita brevis (искусство продолжительно, жизнь коротка. – *А.Н.*), думаю я всякий день. Коли бы можно бы было успеть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10 000 часть. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю».

21 декабря 1865 года Толстой закончил «третью часть» «1805 года» (или вторую часть первого тома «Войны и мира»).

В мае 1866 года в письме к Фету Толстой повторил, что надеется кончить свой роман к новому году и издать все отдельной книгой, прибавляя, что работой своей («особенно до яркого тепла») он «доволен чрезвычайно». Вновь просит Толстой Фета высказать свое мнение о его романе, но теперь уже с такой характерной оговоркой: «Я очень дорожу вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда, времени и того безумного авторского усилия (которое вы знаете), так люблю свое писание, особенно будущее – 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад осуждению…».

А.А. Фет был заинтересованным свидетелем толстовской педагогической деятельности конца 50-х – начала 60-х годов. Затем, к 1863 году, прекратив свои занятия в яснополянской школе, Толстой не переставал интересоваться педагогическими вопросами. 10 апреля 1865 года Толстой, как отмечено у него в дневнике, «записал кое-что по педагогике».

16 мая того же года в своем ответе Фету, сообщавшему о работе над какой-то статьей, в которой он имел намерение сказать о яснополянской школе, Толстой ответил: «На ваш вопрос упомянуть о “Ясной Поляне” – школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее (“Ясную Поляну” – журнал. – *А.Н.*) забыли, и мне не хочется напоминать, – не потому, чтобы я отрекался от выраженного там, но напротив, потому, что не перестаю думать об этом, и ежели Бог даст жизни, надеюсь еще изо всего этого составить книги с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом».

В период напряженной работы над «Войной и миром» Толстой иногда страдал от сознания одиночества, от отсутствия близкого друга, с которым он мог бы делиться своими самыми задушевными мыслями и чувствами. В то

Репозиторий ВГУ

время он был дружен только с Фетом и А.А. Толстой. Фету Толстой писал в мае 1866 года: «Вы по душе мне один из самых близких». Затем ему же 7 ноября: «Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме *единого* (курсив Толстого. – *А.Н.*), будет сыт человек». Но, разумеется, Фет все-таки не был для Толстого настолько близким другом, чтобы он мог свободно поверить ему те свои мысли и чувства, которые он «со слезами» и волнением выражал в своем произведении, а тем более такие мысли и чувства, которые он таил в себе и не высказывал в произведениях. Еще менее могла быть таким другом жившая при дворе А.А. Толстая – при всей ее искренней и горячей любви к своему племяннику.

…В январе 1868 года были отосланы в набор первые главы пятого тома «Войны и мира». Фет оставил следующее воспоминание о встречах с Толстым в Москве зимою 1868 года: «Лев Николаевич был в самом разгаре писания “Войны и мира”, и я, знавший его в периоды непосредственного творчества, постоянно любовался им, любовался его чуткостью и впечатлительностью, которую можно бы сравнить с большим и тонким стеклянным колоколом, звучащим при малейшем сотрясении».

Первые четыре тома «Войны и мира» имели шумный успех и быстро разошлись. Понадобилось второе издание, которое и было выпущено в октябре 1868 года. Пятый и шестой тома романа вышли в одном издании, отпечатанном увеличенным тиражом.

Работа над шестым томом пошла гораздо быстрее, чем над пятым.

Напряженные размышления о судьбах человечества, о роли личности в истории, о значении разума в человеческой жизни, изложенные Толстым в эпилоге к «Войне и миру», вызвали в нем желание заняться изучением философских систем разных мыслителей. Летом 1869 года Толстой, по словам его жены, «читал и занимался философией, восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз» («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860–1891»).

Фета, который посетил Ясную Поляну в первые месяцы 1869 года, Толстой расспрашивал о Шопенгауэре. Фет, в то время, очевидно, недостаточно знакомый с работами этого философа, сказал Толстому, что Шопенгауэр «так себе, кое-что писал о философских предметах».

Летом 1869 года Толстой пристально занялся изучением философии Шопенгауэра. 30 августа он писал Фету: «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? – неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето.

Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей… Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении.

Я начал переводить его. Не возьметесь ли вы за перевод его?

Мы бы издали вместе»…

…Отношение Толстого к Фету как к поэту ярко выразилось в письме, написанном в мае 1866 года. Здесь Толстой говорит, что с наступлением весны он

Репозиторий ВГУ

много раз вспоминал стихотворения Фета, посвященные весне. «И “кругами обвело”, и “верба пушистая”, и “незримые усилья” – несколько раз прочлись мне, который не помнит стихов», – писал Толстой. (Он имел в виду стихотворения Фета: «Опять незримые усилья…» и «Уж верба вся пушистая…»).

Высоко ценя Фета как поэта, Толстой в то же время продолжал считать его близким себе по натуре человеком, во многих письмах выражал желание видеться с ним и приглашал его к себе. «Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопившееся», – писал Толстой Фету 30 августа 1869 года.

Одно из ярких проявлений этой родственности натур своей и Фета Толстой видел в следующем рассуждении Фета, написанном им в письме от 28 февраля 1867 года, вскоре после посещения Ясной Поляны: «Как жаль, что я не узнал от вас, умно ли ваше сердце или нет? У вас умная голова, но мне вы человек дорогой и мне этого мало. – Все доказательства, умные и глупые, только орудия ума сердца, то есть внутренней суммы убеждений – аксиом, – а ум головной только к услугам сердца, чтобы наилучшим образом отстоять то, что желает сердце. Бывает сердце тупое, а голова отличная – Руссо. Бывает сердце умное, а голова дура – легион – “их же имена ты веси, Господи”. Бывает сердце орел – голова орел – Гёте. Или книга, которую я читаю: “Blücher, Seine Zeit und sein Leben” von d-r Iohannes Scherr (“Блюхер, его время и жизнь” Иоганна Шерра. – *А.Н.*) – голова отличная – умница – сердце – и подлец – и тупица».

На это письмо Толстой с большим опозданием ответил 28 июня: «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем *умом сердца* (курсив Толстого. – *А.Н.*), как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. *Ум ума и ум сердца* (курсив Толстого. – *А.Н.*) – это мне многое объяснило)».

Мысль, выраженная Фетом в этих словах, действительно была вполне родственна Толстому. Еще в первой редакции «Детства», написанной в 1851 году, Толстой различал то, что пишется «из сердца», и то, что пишется «из головы». Много лет спустя Толстой повторил ту же мысль в записи дневника 14 апреля 1895 года: «Есть сердечная духовная работа, облеченная в мысли. Эта настоящая, и эту любит Сережа (брат. – *А.Н.*) и я, и все понимающие. И есть работа мысли без сердца, а с чучелой вместо сердца, это то, чем полны журналы и книги».

Можно думать, однако, что «родственность натур» его и Фета представлялась Толстому более близкой, чем она была в действительности. Его встречи с Фетом были очень редки и непродолжительны. Если бы встречи происходили чаще и были более продолжительны, то, вероятно, и Толстой, и Фет убедились бы, что в основных взглядах на жизнь между ними уже в то время существовало большое различие и что настоящими друзьями они быть не могут.

Но творческие интересы и взаимный интерес друг к другу в этом плане всегда присутствовали в отношениях между Толстым и Фетом. Вот пример.

В войне 1805 года участвуют главные герои романа – Андрей Болконский и Николай Ростов; но изображение военных событий не является фоном для рассказа о жизни этих героев и для раскрытия их характеров, а имеет самостоятельное значение. Напротив, раскрытие характеров действующих лиц в этой части замедляется именно вследствие того, что внимание автора на-

Репозиторий ВГУ

правлено прежде всего на изображение войны и военной обстановки. Это удостоверено самим Толстым в переписке с Фетом, который в письме от 16 июня 1866 года высказал мнение, что образ князя Андрея в напечатанных частях «1805 года» бледен, что он обладает только одним отрицательным достоинством – «порядочностью»; поэтому он не может быть «героем, способным представить нить, на которую поддевают внимание читателя». В ответном письме от 7 ноября Толстой выразил согласие с замечанием Фета, но дал такое объяснение указанному недостатку: «Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу… И от этого в первой части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется…».

Решив начать печатание своего романа отдельным изданием, Толстой стал готовить первый том, который должен был заканчиваться Тильзитским миром. Он начал заново редактировать как текст «1805 года», так и его ненапечатанное продолжение. При этом Толстой, как писал он Фету 7 ноября 1866 года, особенное внимание обращал на «движение характеров» («диалектику души») главных героев, чтó раньше, когда он был занят преимущественно военно-исторической стороной романа, стояло на втором плане.

Уже работая над романом «Анна Каренина», Толстой испытал потребность убедить Фета в правильности своего решения образа Наташи-матери в эпилоге романа, так же, как и княжны Марьи. Такое изображение вытекало из того культа материнства, который в то время с такой убежденностью проповедовал Толстой. Он признавал, что призвание матери есть высшее призвание женщины, или, как выразился он в письме к Фету от 18 ноября 1873 года, что «материнское сердце» есть «удивительное, высшее проявление Божества на земле».

Толстой очень дорожил философскими взглядами, изложенными им в «Войне и мире» и в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”». В мае 1869 года Фет отправил Толстому не дошедшее до нас сочувственное письмо по поводу философско-исторических глав «Войны и мира». В ответ Толстой писал ему 10 мая: «Участие ваше к моему эпилогу меня тронуло… То, что я написал, особенно в эпилоге, не выдумано мной, а выворочено с болью из моей утробы».

Из писателей, близких знакомых Толстого, особенный интерес к «Войне и миру» проявили, разумеется, Фет и Боткин.

Сохранились только два письма Фета о «Войне и мире»; вероятно, их было больше. Кроме письма от 16 июня 1866 года, приведенного выше, существует еще одно, написанное по окончании чтения последнего тома «Войны и мира» от 1 января 1870 года. Фет писал: «Сию минуту кончил 6-й том “Войны и мира” и рад, что отношусь к нему совершенно свободно, хотя штурмую с вами рядом. Какая милая и умная *женщина* (курсив Фета. – *А.Н.*) княг. Черкасская, как я обрадовался, когда она меня спросила: “будет ли он продолжать? Тут все так и просится в продолжение – этот 15-летний Болконский, очевидно, будущий декабрист”. Какая пышная похвала руке мастера, у которого все выходит живое, чуткое. Но ради Бога не думайте о продолжении этого романа. Все они пошли спать вовремя, и будить их опять будет для этого романа, круглого, уже не продолжение, а канитель. Чувство меры так же

Репозиторий ВГУ

необходимо художнику, как и сила. Кстати, даже недоброжелатели, т.е. не понимающие интеллектуальной стороны Вашего дела, говорят: по силе он феномен, он точно *слон* (курсив Фета. – *А.Н.*) между нами ходит… У Вас руки мастера, пальцы, которые чувствуют, что тут надо надавить, потому что в искусстве это выйдет лучше, – а это само собой всплывет. Это чувство осязания, которого обсуждать отвлеченно нельзя. Но следы этих пальцев можно указать на созданной фигуре, и то нужен глаз да глаз. Не стану распространяться о тех криках по поводу 6 части: "как это грубо, цинично, неблаговоспитанно" и т.д. Приходилось и это слышать. Это не более, как рабство перед книжками. Такого конца в книжках нет – ну, стало быть, никуда не годится, потому что *свобода* (курсив Фета. – *А.Н.*) требует, чтобы книжки были все похожи и толковали на разных языках одно и то же. А то книжка – и не похоже – на что же это похоже! Так как то, что в этом случае кричат дураки, не ими найдено, а художниками, то в этом крике доля правды. Если бы Вы, подобно всей древности, подобно Шекспиру, Шиллеру, Гёте и Пушкину, были певцом героев, Вы бы не должны сметь класть их спать с детьми. Орест, Електра, Гамлет, Офелия, даже Герман и Доротея существуют как герои, и им возиться с детьми невозможно, как невозможно Клеопатре в день пиршества кормить грудью ребенка. Но вы выработали перед нами будничную изнанку жизни, беспрестанно указывая на органический рост на ней блестящей чешуи героического. На этом основании, на основании правды и полного гражданского права будничной жизни, Вы обязаны были продолжать указывать на нее до конца, независимо от того, что эта жизнь дошла до конца героического Knalleffekt (разительного эффекта. – *А.Н.*). Эта лишне пройденная дорожка вытекает прямо из того, что Вы с начала пути пошли на гору не по правому обычному ущелью, а по левому. Не этот неизбежный конец – нововведение, а нововведение самая задача. Признавая прекрасным, плодотворным замысел, необходимо признать и его следствие. Но тут является художественное *но* (курсив Фета. – *А.Н.*). Вы пишете подкладку вместо лица, Вы перевернули содержание. Вы вольный художник, и Вы вполне правы. "Ты сам свой высший суд". – Но художественные *законы* (курсив Фета. – *А.Н.*) для всяческого содержания неизменны и неизбежны как смерть. И первый закон *единство представления* (курсив Фета. – *А.Н.*). Это единство в искусстве достигается совсем не так, как в жизни. Ах! Бумаги мало, а кратко сказать не умею!.. Художник хотел нам показать, как настоящая женская духовная красота отпечатывается под станком брака, и художник вполне прав. Мы поняли, почему Наташа сбросила Knalleffekt, поняли, что ее не тянет петь, а тянет ревновать и напряженно кормить детей. Поняли, что ей не нужно обдумывать пояса, ленты и колечки локонов. Все это не вредит целому представлению о ее духовной красоте. Но зачем было напирать на то, что она стала *неряха* (курсив Фета. – *А.Н.*). Это может быть в действительности, но это нестерпимый натурализм в искусстве. Это шаржа, нарушающая гармонию».

Сам же Толстой, создавая «Войну и мир», находился в том состоянии высокого духовного подъема, о котором он писал Фету по поводу одного из его стихотворений: «Я знаю то счастие, которое оно вам дало сознанием того, что оно прекрасно…, что оно – вы».

Репозиторий ВГУ

Творческие взаимосвязи между Толстым и Фетом продолжались и после «Войны и мира».

В дневнике Софьи Андреевны мы читаем (запись от 15 февраля 1870 года): «Вчера вечером много говорил Лёвочка о Шекспире и очень им восхищался, признает в нем огромный драматический талант. Про Гёте говорил, что он эстетик, изящен, пропорционален, но что драматического таланта у него нет, что в этом он слаб, и все собирается поговорить с Фетом о Гёте, которым Фет так восхищается».

16 февраля Толстой пишет Фету: «… я ничего не пишу, но говорить о Шекспире, о Гёте и вообще о драме очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще и, как это всегда случается с людьми, которые до сорока лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с сорокалетней ясностью обратят внимание на новый, не нанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового».

Далее Толстой сообщал, что когда он больной лежит в постели, лица задуманной им драмы или комедии «начинают действовать и очень хорошо представляют».

О том, какими именно мыслями о драме и комедии хотелось Толстому поделиться с Фетом, узнаем из двух его записей от 2 и 3 февраля 1870 года.

Первая касается трагедии вообще. Толстой говорит, что трагедия «при психологическом развитии нашего времени страшно трудна». Поэтому такие вещи, как «Ифигения» и «Эгмонт» Гёте, «Генрих IV» и «Кориолан» Шекспира, «ни читать, ни давать их нет возможности». Это, по мнению Толстого, относится и к «Борису Годунову» Пушкина, являющемуся подражанием Шекспиру и написанному непоэтическим белым стихом.

Во второй записи Толстой, признавая образцовыми произведениями «Горе от ума» и «Ревизор», относит их к «самому мелкому, слабому роду» драматической литературы – сатирическому. Все же «остальное огромное поле – не сатиры, но поэзии – еще не тронуто».

20 февраля Толстой отправился к Фету в его имение Степановку, чтобы поделиться с ним своими мыслями о драме и комедии. В разговоре Фет почему-то высказал мнение, что Толстому не свойственен драматический род искусства. Он прочел Толстому свою новую повесть «Семейство Гольц», которой Толстой остался не вполне доволен. По возвращении в Ясную Поляну он 21 февраля писал Фету: «Вы… лишнее должны все выкинуть и сделать изо всего, как Анненков говорит, “перло”. Добывайте золото просеиванием. Просто сядьте и весь рассказ с начала перепишите, критикуя сами себя, и тогда дайте мне прочесть».

Все лето 1870 года Толстой ничего не пишет, но много работает и в поле, и в саду.

11 мая, получив от Фета письмо с текстом его нового стихотворения «Майская ночь», Толстой свой ответ Фету начал такими словами: «Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно, за тысячу верст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела».

Репозиторий ВГУ

Здесь Толстой, несмотря на то, что сам чувствует себя «за тысячу верст от всего искусственного», все-таки называет поэзию «нашим делом». Не то читаем мы в следующем письме к Фету, написанном через месяц: «Я, благодарю Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу и о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю».

С Фетом Толстой продолжал переписку по вопросам литературным и философским, иногда и хозяйственным. Он рассказывал Фету о своих работах и высказывал свои мнения о различных литературных произведениях. Фет прислал ему на суд свои последние стихи.

Толстой внимательно вчитывался в каждую строчку новых стихотворений Фета и в письмах к нему откровенно высказывался как о достоинствах, так и о недостатках его стихов. Так, относительно стихотворения «Майская ночь» Толстой писал Фету 11 мая 1870 года: «Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое *само* (курсив Толстого. – *А.Н.*) и прелестно».

Это письмо Толстого Фет напечатал в своих воспоминаниях.

Иной отзыв вызвало со стороны Толстого написанное в том же году стихотворение Фета «После бури», о котором он писал автору 1 декабря 1870 года: «Стихотворение, которое вы мне прислали, одно из *прекрасных* (курсив Толстого. – *А.Н.*); но последняя строфа, прекрасная по мысли, не готова. “Утлый чёлн” и “паруса” несогласно. Я уверен, что вы уж перелили эту строфу».

Но Фет не любил возвращаться к своим прежним стихотворениям. Забракованную Толстым строфу он не «перелил», а письмо Толстого в своих воспоминаниях не напечатал.

Спонтанное, накатившей волной на Толстого, неожиданное для многих увлечение древнегреческим языком тоже не было скрыто от Фета. Наоборот, он очень откровенно делился с ним своей страстью, может быть, преувеличивая ее. В конце 1870 года он писал Фету: «…с утра до ночи учусь по-гречески… Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения… Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь… Я радуюсь тому, что я не пишу (художественных произведений. – *А.Н.*) и писать дребедени многословной вроде “Войны” я больше никогда не стану. И виноват, и ей-богу никогда не буду». И далее Толстой поет дифирамб в честь древнегреческого языка и литературы, возвышая их над русской изящной словесностью.

Следующее толстовское увлечение – второй этап педагогической деятельности в 70-е годы. И здесь Фет был одним из самых доверительных собеседников Толстого. 16 марта 1872 года Толстой извещал Фета: «Азбука моя не дает мне покоя для другого занятия. Печатанье идет черепашьими шагами, и черт знает, когда кончится, а я все прибавляю, убавляю и изменяю. Что из этого выйдет, не знаю, а положил я в него всю душу».

Месяцем раньше: «…Я опять завел школу; и жена, и дети, мы все учим, и все довольны»; «Я кончил свои Азбуки, печатаю и принимаюсь за задушевное сочинение, которого не только в письме, но и на словах едва ли расскажу, несмотря на то, что вы тот, кому можно рассказать» (речь идет о будущих «Четырех русских книгах для чтения». – *А.Н.*).

Репозиторий ВГУ

Или вот новый замысел 1873 года – романа из эпохи Петра I. Снова нужен Толстому Фет: 30 января он жалуется ему: «Я ужасно не в духе», и это потому что «работа затеянная страшно трудна; подготовке, изучению нет конца, план все увеличивается, а сил… все меньше и меньше». И еще были письма на эту же тему.

Наконец, работа над третьим романом (после «Семейного счастия» и «Войны и мира») – «Анна Каренина»…

Фет в середине февраля писал Толстому: «Что сказать про художественное мастерство в целом? Про простую столярную работу. Какое мастерство вводить новые лица! Какое прелестное описание бала! Какой великолепный замысел сюжета! Герой Левин – это Лев Николаевич человек (не поэт), тут и В. Перфильев, и рассудительный Сухотин, и все и вся, но возведенное в перл созданья. Я хохотал, как дурак, когда Левин с отчаяния побежал, соскакивая, в коньках с лестницы…». (Фет догадывался, что прототипами Каренина и Облонского послужили его общие с Толстым знакомые: прототипом Каренина – С.М. Сухотин, а прототипом Облонского – В.С. Перфильев).

В 1875 году Толстой поехал в Самарские степи на лечение кумысом. И в этой поездке он не порывал связи с Фетом. В письме от 25 августа он писал ему: «К чему занесла меня туда (в Самару) судьба – не знаю; но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это остается очень важным), и мне скучно и ничтожно было. Но что там – мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядеть, вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно».

Как пишет Толстой в этом письме, ему особенно интересно было видеть «совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим, первобытным».

23 августа Толстые вернулись в Ясную Поляну, и Лев Николаевич возвращается к «скучной, пошлой» «Анне Карениной». Толстой пишет Фету: «Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца – мыслями, теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину с одним желанием: поскорее опростать себе место – досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить. Они слишком много берут времени»…

Фет был одним из немногих, с кем делился Толстой своим пониманием религии.

Усиленный интерес к религиозному пониманию жизни начал проявляться с 1873 года. 30 января в письме к Фету по поводу смерти маленького племянника Толстой впервые высказал свое отношение к религиозным обрядам. Он писал, что он и брат во время похорон ребенка чувствовали «почти отвращение к обрядности», но позднее он понял, что церковный обряд отпевания наилучшим образом выражает «значительность и важность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием», что славянские слова молитв отзываются «тем самым метафорическим восторгом, когда задумаешься о нирване» и что «религия уже тем удивительна, что она столько веков стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-

Репозиторий ВГУ

либо человеческое». Религия – «бессмыслица», но она очень «годится для этого дела», и «что-то в ней есть».

Но художественная работа не «отпускала» Толстого. 26 октября 1875 года он пишет Фету: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмостков, только потратишь материал и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда работа начата. Все кажется: отчего ж не продолжать? Хвать-похвать, не достают руки, и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки, и засучиваю рукава».

В ожидании творческого подъема Толстой усиленно занимается чтением. Он «упивается» песнями кавказских горцев, прочитанными им в сборнике, изданном в Тифлисе, в которых находит «сокровища поэтические необычайные». Три из этих песен он посылает Фету. Фет перелагает их в стихи и свое переложение посылает на суд Толстому…

А работа над «Анной Карениной» продвигалась с трудом. Осенью 1875 года тяжело заболела Софья Андреевна, преждевременно родившая девочку, названную Варварой и умершую через час. Жена Толстого была при смерти. В декабре скончалась в Ясной Поляне в возрасте 78 лет тетушка Льва Николаевича, родная сестра его отца, Пелагея Ильинична Юшкова. Про это время Толстой написал: «Вообще была для меня нравственно очень тяжелая зима (1875–1876 годы. – *А.Н.*)».

Тем не менее, по весне Толстой пишет Фету, что все мечтает «окончить роман до лета», но сомневается, удастся ли ему это.

26 марта Фет в письме к Толстому делится своими впечатлениями от чтения напечатанных последних частей «Анны Карениной»: «Есть и в Карениной скучноватые главы. Мне скажут: “Они необходимы для связи целого”. Я скажу: “Это не мое дело”. – Но зато все целое и подробности – это червонное золото. В некоторых операх есть трио без музыки: все три голоса (в Роберте) поют свое, а вместе выходит, что душа улетает на седьмое небо. Такое трио поют у постели больной Каренина, муж и Вронский. Какое содержание и какая форма! Я уверен, что Вы сами достигаете этой высоты только в минуты светлого вдохновения…

А небось, чуют они все, что этот роман есть строгий неподкупный суд всему нашему строю жизни. От мужика до говядины принца. Чуют, что над ними есть глаз, иначе вооруженный, чем их слепорожденные гляделки. То, что им кажется несомненно честным, хорошим, желательным, изящным, завидным, оказывается тупым, грубым, бессмысленным и смешным».

Под влиянием философии Шопенгауэра, которой увлекались Толстой и Фет, они обменялись мыслями насчет жизни и смерти. 29 апреля 1876 года Толстой ответил на письмо Фета от 8 марта, в котором его поразили слова: «Было одно время так плохо, что хотел просить вас приехать посмотреть, как уйду». Толстой писал: «Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы думали, что близко. Я то же сделаю, когда соберусь *туда* (курсив Толстого. – *А.Н.*), если буду в силах думать. Нам с ва-

Репозиторий ВГУ

ми не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены; но мне в эту минуту так не нужно бы было никого, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а вы и редкие *настоящие* (курсив Толстого. – *А.Н.*), с которыми я сходился в жизни, несмотря на здоровое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану – в беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. А люди житейские – попы и т.п., сколько они ни говори о Боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, – именно того Бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного…

Бог Саваоф с сыном, бог попов есть такой же маленький и уродливый, невозможный бог (и еще гораздо более невозможный, чем для попов был бы бог мух, которого бы мухи себе воображали огромной мухой, озабоченной только благополучием и исправлением мух».

«Вы больны, – писал далее Толстой, – и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде».

«А впрочем, – вдруг неожиданно заканчивает Толстой свое письмо стихами Беранже:

Mourir vient de soi-même.
N’en ayons point souci.
Bien vivre est le problême
Qu’il faut résoudre isi.

(Смерть придет сама собой. Это не наша забота. Хорошо прожить – вот задача, которую надо разрешить здесь).

И даже иначе нельзя».

Лето 1876 года отвлекло Толстого от философских раздумий и погрузило в океан жизни. 8 июня он пишет Фету: «Нынешнее лето на меня почему-то особенно сильно действует, и, если бы я был вы, я все бы писал стихи. Очень все красиво нынешний год».

Весна 1877 года ознаменована работой Толстого, связанной с окончанием романа «Анна Каренина». 12 марта в письме к Фету он жаловался на то, что «голова болит и мешает работать, что особенно досадно потому, что работа не только приходит, но пришла к концу. Остается только эпилог» (так Толстой называл в то время последнюю часть романа). «И он очень занимает меня».

Фет время от времени сообщал Толстому свое впечатление от новых глав «Анны Карениной». 11 марта 1877 года по поводу поездки Долли к Анне (часть шестая, главы XVI–XXIV) он писал: «И лошади сборные, и кофточка чиненая, и стыдно, и не стыдно, и хорошо, и дурно. – Это до того тонко и верно, что сам Бенвенуто Челлини бы позавидовал».

16 марта он же писал по поводу картины дворянских выборов: «Что за прелесть выборы, и какая подавляющая сатира!».

12 апреля относительно глав «Анны Карениной», напечатанных в мартовском номере «Русского вестника» (I–XV седьмой части), Фет писал: «Не говорю о мастерстве подробностей – руки болтаются (опьяневший Левин, часть седьмая, глава VIII, чувствовал, что у него при ходьбе особенно пра-

Репозиторий ВГУ

вильно и легко болтаются руки. – *А.Н.*); ламповое стекло чистит (сказано о лакее доктора, к которому приехал Левин по случаю начавшихся у Кити родов; Левина изумила «внимательность к стеклам и равнодушие к совершавшемуся» у него событию – там же, гл. XIV. – *А.Н.*); портрет Анны, и веются красоты, *прекрасно* (курсив Фета. – *А.Н.*) влюбился в Каренину, и *нехорошо* (курсив Фета. – *А.Н.*), и жена резко ударяет на все это.

Но какая художницкая дерзость – описание родов. Ведь этого никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат об реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть».

Фет имел в виду XX главу пятой части «Анны Карениной», где рассказывается, что дважды в жизни Левин пережил такие события, которые «одинаково были вне всех обычных условий жизни, но были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее… Одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которую он никогда и не понимал прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею». Эти два события для Левина были смерть брата Николая и роды Кити.

Глава, описывающая смерть брата Левина, имела в глазах автора особенное значение. Это единственная глава всего романа, которой автор дал отдельное заглавие – «Смерть». Здесь Толстой, смотревший на смерть как на «высочайший момент жизни», «старался выразить», как писал он Фету 29 апреля 1876 года, «многое» из того, что он сам думал об этом предмете.

Несомненно, Толстой намеренно заставляет Левина переживать одно за другим эти два события, «выходившие из всех обычных условий жизни».

В письме к Фету от 14 апреля Толстой впервые посвящает его в свои религиозные искания. Прочитав в письме Фета (оно неизвестно) какие-то мысли «о сущности Божества», Толстой пишет о Божестве – Боге. «А я давно уж, не переставая, думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать. Не только можно, но должно. Во все века лучшие, т.е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем *так же* (курсив Толстого. – *А.Н.*), как они, думать об этом, то мы обязаны найти *как* (курсив Толстого. – *А.Н.*)».

Тут же Толстой рекомендует Фету «Мысли» Паскаля – религиозного писателя XVII века, который больше всех других удовлетворял его.

14 апреля Толстой пишет Фету, что «конец» его романа уже набран и он читает корректуры; он надеется «праздновать свое освобождение и конец работы около 28 апреля». Однако чтение корректур затянулось, и еще 10 мая Толстой писал Фету, что он «все привязан к своей работе».

Роман «Анну Каренину» Толстой снабдил эпиграфом, который нельзя понять иначе, как признание нравственных законов, неисполнение которых влечет за собой страдания. Что именно таков был смысл эпиграфа к «Анне Карениной», удостоверено самим автором. В 1906 году на письмо двух вологодских гимназисток, спрашивавших, в чем смысл эпиграфа к «Анне Карениной» и предлагавших такое его толкование: «Мы думаем, что смысл эпиграфа состоит в том, что человек, нарушивший нравственные правила, будет наказан», – Толстой ответил: «Вы правы».

Репозиторий ВГУ

Разумеется, приводя библейский текст, Толстой не так понимал употребленное в нем слово «Аз», как понимается оно в Библии. Толстой не признавал никакого наказующего Бога, как признают его древнееврейская и христианская религии. Фет правильно понимал значение эпиграфа к «Анне Карениной». В своей статье «Что случилось по смерти Анны Карениной» в «Русском вестнике» он писал: «Граф Толстой указывает на “Аз воздам” не как на розгу брюзгливого наставника, а как на карательную силу вещей, вследствие которой человек, непосредственно производящий взрыв, прежде всех пострадает сам».

В художественном отношении роман много выиграл оттого, что в окончательном тексте он из семейного, психологического и философского, каким он был в первых редакциях, превратился в семейный, психологический, философский и социальный роман.

Значение «Анны Карениной» для понимания эволюции социальных воззрений Толстого очень велико. В этом отношении характерен спор Левина с Кознышевым относительно сербов. Сергей Иванович оправдывал это движение тем, что «в пользу него высказывается общественное мнение». На это Левин хотел ему возразить, что если считать непогрешимым судьей общественное мнение, то «почему революция, коммуна (имеется в виду, конечно, Парижская Коммуна. – *А.Н.*) не так же законны, как движение в пользу славян?». Так сказано в окончательном тексте романа, но в печати это возражение Левина по цензурным соображениям появилось в сильно смягченном виде. Вот его полный текст в черновой редакции: «В последнее свидание свое с Сергеем Ивановичем у Левина был с ним спор о большом политическом деле русских заговорщиков. Сергей Иванович безжалостно нападал на них, не признавая за ними ничего хорошего, Левин защищал их. Теперь Левину хотелось сказать: “За что же ты осуждаешь коммунистов и социалистов? Разве они не укажут злоупотреблений больше и хуже болгарской резни? Разве они и прекрасные умы, работавшие в их направлении не выставляют свою деятельность доводами более широкими и разумными, чем Сербская война, и почему же они не скажут того же, что ты, что это наверное предлог, который не может быть несправедлив? У вас теперь угнетения славян – и у них угнетение половины рода человеческого. И общественное мнение, если оно судья, то едва ли не будет больше голосов в их пользу, чем в вашу, если так же муссировать дело, как вы”.

Но Левин чувствовал себя слишком раздраженным и ничего не сказал». Если вспомнить, во-первых, что ко времени написания эпилога (1877 г.) в стране все более усиливалось революционное движение и, с другой стороны, припомнить иронические отзывы о нигилистах в письмах Толстого к Фету начала 1870-х годов, станет совершенно очевидно, что ко времени окончания «Анны Карениной» в отношении Толстого к революционному движению произошло очень значительное изменение. Он признает, что социалисты и коммунисты встали на защиту «половины рода человеческого», угнетенной существующим строем, и что среди них есть «прекрасные умы»; он даже готов допустить, что при известных условиях «общественное мнение» завтра может заговорить в пользу революционного движения.

Ни один из положительных героев предыдущих художественных произведений Толстого не подходил так близко к народу, как Левин, который

Репозиторий ВГУ

считает трудовое крестьянство «лучшим классом России» и преклоняется перед напряженным самоотверженным трудом крестьянина в рабочую пору.

Рисуя образ Левина, Толстой уже недалек от разрыва со своим классом и перехода к идеологии русского патриархального трудового крестьянства.

2 сентября 1877 года Толстой получил от Фета статью об «Анне Карениной». «Статья, по-моему, очень хороша, за исключением переизбытка и неожиданности сравнений. Он желает ее напечатать, и мне бы хотелось, потому что сказано все то, что я бы хотел сказать».

В тот же день Толстой писал и самому Фету: «Не могу хвалить вашей статьи, потому что она хвалит меня; но я вполне, вполне согласен с нею; и мне очень радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления понятны верно и поставлены все на настоящее место. Мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана, хотя, обращая к вам то, что вы говаривали мне, знаю, что почти никто не поймет ее».

Фет прежде всего ставит вопрос: «Возможно ли, с нашей точки зрения, отыскать в ней (в “Анне Карениной”. – *А.Н.*) строгий художественный план или же придется отказаться от подобной попытки?». И отвечает на этот вопрос: «На наши глаза, ни одно из произведений графа Толстого не выставляет так близко к видимой поверхности всего своего внутреннего построения».

«Нам не раз приходилось, – говорит далее Фет, – слышать упреки Толстому за то, что его Каренина вращается среди роскоши большого света». На эти обвинения Фет отвечает, что «мы не вправе подкладывать под фигуры живописцев свой фон» и что «при задаче Толстого Каренина должна была быть поставлена именно так, а не иначе». «Будь Анна не развитой бедной швеей или прачкой, то никакое художественное развитие ее драмы не спасло бы задачу от обычных окольных возражений: нравственная неразвитость не представляла опоры в борьбе, бедность заела и т.д. Изобразив Анну такою, какая она есть, автор поставил ее вне всех этих замечаний. Анна красива, умна, образована, влиятельна и богата. Уж если кому удобно безнаказанно перебросить чепец мельнику, так, без сомнения, ей. Но, выставляя все благоприятные условия, граф Толстой не обошел ни преднамеренно, ни по близорукости ни одного в этом случае враждебного замужней женщине условия… У Карениной один сын, и этого достаточно, чтобы привести ее эмансипацию к абсурду. Анна настолько умна, честна и цельна, чтобы понять всю фальшь, собранную над ее головой ее поступком, и бесповоротно, всеми фибрами души осудить всю свою невозможную жизнь. Ни вернуться к прежней жизни, ни продолжать так жить – нельзя».

Переходя к другим героям романа, Фет замечает, что над всеми их действиями, «как едва заметный утренний туман, сквозит легкая ирония автора, для большинства вовсе незаметная». Исключение составляет только Левин, который «один из всех действующих лиц пользуется серьезным сочувствием автора». «Мыслитель не по призванию или профессии, а по природе, он мучительно задается вопросом, стоящим в бесконечной дали перед всяким умственным трудом, – вопросом о конечной цели бытия вообще и своего в част-

Репозиторий ВГУ

ности». «Будучи, очевидно, носителем положительного идеала, Левин представляет вполне народный тип в лучшем и высшем значении слова» [30].

Фет находит, что между Левиным и Карениной существует «внутренняя художественная связь», которая «бросается в глаза в ходе всего романа», причем «художественная параллель их, как в городе, так и в деревне, выведена с изумительным мастерством». Но раз между образами Карениной и Левина существует неразрывная внутренняя связь, то «почему же художественные близнецы Каренина и Левин должны были появиться – она вполне оконченною, а он непременно, во что бы то ни стало без головы?».

Этими словами Фет намекал на то, что «Русский вестник» не напечатал восьмой части «Анны Карениной», где раскрывалась дальнейшая судьба Левина, в то время как седьмая часть развертывала до конца драму Карениной.

К сожалению, до нас не дошла полностью эта талантливая и содержательная работа такого тонкого ценителя художественных произведений, каким был Фет, которого не напрасно Толстой называл «настоящим поэтом»…

Спустя 17 лет Толстой побывал в Петербурге для покупки у генерала Бистрома самарской земли. Высшее петербургское общество произвело на него удручающее впечатление. 24 марта 1878 года он писал Фету: «Им там весело, и все очень просто, так за что же нам сердиться? Что они выпивают кровь из России – и это так надобно, а то бы мы с жиру бесились, а у них всех это дижерируется (переваривается. – *А.Н.*) очень легко. Так что и за это нам обижаться не следует; но за то, что они глупы – это бы еще ничего, – но, несмотря на чистоту одежды, низменны до скотообразности, это мне было ужасно тяжело в мое пребывание там… Я там видел пару генералов – орловских, так жутко делается, точно между двух путей стоишь, и товарные поезда проходят».

В 1878 году Толстым был задуман роман о декабристах, но в феврале 1879 года он прекращает эту работу. Причем, ни в одном письме к своим друзьям – Страхову, Фету, А.А. Толстой – Лев Николаевич ни одним словом не обмолвился о причинах, приведших его к прекращению произведения, которым он так напряженно был занят в течение целого года. По какой-то причине он как бы стеснялся говорить об этом.

Фет как монархист тяжело переживал тогда участившиеся террористические акты против членов правительства. Особенно он был взволнован покушением на Александра II, совершенным народным учителем Соловьевым 2 апреля 1879 года. Под свежим впечатлением этого события он пишет Толстому 9 апреля: «Из немногих брошенных Вами слов я составил себе – дай Бог, чтобы превратное, – понятие о Вашем новом капитальном труде. Общественное мнение 55 лет (начало “Декабристов” Толстого относилось к 1824 году. – *А.Н.*) привыкло смотреть на декабристов как на олигархов, т.е. как на своекорыстных мечтателей. Вы, быть может, с большим историческим правом, смотрите на них как на мечтателей самоотверженных, и в силу последнего качества они возникают перед Вами в венцах из звезд, как в Полярной звезде Герцена, отказавшегося под конец от солидарности с этой темой. Если бы Вы имели дело со мной или Страховым, Вы были бы совершенно правы. В художественном произведении мы не стали бы во что бы то ни стало доискиваться исторической правды. У Байрона Авель свинья,

Репозиторий ВГУ

а Каин высокий герой и спаситель человечества, как Прометей. Нам и в голову не придет оспаривать Байрона и его Каина, хотя книга Бытия нам его представляет в некрасивом виде. Но ведь никогда толпа не смотрит с этой стороны… И чем выше голос говорящего, тем ужасней последствия недоразумения его речей. – Я ужасаюсь мысли, что теперешние цареубийцы могут подумать, что Вы их одобрите и напутствуете благословением их растление несчастных женщин, глупеньких юношей и покушения силой и насилием проникнуть в народ, который всей массой, по простому прямому историческому чувству, знает, что нам без царя на престоле и в голове жить нельзя… – Может быть, я подымаю бурю в стакане воды. – Но успокойте меня на этот счет хоть словечком».

Толстой, как и следовало ожидать, вопрос о терроре перенес из области политической в область нравственную. На письмо Фета он ответил 17 апреля: «Декабристы мои Бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал и писал, то льщу себе надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества».

Около 15 января 1879 года Фет посетил Толстого. 16 января он писал Страхову, что провел «отличный день у хворающего Льва Николаевича», которого, как писал он в другом письме, 28 января, «застал заваленным всякого рода источниками того времени» (очередной замысел Толстого – роман из эпохи Петра I).

Новый замысел имеет своим основанием суждение Толстого о времени Петра как о начале новой русской истории (это художественное произведение обдумывалось им под названием «Сто лет»). К этому он пришел, «распутывая клубок» новой русской истории. Но замысел не был осуществлен: фигура Петра I как исторического деятеля и человека не увлекла Толстого, если не сказать больше.

1879 год – может быть, пик того самого «перелома» в мировоззрении Толстого, который привел его на позиции «патриархального» крестьянства и к обоснованию религии, противостоящей церковным установлениям.

Кроме мучивших его не вполне разрешенных религиозных вопросов, Толстой страдал еще от сознания несоответствия своей жизни с новым усвоенным им миросозерцанием. 12 июля 1879 года он писал Фету: «Все ломаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь; и думаю, что… доведется мне заполнить пробел да и умереть; а все не могу не разворачивать сам себя».

В следующем письме к Фету от 27 июля Толстой раскрывает отчасти, чем он был недоволен в своей жизни. Здесь он отвечает на письмо Фета от 17 июля, в которое Фет вписал придуманную им притчу о соколе. Был один сокол, который взлетел в небо так высоко, что его мог видеть только зоркий глаз охотника. Охотник радовался, но сокол забирал каждый день все выше и выше и, наконец, ушел в такую высь, что даже и опытный глаз сокольничего не мог за ним уследить. «Так и ушел от него сокол. Тут-то охотник и подумал: хорошо летать высоко, да надо же и на землю спускаться». Этот сокол – Толстой; охотник, зорким глазом следящий за ним, – Фет.

Но Толстой не согласился с мыслью этой притчи. «Если я этот сокол, – писал он Фету, – и если, как выходит из последующего, залетание мое слиш-

Репозиторий ВГУ

ком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддерживания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, и что 9/10 труда, полагаемого на удовлетворение этих потребностей, – праздный труд».

Толстой отвергает обычный довод в пользу более высокой оплаты умственного труда по сравнению с трудом физическим, состоящим в том, что результаты умственного труда особенно нужны и полезны людям. «Мне бы очень хотелось, – пишет Толстой, – быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них. Но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилием своего труда и изобретением тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мой труд есть и самый нужный, и трудный)».

И Толстой избирает иной, с его точки зрения, более надежный путь. «Я желал бы, – говорит он, – как можно поменьше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей; и думаю, так легче не ошибиться».

Однако Толстой лишь в ограниченных размерах мог осуществить в своей жизни это новое, установленное им для себя правило – как можно меньше брать от людей, уменьшая свои потребности. Он был не один, у него была семья, и его жена и подрастающие дети привыкли уже к тому укладу дворянско-помещичьей жизни среднего достатка, который он сам после женитьбы (1862) установил для своей семьи.

Сложным и трудным путем он шел к полному разрыву со своим классом, а следовательно, и с тем укладом жизни, который был типичен для этого класса. Его семейным были чужды и непонятны происходившие в нем мучительная работа, мысли и чувства. Не переживая ни в какой степени того, что переживал он, семейные Толстого не могли пойти по его пути.

С годами жизнь в барских условиях становилась для него все более и более мучительной, и так продолжалось до самого дня его ухода из Ясной Поляны – 28 октября 1910 года.

Приведенное письмо к Фету примечательно еще и в других отношениях. Во-первых, нельзя не обратить внимание на то, что, говоря о своем труде, Толстой совершенно не упоминает о своей работе писателя, как бы не придавая ей значения. Во-вторых, Толстой говорит не только о том, что «большая доля» его жизни направлена на удовлетворение искусственно развитых потребностей, но то же самое он говорит и о жизни Фета. Толстой, следовательно, критикует вообще условия жизни помещиков того времени [31].

Перелом в мировоззрении Толстого привел к охлаждению в отношениях между ним и Фетом.

Дружба их, начавшаяся еще в 1856 году в Петербурге, с годами укреплялась все больше и больше. 5 марта 1877 года Толстой писал Фету: «Давно от вас нет известий, и мне уж чего-то недостает и грустно». Ему же 14 апреля:

Репозиторий ВГУ

«Ваше последнее письмо забрало меня за живое – т.е. дружбу к вам». Затем 10 мая: «Не смею мечтать о радости увидать вас у нас на обратном пути – уж слишком мне этого хочется сердцем».

В свою очередь и Фет чувствовал в Толстом близкого человека.

16 октября 1876 года он в письме уведомлял Толстого, что в вагоне железной дороги встретился с И.С. Аксаковым, и далее прибавлял: «Темой разговора были Вы. Это для меня критериум человека».

В 1876–1879 годах Фет посылал Толстому одно за другим ряд своих новых стихотворений: «В звездах», «Alter ego», «Далекий друг, пойми мои рыданья», «Отошедшей», которые все очень понравились Толстому.

О стихотворении «В звездах» Толстой писал автору 10 января 1877 года: «Это одно из лучших стихотворений, которые я знаю». Стихотворение «Alter ego» Толстой в письме к Фету от 27 января 1878 года называет «прекрасным». Стихотворение «Далекий друг, пойми мои рыданья» названо Толстым в письме к автору от 16 февраля того же года «вполне прекрасным»; также и стихотворение «Отошедшей» оценено Толстым в письме к Фету от 22 ноября того же года как «прекрасное, роженное».

Не так, как стихотворение «Отошедшей», понравилось Толстому стихотворение Фета «Никогда» – «и по форме (не так круто, как то), и по содержанию», с которым Толстой не мог согласиться. Так он писал Фету 1 февраля 1879 года. В этом стихотворении сказалось отличие философских взглядов Фета от религиозно-философских взглядов Толстого. На это отличие Толстой указал Фету в том же письме, но Фет в своем ответе обошел молчанием эту часть письма Толстого.

В следующем письме от 16 февраля Толстой настойчиво просил Фета высказаться, признает ли он религиозное отношение к жизни. Фет ответил уклончиво.

Свидание Толстого с Фетом летом 1879 года в имении Фета Степановке, как сказано было выше, оказалось неудачным. Видя равнодушие Фета к религиозным вопросам, Толстой мало рассказал ему о волновавших его религиозных исканиях, и Фету показалось, что Толстой просто «не в духе».

По возвращении Толстого в Ясную Поляну 10 августа 1879 года Фет писал ему: «Надеюсь, что и Ваш сплин уступает ясным дням. Это очень горестное и тяжелое состояние».

4 октября 1879 года, вернувшись из Москвы, Толстой пишет два аналогичных по содержанию письма – Страхову и Фету. Но в то время как Страхова Толстой извещал о том, что только что приехал из Москвы, где беседовал о вере с московскими иерархами, и что благодаря этим беседам он еще больше укрепился в своем убеждении, то есть в отходе от церковной религии, Фету Толстой написал только: «Я все время духом смущен, растерян. Должно быть, нездорово тело. Я ездил в Москву, советовался с Захарьиным и буду исполнять его советы». И в то время как Страхов в ответном письме Толстому от 16 октября выражал свою любовь к «этой душе, так неустанно и глубоко работающей», Фет на письмо Толстого отозвался 9 октября только такими словами: «Вчера вернулся из Крыма, нашел Ваши строки, которые меня опе-

Репозиторий ВГУ

чалили…». И далее наивный совет: «Бросайте на время мысль о писании, читайте, пишите письма».

4 ноября Фет снова пишет Толстому письмо, где сообщает о своей переписке с юристом консерватором Цитовичем, в котором он видит «совершенное подобие Чернышевских, Добролюбовых и т.д.; та же семинарская бесшабашность, тот же натиск, только с гораздо более солидным образованием и в противоположную сторону». И в конце письма опять дается тот же совет: «Будьте здоровы, это главное, и не хандрите. Второе, вытекающее из первого».

Такое полное непонимание внутренней жизни Толстого и стремление объяснить все его тревоги и мучительные сомнения одним физическим недомоганием отбивали у Толстого охоту писать Фету, и оба эти письма Фета остались неотвеченными. Последнее письмо особенно не понравилось Толстому. По поводу него он записал в записной книжке: «Фет учит, осуждает. Что же он знает?».

Страхову очень хотелось рассеять непонимание Фетом того перелома, который произошел в миросозерцании Толстого. С этой целью он в январе – начале февраля 1880 года написал Фету письмо, которое остается нам неизвестным; но письмо это не достигло желанной цели. «Он (Фет. – *А.Н.*), – писал Страхов Толстому 14 февраля 1880 года, – не может Вас понять. Я брался было объяснить, но ничего из этого не вышло – не успел и расписаться».

Письмо Страхова Фету произвело скорее обратное действие, чем то, на которое он рассчитывал. Из него Фет лучше понял новое направление Толстого и ясно увидел, что ему с Толстым не по пути. 10 февраля 1880 года он писал вдове поэта А.К. Толстого Софье Андреевне Толстой: «За исключением Льва Толстого, я не знаю на Руси человека пера, чтобы не сказать – мысли, который бы находился в подобных мне условиях почти абсолютного одиночества. Но и Толстой несравненно более меня пользуется духовным общением, которого я за внезапным поворотом самого же Толстого по настоящему его направлению лишен окончательно».

Между тем Толстой только в марте 1880 года ответил Фету на его письмо от 4 ноября 1879 года. Короткое письмо Толстого, хотя и было написано в дружеском тоне, нисколько не напоминало те серьезные, задушевные письма, которые раньше в течение многих лет писал Толстой своему приятелю.

На письмо Толстого Фет ответил 19 марта. Он писал о своих хозяйственных делах, о предполагаемой поездке на охоту и в конце письма сообщал о своем намерении побывать в Ясной Поляне в таких выражениях: «Если не будете сердиться, заеду с мальчиком и собакой к Вам, а то приеду, поцелую руки прелестной графини».

Это письмо Фета показалось Толстому не требующим никакого ответа, а странность выражений, в которых Фет писал о своем намерении посетить Ясную Поляну, должна была вызвать в Толстом некоторое чувство досады. И Толстой не ответил на письмо Фета и забыл про него.

Фет терпеливо ожидал ответа на свое письмо в течение оставшихся дней марта, весь апрель и почти весь май. Хотя он и убедился из письма Страхова, что жизненные пути его с Толстым разошлись далеко, все же при его внутреннем одиночестве ему было глубоко жаль тех дружеских отношений с Толстым, которые раньше такое важное место занимали в его жизни и

Репозиторий ВГУ

которые, как он понимал, никогда уже более не возобновятся. Говорило и чувство обиды за то, что Толстой, как полагал Фет, так пренебрежительно относится к его письмам, что даже не отвечает на них.

И 27 мая Фет, не дождавшись ответа Толстого, пишет ему следующее письмо, которое сохранилось не полностью (некоторые части текста утрачены):

«Дорогой граф!

Не имея Вашего дара быть ясным в немногих словах, прошу извинить неизбежные для меня долготы. Шопенгауэр прекрасно обозвал человеческую душу с ее борьбой между бессознательной, непосредственной волей и другим посредствующим проводником (пропуск. – *А.Н.*). Вы обратились ко мне со словами: “На вас сердиться нельзя”. Что же изменилось в эти 20 лет? Не могу судить о Вашей перемене; что касается до меня, то я только все время старался привести к сознанию ту слепую волю, которой руководился всю жизнь, и найти ее, так сказать, разумное оправдание. В этом к душевному моему (пропуск. – *А.Н.*) даже при самых интимных отношениях.

Что же произошло вне этих границ, об этом судить не могу; но факт налицо: Ваши редкие письма и окончательное молчание на сборы мои в Ясную Поляну не требуют толкований. Даже в настоящем я представил бы времени разгадку неизвестного. Но вежливость, сажая меня между двумя стульями, этого не дозволяет.

Мне нужно написать выехавшему в настоящее время из Питера Страхову несколько слов (пропуск. – *А.Н.*) адресу в Ясную Поляну. Писать тому, кто не желает читать, – невежливо. Писать в дом того, кому постоянно писал, не написавшему самому, – невежливо; ибо равняться в переводе на общежительный язык словом: а к тебе писать не хочу. (пропуск. – *А.Н.*) дилеммы, не только еще более невежлив, но и вполне безосновен, то я поневоле впадаю в первый. Давным-давно я постиг слова nil admirari (ничему не удивляться. – *А.Н.*), ибо сознал, что в мире нет ничего без причины, а если таковые есть, то явление неизбежно.

Прошу передать графине Софье Андреевне то неизменное глубокое уважение, которым она постоянно меня исполняла.

Ваш четверть столетия усердно шагавший с Вами в ногу

А. Шеншин».

Это письмо Фета очень взволновало Толстого, и он ответил на него немедленно (31 мая). Он писал, что не ответил только «вследствие своих особенно напряженных занятий нынешнего года» и сожалеет, что, увидев из последнего письма Фета, что он в чем-то считает Толстого перед собой виноватым, не написал ему, прося объяснений, и что как-то «просмотрел» в письме Фета то место, где Фет писал о своем намерении побывать в Ясной Поляне. Теперь Толстой приглашал Фета «заехать», если он поедет «на праздник Пушкина».

Этим письмом разладившиеся отношения были вновь налажены, – склеены, как разбитый кувшин, но непрочно.

Репозиторий ВГУ

Интересна судьба письма Фета. До того времени Толстой сохранял почти все его письма, но это письмо не было сохранено. Оно было обнаружено при разборе яснополянской библиотеки Толстого в 1954 году в старинном сборнике «Пролог», содержавшем жития святых и религиозно-нравственные поучения. Толстой разорвал письмо Фета на длинные узкие полосы и этими полосками пользовался как закладками при чтении «Пролога». Некоторые полоски оказались утраченными.

В половине марта 1880 года Толстой писал Фету: «Ужасно давно не писал вам, как всегда, потому что откладывал с дня на день и очень много работаю. Утро все зарабатываюсь и вечером уже ничего не хочется делать, кроме как читать Пиквикский клуб или играть в винт».

Толстой, как и в прежних письмах, не написал Фету, над чем именно он работает. Было ли это окончание «Исследования догматического богословия», или новый пересмотр всего трактата, или новый труд – мы не знаем. Но скорее можно предположить, что речь идет о новой работе.

Из письма Толстого видно, что работа утомляет его, но не мучает его нравственно, как мучила работа над разбором богословия: он находится хотя и в сосредоточенном, но спокойном настроении.

И совершенно несомненно, что в письме к Страхову, следующем в томе писем Толстого вслед за его письмом к Фету и написанном 25 марта, речь идет о новой работе Толстого. В этом письме Толстой сообщал: «Я все работаю и не могу оторваться и часто счастлив своей работой, но очень часто слабею головой». Здесь говорится о новом начатом Толстым в то время труде – «Соединение и перевод четырех Евангелий».

Толстой был так увлечен своей работой, что против обыкновения продолжал заниматься всю весну и начало лета. Но уже 10 июля 1880 года он пишет Фету: «Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю».

Однако уже через месяц после этого письма, 10 августа, Толстой пишет Фету: «…Я прилаживаюсь к настоящей своей жизни, зимней работе». О том же и почти в тех же выражениях сообщал Толстой в тот же день и Страхову.

26 сентября Толстой сообщал Страхову и Фету, что «очень много» работает «и, кажется, не бесполезно».

Свое письмо к Фету от 26 сентября Толстой начал словами: «Страхов пишет мне, что вы жалуетесь на меня. Вы жалуйтесь и ругайте меня и лучше всего мне самому – я это ужасно люблю; но по-прежнему пишите, заезжайте и любите меня».

Письмо Страхова, на которое ссылался Толстой, не сохранилось, но в письме от 30 июня, написанном после десятидневного пребывания у Фета, Страхов рассказывал, что пробовал, было, объяснять Фету новое миросозерцание Толстого, но потерпел неудачу: «Учение передавалось очень плохо. Он с первых же слов закусывал удила и обнаруживал не любопытство, а ярое желание говорить самому».

Репозиторий ВГУ

Письмо Толстого от 26 сентября Фет воспринял как вызов к тому, чтобы изложить Толстому свое отношение к его новым взглядам, что он и исполнил с большой быстротой в самый день получения письма Толстого – 28 сентября.

Эпиграфом к своему письму Фет взял афоризм Бентама: «Не надейтесь, что вам удастся заставить кого-нибудь пошевельнуть пальцем ради другого. Если он в этом не видит для себя выгоды или удовольствия, то он этого никогда не делал и не сделает». Доказательством этой мысли и было посвящено все письмо Фета.

«Жизнь индивидуума, – писал Фет, – есть смерть другого. Этот закон Дарвина, который он не выдумал, а который знает всякий, видевший хоть грача на пашне. Поэтому нельзя жить как-то по-новому, иначе, чем жил Адам, Моисей и индюшка».

«Евангелие, – писал далее Фет, есть проповедь полнейшего аскетизма и отрицания жизни… Но как бы гениально ни было уяснение смысла известной книги, книга остается книгой, а жизнь с миллионами своих неизбежных требований остается жизнью, и семя семенем, требующим расцвета. Поэтому отрицание не может быть руководством жизни и ее требований».

И уже прямо намекая на Толстого, Фет далее пишет: «Почему тот, для кого жизнь не имеет как наслажденье никакой цены, не выпрыгивает из нее вниз, что для него ни крошечки не страшное Ничто, страшно только бытие, то есть жизнь, а не ее отрицание. Отрицание жизни и небытие более чем близнецы. Это одно и то же».

Никак не может Фет примириться с отрицательным отношением Толстого к своим прежним художественным произведениям. «Равным образом, – пишет он, – я не могу понять, как можете Вы стать в ту оппозицию с такими капитальными вещами, как Ваши произведения, которые так высоко оценены мною. А меня не так-то легко подкупить или надуть в этом деле. Если бы я по вражде убил Вас, и тогда бы сказал, что это сокровищница художественных откровений, и дай Бог, чтобы русское общество доросло до понимания всего там хранящегося. Или Вы шутите, или Вы больны. Тогда, как о Гоголе, сжегшим свои сочинения, надо о Вас жалеть, а не судить. Если же под этой выходкой таится нечто серьезное, тогда я не могу об этом судить, как о великом стихотворении на халдейском языке. Я понимаю тщету мира умом, но не животом, не интуитивно».

Закончил Фет свое письмо словами:

«Знаю, что на длинное мое марание Вы скажете: это все не туда, не к делу. Жизнь – наслаждение в лишении, в страдании. Но для Козловки (т.е. для Ясной Поляны. – *А.Н.*) и полезно отрицание – страж на рубеже, который не надо переводить. А Вы меня туда (т.е. за рубеж, который не надо переходить. – *А.Н.*) суете… Зимой заеду в Ясную. Пожалуйста, хоть изредка вспоминайте строчкой. Будьте здоровы и не сердитесь».

На письмо Фета Толстой ответил 15 октября большим письмом, в котором изложил основы своего жизнепонимания. Толстой отрицает утверждение Фета, будто бы христианство в его понимании есть «проповедь аскетизма». «Совершенно обратное, – говорит Толстой. – Евангелие есть возвещение о *благе в жизни* (курсив Толстого. – *А.Н.*), – только в жизни». Нельзя «жить как попа-

Репозиторий ВГУ

ло»; надо различать ложное и настоящее благо. «Прежде, – говорит Толстой про себя, – я видел благо в Георгиевском кресте, потом в литературе, потом в десятинах земли, потом в семье, и все это оказалось не благом». «Я видел, что они не блага, – прибавляет Толстой к этим словам в исправленной редакции письма к Фету, – но жмурился, чтобы не разрушить своих ложных привычек».

В этих словах Толстой, так определенно провозгласивший и в эпилоге «Войны и мира», и в «Анне Карениной» культ семейной жизни, впервые заявляет, что по его изменившемуся миросозерцанию он уже не считает семью высшим доступным для человека благом. И он дает определенный ответ на вопрос, в чем он видит истинное благо для человека. Теперь ему «счастье представляется не в том, что может составлять хоть малейшее горе других людей… Счастье в том, чтобы не противиться злу и прощать и любить ближнего».

Далее Толстой излагал Фету религиозно-философские взгляды. Он отрицает как церковное представление о Боге внешнем, сидящем на небесах, так и основные концепции всех наиболее известных философских систем. Он говорит: «Разговоры о Боге в природе, о Боге, сидящем на небесах и творящем, о воле Шопенгауэра, о субстанции Спинозы, о духе Гегеля одинаково произвольны и ни на чем не основаны». «О том начале, которое произвело весь мир явлений, я ничего не знаю и не могу знать». Богом Толстой называет то разумение, которое есть в человеке. «То, что я знаю себя существующим, и все, что я знаю, происходит оттого, что во мне есть разумение, и его-то называю Бог, то есть для меня начало всего». «Разумение есть Бог, и ни о каком другом Боге мы не имеем права говорить».

Заканчивает Толстой свое письмо словами: «В последнем письме вашем я слышу раздражение. – Я виноват тем, что раздражал вас. Простите».

Это уже совсем не тот дружеский тон, в котором раньше писал Толстой Фету. Чувствуется, что различие во взглядах наложило свою печать и на личные отношения бывших друзей.

Фет уже на другой день после получения письма Толстого, 18 октября, начал писать ему ответ.

Фет возражает против религиозных взглядов Толстого, против его понимания евангельского учения, против положения о том, что «разумение есть Бог». Но в одном вопросе он высказывает солидарность с Толстым: он признает правило нравственности – «не пожирай чужой жизни, которая ему так же дорога, как тебе твоя». «Если таков смысл Евангелия, то я обеими руками подписываюсь», – прибавляет он.

Вновь выражает Фет свое решительное несогласие с тем отрицательным суждением Толстого в своих прежних художественных произведениях, которое он между строк прочел в его письме. «Я с Вами согласен, – писал Фет, – что литература – пошлость. Но с той точки зрения, с которой Вы вели дело, она (то есть оно – писание) было откровение сущности явлений жизни человеческой».

Заканчивал Фет письмо словами: «Докажите, дорогой граф, на деле Вашу незлобивость и не сердитесь на то, что я не могу иначе. Да поможет мне Бог». (Здесь Фет повторяет известное заявление Лютера.).

На это письмо Фета Толстой отвечал коротким письмом в конце ноября. Чтобы прекратить бесполезный спор, он признал себя виновным в том,

Репозиторий БГУ

что «неясно выразил свои мысли». «Хотелось бы, – прибавлял Толстой, – яснее выразить, но я это делаю в книге. А с вами побеседуем при свидании». И Толстой заканчивает письмо приглашением Фета в Ясную Поляну…

Фет продолжал посылать свои новые стихотворения – теперь уже не Толстому, а его жене. Софья Андреевна показывала Льву Николаевичу посылаемые Фетом стихотворения, и Толстому нравились многие из них, как, например, «Горная высь», «Осенний цветок», «Я в жизни обмирал» и другие. В одном из писем к Фету Софья Андреевна сообщала ему, что Лев Николаевич – тогда больной – читал стихотворения Шиллера в русских переводах и его, Фета, переводы находил лучшими. Он подумал, что хорошо бы Фету перевести все стихотворения Шиллера, им еще не переведенные, и издать свои переводы отдельной книжкой. Ответ Фета на предложение Толстого неизвестен.

В 1881 году Фет решил публично выступить против взглядов Толстого. Он написал послесловие к своему переводу сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Послесловие было определенно направлено против того понимания христианства, которое излагал Толстой в своих религиозных сочинениях, хотя имя Толстого и не было названо Фетом.

Фет писал, что «христианское учение приложимо только к “внутреннему человеку”, но что оно чуждо “гордыне и протесту”. В конце послесловия Фет говорит, что он считал «своим нравственным долгом сказать это ввиду возникающих в последнее время учений и толкований христианства, силящихся превратить последнее в орудие против существующего порядка и закона… Для подобной цели пригодны разве какие-нибудь социалистические учения, а христианское учение на это вполне непригодно».

Это послесловие не появилось при переводе Фета, вероятно, по совету редактора Н.Н. Страхова, и было напечатано уже после смерти поэта.

Страхов в ряде писем доказывал Фету, что тот не столько не может, сколько не хочет понимать Толстого.

В конце сентября 1888 года в Ясную Поляну приехал А.А. Фет – читать свои воспоминания.

Некогда самый близкий друг и горячий корреспондент, в это время Фет стоял очень далеко от Толстого. Переписка прекратилась в 1884 году, встречи были редкими и обычно недружелюбными.

В яснополянской библиотеке сохранились вышедшие в 1886–1887 годах книги Фета (переводы стихотворений Катулла, элегий Тибулла, «Превращений» Овидия и «О человеческом корне достаточного основания» А. Шопенгауэра) с дарственными надписями, в которых, однако, чувствуется оттенок полемики: «Графу Льву Николаевичу Толстому, дар вечного ребенка Купидона», «Графу Льву Николаевичу Толстому языческий переводчик», «Пастырю графу Льву Николаевичу Толстому от старого его почитателя. Как бы далеко ни расходились оконечности змеи истины, если она живая, то непременно укусит свой хвост».

Используя в своих воспоминаниях материал личного архива, в частности, замечательные письма молодого Толстого, Фет перед приездом в Ясную Поляну написал С.А. Толстой: «Боже мой! Как это молодо, могуче, самобытно и гениально правдиво! Это точно вырвавшийся чистокровный годовик, ко-

Репозиторий ВГУ

торый и косится на вас своим агатовым глазом, и скачет, молниеносно лягаясь, и становится на дыбы, и вот-вот готов, как птица, перенестись через двухаршинный забор». И особо – об одном из писем: «Самый тупой человек увидит в этом письме не сдачу экзамена по заграничному тексту, а действительные родники всех самобытных мыслей, какими питается до сих пор наша русская умственная жизнь во всех своих проявлениях».

Еще в 1887 году Страхов спрашивал Фета: «Писал я вам о совете Льва Николаевича? Он думает, что в ваших “Воспоминаниях” всего любопытнее могут быть воспоминания о вашем детстве и о том быте, среди которого вы росли. Вы знаете, что он вообще неласково смотрит на литературу и литераторов. “Да это уже так избито!”, – говорит он. Живые сферы он предпочитает отвлеченным людям, каковы Тургенев и всякие писатели».

С.А. Толстая известила свою сестру о приезде Фета; Толстой не обмолвился ни словом. Но когда, с переездом в Москву, Толстой 23 ноября начал вести дневник, записи о Фете стали частыми и почти всегда критическими, даже обличительными.

Фет жил в собственном доме на Плющихе, недалеко от Хамовников. После посещения его Толстой записал 12 декабря: «Он, Фет, говорит, что безнравственно воздерживаться в чем-нибудь, что доставляет удовольствие. И рад, что он сказал это. Зачем?».

28 ноября 1889 года предполагалось празднование 50-летия литературной деятельности Фета. 14 января Толстой отметил в дневнике: «Жалкий Фет со своим юбилеем. Это ужасно! Дитя, но глупое и злое». 29 января он все-таки посетил Фета по случаю юбилея, а на другой день присутствовал на обеде, оставившим самое тягостное чувство: «Пошел к Фету. Там обед. Ужасно все глупы. Наелись, напились и поют. Даже гадко. И думать нечего прошибить». 4 февраля Фет обедал у Толстых – Толстой записал в этот день в дневнике: «Фету противны стихи со смыслом». 11 марта Фет снова был у Толстых: «Потом Фет. Тщеславие, роскошь, поэзия, все это обворожительно, когда полно энергии молодости, но без молодости и энергии, а с скукой старости, просвечивающей сквозь все, – гадко».

Юбилей праздновали долго. 11 апреля С.А. Толстая устроила торжественный обед с приглашением Фета и Полонского. Толстой записал в дневнике: «дома оргия на 25 человек. Еда, питье… Фет жалкий, безнадежно заблудший. Я немножко погорячился с ним, когда он уверял, что не знает, что значит безнравственно. У государя ручку целует. Полонский с лентой. Гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без надобности ручку». 2 октября 1889 года в дневнике Толстой вынес окончательный приговор Фету: «Он на мои грешные глаза, непохороненный труп», хотя тут же сделал поправку: «И неправда. В нем есть жизнь. Бьется эта жилка где-то в глубине».

Человек Фет, помещик с консервативными взглядами, почти всю жизнь домогавшийся официального признания за собой дворянских прав, был и не мог не быть совершенно чуждым Толстому. Но поэт Фет навсегда остался спутником Толстого. Софья Андреевна в письмах к Фету рассказывала, какое впечатление производили на Толстого его переводы и стихи: «Лев Николаевич в постели читал эти дни Шиллера в русских разных переводах. Он гово-

Репозиторий ВГУ

рил, что только ваши вещи хороши и Жуковского некоторые, и что если вы ищите и желаете умственной работы, то вот лучшее, что вы можете и должны сделать (так как *вы один* (курсив С.А. Толстой. – *А.Н.*) это можете), – перевесть все, что перевели не вы, и издать исключительно *ваш* (курсив С.А. Толстой. – *А.Н.*) перевод». «Что за прелестные стихи вы написали! Мы оба с мужем в один голос ахнули от восхищенья, когда прочли: “Дыханьем ночи обожгло”. Да и все прекрасно, поэтично, цельно, красиво». «Стихи ваши доставили нам огромное эстетическое наслаждение. Мы оба с Львом Николаевичем особенно восхищались “Горной высью”».

Спустя год после столь возмутившей его юбилейной оргии Толстой написал Н.Н. Страхову: «Сережа сочиняет романсы и потому держит у себя книгу стихотворений Фета. Я проходя заглянул в нее – в элегии – и, каюсь, прочитал многие из них с большим удовольствием».

Тяжело болел и умирал Фет осенью 1892 года в Москве.

23 октября Толстой писал Софье Андреевне: «Нынче начали “Фауста” Гёте, перевод Фета. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись. Я часто испытываю это – и с ним особенно, что люди составят себе представление о том, что я должен отчудиться от них, и сами отчудятся меня».

Они, конечно, «разошлись». Последнее письмо Толстого было в 1881 году, Фета – видимо, в 1884. Правда, весной 1891 года Фет с женой провели два дня в Ясной Поляне. Читались стихи о любви, звучала музыка, и Фет, вернувшись к себе в Воробьевку, написал Софье Андреевне восторженное письмо о «впечатлении могучих перстов графа», о ней и ее сестре Татьяне Андреевне. А Толстой дочери Марии Львовне, уехавшей погостить к Филосовым, написал тогда совсем другое: «Фет говорит, что он завидует молодым за то, что они сильны и молоды, а я говорю, что если человек поставил себе целью быть тем, чему учит Христос, т.е. отречься от себя и жить для Бога, то старость приближает к этому положению, и потому выгоднее быть христианином, чем язычником».

На пороге смерти с той же чуткостью, как прежде, даже острее, Фет ощущал художественную силу Толстого. Софья Андреевна бывала часто на Плющихе и в письмах постоянно рассказывала о разговорах, происходивших там. Однажды Фет нарисовал «поэтическую картину»: «в Африке мы пришли в пустыню, вся она белая, покрытая песком, и никого нет. И вдруг мы увидели, ходит могучий лев и рычит. И он *один* (курсив С.А. Толстой. – *А.Н.*), и кругом пустота. И вот этот лев – ты. А еще он говорил на мои слова, которые ты ему велел передать: “вот я это время умирал и вспомнил “Смерть Ивана Ильича”, как мужик здоровый с ним сидел и ноги ему держал, и ему было легче. И если б в эту минуту вошел Толстой, я поклонился бы ему в ноги. Кто такую вещь понял и написал, тот не просто человек, а единица, или громадина”, я уж не помню этого последнего слова». Спустя два дня дочери Татьяне Львовне Софья Андреевна рассказывала: «Сегодня, гуляя с Ванечкой, зашла к Фету. Он медленно умирает, дышит все кислородом из какого-то мешка. Но духом он удивительно бодр и хорош. Сегодня говорит: “Скажите Льву Николаевичу, что я, читая “Войну и мир”, прежде осуждал его за то, что князь Андрей, умирая, сурово отнесся к Наташе. А теперь я понял, что это удивительно верно. Когда

Репозиторий БГУ

человек умирает, то и любовь его умирает. У меня сердце перерезано пополам страданием и бессилием; бессилием во всем, стало быть и в любви”».

Фет умер 21 ноября. Толстой в этот день уехал с дочерью Татьяной Львовной к брату в Пирогово, а 25 ноября они отправились из Ясной Поляны в Москву. Ни в одном из писем тех дней – ни слова о смерти Фета. В феврале следующего 1893 года, находясь в Ясной Поляне, Толстой написал дочери в Москву на открытке: «Лежит эта карточка без употребления, вот я и пишу, чтоб сказать тебе – не то, что солнце встало и т.д., а что я об тебе часто поминаю и что тебя нам недостает. И никто не поет». Так он вспомнил стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом…».

Спустя четыре года, 23 октября 1896 года, в письме к жене всплыло вдруг имя Фета: «Я нынче все утро в постели сочинял стихи в роде Фета, в полусне. В полусне только это простительно». Это была пора напряженных размышлений об искусстве и писания трактата. В дневнике того времени – объяснение, почему отвергался Фет, стихи которого на молодого Толстого произвели «большое» впечатление (как сказано в письме к М.М. Ледерле 1891 года: «Вчера переглядывал романы, повести и стихи Фета. Вспомнил нашу в Ясной Поляне неумолкаемую в четыре фортепьяно музыку, и так стало ясно, что все это: и романы, и стихи, и музыка – не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, а баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющих общего с жизнью: романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки. О том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей… Стыдно, гадко»). Сам он в этот день – 18 июля 1896 года – увидел, идя по передво́енному черноземному пару, раздавленный репей, который напомнил Хаджи-Мурата: «Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее».

Стихи Фета – некоторые – помнились до старости. Летним вечером 1894 года на покосе, когда солнце стало заходить, крестьяне ушли, Толстой, «облокотившись на косу и смотря на горизонт, стал припоминать стихотворение Фета, где описывается наступление ночи: Летний вечер тих и ясен…

– Это превосходно, здесь каждый стих – картина».

И незадолго до смерти, в сентябре 1909 года, вспомнил стихотворение «Осенняя роза» и продекламировал:

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

«Как это хорошо: “Дыханьем ночи обожгло”! – сказал он. – Это совсем тютчевский прием… Как смело, и в трех словах вся картина!».

* *
*

…В конце 1880 и в первые месяцы 1881 года Фет прислал Толстому несколько писем, на которые Толстой ответил только 12 мая 1881 года. Он просил Фета не сердиться на него за его молчание и вновь приглашал в Яс-

Репозиторий ВГУ

ную Поляну. Тут же, как бы в оправдание своего молчания, Толстой прибавлял: «Я очень заработался и очень постарел нынешний год».

Этим кратким письмом закончилась продолжавшаяся ровно 23 года (первое письмо было написано 12 мая 1858 года) переписка Толстого с Фетом-поэтом и Фетом-мыслителем. Место, которое Фет как отзывчивый собеседник по многим важнейшим вопросам философии и искусства занимал в жизни Толстого, осталось пустым. После этого Толстой и Фет изредка встречались в Москве и Ясной Поляне, охотно беседовали, иногда спорили, но ничто уже не напоминало о той тесной и крепкой дружбе, которая соединяла их более двадцати лет.

9. *«Толстой ужасен... Баратынский настоящий... Один стих "Любить и лелеять недуг Бытия" стоит дороже всех драм Толстого»* (Л.Н. Толстой и А.К. Толстой)

Имя Алексея Константиновича Толстого, троюродного брата Льва Николаевича Толстого, в их взаимоотношениях впервые обозначилось в связи с «бесценным триумвиратом» (А.В. Дружинин, В.П. Боткин, П.В. Анненков). Членов «триумвирата» объединяла известная близость во взглядах на искусство («чистое искусство»). Главным теоретиком кружка был Дружинин. В известной степени взгляды кружка на искусство разделял в этот период и Лев Николаевич, хотя единение его с Дружининым в этом вопросе было далеко не полным.

Дружинин в своем дневнике 18 декабря 1856 года отмечал: «Боткин, Анненков, я и Толстой (Лев Николаевич. – *А.Н.*) составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майков, Писемский, Гончаров и т.д. Разные новые лица к нам присовокупляются и придают разнообразие беседам».

Почти то же самое писал Дружинин Тургеневу 26 декабря 1856 года: «Круг наш сходится чаще чем когда-либо, то есть почти что всякий день. Центральные персоны – Боткин, Толстой, Анненков; сверх того Ермил (А.Ф. Писемский. – *А.Н.*), Гончаров, Жемчужников, Толстой Алексей». К этому времени и относится знакомство Л.Н. Толстого с А.К. Толстым.

Всю зиму 1857–1858 года и первое время весны 1858 года Толстой провел в Москве, лишь несколько дней пробыв в Петербурге в марте 1858 года. Кроме работы над своими произведениями и переписки с друзьями, Толстой в эти месяцы занимался чтением, гимнастикой, музыкой, много времени отдавал детям сестры, оставшимся без отца, посещал литературных и светских знакомых, изредка бывал в театрах.

Музыка не меньше, чем прежде, продолжала интересовать Толстого. Вместе с А.К. Толстым и А.Д. Столыпиным он был устроителем концертов в зале А.В. Киреевой на Большой Никитской. Концерты устраивались еженедельно по субботам.

Весной 1859 года Толстой закончил новую повесть (то ли роман) «Семейное счастие», а через год по совету друзей решил отдать ее в «Русский вестник», выходивший под редакцией М.Н. Каткова при близком участии Боткина. «Русский вестник» в то время придерживался либерального направ-

Репозиторий ВГУ

ления на «английской подкладке» (выражение Аполлона Григорьева); в нем сотрудничали М.И. Михайлов, А.К. Толстой, Марко Вовчок, В.В. Стасов, П.В. Анненков, С.М. Соловьев и др.

К осени 1859 года в Толстом назрел кризис от слишком большого увлечения в рамках «бесценного триумвирата» «чистым искусством» и даже вообще литературным делом. Занятие литературой представлялось Толстому в то время суррогатом жизни, некоторым самообманом, самоутешением. В полушутливом тоне он писал Фету: «… А повести писать все-таки не стану. Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать “как она его полюбила”. Глупо, стыдно».

Искусство как «созерцание красоты», «чистое искусство», в защиту которого еще так недавно выступал Толстой в своей речи в Обществе любителей российской словесности, вызывает в нем теперь сильнейший протест. Жрецы «чистого искусства», авторы «грациозных» повестей, рассказов и стихов возбуждают в Толстом чувство сильной антипатии. Прежде всего таким его состоянием можно объяснить его чрезвычайно прохладное отношение к одной значительной акции группы известных русских литераторов.

Дружинин известил Толстого, что 7 августа 1859 года был утвержден устав Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым – так называемого Литературного фонда. В ноябре в газетах был помещен список членов – учредителей этого Общества. В этом списке в числе других литераторов значились Анненков, Григорович, Дружинин, Майков, Некрасов, Панаев, Писемский, Полонский, Салтыков, А.К. Толстой, Л.Н. Толстой, Тютчев, Тургенев, Чернышевский, Шевченко, из москвичей – Боткин, Островский, Фет. В ответ на извещение Дружинина Толстой категорически заявил ему в письме от 20 декабря: «Заносить меня в список литераторов незачем».

Но как ни крепился Толстой, как ни бесспорны казались ему основания его отказа от литературной деятельности и отдаления от литераторов, отказ этот не мог не быть для него очень тяжелым. Литературная деятельность не только доставляла ему внутреннее удовлетворение, но и составляла смысл его жизни, служила для него связью с людьми, ставила перед ним высокие задачи, исполнение которых оправдывало его жизнь в его собственных глазах. Еще на Кавказе он записал в дневнике, что благодаря литературной деятельности он выполняет свои обязанности «перед соотечественниками»; в рассказе «Севастополь в мае» писал, что служение «правде» составляет цель его писательской работы; Панаеву из Севастополя писал, что очень хотел бы «иметь влияние» в литературе; в период создания «Люцерна» записал в дневнике, что ему многое нужно сказать «нового, идеального». С отказом от литературной деятельности прекращалось его служение «правде» и исполнение обязанностей «перед соотечественниками» на том поприще, к которому он чувствовал призвание и на котором уже выступал с таким успехом. Твердая почва, на которой он стоял в течение нескольких лет, уходила из-под его ног, и им все чаще и чаще овладевало мрачное настроение.

Неизвестно, к чему бы привел Толстого его пессимизм, если бы перед ним не открылась неожиданно новая, всецело захватившая его, плодотворная деятельность, в которой потонули его скептицизм и пессимизм. Речь идет о

Репозиторий БГУ

педагогической деятельности: о создании Яснополянской школы для крестьянских детей, об издании журнала «Ясная Поляна», о первом заграничном путешествии с целью изучить систему народного образования в Европе…

Известно, что к стихотворной поэзии Л.Н. Толстой относился очень субъективно и избирательно, что, впрочем, вполне естественно [32].

В 1885 году Лев Николаевич, сравнивая баллады А.К. Толстого со стихотворениями Некрасова (сопоставление не вполне корректно с точки зрения жанров сопоставляемых произведений), говорил, что у Алексея Толстого поэтический тон не выдержан: «начнет высоко, а кончит куплет уж водевильно», в то время как у Некрасова «тон всегда выдержан от начала до конца, у того чутья больше…» – важное достоинство с точки зрения Толстого.

Нелестный отзыв Льва Николаевича об А.К. Толстом зафиксировал В.Ф. Лазурский, записавший в дневнике его оценки о разных писателях (апрель 1899 года): «Увлекался я когда-то Пушкиным, Лермонтовым; потом в Петербурге указали мне на Тютчева, которого я полюбил; Фета тоже, но меньше. Некрасов никогда поэтом не был. Алексея Толстого провозгласили поэтом, а потом Полонского (очевидно, что Л.Н. Толстой с этим не согласен. – *А.Н.*). Майков блестящ сравнительно с ним (Полонским. – *А.Н.*). Полонский глуп, никогда не мог ни одной вещи выдержать»…

Но «зато»… В феврале 1900 года у Л.Н. Толстого гостил автор тюремных очерков Д.А. Линёв (Долин), и Толстой читает вслух собравшимся остросатирический «Сон Попова» А.К. Толстого, направленный против бюрократически-чиновничьего аппарата России. По записи П.А. Сергеенко, Толстой оценил это сочинение своего дальнего родственника безапелляционно: «Это бесподобно».

Аналогичное суждение Толстого о сатирическом стихотворении А.К. Толстого «Сон Попова» записано в «Воспоминаниях о Л.Н. Толстом» писателя С.Т. Семенова в 1912 году. Толстой находил также, что в этом стихотворении «удивительно изображено состояние стыда во сне» (по свидетельству А.Б. Гольденвейзера).

В январе 1909 года после чтения стихов А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин», которые Толстого не удовлетворили, он на вопрос приезжей гостьи – «Вы не любите стихов?» – ответил: «Нет, кроме самых больших талантов, как Пушкин, Тютчев. У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать; а здесь (т.е. в “Иоанне Дамаскине” А.К. Толстого. – *А.Н.*) я чувствую, что то же самое можно сказать на тысячу различных ладов».

Невысокого мнения был Л.Н. Толстой и о драматургии А.К. Толстого. В марте 1899 года в разговоре с П.П. Гнедичем Толстой высказал недовольство картиной Сурикова «Суворов», «затем дивился, почему такая бледная посредственность, как трагедия А. Толстого “Царь Федор Иоаннович”, имеет огромный успех, и отнес это к упадку вкусов публики». Вообще, исторические пьесы А.К. Толстого и Островского Лев Николаевич считал «подражаниями» «Борису Годунову» Пушкина, а самого «Бориса Годунова» – «подражанием» Шекспиру.

Репозиторий ВГУ

В декабре 1876 года в письме к Фету читаем (речь – о поэзии): «Толстой ужасен… Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества, но есть прекрасные вещи. Один стих “Любить и лелеять недуг Бытия” стоит дороже всех драм Толстого (Алексея Константиновича. – *А.Н.*)».

Д.П. Маковицкий в «Яснополянских записках» пишет (октябрь 1906 года): «Толстой сказал, что получил книгу Чаадаева, но ему “скучно” ее читать. На слова сына С.Л. Толстого, что “это все устарело”, Толстой заметил: “А Герцена всегда будут читать”. На признание С.Л. Толстого, что он не читал “Князя Серебряного” А.К. Толстого, Л.Н. сказал: «Имеешь полное право не читать “Князя Серебряного”»…

Мы можем предположить, что прохладное отношение Л.Н. Толстого к творчеству своего дальнего родственника объясняется несколькими причинами:

во-первых, «салонным» образом жизни А.К. Толстого – человека общительного, красивого внешне, блиставшего умом и манерами – в отличие от всегда сосредоточенного, озабоченного, философско-аналитически воспринимающего жизнь, чуждого светской мишуре Л.Н. Толстого;

во-вторых, «разбросанностью» в родах и жанрах литературы, этакой творческой «всеядностью» А.К. Толстого – в отличие от гениального п р о з а и к а - р о м а н и с т а Л.Н. Толстого, пьесы которого тоже написаны прозой, а не стихами, как у А.К. Толстого;

в-третьих, все-таки, при всей разнородности и разножанровости творчества А.К. Толстого, по преимуществу он оставался с т и х о т в о р ц е м, п о э т о м, а к стихотворной поэзии, как мы уже отмечали, Лев Николаевич относился, прямо скажем, избирательно и даже придирчиво [33].

Тем не менее, и в таком восприятии Л.Н. Толстым творчества А.К. Толстого нам интересно узнать о каких-то штрихах его литературно-эстетических вкусов.

10. «Достоевский был – весь борьба» **(Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как мыслители и художники)**

В беседе с А.Ф. Кони, говоря о существенных элементах, из которых складывается подлинно значительное художественное произведение, Толстой о Ф.М. Достоевском сказал, что у него «огромное содержание, но никакой техники». О «несовершенстве» техники и языка Достоевского Толстой высказывался неоднократно: «Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво – я уверен, что нарочно, из кокетства»; «Достоевский часто так скверно писал, так слабо и недоделано с технической стороны...»; «В его произведениях тот недостаток, что он сразу высказывает все, а дальше размазывает. Может быть, это потому, что ему деньга нужны были».

В отрицательной оценке Толстым техники и языка Достоевского, столь явно субъективной и потому несправедливой, сказалась, конечно, разница поэтических культур обоих писателей.

Миросозерцание Достоевского и внутренний строй его личности вызывали у Толстого сложное к себе отношение. Видимо, Толстой очень ценил большую работу духа и напряженность религиозных исканий, которые были

Репозиторий ВГУ

так характерны для Достоевского, но положительная система его воззрений была Толстому чужда, тем более, что Толстой и не усматривал у Достоевского положительных, до конца доработанных воззрений. Вскоре после смерти Достоевского Толстой писал Н.Н. Страхову в ответ на его скорбное письмо по поводу этой кончины: «Как бы я желал сказать все, что я чувствую о Достоевском! Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек... И вдруг читаю – умер! Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его смерти, я прочел “Униженные и оскорбленные” и умилялся». А через два с лишним года, отвечая тому же Страхову на его известное письмо, крайне отрицательно характеризующее Достоевского, Толстой писал уже следующее: «Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но я вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми преувеличенного его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка и святого человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь – борьба». И далее речь о том, что Достоевский, в противоположность Тургеневу, человек «с заминкой», подобно тому, как бывают с заминкой лошади-красавицы, с виду очень дорогие, но которым из-за «заминки» цена – грош.

Много лет спустя, услышав признание В.Ф. Булгакова (1907), что Достоевский его любимый писатель, Толстой сказал: «Вот как! Напрасно, напрасно! У него так все спутано – и религия, и политика... Но, конечно, это настоящий писатель, с истинно-религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров». Просматривая выбранные тем же Булгаковым мысли Достоевского (1910), Толстой сказал о них: «Не сильны, расплывчаты. И потом какое-то мистическое отношение... Христос, Христос!.. У Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение».

Но при всем том Достоевского как писателя Толстой расценивал большей частью высоко за «огромное содержание его художественных созданий», хотя и тут не всегда был к нему ровен. Так, в 1885 году он говорил: «“Записки из Мертвого дома” прекрасная вещь, но остальные произведения Достоевского я не ставлю высоко. Мне указывают на отдельные места. Действительно, отдельные места прекрасны, но в общем, в общем – это ужасно! Какой-то выделанный слог, постоянная погоня за отысканием новых характеров, и характеры эти только намеченные». По воспоминаниям Г.П. Данилевского, относящимся к тем же 80-м годам, «наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцеведа и вполне независимого писателя». Ту же высокую оценку Достоевского как психолога находим и в письме Толстого к Страхову от 3 сентября 1892 года. Выше всего из его художественных произведений Толстой всегда ставил «Записки из Мертвого дома», очевидно, за ту силу христианской любви, всепрощения и

Репозиторий ВГУ

участия к падшему человеку, какие присущи «Запискам». О своей исключительно высокой оценке их Толстой писал Страхову, говоря, что он не знает лучшей книги во всей новой литературе, включая Пушкина. О ней сочувственный отзыв в трактате «Что такое искусство?», два рассказа из нее – «Орел» и «Смерть в госпитале» вошли в «Круг чтения». Как мы видели выше, Толстой «умилялся», читая «Униженных и оскорбленных»; высоко ценил он, хотя и с оговорками, «Преступление и наказание». Когда однажды Толстой услышал о том, что «Царя Федора Иоанновича» Ал. Толстого сравнивают с «Идиотом» Достоевского, он энергично запротестовал, сказав, что «Мышкин – это бриллиант, а Федор Иванович – грошевое стекло». К «Братьям Карамазовым» у Толстого было неровное отношение. В 1883 году он жаловался на то, что не мог роман дочитать до конца. Недостаток его он видел в том, что все действующие лица, начиная с 15-летней девочки, говорят одним языком, языком самого автора, причем каким-то непонятным, деланным. В 1892 году он писал Софье Андреевне: «Читаем вслух Карамазовых, и очень мне нравится». Перед самым уходом и смертью Толстой очень много читал Достоевского, особенно «Братьев Карамазовых» и, судя по записям в дневнике, находил в этом романе немало недостатков. А за 6 дней до ухода Толстой говорил В.Ф. Булгакову: «читал “Братьев Карамазовых” – вот что ставят в Художественном театре. Как это нехудожественно! Прямо нехудожественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать... И все говорят одним и тем же языком... Есть отдельные места, хорошие, как поучения этого старца Зосимы... Очень глубокие. Но неестественно, что кто-то об этом рассказывает. Ну, конечно, великий инквизитор... Я читал только первый том, второго не читал»...

* *
*

В художественной ткани произведений Достоевского и Толстого всегда заметен отблеск их философских исканий. Писатели-мыслители в любой своей повести, в любом своем романе (не говоря о публицистике) выступали с наблюдениями и обобщениями, проникнутыми глубокими и тревожными раздумьями морального, социального, религиозного, эстетического характера. Эти раздумья неотделимы от их собственного художественного наследия. Но к концу их жизненных путей (у Достоевского в 1860–1870-е, у Толстого в 1880–1900-е годы) философская струя в их литературной работе приобрела столь особую силу, что специальные темы «Достоевский-мыслитель» и «Толстой-мыслитель» привлекли к себе исключительное внимание многих исследователей.

Типологическая общность Достоевского и Толстого выражается в том, что при решении кардинальных проблем общественной жизни они обратились не к политике, а к нравственности. Социальный прогресс они мыслили только на путях нравственного совершенствования людей, хотя прекрасно понимали всю глубину и остроту социально-исторических противоречий своего времени. Личные взаимоотношения Достоевского и Толстого по ряду причин не состоялись, но духовная близость была весьма заметна. Их идейно-творческая перекличка без особого труда накладывается, например, на мате-

Репозиторий ВГУ

риал произведений «Три смерти», «Война и мир», «Анна Каренина», «народные рассказы», «Смерть Ивана Ильича» Толстого и «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» Достоевского. Здесь видна нравственно-философская позиция великих современников в борьбе с индивидуалистическим своеволием; попытки решения проблемы свободы и необходимости с помощью изображения «внутреннего человека» во взаимодействии с внешним социальным миром.

Оба писателя воспринимали свое время как момент «переворота», остро ощущая явления и процессы всеобщего разлада и распада. При всех различиях писателей объединял пафос полного неприятия общественного строя России: Достоевский выразил безысходность страданий городских обездоленных людей, а Толстой всем сердцем воспринял отчаяние миллионов русских крестьян, «потопив» в их наивных консервативных утопиях свои надежды и опасения относительно судьбы России.

В поисках спасения человека и России Достоевский и Толстой, с их общей широтой гуманистического сознания и чувства, не могли не прийти к религии. Вопрос «существования Божия» сознательно и бессознательно мучил Достоевского всю жизнь.

Отношение Толстого к религии и ее проблемам резко отличается от восприятий и переживаний Достоевского. Если в течение тридцати-сорока лет жизни Толстой инертно следовал за всякими обрядовыми церковными обычаями, то впоследствии с каждым годом проникался все большим сознанием фальшивости православного учения в его церковном варианте. Толстовская религия шла вразрез с православной ортодоксией и нацелена была на создание лучшего человеческого жизнеустройства. Толстой захотел «действовать сознательно к соединению людей с религией» (дневник). Изучая историю христианства, Толстой убежденно писал, что плодами всевозможных нелепых христианских догм (вроде «божественности Сына» Бога) всегда были только «злоба, ненависть, казни, изгнания, побоища жен и детей, костры, пытки...». В часто повторяемые им слова «религия» и «Бог» Толстой вкладывал нецерковное содержание, резко отличное от понимания этих слов Достоевским. И хотя оба абсолютизировали значение нравственного фактора в понимании исторического развития человечества и апеллировали к религии и Богу, они, тем не менее, использовали этот «препарат» нравственности как бы с разных концов. По меткому выражению В.В. Вересаева, Достоевский шел от жизни и земли – к Богу, Толстой же – наоборот, пробирался от Бога – к жизни, к человечеству. Достоевский решение больных вопросов искал в идеальных ситуациях религиозно-мистической морали (старец Зосима в «Братьях Карамазовых»), Толстой же истину искал в жизненном опыте, в экспериментах своего «центрального героя» (Николенька Иртеньев – Дмитрий Нехлюдов в «Утре помещика» – Оленин – Пьер Безухов – Константин Левин – Дмитрий Нехлюдов в «Воскресении»), примеряя «его» поведение к постулатам «разумной веры».

Религиозные взгляды двух интеллектуальных колоссов неотделимы от их социальных пристрастий. По верному замечанию Толстого, Достоевский был – «весь борьба». Он метался между своими *pro и contra*; погруженный в

Репозиторий ВГУ

роковые вопросы своего времени, он без устали искал, находил и тотчас же отрицал найденное и снова искал; дорожа Христом более, чем истиной, он верил и... не верил, – вернее, «обещал» верить (как его Шатов) и вместе с тем погружался в «бездны неверия».

Совсем иную картину жизни раскрывает нам биография Толстого. В своих трактатах и художественных произведениях, полных своеобразных противоречий, но вместе с тем и неиссякаемой веры в человека, Толстой защищал достаточно определенную социальную мысль о победе над злом мира с помощью непротивления злу насилием. Эта мысль, утопичная в своей реальной осуществимости, приобрела, однако, немало сторонников в разных странах мира и даже нашла свое практическое выражение в организации толстовских общин и коммун. Ведь социальная идея бескровного преобразования жизни на земле не только сама по себе эффектна и соблазнительна, но и по существу человечна в самом предельном понимании этого слова. Толстой оказался в окружении своих последователей.

Творчество Достоевского оказало огромное влияние на художественную мысль многих народов, но никаких своих последователей в социальном плане писатель не приобрел. У Достоевского – «все врозь». Его литературное наследство – многообразный, всегда тревожащий, но идейно нестойкий материал для споров и домыслов – «диалогизм», «полифоничность» (М.М. Бахтин), «ничего сложившегося». И очень рискованно говорить о его миропонимании как о законченном. Он всю жизнь *искал* себя.

Страстные же поиски Толстого, которым сопутствовали не менее тяжелые сомнения и колебания, привели, однако, писателя к устоявшимся и вполне определенным, хотя и утопичным, моральным и социальным решениям, с которыми он уже не переставал жить и мыслить во второй половине своего творческого пути (1880–1900-е годы). И не случайно Толстой казался М. Горькому «человеком решенных вопросов». В конце концов он *нашел* себя.

Известно резко отрицательное отношение Достоевского к революциям и революционерам. К его личному творческому опыту переориентации от идей утопического социализма Петрашевского к жесточайшей критике революционной «бесовщины» с почтением относятся во всем мире.

Значительно и весьма своеобразно расходится с отношением к революции Достоевского восприятие Толстым событий, связанных с освободительным движением и революцией в России. Развернувшееся в России в 1905 году революционное движение всецело поглотило внимание Толстого. В очерке «Великий грех» он отметил, что «Россия переживает важное, долженствующее иметь громадные последствия, время». Внеисторично полагая, что замена одного насильнического строя жизни другим, тоже насильническим, и не раз, не разрушит всех назревших проблем человеческого жизнеустройства и, упуская из виду многие социально-политические факторы, Толстой, однако, проникается верой в «великое историческое призвание» русского народа, сознание которого, по его мнению, «пробуждается» и требует коренного изменения условий жизни. Толстой хочет найти внутренний смысл голоса революции.

В письмах к В.В. Стасову Толстой заявляет о своем отрицательном отношении ко всем вообще кровавым насилиям. И наряду с этим он так осмыс-

Репозиторий ВГУ

ливает события революции 1905 г.: «События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть недовольным тем, что творится, все равно, что быть недовольным осенью и зимой, не думая о той весне, к которой они нас приближают».

Он мечтает о «толстовской революции», как назвал взгляды Толстого на освобождение народа В.В. Стасов в письме к нему 18 сентября 1906 года. Ответ Толстого Стасову оттеняет всю двойственность восприятия революции писателем. Он заключает свое письмо словами: «Я радуюсь на революцию, но огорчаюсь на тех, которые, воображая, что делают ее, губят ее. Уничтожит насилие старого режима только неучастие в насилии».

Заслуживает всяческого внимания то обстоятельство, что, развивая свою идею бескровного освобождения земли для работающих на ней, Толстой в статье «Великий грех» (1905) ссылается на моральную силу и права людей из народа, которые в прошлом и в будущем, как он верит, разрешали и будут разрешать вопросы владения землей. «Освобождение крестьян в России, – пишет он, – совершено не Александром II, а теми людьми, которые поняли грех крепостного права и старались, независимо от своей выгоды, избавиться от него; преимущественно же совершено такими людьми, которые готовы были страдать и страдали сами («не заставляя никого страдать») ради верности тому, что они называли “правдой”».

И еще одно «разночтение» необходимо отметить в философском сознании Достоевского и Толстого. Речь идет об антиномии лжи и истины в философских приоритетах того и другого, с чем вообще связан глубокий трагизм в судьбе христианства. Достоевский в гениальной Легенде о Великом Инквизиторе раскрыл не только диалектику свободы и авторитета, но и диалектику истины и лжи в организации царства мира, в организации церкви и государства. Истина, раскрытая Христом, есть истина о бесконечной свободе духа. Великий же Инквизитор, устами которого говорят все желающие организовать мировой порядок, признал истину Христову разрушительной и анархической и для блага людей захотел исправить дело Христа. Выбрав Христа, Достоевский в «Братьях Карамазовых» тем не менее констатирует (конечно, сокрушаясь при этом), что тысячи раз люди утверждали спасение мира ложью и только ложью, а истину видели опасной для самого существования мира.

Ф.М. Достоевский поставил глубокую проблему. По-иному, но столь же радикально поставил ее и Толстой, самый правдивый писатель мировой литературы. Все творчество Толстого направлено против лжи, на художественное обличение лжи, на которой покоятся цивилизация, государства, организация общества. Нет ничего легче, как критиковать учение Толстого о непротивлении злу насилием. Очень легко показать, что при непротивлении всегда победит зло. Но Толстой надеялся на историческое чудо и во имя веры в это чудо непосредственного вмешательства Бога предлагал рискнуть гибелью общества, государства и цивилизации, гибелью мира, который держится на лжи и насилии, на антибожеском законе. По сути Толстой требует отказа от социально полезной лжи. С этим и связано необыкновенное правдолюбие его литературного, дневникового и эпистолярного творчества: любовь к

Репозиторий ВГУ

правде есть основная добродетель, и мир более всего в ней нуждается; творческое воображение может стать путем познания истины...

Отношение искусства к действительности – камень преткновения эстетики – одинаково волновало реалиста Достоевского и реалиста Толстого.

Творчество Достоевского наполнено жизнью, пропущенной через интеллект писателя, чем отчасти и предопределялись его мучительная надуманность и субъективные авторские решения. Как не раз говорил сам писатель, кроме реальной действительности он всегда видел перед собой какую-то собственную действительность, кажущуюся ему в его воображении – так сказать, действительность над действительностью.

Автобиографизм содержания большинства художественных произведений Толстого очевиден. С этим обстоятельством связана и типичность образов. Уже не говоря о «центральном толстовском герое», и остальные персонажи «целеустремлены». Но, в отличие от Достоевского, Толстой мотивировал поступки и действия героев наиболее естественными причинами. Пошлость и искусственность он считал наиболее страшным «отступлением от пути», то есть от реализма. Искусственность улавливал он и в этой «действительности», какую подчинял Достоевский своим идеям, отражая, как и Толстой, жизнь, но в иной плоскости.

Целые россыпи мыслей мы находим в дневниках и письмах Толстого, который не уставал думать о задачах творческого отражения действительности, с которой он соединял свои реалистические идеи. Эта действительность всегда была для него не выдуманной, не приспособленной для искусства, а живой, конкретной (пример: буквальное *изучение* поля у Бородина, каковым оно было в действительности). Самым «прекрасным» героем своих произведений он считал *«правду»* (вспомним конец второго «Севастопольского рассказа»). Ложь в искусстве, писал он Н.Н. Страхову, «уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается». Писателю, считал он, надо «мало того, чтобы прямо лгать – надо стараться не лгать отрицательно, умалчивая». С правдивостью внешне-описательной стороны должны строго сочетаться правдивость, убедительность и естественность проявлений человеческой воли и мысли; эксцентричные душевные движения, «загадочные натуры» (кроме разве «старца Федора Кузьмича»), отвлеченные дискуссии героев и героинь – все это чуждо вниманию Толстого.

Из сказанного вытекает примечательное различие самих типов реализма Достоевского и Толстого. Реализм Достоевского предопределен и основан на его всегда встревоженной умозрительной силе (в эстетическом понимании этого термина), на его творческой инициативе, создающей исключительную, гениально надуманную действительность. Реализм Толстого тоже основан на огромной творческой силе, прозревающей всю окружающую среду жизни, но при этом в границах непосредственно воспринимаемой им естественной действительности.

Совершенно понятно, что содержание и построение характеров у Достоевского и Толстого разнятся – в соответствии с индивидуальными особенностями реалистического метода каждого из них.

Репозиторий ВГУ

У Достоевского почти нет событий и людей, существовавших в каком-то месте, в такой-то день и им «использованных»; у него все взято из общих, жизнью показанных, достоверных, но «безымянных», неконкретных, явлений повседневности. Силой же воображения они получили свою литературную жизнь в образах. Зато в Достоевском налицо огромная интуитивная художественная мысль, колоссальная умозрительная сила.

С первых творческих лет, создавая образы типологически «исключительных» героев, Достоевский концентрировал свое внимание на их характерах. Писатель придавал решающее значение этой первоначальной стадии в создании произведений. При этом термин «характер» Достоевский понимал весьма широко, включая в него и психологические, и идеологические черты. Понятия «характер» и «идея» становились у него постепенно почти тождественными. Несколько позже эти понятия чередовались с теоретическим определением «лицо».

С пониманием терминов «характер», «лицо» у Достоевского сопоста́вим наблюдения над соответствующими представлениями Толстого. Начиная с героев автобиографической трилогии, с военных кавказских и «Севастопольских рассказов», с крестьян в «Утре помещика», с героя и героини «Семейного счастия» – через Ростовых и Болконских, «наполовину» Пьера Безухова – кончая персонажами «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича», «Отца Сергия», «Крейцеровой сонаты», «Дьявола», «Воскресения» и даже назидательно-притчевых рассказов «Алеша Горшок», «Божеское и человеческое», – всюду обнаружим плоть от плоти черточки характера самого автора, куски лично пережитых или воспринятых писателем впечатлений.

Особенности реалистического метода каждого из двух великих писателей-гуманистов и характерология «населения» их литературных миров предопределили и жанровые своеобразия их творчества. То, что далеко от внимания и вкуса Толстого – мотивы газетной хроники, пародирование, анекдотические вставки, авантюрные сюжеты, гротескные сцены, – тем полнятся страницы Достоевского, предопределяя все своеобразие его романтических форм.

В связи со всеми нашими наблюдениями представляется неизбежным уяснить, от лица кого наши великие авторы ведут всякий раз свои рассказы, каковы у них структуры повествования.

Но прежде – небольшая теоретическая справка.

«Повествователь» («рассказчик») – это, конечно, условность в том смысле, что автор (в процессе создания произведения и в момент восприятия его читателем) как бы устраняется из цепи связи «писатель-читатель», препоручая осуществить эту связь избранному им повествователю (рассказчику). Тут нужно уметь представить «дистанцию» между автором и повествователем (рассказчиком), необходима определенная степень отвлеченности и абстрагирования. Системой повествования, носителем которого является повествователь, выражается в целом авторское начало в эпическом (повествовательном) произведении.

Повествователь (рассказчик) как фокус соединяет речевую структуру повествования, а вместе – и систему характеров и положений (Толстой говорил: «выразить основы сцепления мыслей, словами описывая образы, дейст-

Репозиторий ВГУ

вия, положения»). Повествователь (рассказчик) поэтому не призван вызывать в нас какой-то конкретный облик, характер (строго говоря, это зависит исключительно от степени остроты воображения читателя), но он посредством отобранных компонентов произведения обобщает извечный тип конкретного человеческого отношения к действительности (то, что мы называем «позицией», «точкой зрения» автора). Угол авторского изображения может и не совпадать с субъективными особенностями (намерениями) писателя. Таким образом, повествователь (рассказчик) в эпического рода произведениях – проводник авторского начала, которое он доносит до читателя системой авторских средств, данных в его распоряжение автором в результате целенаправленного отбора и продиктованных степенью «активности» («пассивности») авторской позиции. (Последняя, таким образом, выражается через систему повествования, организатором которой является автор, а носителем – повествователь, рассказчик).

Повествователю прежде всего верят или не верят, повествователь убеждает или не убеждает нас (в эстетическом, конечно, смысле). В этом заключается его «деятельная» функция – прежде всего в изъяснительности (продиктованной, заметим, опять-таки степенью «активности» или «пассивности» авторской позиции). Высокая степень этого качества зависит, в первую очередь, от эстетического совершенства той системы связей и взаимоотношений, о которой говорилось выше...

Итак, каковы же повествовательные структуры художественной прозы Толстого и Достоевского (в самом общем виде)?

Толстой во всех своих крупных произведениях и почти во всех повестях говорил с читателями непосредственно от самого себя, как историк прошлого или настоящего, раскрывая прямо, «лицом» поставленные перед читателями эпические картины и не прибегая к помощи подставных, условных повествователей. Только в ранних своих произведениях (трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», кавказские и «Севастопольские рассказы»), сбивающихся на воспоминания или во всяком случае отражающих личные авторские впечатления, Толстой пишет (не без влияния «натуральной школы») от лица разумеемого им рассказчика, который полностью заменяет его самого.

У Достоевского же мы найдем немного произведений, в которых он художественную действительность решается показать непосредственно от своего собственного, авторского имени; большей частью он как бы сторонне наблюдает события и поведение действующих лиц. Иной прием, иной подход к деланию романов и повестей был бы решительно неудобен писателю, который экспериментально (в известном смысле) создавал исключительные положения, связывая их с исключительными героями и героинями, и вместе с тем сам со всей своей страстью, своим собственным голосом, заинтересованно вторгался в дискуссии и судьбы своих персонажей. Достоевский почти всегда вводил образ какого-то стороннего героя, который мог бы по его заданию, повествуя, судить и рядить все дела и споры в произведении, давая волю своим субъективным, хотя и вполне творчески законным мнениям и зависимым от автора решениям. В творчестве Достоевского роль своеобразного персонажа, автора-спутника играет рассказчик; ему автор перепоручает не только раскрытие всего хода событий в произведениях, но и полнейшее сле-

Репозиторий ВГУ

жение за душевными движениями героев и героинь. Образ этого рассказчика, заботящегося о выразительности рисуемых им художественных картин, тесно связывается Достоевским с судьбами действующих лиц. Его рассказчик наблюдает за каждым их шагом, непрерывно общается с ними, настигая их в любом месте, часто играет роль их конфликта, хлопочет о них, оценивает их дела и мысли и нередко вместе с тем выступает заинтересованным лицом; он любит, он ревнует, он борется с самим собой, то давая волю своим эмоциям, то примиряясь со своими неудачами. Привлечение рассказчика как героя намечаемого произведения становилось у Достоевского прямым и излюбленным творческим приемом. Передавая ему свои авторские функции, Достоевский обеспечил большую свободу своим субъективным идейным суждениям и выражению всего эмоционального тона (ведь собственно-авторская речь всегда требует большей сдержанности и собранности). Видимо, автор считал, что при таком приеме повествования можно шире и своевольнее трактовать исключительные события и ситуации героев и увеличивать свою «силу воображения», одним словом, «надумывать» действительность над действительностью, в которой образ человека, найденное и выношенное своеобразие его характера достигли бы реализма в «высшем» понимании этого слова (терминология писателя). В своей записной книжке Достоевский как-то обронил мысль, выражавшую его сокровенное желание: «При полном реализме найти в человеке человека». Достоевскому не нравилось, когда читатели и критики называли его «психологом». «Нет, – решительно утверждал он, – я лишь реалист в высшем смысле». Это означало изображение всех глубин души человеческой. Понимание реализма вполне согласовывалось у Достоевского с его мыслями об идеях, которым он дает большой ход, в том числе и посредством своеобразной системы повествования...

...Величественны следы, оставленные Достоевским и Толстым в истории мировой культуры. При всех различиях их идейных позиций и приемов художественного письма они вместе, движимые любовью к своему народу, общими творческими усилиями, известными только выдающимся деятелям искусства, внесли в сокровищницу мировой литературы неизмеримо ценный вклад, рассказав о жизни и людях так, что под их пером невидимые движения человеческой души стали зримыми и понятными.

11. «... все нравственное – разумно, а разумное – нравственно» **(Л.Н. Толстой и Н.Г. Чернышевский)**

...Как непреложный факт мы можем констатировать сходное, если не одинаковое с В.Г. Белинским и Н.Г. Чернышевским толстовское понимание искусства и литературы в рамках реалистической эстетики. Об этом говорит 8-й вариант второй и третьей редакций «Детства». «Прекрасное лицо, – говорит он, – природа, живая группа всегда лучше всех возможных статуй, панорам, картин и декораций». Искусственные сравнения с драгоценными камнями, говорит далее Толстой, встречаются у поэтов разных народов, но больше всего у французских.

Толстой еще в черновой редакции своего первого значительного произведения определенно и решительно провозглашает принципы реализма,

Репозиторий ВГУ

ставшие его знаменем на всю жизнь. Те принципы, которые три года спустя обосновал теоретически Н.Г. Чернышевский в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности».

В свою очередь, Н.Г. Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855) отнес Толстого вместе с Гончаровым, Григоровичем, Тургеневым и Островским к числу самобытных, глубоко знающих жизнь, писателей. А в 1856 году критик в своей статье-рецензии по поводу первых произведений Толстого, коснувшись рассказа «Записки маркёра» и указав на его исповедально-аналитический тон, отметил, что здесь представлена «история падения души, созданной с благородным направлением». Князь Нехлюдов (первый в творчестве Толстого из ряда его однофамильцев) – главный герой рассказа, которого нам представляет прожженный плут и развратившийся циник маркёр, при всем внешнем несходстве с автором, очень напоминает его внутренним душевным состоянием и моральными страданиями. Не случайно Чернышевский в этой статье отмечает, что поведанную маркёром историю князя Нехлюдова «мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту». «Записки маркёра» послужили началом тех автобиографических произведений Толстого, в которых он критически оценивал прошлую жизнь, рассказывал о своих ошибках и заблуждениях («Исповедь»: 1879–1882 годы, предисловие к «Воспоминаниям»: 1903 год, «Верьте себе»: 1906 год и др.).

Другими словами, но о том же Чернышевский в своей статье-рецензии 1856 года, указав на «чистоту нравственного чувства» как на одно из «совершенно особенных достоинств» таланта Толстого и его автобиографических героев, писал, что «только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать “детство” и “отрочество” с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям... Без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их».

Другую черту уникального таланта молодого писателя Толстого Чернышевский поименовал «диалектикой души» героев его произведений, замечательное умение показать, как одно состояние человека переходит в другое, в результате чего герой в финале качественно меняется в морально-нравственном отношении по сравнению с моментом его первого появления на страницах произведения (Николенька Иртеньев в повестях «Детство» и «Отрочество», ротмистр Праскухин из рассказа «Севастополь в мае», Нехлюдов в повести «Утро помещика», Дмитрий Оленин в повести «Казаки» и т.д.). Отдавая должное при этом первому в русской литературе психологисту М.Ю. Лермонтову («Герой нашего времени»), Чернышевский тонко подмечает различие психологического мастерства у Лермонтова и Толстого, а именно: при всей глубине душевного анализа Печорина автор не являет нам эволюцию его переживаний, герой статичен на протяжении всего романа, здесь нет толстовской «диалектики души».

Новаторство молодого писателя – всегда признак истинного таланта. Чернышевский указал на это в вышеназванной статье-рецензии. В напечатанной в 1857 году рецензии на главы из «Романа русского помещика» (впослед-

Репозиторий ВГУ

ствии – «Утро помещика») Толстого Чернышевский, приветствуя писателя, взявшегося за остросоциальную тему взаимоотношения помещика и крепостного крестьянина, обнаружил высокое мастерство Толстого не только в описании быта крестьян, «но, что гораздо важнее» – в передаче «их взгляда на вещи». Это тоже было впервые в русской литературе.

Но к середине 1856 года обозначилось расхождение Толстого с направлением «Современника», сотрудником которого был Н.Г. Чернышевский. В письме к Некрасову от 2 июля 1856 года Толстой весьма неодобрительно (но бездоказательно) отозвался о Чернышевском. Но на основании записей в дневнике Толстого о его встречах с Чернышевским в декабре 1856 года и в январе 1857-го можно сказать с уверенностью, что высказанный Некрасову («в злости», по выражению самого Толстого) несправедливый взгляд на личность Чернышевского исчез у Толстого при ближайшем знакомстве с ним.

Некрасов ответил Толстому 22 июля. Предупредив, что ни в одном пункте он с Толстым не согласен, Некрасов далее берет под свою защиту Чернышевского. Не входя в объяснение того, за что он ценит Чернышевского, которого в то время он ставил уже настолько высоко, что, уезжая за границу на лечение, передал ему свой голос в редакции «Современника». Некрасов пытается поразить Толстого его же оружием. «Нельзя, – пишет Некрасов, – чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным».

Характерно то, что эмоции Толстого по адресу Чернышевского «наружу» не выплескивались, а Чернышевский как талантливый литературный критик и радетель за русскую литературу не упускал возможности еще и еще раз горячо поддержать талант своего становящегося известным литератором ровесника (они оба родились в 1828 году). Мы уже упоминали об оценке Чернышевским «Утра помещика». Действительно, обстоятельную и глубоко верную (в смысле прогнозирования развития писательских приоритетов Толстого) оценку этого фрагмента дал критик в статье «Заметки о журналах», напечатанной в № 1 «Современника» за 1857 год.

«Граф Толстой, – писал Чернышевский, – умеет переселяться в душу поселянина, его мужик чрезвычайно верен своей натуре, – в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат (имеются в виду военные кавказские и севастопольские рассказы, о которых Чернышевский писал в своей первой статье-рецензии. – *А.Н.).* В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в “Рубке леса”. В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата».

Кратко передавая содержание повести, Чернышевский нисколько не сомневается в искренности стремлений Нехлюдова «жить для блага своих крестьян». «Это у него не фраза, а правдивое дело», – замечает Чернышевский.

Далее он делает длинную выписку из «Утра помещика», содержащую разговор Нехлюдова с Чурисом, по-видимому, главным образом для того, чтобы обратить внимание читателей «Современника» на нарисованную Тол-

Репозиторий ВГУ

стым картину народной нищеты, и заканчивает свой обзор словами: «Но если бы мы захотели указать на удачные лица мужиков, на все правдивые и поэтические страницы, нам пришлось бы представить слишком длинный перечень, потому что большая часть подробностей в “Утре помещика” прекрасны».

Значение «Утра помещика» в истории русской литературы, кроме той верности изображения психологии русского крепостного крестьянина, которая отмечена Чернышевским, определяется еще и тем, что в этом рассказе впервые в художественной русской литературе XIX века был поставлен вопрос о крепостном праве как причине бедности крестьян. В то время как Тургенев в «Записках охотника» и Григорович в «Антоне-Горемыке» и «Деревне» с большой силой обрисовывали гнет крепостничества над личностью крестьянина, но не касались экономической основы крепостного права, Толстой устами Нехлюдова прямо задает Ивану Чурису вопрос: «Отчего вы так бедны?». И из ответа Чуриса вытекало с полной очевидностью, что главной причиной крестьянской бедности является крепостное состояние.

Толстой, конечно, вполне разобрался в тех похвалах себе, какие он прочел в статьях Чернышевского, и не мог не признать, что похвалы эти справедливы. Уже из первой статьи он увидел с полной очевидностью, что критик обличительного направления Чернышевский, последователь Белинского, несравненно глубже и тоньше понял сущность его дарования, чем критики «эстетической» школы.

Таким образом, лед был сломлен; открылась возможность дружелюбного личного общения.

Первое свидание Толстого с Чернышевским после появления его статьи произошло в квартире И.И. Панаева 18 декабря 1856 года. «Чернышевский мил», – записал в этот день Толстой в своем дневнике.

Менее чем через месяц, 7 января 1857 года, Чернышевский в письме к Тургеневу высказал большое недовольство только что появившейся третьей частью автобиографической трилогии Толстого – повестью «Юность» (хотя в письме к Некрасову от 5 декабря 1856 года отозвался об этом произведении как о вещи «недурной»). Содержание «Юности» в целом («кроме трех-четырех глав»), конечно, не могло удовлетворить Чернышевского за некоторый инфантилизм авторской позиции (вполне допустимый в первых двух повестях трилогии), за «манеру копаться в дрязгах», за некоторое «пустословие», за «пошлости литературной кружковщины». Три-четыре главы, которые выделял Чернышевский в «Юности», это, конечно, последние главы повести, в которых изображены студенты-разночинцы. Об этих главах Чернышевский одобрительно отозвался в своей статье об «Утре помещика».

Через четыре дня после этого письма к Тургеневу, 11 января 1857 года, Чернышевский исполнил свое давнишнее намерение побывать у Толстого на его квартире (первая их встреча, как мы помним, состоялась на квартире у Панаева).

Об этом посещении записано два устных воспоминания Толстого. В 1905 году, по свидетельству П.А. Сергеенко, Толстой рассказывал ему: «Курчавый, розовый, больше молчал. Однажды пришел ко мне и начал говорить самоуверенно, что “Записки маркёра” – лучшее мое произведение, что в искусстве нужна идея...».

Репозиторий ВГУ

Гораздо более обстоятельный и подробный рассказ Толстого о свидании с Чернышевским был записан его биографом П.И. Бирюковым в том же 1905 году. «Лев Николаевич помнит одно из немногих сношений своих с Чернышевским. Раз в Петербурге он готовился куда-то уезжать. Льву Николаевичу доложили, что его желает видеть господин Чернышевский. После приглашения в комнату вошел человек с робким видом, который, сев на предложенный ему стул, сильно стесняясь, стал говорить о том, что вот у Льва Николаевича есть талант, умение, но что он не знает, – что нужно писать, что вот такая вещь, как “Записки маркёра”, это очень хорошо, надо продолжать писать в этом духе, то есть обличительно. Воодушевляясь более и более, он прочел Льву Николаевичу целую лекцию об искусстве и затем удалился, и больше они уже не видались».

Воодушевленная защита Чернышевским идейного искусства произвела на Толстого сильное впечатление. Он, по-видимому, только теперь как следует понял Чернышевского. В этот день он записал в дневнике: «Пришел Чернышевский, умен и горяч».

К сожалению, это была последняя встреча Толстого с Чернышевским. Толстой уехал за границу, а по возвращении бывал в Петербурге только наездами на несколько дней и с Чернышевским не виделся.

* * *

Имя Н.Г. Чернышевского связано с педагогической деятельностью Толстого и издаваемым им журналом «Ясная Поляна».

Сдавши в печать первый номер «Ясной Поляны» и ожидая его выхода, Толстой 26 января 1862 года писал В.П. Боткину: «Надеюсь, что в литературе на меня поднимется гвалт страшный, и надеюсь, что вследствие такого гвалта не перестану думать и чувствовать то же самое».

Сочувствия своим взглядам Толстой ожидал прежде всего от идейного главы «Современника» Н.Г. Чернышевского. 6 февраля 1862 года он отправил Чернышевскому следующее письмо: «Милостивый государь Николай Гаврилович! Вчера вышел 1-й номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в “Современнике”. Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: “Да... “Детство” очень мило, но журнал?..”. А журнал и все дело составляют для меня все. Ответьте мне в Тулу».

Вскоре Толстой познакомился с отзывом на первые номера его журнала, напечатанном в мартовском номере «Современника». Статья, появившаяся без подписи автора, была написана Чернышевским.

Когда Толстой просил известного критика, публициста и философа высказаться о его журнале, он надеялся на сочувствие со стороны Чернышевского как свободной организации его школы, так и тем своим теоретическим высказываниям, в которых он говорил о праве народа на усвоение плодов многовековой культуры человечества. Но Толстой не принял в соображение того значения, которое Чернышевский придавал общему радикальному на-

Репозиторий ВГУ

правлению журнала, значительно расходящемуся с либерально-демократическими взглядами самого Толстого. Отзыв Чернышевского оказался не таким, какого ожидал Толстой.

Чернышевский начинает свою статью с замечаний по поводу свободы обучения в школе Толстого. Он делает большую выписку из статьи «Яснополянская школа на ноябрь и декабрь месяцы» о том, как дети приходят в школу, как рассаживаются, как начинаются занятия и т.д., и дает следующую оценку организации яснополянской школы: «Превосходно, превосходно. Дай Бог, чтобы все в большем числе школ заводился такой добрый и полезный “беспорядок” – так называет его, в виде уступки предполагаемым возражателям, автор статьи, его панегирист, – а по-нашему, следует сказать просто: “порядок”, потому что какой же тут беспорядок, когда все учатся очень прилежно, насколько у них хватит сил, а когда сила покидает их или надобно им отлучиться из школы по домашним делам, то перестают учиться? Так и следует быть во всех школах, где это может быть, – во всех первоначальных народных школах».

«Такое живое понимание пользы предоставлять детям полную свободу, такая неуклонная выдержанность этого принципа подкупает нас в пользу редакции журнала, издаваемого основателем яснополянской школы», – говорит далее Чернышевский. Но после этого он сейчас же переходит к критике теоретических положений «Ясной Поляны».

Прежде всего Чернышевский высказывается по поводу выраженного в статье «О народном образовании» мнения Толстого, что народ как в России, так и за границей, «противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство». Не отрицая самого факта упорного сопротивления народа «в довольно многих случаях» «заботам об его образовании», Чернышевский объясняет его тем, что народ не есть «собрание римских пап, существ непогрешительных», что «могут быть случайные ошибки народа или его просветителей», что в народе, как и в других классах общества, встречаются как прогрессисты, так и консерваторы, что, наконец, «большою помехою ученью детей простолюдинов служит бедность простолюдинов», вследствие чего «деятели народного образования должны заботиться о том, как бы улучшить материальное положение народа».

Далее Чернышевский высказывает свое несогласие с мыслью Толстого о том, что, так как народная школа должна отвечать на потребности народа, то пока эти потребности не изучены, мы не можем знать, чему и как учить народ. На это Чернышевский возражает, что было бы «неправдоподобно» полагать, что невозможно узнать «потребности и желания» «простолюдинов» «по делу образования». Затем Чернышевский выписывает из статьи «О народном образовании» отдельные места, которые он считает «дурными», и дает оценку каждому из этих мест. В одних случаях разногласия Чернышевского с Толстым касались частных вопросов, не имеющих существенного значения, как, например, вопроса о том, трудно или легко сделаться хорошим бухгалтером, верно ли, как утверждает Толстой, что студенты поступают в университет «только под условием приманки чина»; в других случаях разногласия затрагивали важные принципиальные вопросы. Так, Чернышевский без всяких комментариев выписывает из статьи Толстого его мнение о том, что

Репозиторий ВГУ

применение насилия законно при преподавании религии. По цензурным условиям Чернышевский не имел возможности высказать свое суждение об этом утверждении Толстого, но несомненно, что это место статьи «О народном образовании» было в глазах Чернышевского одним из самых «дурных» в прочитанных им двух номерах «Ясной Поляны».

Еще раз возвращается Чернышевский к мнению Толстого о том, что до тех пор, пока не изучены потребности народа в области образования, не может быть определена и программа народной школы, и советует Толстому для разрешения его недоумения поступить в университет, после чего обращается к Толстому с такими словами: «Но вы думаете, что даже и не можете узнать, – очень жаль, если так, – но это свидетельствовало бы только о несчастной организации вашей нервной системы: если вы не можете понять такой простой вещи, как вопрос о круге предметов народного преподавания, то, значит, природа лишила вас способности приобретать какие бы то ни было знания».

Затем Чернышевский переходит к замечаниям на другую статью Толстого «О методах обучения грамоте». Против мнения Толстого, что в деле обучения грамоте «все методы одинаково хороши, каждая с известной стороны имеет преимущество над другою... и каждая имеет свои затруднения», Чернышевский возражает, что «как скоро есть два способа делать что-нибудь, то непременно один из этих способов вообще лучше, а другой вообще хуже». Чернышевский отмечает в той же статье «очень неосторожные колкости против людей, занимающихся преподаванием в воскресных школах». Здесь Чернышевский имел в виду то место из статьи «О методах обучения грамоте», где Толстой, считая несомненным, что «народная школа должна отвечать на потребности народа», писал: «Грамота же составляет только одну малую, незаметную часть этих потребностей, вследствие чего школы грамотности суть школы, может быть, очень приятные для их учредителей, но почти бесполезные и чисто вредные для народа и нисколько не похожие даже на школы первоначального образования. Вследствие того... люди, для забавы занимающиеся школами грамотности, гораздо лучше сделают, переменив это занятие на более интересное, ибо дело народного образования, заключающееся не в одной грамотности, представляется делом не только трудным, но и необходимо требующим непосредственного упорного труда и изучения народа».

По поводу этих строк Чернышевский обращается к Толстому с такими словами: «Это уж решительно нехорошо. Каковы бы там ни были люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы поднимаете на них руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди».

Резкость этого обращения Чернышевского объясняется тем, что «Современник» придавал большое значение работе воскресных школ, вскоре закрытых правительством, и считал политически недопустимым всякое дискредитирование их в глазах общества.

Чернышевский оговаривается, что своей статьей он не хочет сказать, что «редакция “Ясной Поляны” проникнута духом мракобесия». «Странные вещи», которые он находит в «Ясной Поляне», он объясняет отсутствием у редакции журнала «надлежащего знакомства с предметами, о которых она рассуждает». Чернышевский, по его словам, говорит «Ясной Поляне» «не-

Репозиторий ВГУ

приятную ей правду собственно из желания, чтобы она увидела опасность компрометировать себя такими странными тирадами, дурную сторону которых не замечала прежде, конечно, только по непривычке к теоретическому анализу мыслей».

Свое общее суждение о «Ясной Поляне» Чернышевский высказывает в следующих словах: «За издание педагогического журнала принялись люди, считающие себя очень умными, наклонные считать всех остальных людей, – например, и Руссо, и Песталоцци, – глупцами[3], люди, имеющие некоторую личную опытность, но не имеющие ни определенных общих убеждений, ни научного образования... Но кое-что они все же читали и запомнили, и обрывки чужих мыслей, попавшие в их память, летят у них с языка как попало, в какой попало связи друг с другом и с их личными впечатлениями. Из этого, натурально, выходит хаос».

Чернышевский заканчивает свою статью замечаниями на книжки для чтения, служившие приложением к журналу Толстого. Эти книжки Чернышевский считает «лучшей частью "Ясной Поляны". Он очень хвалит язык книжек, но в то же время находит, что «в содержании вещей, рассказанных так хорошо, отразился недостаток определенных убеждений, недостаток сознания о том, что нужно народу, что полезно и что вредно для него». Такой вредной для народа Чернышевский считает помещенную в первой «Книжке» «суеверную сказку» о Федоре и Василии, в которой «черт соблазнял монаха». «А язык рассказов очень хорош», – такими словами закончил Чернышевский свою статью.

«Определенные общие убеждения», о которых говорит Чернышевский в своей статье, это, конечно, не «определенные убеждения» вообще, а убеждения революционно-демократические. Только исходя из революционно-демократических убеждений можно, по мнению Чернышевского, решать вопросы о том, «что нужно народу, что полезно и вредно для него». Статья Чернышевского, таким образом, вышла из рамок обсуждения специально педагогических вопросов и получила характер краткого изложения общих социально-политических воззрений автора.

Но Толстой как-то не уловил принципиального характера статьи Чернышевского, которая произвела на него тяжелое впечатление теми нападками на него лично, которые в ней содержались. В своем незаконченном ответе критикам его журнала Толстой посвятил Чернышевскому следующие строки: «Упоминать о критике "Современника" я считаю недостойным себя, что для меня тем более счастливо, что в неприличной статье этой нет ни одного довода и ни одной мысли, а только неприличные отзывы». Замечание о статье «Современника» было сделано Толстым также в примечании к статье «Воспитание и образование», где он писал: «Я боюсь полемики, втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья "Современника"». И далее: «Я прошу от критики... не голословных порицаний с известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную антипатию... Я говорю это в особенности потому, что трехлет-

[3] Основанием для такого суждения о Толстом послужили Чернышевскому следующие строки статьи «О народном образовании»: «Являются тысячи различных, самых странных, ни на чем не основанных теорий, как Руссо, Песталоцци, Фребель и т.д.»

Репозиторий ВГУ

няя деятельность моя довела меня до результатов, столь противоположных общепринятым, что не может быть ничего легче подтрунивания, с помощью вопросительных знаков и притворного недоумения, над сделанными мною выводами». Несомненно, что и эти строки, говорящие о не одобряемых Толстым приемах критики, были направлены против статьи Чернышевского.

Статья Чернышевского не заставила Толстого изменить его взгляды. Напротив, все те положения, против которых возражал Чернышевский, как право религиозных людей на насилие в деле преподавания религии, указание на недостатки воскресных школ, утверждение, что «грамота в том виде, в котором она преподается народу», не содействует успеху дела образования, – все эти положения Толстой с еще большей настойчивостью повторил в своих дальнейших педагогических статьях.

Только впоследствии путем самостоятельной работы мысли Толстой на иных, чем Чернышевский, основаниях пришел к заключению о том, что «наше церковное учение и преподавание его детям – величайшее преступление».

* * *

Лишь последние полгода жизни Толстого свободны от имени Чернышевского. В его отношении к нему словно борются два начала – личностное, на уровне спонтанно-эмоциональном, и объективно-интеллектуальное, на философско-просветительском уровне. Убедимся в этом.

19 декабря 1888 года о статье Чернышевского (он еще жив) «Происхождение теории “благотворности” борьбы за жизнь. (Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)», напечатанной в сентябрьском номере «Русской мысли», в дневнике записано: «Статья Чернышевского о Дарвине прекрасна. Сила и ясность».

В марте 1896 года состоялся разговор Толстого с музыкальным критиком и эстетиком В.В. Стасовым об эстетических воззрениях Чернышевского. Стасов подробно изложил Толстому содержание диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и особенно остановился на основном тезисе диссертации: «Искусство есть та человеческая деятельность, которая произносит суд над жизнью». Толстой «был поражен» и слушал с большим вниманием.

А в феврале 1908 года, по свидетельству личного секретаря Н.Н. Гусева, Толстой в разговоре вспомнил о редакции «Современника» и, в частности, о Чернышевском: «Он мне всегда был очень неприятен и писания его неприятны, а сам Некрасов был скорее приятен».

Д.П. Маковицкий, личный врач Л.Н. Толстого, записывает: Толстой читает «о последних днях Чернышевского» (он умер в 1889 году) и вспоминает: «Я его в свое время не любил. Он был необыкновенно свеж, стал бредить, ходить по комнате, умер в три дня».

И за полгода до собственной кончины, по свидетельству личного секретаря В. Булгакова, читая статью Н. Русанова «Чернышевский в Сибири», Толстой сказал о Чернышевском: «Я его небольшой сторонник, но вот его

Репозиторий ВГУ

прекрасные мысли о науке...». А по поводу писем Чернышевского, напечатанных в той статье, Толстой говорил: «У него много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей: о войне, о половом вопросе, или мысль о том, что все нравственное – разумно, а разумное – нравственно и т.д. Но очень неприятна эта самоуверенность».

В этом последнем документе – итог более чем 50-летнего противоречивого отношения великого русского писателя и мыслителя к великому русскому энциклопедисту...

12. «У Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог...» (Л.Н. Толстой и М.Е. Салтыков-Щедрин)

Начнем с эпизода, имеющего вроде бы самое отдаленное отношение к имени великого русского сатирика.

К 1839 году относится один разговор, глубоко врезавшийся в память Льва и, несомненно, оказавший некоторое влияние на его умственное развитие. В «Исповеди» (1882) Толстой рассказывает:

«Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и то все, чему нас учат, одни выдумки. (Это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».

Упоминаемый здесь Володенька М. – это ровесник брата Льва Толстого Сережи Владимир Алексеевич Милютин, младший брат военного министра при Александре II Дмитрия Алексеевича и деятеля крестьянской реформы Николая Алексеевича Милютиных. В памяти Толстого В. Милютин остался как прекрасный рассказчик.

Он рано начал печататься в журналах (статьи о политэкономии, пролетарском движении и пауперизме в Европе, по истории науки). Статьи В. Милютина вызвали сочувствие В.Г. Белинского. Милютин был в кружке Петрашевского, но ареста счастливо избежал по причине своего отсутствия в то время в Петербурге. В начале 50-х годов он магистр государственного права, затем профессор Петербургского университета.

В.А. Милютин был личным другом М.Е. Салтыкова-Щедрина, который тоже был членом кружка Петрашевского и который посвятил ему свою первую повесть «Противоречия» и изобразил его в рассказе «Брусин» (1849) под именем М-н.

К сожалению, на 29-м году жизни В.А. Милютин по личным причинам покончил самоубийством. «Современник» напечатал некролог, где было сказано: «Русская наука лишилась одной из надежд своих; русская литература – одного из умных и даровитых писателей…».

Вот кем стал впоследствии тот «Володенька», который в 13 лет проповедовал атеизм мальчикам Толстым по соседству с комнатой их богомольной тетушки, в доме, находившемся невдалеке от громадного храма Смоленской Божьей матери.

Репозиторий ВГУ

Разумеется, рассказ Милютина оставил известный след в сознании всех четырех братьев и не остался без некоторого воздействия на умственное развитие самого младшего из них – недаром он счел нужным упомянуть о нем в своей «Исповеди»…

Социальные основы двух разных дворянских родов Толстых и Салтыковых были ощутимы уже в детские годы Лёвы и Миши. В частности, отношение к крепостным крестьянам в Ясной Поляне в период детства Толстого было, очевидно, сравнительно гуманным. Толстому не приходилось видеть около себя тех ужасов крепостничества, какие видели в домах своих отцов Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин.

Но и Толстой, и Салтыков-Щедрин – каждый по-своему – определенно выразили антикрепостнический пафос в своих произведениях и с удовлетворением восприняли его в творчестве других писателей. Например, Салтыков-Щедрин в очерках «Круглый год» (1879–1880) так вспоминал о впечатлении, произведенном на него повестями Д.В. Григоровича: «Я помню “Деревню”, помню “Антона Горемыку”, помню так живо, как будто все это совершилось вчера. Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие, человеческие слезы, и с легкой руки Григоровича мысль о том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе, и в русском обществе». Такое же сильное впечатление произвел «Антон Горемыка» и на Толстого.

Известно, что первое значительное произведение Салтыкова-Щедрина «Губернские очерки» (1856–1857) было посвящено, в значительной части, взяточничеству чиновников. Затронута эта тема в то же самое время и в пьесе Островского «Доходное место» (1857). Толстой отдал предпочтение «Доходному месту», общественное значение которого, по его мнению, подобно общественному значению для своего времени «Горя от ума», и по художественным достоинствам комедию Островского он ставит выше «Губернских очерков» Щедрина.

Но вот более важный, обобщающий отзыв Толстого о Салтыкове-Щедрине, кстати, того же времени. Летом 1857 года Толстой провел несколько дней в Петербурге, где читал произведения Салтыкова-Щедрина, после чего записал в дневнике: «Салтыков – талант, серьезный».

1857–1858 годы – время резкого изменения направления и содержания передовой русской литературы во второй половине 50-х годов. Не только рассказ «Люцерн» с его резкой критикой европейской буржуазной цивилизации, но и повесть «Утро помещика» с ее замечательными крестьянскими типами и передовой идеей о невозможности улучшения жизни крестьян при существовании крепостного права – не были оценены по достоинству не только большинством читателей, но даже и одним из редакторов «Современника» И.И. Панаевым (оценка другого редактора «Современника» Чернышевского была иная).

Недовольство последними произведениями Толстого было связано прежде всего с этим изменением направления, а именно: интерес к социально-общественным, актуальным вопросам современности стал в ту пору преобладающим в литературе и вызван он был переменами в самой жизни, обстановкой общественного возбуждения, предшествовавшей революционной ситуации 1859–1861 годов.

Репозиторий ВГУ

Толстой еще в предыдущем году замечал усилившееся тяготение массы читателей к обличительному направлению в литературе, о чем он писал Некрасову 2 июля 1856 года. Теперь это тяготение еще больше определилось.

Панаев, который сам был не чужд некоторых симпатий к «чистому искусству», но в то же время внимательно следил за настроениями и требованиями читателей, 28 июня 1857 года с грустью писал за границу своему другу Боткину: «Вообще я должен тебе сказать, что по всем моим наблюдениям, которые подтверждаются миллионами фактов, русская публика требует теперь чтения более серьезного, а в беллетристике – рассказов вроде Щедрина, Мельникова и Селиванова. Щедрин весь разошелся. Будет печататься второе издание…».

О том же писал и Некрасов Тургеневу 30 июня 1857 года: «Вся литература и публика за него круто повернула в сторону затрагивания общественных вопросов…».

Толстой, вернувшись в Москву, так писал Боткину о своих впечатлениях от встреч с петербургскими и отчасти московскими литераторами (письмо от 1 ноября): «Вообще, надо вам сказать, новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных. Некрасов… Панаев… сами уж и не думают писать, сыплят золото Мельникову и Салтыкову, и все тщетно. Анненков проводит вечера у Салтыкова и т.д. Островский говорит, что его поймут через 700 лет, Писемский тоже, Гончаров в уголке потихоньку приглашает избранных послушать его роман (“Обломов”. – *А.Н.*), а Майков ужасно презирает толпу… Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше».

О своем отношении к «новому направлению литературы» Толстой далее говорит: «Ведь все это смешно, и ошалеешь, как вдруг весь свет вас уверяет, что небо черное, когда вы его видите голубым, и невольно подумаешь, хорошо ли сам видишь». Но Толстой тут же прибавляет, что он «не изменил своего взгляда».

Вместе с тем он оговаривается, что, по его мнению, «наша (подчеркнуто Толстым. – *А.Н.*) литература есть если не противузаконное, то ненормальное явление, и потому построить на нем всю жизнь противузаконно». Под этими словами Толстой, очевидно, разумел то, что художественные произведения, не связанные непосредственно с текущей жизнью («наша литература»), доступны и интересны только незначительному меньшинству. В этих словах Толстого – зародыш того отрицательного отношения к искусству «образованных классов» (в противоположность народному творчеству), которое через пять лет Толстой выскажет в своих педагогических статьях. Толстой очень доволен тем, что не послушал Тургенева, который доказывал ему, что «литератор должен быть только литератор». «Это было не в моей натуре».

Боткин ответил Толстому пространным письмом от 22 ноября 1857 года. Он признавал законность в пользу обличительного направления литературы. «Вас приводит в недоумение, – писал он Толстому, – новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика; но разве Вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшей ее неспо-

Репозиторий ВГУ

собностью, безурядицей и всяческим воровством?.. Рассказы Щедрина попали как раз в настоящую минуту. Оскорбленное национальное чувство, как всякое оскорбление, требовало возмездия – и бросилось с злым наслаждением читать рассказы о всяких общественных мошенничествах, то есть плевать самому себе в рожу. Всякому они были близки и знакомы, явились читатели, которые прежде книги в руки не брали. Ведь душевные драмы, поэзия, художественный элемент в литературе – всегда были доступны только самому малейшему меньшинству; большинство читателей никогда в этом ничего не понимало. Теперь, когда явилась литература, понятная и близкая каждому из этого большинства, – ясно, что оно должно было броситься на нее. Все это застало нашу литературу врасплох: подобного она не ожидала…».

Для Толстого такая апология мелкообличительной литературы либерального направления не могла быть убедительной.

«Но неужели, – пишет далее Боткин Толстому, – из этого следует усомниться в поэзии – и разве возможно отбросить ее, когда уже душа хоть раз проникла в ее мир?.. Мне досадно на Вас, что Вы приходите в недоумение от этого пошлого крика грубых невежд, которые отрицают возможность поэзии и творчества потому, что сами не чувствуют их в себе».

Как видим, Боткин высказывает некоторую неуверенность в твердости следования Толстого принципам «чистого искусства».

Еще более обеспокоился письмом Толстого Тургенев. «Я не хочу верить, – писал он Толстому в ответном письме из Рима от 25 ноября 1857 года, – чтобы нынешнее, юридическое направление литературы Вас сбило с толку; я на днях прочел Щедринского “Жениха” (“Жених. Картина провинциальных нравов”. – *А.Н.*) – и представить не могу, чтобы можно было придавать какое-либо значение таким грубым штукам; оно может быть полезно, но позволить этому хотя на волос возыметь влияния на собственную деятельность – непростительно; идите своей дорогой – и пишите…».

Тургенев явно обеспокоен тем, как бы вечно ищущий и мятущийся Толстой не был бы захвачен новым («юридическим», как его назвал Тургенев) направлением литературы, которому Тургенев не мог сочувствовать.

11 марта 1858 года Толстой выехал из Москвы в Петербург, где пробыл неделю. В этот свой приезд в северную столицу Толстой особо отмечает свое посещение Салтыкова-Щедрина, который прочел ему только что написанный им тогда очерк «Два отрывка из книги об умирающих», вызвавший в дневнике Толстого замечание: «Идеалист хорош» (под словом «идеалист» Толстой разумел второго из описанных Щедриным «умирающих»). Тут же Толстой дал и общую оценку Салтыкова как писателя: «Он здоровый талант» (дневник 17 марта; усилия Тургенева явно антищедринского характера в его вышеприведенном письме к Толстому, можно сказать, оказались напрасными).

Салтыков дал Толстому поручение – передать этот очерк в Москве в редакцию «Русского вестника», что Толстой и исполнил. Дружественные отношения между Толстым и Салтыковым продолжались и по возвращении Толстого в Москву. По-видимому, Салтыков в этот свой приезд бывал у Толстого. Фет рассказывает, что он познакомился с Салтыковым у Толстого зимою 1858 года. 4 апреля в дневнике Толстого записано, что в этот день он

Репозиторий ВГУ

ужинал у Салтыкова, после чего следует характерная приписка: «Он упрекал меня в гениальности».

А не под впечатлением ли сатирического таланта Салтыкова-Щедрина появляется в новом замысле Толстого – романе «Декабристы» (1860) хлесткая критика либерального общества изображаемого Толстым времени – 1856 года?

Все содержание написанных трех глав романа исчерпывается описанием приезда Лабазовых (главный герой – Петр Иванович Лабазов ─ декабрист, возвращающийся из сибирской ссылки) в Москву и их встреч с родственниками, знакомыми и незнакомыми людьми. Из этих лиц Толстой особенно останавливается на характеристике либерального болтуна и сплетника, своего рода Бобчинского высшего света, камер-юнкера Пахтина, который умел «самые разнообразные предметы соединить в один бестолковый, но гладкий разговор», причем «невозможно было никогда уловить никакого его убеждения или вкуса».

Так и хочется воскликнуть: «Ну, чем не Салтыков-Щедрин, автор “Благонамеренных речей”?!».

Дальше – больше. В одном из зачеркнутых мест первой редакции романа дается язвительная общая характеристика русского либерализма того времени. Толстой пишет: «Либерализм тоже не так страшен, как показывает это слово. В 56 году все, решительно все были либералы. Не был либералом только тот, у кого недостало умственных способностей выразить что-нибудь либеральное. Консерваторов не было. Нельзя было себе представить человека, который бы решился защищать старый порядок вещей. Его бы камнями закидали. Еще раз повторяю – это было великое время!» – иронически восклицает Толстой.

Цена этому либерализму определялась тем, что, по словам Толстого, те «значительные» москвичи, которые в то время «считали своей непременной обязанностью оказывать всевозможное внимание знаменитому изгнаннику» (то есть возвратившемуся декабристу), эти же самые «значительные» люди «ни за что на свете» не хотели бы видеть его три года тому назад, в эпоху крайней реакции последних лет царствования Николая I.

Высшее московское общество изображено Толстым сатирически. Перед читателем раскрывается невежественность представителей этого общества (Шекспира считают автором «Энеиды»), его провинциализм, состоящий в чрезвычайной узости круга, который составляет это общество. «Говорят о провинциализме маленьких героев, – пишет Толстой, разумея, очевидно, незадолго перед тем вышедшие в свет “Губернские очерки” Салтыкова-Щедрина. – Нет хуже провинциализма высшего общества. Там нет новых лиц, но общество готово принять всякие новые лица, ежели бы они явились; здесь же редко, редко, как теперь Лабизовы, признаны принадлежащими к кругу и приняты, и сенсация, производимая этими новыми лицами, сильнее, чем в уездном городе» [35].

И вот Л.Н. Толстой опубликовал роман-эпопею «Война и мир». Сдержанное отношение к нему демократически настроенных читательских кругов 1860–1870-х годов отчасти объясняется следующими воспоминаниями Н. Лысцева, секретаря журнала «Беседа» в начале 1870-х годов: «Толстой не был еще тогда всемирным властителем дум, да и в русской литературе зани-

Репозиторий ВГУ

мал в то время бесспорно высокое место как автор “Войны и мира”, но не первое… Первый его роман “Война и мир” хотя все прочли с удовольствием, как высокохудожественное произведение, но, сказать правду, без особого энтузиазма, тем более, что воспроизводимая великим романистом эпоха стояла далеко от тех злоб дня, которые волновали в те годы русское общество. Например, “Обрыв” Гончарова произвел гораздо большую сенсацию в обществе, не говоря уже о романах Достоевского… Каждый новый роман Достоевского вызывал и в обществе, и у молодежи бесконечные споры и толки. Настоящими же властителями дум читающей русской публики оставались в то время два писателя – Салтыков-Щедрин и Некрасов. Выход каждой новой книжки “Отечественных записок” ожидался с напряженным нетерпением, чтобы узнать, кого и что хлещет своим сатирическим бичом Салтыков, или кого и что воспоет Некрасов. Граф Л.Н. Толстой стоял вне тогдашних общественных течений, чем и объясняется некоторый индифферентизм к нему русского общества той эпохи».

Мнение М.Е. Салтыкова-Щедрина о «Войне и мире» известно только со слов Т.А. Кузьминской. В своих воспоминаниях она рассказывает: «Не могу не привести комичный желчный отзыв о “Войне и мире” М.Е. Салтыкова. В 1866–1867 годах Салтыков жил в Туле, равно как и мой муж. Он бывал у Салтыкова и передал мне его мнение насчет двух частей “1805 года”. Надо сказать, что Лев Николаевич и Салтыков, несмотря на близкое соседство, никогда не бывали друг у друга. Почему, – не знаю. Я в те времена как-то не интересовалась этим. Салтыков говорил: “Эти военные сцены – одна ложь и суета… Багратион и Кутузов – кукольные генералы [36]. А вообще – болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше так называемое “высшее общество” граф лихо прохватил”. При последних словах слышался желчный смех Салтыкова».

В романе «Анна Каренина» Толстой изобразил светское общество в гораздо более черных красках, чем это было сделано им в «Войне и мире». Становится понятным то, что писал Толстому Н.Н. Страхов 7 мая 1877 года: «… Только прочитавши Вас, можно понять, что это за мир; Вы не рассказываете никаких ужасов, а всё невинные и даже смешные вещи, но, конечно, обличаете (подчеркнуто Страховым. – *А.Н.*) больше, чем Тургенев, Некрасов и Салтыков, напрягающиеся для этого из всех сил».

Мнение Салтыкова о «Войне и мире», изложенное в воспоминаниях Т.А. Кузьминской, было «укреплено» отрицательным отзывом сатирика о романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 9 марта 1875 года Салтыков писал Анненкову: «Вероятно, Вы читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детородных частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних (подчеркнуто Салтыковым-Щедриным. – *А.Н.*) половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется, это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная (подчеркнуто Салтыковым-Щедриным. – *А.Н.*) мысль, которая торжествует (имеется в виду Константин Левин. – *А.Н.*). Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?»

Репозиторий ВГУ

Письмо это (если оставить в стороне грубость выражений, объясняемую тем, что Салтыков писал частное письмо своему хорошему знакомому и никогда не думал, что оно будет напечатано) очень характерно для Салтыкова как писателя и как редактора. Салтыков ни в одном своем произведении не использовал любовные отношения своих героев в качестве основного сюжета. К романам и повестям, построенным исключительно на описании любовных историй героев, Салтыков относился с нескрываемым презрением. Отсюда его резкий отзыв о последних романах Золя, «которыми все офицеры и кокотки высшего света упиваются» (письмо к Толстому 21 декабря 1882 года). По первым двум книжкам «Русского вестника» Салтыков, так же, как и Стасов, составил себе неверное представление о романе Толстого «Анна Каренина», а тот факт, что за роман Толстого, как за своего рода знамя, ухватилась консервативная критика, еще более настроил против него Салтыкова.

В более позднем письме к П.В. Анненкову от 2 декабря 1875 года Салтыков сообщал, что он намерен написать ряд очерков, в которых, в числе других действующих лиц, будет фигурировать «шпион литератор, который в подражание “Анне Карениной” пишет повесть “Влюбленный бык”». Такая пародия, названная «Благонамеренная повесть», была начата Салтыковым; было написано вступление и начало повести, озаглавленное «Мои любовные радости и любовные страдания. (Из записок солощего быка)». Очерки, о которых Салтыков писал Анненкову, были напечатаны в первой книжке «Отечественных записок» за 1876 год, но «Влюбленного быка» в их числе не оказалось – пародия Салтыкова не была закончена и появилась только после его смерти.

Можно считать несомненным, что Салтыков с течением времени изменил свое мнение об «Анне Карениной». Это видно и из того факта, что в «Отечественных записках» 1877 года появилась рецензия, в которой вполне серьезно рассматривался образ Левина, – и еще из того, что в год появления отдельного издания «Анны Карениной» Салтыков обратился (как один из редакторов) к Толстому с просьбой о сотрудничестве в «Отечественных записках».

Свое обращение к Толстому Салтыков начал словами: «Милостивый государь граф Лев Николаевич. Было время, когда я пользовался Вашим знакомством: может быть, Вы вспомните. Но если б Вы даже и совсем позабыли о моей личности, все-таки я считаю себя вправе как литератор к литератору обратиться к Вам с следующей просьбою… И мне лично, и всей редакции нашей было бы очень приятно и дорого, если б Вы приняли в нашем журнале участие своими трудами. Слухами земля полнится, и из этих слухов мы знаем, что Вы написали или пишете новый роман. Если Вы еще не распорядились им, то, поместив его в “Отечественные записки”, крайне обязали бы редакцию». И Салтыков просит Толстого уведомить о его условиях и о том времени, когда роман может быть передан в редакцию.

Толстой отвечал каждому из трех названных редакторов, но до нас дошел его ответ только Стасюлевичу, которому он писал: «Писание мое еще лежит для меня в таком дальнем ящике, что я и не позволяю себе загадывать о его напечатании». В таком же духе, очевидно, Толстой отвечал и Семевскому и Салтыкову.

Получив письмо Толстого, Салтыков отправил ему второе письмо, в котором высказал свое «чувствительнейшее огорчение» по поводу того, что

Репозиторий ВГУ

Толстой не мог обещать предоставить редакции его журнала еще неоконченный роман, и выражал надежду на то, что у Толстого «может случиться и другая конченная работа», которая также «могла быть полезна» для “Отечественных записок”. «Поверьте, – писал далее Салтыков-Щедрин, – что я не ради рекламы желаю Вашего участия в журнале, а просто потому, что ценю высоко Вашу литературную деятельность».

Толстой, без сомнения, ответил и на это письмо Салтыкова, но ответ его до нас не дошел.

О неподдельном интересе Л.Н. Толстого к творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина говорит такой факт. 29 октября 1878 года С.А. Толстая отметила в дневнике окончание работы над биографическим очерком Толстого. 2 ноября она писала Страхову: «Я написала для издания Русской библиотеки краткий биографический очерк жизни Льва Николаевича, но ему все кажется не довольно кратким. Хотел он вас просить прислать для образца сочинения Салтыкова, жизнеописание которого самое краткое из всех, но занимался все утро, очень устал, пошел на охоту и вам не написал».

Не известно, была ли письменная перекличка между Толстым и Салтыковым-Щедриным за последующие года два, но осенью 1881 года (когда уже свершился «перелом» в мировоззрении Л.Н. Толстого в сторону религиозной патриархальности) он пишет письмо в «Отечественные записки» лично М.Е. Салтыкову-Щедрину. К сожалению, письмо это не обнаружено [37], и содержание его известно только из письма Салтыкова к члену редакции «Отечественных записок» Г.З. Елисееву. 30 сентября 1881 года Салтыков-Щедрин писал в этом письме: «Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую (подчеркнуто автором. – *А.Н.*) литературу, превосходную и искреннюю – в “Отечественных записках”! И это так его поразило, что он отныне намерен писать и печатать в “Отечественных записках”. Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но пока еще ответа от него нет».

Салтыков-Щедрин в своем письме не указывает, когда он получил письмо Толстого и когда послал ему ответ, и само письмо Салтыкова Толстому неизвестно. Таким образом, мы лишены возможности определить, было ли письмо Толстого Салтыкову написано до его переезда в Москву (когда Толстые приобрели особняк в Хамовниках – в связи с необходимостью обучать детей в Москве) или позднее. Скорее всего, письмо это было написано уже после переезда Толстых в Москву (на зимний период, то есть на время учебы детей).

В 1912 году Г.А. Русанов, литератор и публицист, в своих «Воспоминаниях» под заглавием «Поездка в Ясную Поляну 24–25 августа 1883 года» приводит такой диалог с Л.Н. Толстым. На слова Русанова, что любимым писателем современной молодежи является Щедрин, так как он «касается политики, злобы дня», Толстой ответил:

– И он вполне стоит этого. Щедрина я люблю, он растет, и в последних произведениях его звучит грустная нота.

Репозиторий ВГУ

Толстой спросил Русанова, читал ли он «Современную идиллию» Щедрина и помнит ли он из нее «суд над пескарями». Русанов заметил, что в «Современной идиллии» хороши еще «лоботрясы».

– Это прелестно, – согласился Толстой и привел на память цитату о лоботрясах.

– Хорошо он пишет, – продолжал Толстой, – и какой оригинальный слог выработался у него.

Русанов высказал мнение, что такой же в своем роде оригинальный слог был у Достоевского, но Толстой возразил:

– Нет, нет. У Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог, а у Достоевского что-то деланное, ненатуральное.

Весной 1884 года Толстой очень много читал, что отразилось в его дневнике. В частности, в «Отечественных записках» читает «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина, которая (увы! – *А.Н.*) не произвела на него благоприятного впечатления (дневник от 31 марта: «Болтовня Щедрина»)…

Осенью того же года Толстой продолжал «начитывать» лучшие образцы художественной, религиозной, научной литературы. 13 сентября он перечитывал Некрасова, чтобы выбрать из него стихотворения, подходящие для чтения детям, и в тот же день читал детям Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Некрасова – все «прекрасные» вещи, но ни одна из них в дневнике не названа.

30 ноября 1885 года у Толстого в Москве сошлись В.Г. Чертков (верный последователь религиозно-нравственного учения Толстого), П.И. Бирюков (первый биограф Л.Н. Толстого) и В.Ф. Орлов; они беседовали с Толстым о работе издательства «Посредник».

Между 30 ноября и 2 декабря Толстой пишет М.Е. Салтыкову-Щедрину письмо, в котором говорит: «С тех пор, как мы с вами пишем, читающая публика страшно изменилась, изменились и взгляды на читающую публику. Прежде самая большая и ценная публика была у журналов – тысяч 20, и из них большая часть искренних, серьезных читателей; теперь сделалось то, что качество интеллигентных читателей очень понизилось – читают больше для содействия пищеварению, и зародился новый круг читателей, огромный, ─ надо считать сотнями тысяч, чуть не миллионами. Те книжки “Посредника”, которые вам покажет Чертков, разошлись в полгода в ста тысячах экземпляров каждая, и требования на них все увеличиваются…

К делу то, что мне кажется, вспоминая многое и многое из ваших старых и теперешних вещей, что́ если бы вы представили себе этого мнимого читателя и обратились бы к нему и захотели бы этого, вы бы написали превосходную вещь или вещи и нашли бы в этом наслаждение то, которое находит мастер, проявляя свое мастерство перед настоящими знатоками…

У вас есть все, что нужно: сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, не юмор, а та, что производит веселый смех, и по содержанию – любовь и потому знание истинных интересов жизни народа…

Вы можете доставить миллионам читателей драгоценную, нужную им и такую пищу, которую не может дать никто, кроме вас».

3 декабря вернувшийся в Петербург Чертков отправился к Салтыкову с письмом Толстого, но видеть Салтыкова в этот день Чертков не мог – он был

Репозиторий ВГУ

болен. В тот же день Чертков что-то писал Толстому о Щедрине, но письмо это до нас не дошло. 6–7 декабря Толстой ответил Черткову: «Сейчас получил ваше второе письмо, милый друг. Оба очень были мне радостны; вчерашнее – тем, что вы пишите о Салтыкове. Как бы хорошо было помочь ему, вызвав на ту дорогу, на которой он найдет успокоение».

9 декабря Чертков писал Толстому: «Салтыков написал мне, спрашивая, годятся ли для вас такие вещи, которые уже были в печати, и предлагал свой “Сон в летнюю ночь…”. Нельзя было, мне кажется, найти менее подходящую вещь для нашей цели».

29 декабря Чертков сообщает Толстому о Салтыкове: «С разных сторон мне говорят, что он очень занят мыслью писать для наших изданий и что ваше письмо произвело на него сильное впечатление. А.М. Кузьминский говорил мне, что Щедрин, несмотря на свою болезнь, проработал на днях целый день над рассказом для нас и что на следующий день он вследствие этого встал совсем больной, и язык его не слушался». Далее Чертков выражал свое мнение, что следовало бы дать Салтыкову «несколько более определенное понятие» о задачах «Посредника». «Судя по тому, – писал далее Чертков, – как он даже спрашивал о том, в каком роде писать, и по тому, как он сочувственно отнесся к вашему письму, он охотно выслушает от вас взгляд на это и наверное примет его в соображение. Если можете – напишите, если же вам не хочется, то сообщите мне, и я лично все выскажу ему, хотя, разумеется, это будет несравненно хуже».

Толстым письмо Салтыкову написано не было, Чертков же после этого неоднократно виделся с Салтыковым и говорил с ним о задачах «Посредника».

19 марта 1886 года Чертков извещал Толстого, что Салтыков прислал ему несколько своих сказок: «Бедный волк», «Самоотверженный заяц», «Пропала совесть», «Рождественская сказка». «Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места и никак не соглашается на пропуск».

Сотрудничество Салтыкова в «Посреднике» не осуществилось.

В 1889 году Толстой читал «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина (печаталась в «Вестнике Европы»): «И хорошо, да старо, нового нет. Мне точно жалко его, жалко пропавшую силу».

Иногда мнение Толстого менялось. Например, в июле 1894 года в разговоре с Н.Н. Страховым и В.Ф. Лазурским о литературе Толстой, в частности, говорил о Салтыкове-Щедрине: «Слишком длинно и утомительно. Вот эти последние еще лучше: “Пошехонская старина” и другие». На вопрос, неужели ему не нравятся сказки Щедрина или «Господа Головлёвы», Толстой отвечал: «Некоторые сказки – да, другие не выдержаны; например, про карася, вообще аллегорические. “Господ Головлёвых” забыл».

Но вот осенью 1901 года Лев Николаевич «вспомнил» знаменитый роман Салтыкова-Щедрина следующим образом. А.Б. Гольденвейзер свидетельствует: Толстой слушает чтение «Господ Головлёвых», и ему «нравится». А в феврале 1905 года о рассказе Салтыкова «Рождественская сказка» Лев Николаевич сказал, что «надо бы его поместить в “Круг чтения”» (Д.П. Ма-

Репозиторий ВГУ

ковицкий). Но в тех же воспоминаниях А.Б. Гольденвейзера читаем (говорит Толстой): «Верное средство наскучить – все договаривать до конца (по-французски). Про Щедрина это вполне можно сказать. Он все всегда договаривал до конца. Я никогда не мог читать его» (лето 1909 года).

Эти противоречивые мнения Л.Н. Толстого о М.Е. Салтыкове-Щедрине объяснимы следующими причинами:

1. Революционный демократизм политических взглядов Салтыкова-Щедрина не совпадал с философией жизни человека в представлении Толстого, всегда находящегося в морально-этических поисках сущего, с 80-х годов окрашенных глубоким религиозным чувством.

2. Политическая «злоба дня» для Салтыкова-Щедрина была непременным предметом его художественных сатирических произведений; Толстой же за редким исключением (например, сцены суда в «Воскресении», размышления Левина по земельному вопросу в «Анне Карениной», критика порочной дисциплины в армии времен Николая I в рассказе «После бала») политические темы с беспощадным критическим пафосом разрабатывал в публицистических статьях и памфлетах.

3. Отсюда – различие в изобразительно-выразительных средствах того и другого и, как следствие, – неодинаковые эстетические принципы.

Тем не менее, даже это различие двух разных художественно-эстетических систем не мешало иногда с пониманием относиться к литературному творчеству друг друга.

13. «Какой он умный и оригинальный человек!» **(Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков)**

Неудивительно, что этот раздел мы начнем с оценок творчества Л.Н. Толстого, которые сделал его младший литературный собрат, глубоко чтивший талант автора «Войны и мира». Речь идет о Н.С. Лескове не как писателе, а как литературном критике.

Дело в том, что в 1869–1870 годах в газете «Биржевые ведомости» Лесков поместил три статьи (без подписи), где высказал ряд замечательно верных суждений, касающихся отдельных вопросов, затронутых в «Войне и мире», и всего произведения в целом.

Об отношении критики к Толстому и Толстого к критике Лесков написал очень метко и остроумно: «В последний год вырос и возвысился до незнакомой нам доселе величины автор “Детства” и “Отрочества”, и он являет нам в своем последнем, прославившем его сочинении о войне и мире не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинения проходят длинные периоды, в течение которых на него, по простонародному выражению, всех собак вешают: его зовут и тем, и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей за тем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя самому себе представляет… Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного, коня».

Репозиторий ВГУ

Пятый том «Войны и мира» Лесков назвал «прекрасным сочинением». Все, что составляет содержание тома, «рассказано Толстым опять с огромным мастерством, характеризующим все сочинение. В пятом томе, как и в четырех первых, нет утомительной или неловкой страницы и на всяком шагу попадаются сцены, чарующие своею прелестию, художественною правдою и простотой. Есть места, где простота эта достигает необычайной торжественности». Как на образец красот подобного рода автор указывает на описание умирания и смерти князя Андрея. «Прощание князя Андрея с сыном Николушкою; мысленный, или лучше сказать, духовный взгляд умирающего на покидаемую жизнь, на горести и заботы окружающих его людей и самый переход его в вечность – все это выше всяких похвал по прелести рисовки, по глубине проникновения в святая святых отходящей души и по высоте безмятежного отношения к смерти… Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию».

Переходя далее к исторической части пятого тома, Лесков находит, что исторические картины нарисованы автором «с большим мастерством и с удивительною чуткостью». По поводу придирчивых статей военных критиков Лесков говорит: «Может быть, военные специалисты найдут в деталях военных описаний графа Толстого много такого, за что они снова найдут возможным сделать автору замечания и укоризны вроде тех, какие ему уже были от них сделаны, но, поистине говоря, нас мало занимают эти детали. Мы ценим в военных картинах Толстого то яркое и правдивое освещение, при котором он нам показывает марши, стычки, движения; нам нравится самый дух (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) этих описаний, в которых волею-неволею чувствуется веяние духа правды (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*), дышащего на нас через художника».

Остановившись главным образом на портретах Кутузова и Растопчина, Лесков в заключение своей статьи говорит, что исторические лица в романе Толстого очерчены «не карандашом казенного историка, а своеобразною рукою правдивого и чуткого художника».

По выходе шестого тома Лесков писал, что «Война и мир» – это «наилучший русский исторический роман», «прекрасное и многозначащее сочинение»; что «нельзя не признать несомненную пользу правдивых картин графа Толстого»; что «книга графа Толстого дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разуметь бываемое» и даже «видеть в зеркале гадания грядущее»; что это произведение «составляет гордость современной литературы».

Лесков берет под защиту положение Толстого о решающей роли масс в историческом процессе. «Военные вожди, – пишет он, – как и мирные правительства, состоят в непосредственной зависимости от духа страны и вне пределов, открываемых им для эксплуатации этим духом, ничего совершить не могут… Никто не может предводительствовать тем, что само в себе заключает лишь одну слабость и все элементы падения… Дух народа пал, и никакой вождь ничего не сделает, точно так же, как сильный и сознающий себя народный дух сам неведомыми путями изберет себе пригодного вождя, что и было в России с засыпавшим Кутузовым… Не известно ли критикам, что у падавших народно-

Репозиторий ВГУ

стей в самые крайние минуты их падения являлись очень замечательные военные таланты и не могли сделать ничего капитального для спасения отчизны?».

В качестве примера Лесков указывает на «популярного и сведущего в своем деле» польского революционера Костюшко, который, видя неуспех восстания, в отчаянии воскликнул: «Конец Польше!». «В этом восклике способнейшего вождя народного ополчения поляки напрасно видят нечто легкомысленное, – говорит Лесков, – Костюшко видел, что в низком уровне духа страны было уже нечто невозвратное, изрекшее его любимой родине "Конец Польше!"».

Далее Лесков касается обвинения Толстого «одним философствующим критиком» в том, будто бы он «просмотрел народ и не дал ему надлежащего значения в своем романе» [38]. На это Лесков отвечает: «Говоря поистине, мы не знаем ничего смешнее и неумнее этой забавной укоризны писателю, сделавшему более, чем все (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*), для вознесения народного духа на ту высоту, на которую поставил его граф Толстой, указав ему оттуда господствовать над суетой и мелочью деяний отдельных лиц, удерживавших за собою до сих пор всю славу великого дела».

Лескову совершенно ясен жанр «Войны и мира» как эпопеи. В заключительной статье, написанной по выходе в свет последнего тома произведения, Лесков писал: «Кроме личных характеров – художественное изучение автора, видимо для всех, с замечательною энергиею было направлено на характер всего народа, вся нравственная сила которого сосредоточилась в войске, боровшемся с великим Наполеоном. В этом смысле роман графа Толстого модно было в некотором отношении считать эпопеею великой и народной войны, имеющей своих историков, но далеко не имевшей своего певца. Где слава, там и сила. В славном походе греков на Трою, воспетом неизвестными певцами, чувствуем роковую силу, дающую всему движение и через дух художника вносящую неизъяснимое наслаждение в наш дух, – дух потомков, тысячелетиями отделенных от самого события. Много совершенно подобных ощущений дает автор "Войны и мира" в эпопее 12 года, выдвигая перед нами возвышенно простые характеры и такую величавость общих образов, за которыми чувствуется неисследимая глубина силы, способной к невероятным подвигам. Многими блестящими страницами своего труда автор обнаружил в себе все необходимые качества для истинного эпоса».

Не менее восторженно воспринял Лесков роман Толстого «Анна Каренина». Он писал И.С. Аксакову 23 марта 1875 года: «Что же про "Анну Каренину"? Я считаю это произведение весьма высоким и просто как бы делающим эпоху в романе. Недостаток (и то ради уступок общему говору) нахожу один – так называемая "любовная интрига" как будто не развита… Любовь улажена не по романическому, а как бы для сценария… Не знаю, понятно ли я говорю? Но я думаю: не хорошо ли это? Что же за закон непременно так, и не этак очерчивать эти вещи? Но если это и недостаток, то во всяком случае он не более как пылинка на картине, исполненной невыразимой прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной (что так испортило мою руку). Однако у нас роман дружно ругают (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) (Дмитрий Самарин тому свидетель): светские люди раздражаются, видя свое отображе-

Репозиторий ВГУ

ние и придираются к непристойности сцены медицинского осмотра княжны Кити, а за настоящими светскими людьми тянут ту же ноту действительные статские советники, составляющие теперь довольно значительную общественную разновидность, с претензией на хороший тон. Литературщики злобствуют потому, что роман появляется в “Русском вестнике” – для них этого довольно. Но есть и жаркие почитатели Карениной, по преимуществу в числе женщин среднего слоя. Вообще же успех романа весьма странный, и порою сдается, что общество совсем утратило вкус: многим (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) “Женщины” Мещерского нравятся более, чем “Анна Каренина”… Что с этим делать?»

По выходе мартовской книжки «Русского вестника» за 1875 год Н.С. Лесков 6 апреля писал И.С. Аксакову: «Третий кус “Анны Карениной”, по-моему, столь же хорош, как и первые два».

В начале 80-х годов, когда Толстой переосмыслил свое мировоззрение и окончательно перешел на позиции патриархального крестьянства, он решил писать рассказы, в которых выразил бы свои новые мысли. Известен только один рассказ, написанный Толстым в последние месяцы 1881 года – легенда «Чем люди живы». В основу легенды положена сделанная Толстым запись одного из рассказов гостившего у него в 1879 году олонецкого сказителя былин В.П. Щеголёнка.

Однако легенда, рассказанная Щеголенком, не народного, а книжного происхождения. Сюжет этой легенды принадлежит к числу так называемых бродячих сюжетов. Тема этой легенды может быть выражена в следующих словах: часто люди видят, как те, кто совершенно ни в чем не повинен, терпят бедствия и переносят страдания, и это вызывает в людях негодование и мысль о том, что Бог жесток и несправедлив по отношению к этим людям. Но такое суждение ошибочно. В конце концов, все то, что люди считают злом, обращается в добро и благо, и таким образом раскрывается премудрость и справедливость Бога.

Новое произведение Л.Н. Толстого, появившееся после четырехлетнего перерыва с напечатания романа «Анна Каренина», естественно, вызвало ряд отзывов в периодической печати и откликов в частной переписке.

Здесь не место рассматривать все эти отзывы. Укажем лишь на мнение критика консервативно-церковного направления К.Н. Леонтьева. Первоначально религиозный философ высказался по этому поводу в газете «Гражданин» (июль 1882 года). Статья эта может служить образцом того сумбура, до которого доходил талантливый критик под влиянием монархически-церковного склада воззрений.

В том же 1882 году Леонтьев вторично выступил против легенды Толстого в брошюре «Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой», где перепечатал свою рецензию из «Гражданина». Брошюра вызвала обстоятельный и язвительный отзыв Лескова, напечатанный под названием «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи. (Религия страха и религия любви)».

В первых же строках статьи Лесков называет брошюру Леонтьева «пропитанной ядом нетерпимости», содержащей «тяжкое и в то же время лю-

Репозиторий ВГУ

бопытное обвинение в ереси двух любимых русских писателей: графа Льва Николаевича Толстого и покойного Федора Михайловича Достоевского».

«Ересь – слово не шуточное, – писал Лесков. – В старину обвинение в ереси считалось очень серьезным и важным и угрожало обвиняемому весьма тяжелыми и огорчительными, а иногда и роковыми последствиями, как то: отлучением от церковного общения, проклятием, лишением сана, имущества, ссылкою и даже смертною казнию, – и притом часто лютою и самою мучительною… Конечно, в настоящее время из-за брошюры г. Леонтьева не предадут посмертной анафеме Достоевского, а также не сожгут на костре и даже не отправят в ссылку гр. Толстого, но зато сам г. Леонтьев ровно ничем не рискует и притом имеет перед обвиняемыми большие шансы – удерживать за собою последнее, победоносное слово. Достоевский уже мертв и ничего не ответит, а граф Лев Николаевич, хотя благодаря Бога и жив, но и он, конечно, не может отвечать на подобное обвинение тем же печатным путем. Или, по крайней мере, он не может исполнить этого со всем тем чистосердечием, которого требуют серьезность вопроса и личное достоинство искреннего человека. Известный эпизод с религиозною статьею графа в «Русской мысли» вполне г-на Леонтьева на этот счет обеспечивает» (Лесков имел в виду запрещение «Исповеди» в майской книжке «Русской мысли» за 1882 год).

Заметив попутно, что Достоевский был недостаточно начитан в духовной литературе, Лесков писал: «Совсем иное в этом отношении представляет благочестиво настроенный и философски свободный ум графа Л.Н. Толстого, в произведениях которого, – как напечатанных, так еще ярче в ненапечатанных, а известных только в рукописях, – везде видна большая и основательная начитанность и глубокая вдумчивость».

Приводя подлинные библейские тексты, Лесков уличил Леонтьева в неверном толковании основ христианства и неосновательности его упреков Толстому. Он опроверг также обвинение Толстого в «одностороннем демократизме» его легенды, доказав, что персонажи из народа изображены Толстым «с художественным соблюдением верности склада их речи и их простонародного миросозерцания» и что «общее впечатление рассказа глубокотрогательное и способное возбуждать самые добрые чувства».

Заканчивая свою обширную статью, Лесков писал: «Многую простоту (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) предполагает г. Леонтьев в своих читателях и почитателях, но наипаче – напрасно он подъемлет свои неискусные руки на таких людей, как Достоевский и особенно граф Лев Николаевич Толстой, христианские идеалы которого прелестны, чисты и, как сам он где-то признался, – освящены глубоким душевным страданием, доходившим у него “до разделения души с телом”».

Около 1 апреля 1885 года вышли в свет первые четыре книжки издательства «Посредник». Это были: «Чем люди живы» Льва Толстого, его же «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Кавказский пленник», а также «Христос в гостях у мужика» Н.С. Лескова (из сборника рассказов Н.С. Лескова «Русская рознь», вышедшего в 1881 году).

В 1886 году появилась повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». Первый печатный разбор ее принадлежит Лескову. До того Лесков уже выступал

Репозиторий ВГУ

в печати, защищая народные рассказы Толстого от реакционных критиков. В июне 1886 года он напечатал статью «О куфельном мужике и проч.».

«Куфельный мужик» – это кухонный мужик, служащий на кухне, подобно изображенному в повести Толстого Герасиму.

Умирающий Иван Ильич только в разговорах с буфетным мужиком Герасимом находил облегчение своим мучениям. Герасим один только жалел умирающего барина, не лгал сам и не заставлял лгать Ивана Ильича. Радость жизни, сила, красота, ловкость Герасима не оскорбляли изможденного болезнью Ивана Ильича, потому что Герасим не притворялся, не лицемерил.

В статье Лескова, помимо всякой оценки повести, содержится чрезвычайно ценный материал об истории самого понятия «куфельный мужик». Оказывается, что выражение это ближайшим образом восходит к Достоевскому. Лесков рассказывает, что Достоевский, посещая иногда в последние годы жизни великосветские салоны, «и провещал нам о “куфельном мужике”». Разговаривая о религиозной вере с графиней Ю.Д. Засецкой (дочерью известного партизана и поэта 1812 года Дениса Давыдова), «раздраженный Достоевский в гневе воскликнул:

– Не видите, к кому идти за научением! Хорошо! Ступайте же к вашему *куфельному мужику* – он вас научит».

От себя Лесков добавляет: «Чем Ф.М. Достоевский, как чуждый пришлец в большом свете, только пугал, то граф Л.Н. Толстой сделал… Барин сам попросил мужика прийти к нему, и вот перед отверстым гробом куфельный мужик научил барина ценить истинное участие к человеку страждущему, – участие, перед которым так ничтожно и противно все, что приносят друг другу в подобные минуты люди светские».

Консервативный критик Ю. Елагин развивал мысль о том, что «трагедия Ивана Ильича – в принадлежности к «мертвенному слою», оторвавшемуся от «стихии народной». На этом основании он защищал в связи с повестью Толстого славянофильскую концепцию преклонения перед стихией народной жизни.

В начале статьи «О куфельном мужике и проч.» Лесков писал: «…я разделяю мнение тех, кто считает графа Л.Н. великим и даже величайшим современным писателем в мире. Но из всех критиков, восхваляющих графа, по моему мнению, иностранные критики судят о нашем великом писателе лучше и достойнее, чем критики русские…».

Известная деятельница народного образования А.М. Калмыкова, переехавшая в 1885 году из Харькова в Петербург, сблизилась здесь с кружком «Посредника». Подготовленный ею сборник небольших рассказов для народного чтения («Цветник») был послан на одобрение Толстому. Толстой предложил редакторам «Посредника» переделать сборник.

Во втором издании «Цветника», вышедшем в 1889 году, была помещена притча Толстого «Мудрая девица». Он набросал ее в письме к В.Г. Черткову от 20 июня 1887 года, заметив, что хотел бы «написать сказочку такую». Чертков нашел, что мысль уже высказана совершенно ясно, и попросил разрешения опубликовать притчу. После нескольких стилистических поправок эта скупая программа сказки, занимающая 17 строк, была напечатана. «Мудрая девица» отгадала, почему у царя неудачи: «Она сказала, что важнее всех

Репозиторий ВГУ

часов – теперешний, потому что другого ни одного нет такого же. А нужнее всех тот человек, с которым сейчас имеем дело, потому что только этого человека и знаем. А дороже всех дел то, чтобы сделать этому человеку доброе, потому что это одно дело тебе наверное на пользу». Этот сюжет, с разрешения Толстого, обработал в 1890 году Н.С. Лесков в рассказе «Час воли Божией». Толстой написал свою сказку – «Три вопроса» лишь в 1903 году.

Весной и летом 1886 года развернулась чрезвычайно бурная журнально-газетная полемика вокруг 12-й части Сочинений Толстого – «Произведения последних годов». Русская читающая публика и критика впервые смогла познакомиться сколько-нибудь обстоятельно с «новыми» – после перелома в мировоззрении – социальными, философскими, этическими и эстетическими взглядами Толстого.

С особенной страстью обрушились критики на теорию непротивления злу насилием. В защиту Толстого выступило «Русское богатство» в лице Л.Е. Оболенского. Критик газеты «Неделя» Р.А. Дистерло тоже защищал Толстого. Лесков, подводя итог этой полемике, справедливо заметил в статье «О рожне. Увет сынам противления»: «Есть хвалители, есть порицатели, но совестливых и толковых судей нет».

1887 год – время появления в печати драмы Толстого «Власть тьмы». И Лесков тут же откликнулся на нее: две сдержанные заметки («О драме Л.Н. Толстого и о ее варианте», «По поводу драмы “Власть тьмы”») в «Петербургской газете».

В апреле 1887 года, когда Толстой всего одну неделю находился в Москве, произошла его первая встреча с Н.С. Лесковым. «Какой он умный и оригинальный человек!» – делился Толстой своим впечатлением.

С Чертковым Лесков уже два года как был знаком по делам «Посредника». Толстой читал Лескова, давал отзывы о его рассказах. 23 января 1887 года он писал Черткову о легенде Лескова «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине», напечатанной в № 12 «Русской мысли» за 1886 год: «Статья Лескова, кроме языка, в котором чувствуется искусственность, превосходна. И по мне, ничего в ней изменять не надо, а все средства употребить, чтобы ее напечатать у нас как есть».

В день приезда Толстого в Москву, 18 апреля, Лесков отправил ему письмо и просил «не отказать» в «сильном», «горячем желании» увидеться. Ответ Толстого, несомненно положительный, к сожалению, не сохранился. 20 апреля Лесков был в Хамовническом доме.

С этого времени началась дружба и деятельная переписка, продолжавшаяся до смерти Лескова (1895).

В одном из писем 1893 года (к Л.И. Веселитской) Лесков говорил, что Толстой для него – «святыня на земле». Однако, поясняя свою позицию, заметил, что «совпал» с Толстым, а не «вовлечен» им: «Я ему не подражал, а я раньше (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) его говорил то же самое, но только не речисто, не уверенно, робко и картаво. Почуяв его огромную силу, я бросил свою плошку и пошел за его фонарем». 4 ноября 1877 года, вскоре после встречи с Толстым, Лесков признавался в письме к Черткову: «Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не

Репозиторий ВГУ

смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума».

В конце 1888 – начале 1889 года Толстой увлеченно читал Лескова. Рассказы Лескова издавались «Посредником». Еще в апреле, получив книжечку с легендой «Совестный Данила», Толстой отозвался в письме биографу П.И. Бирюкову: «Лескова легенду прочел в тот же день, как она вышла. Эта еще лучше той (“та” – легенда Лескова “Прекрасная Аза”, изданная “Посредником” в 1887 году. – *А.Н.*), обе прекрасны. Но та слишком кудрява, а эта проста и прелестна».

В ноябре 1888 года он читал рассказ Лескова «На краю света. Из воспоминаний архиерея». О рассказе «Колыванский муж. (Из остзейских наблюдений)», помещенном в «Книжках Недели», заметил в дневнике: «Хорошо», а о другом рассказе – «При детях» – «прекрасно».

В последний день 1888 года в Хамовническом доме читали вслух повесть «Зенон-златокузнец», изъятую цензурой из ноябрьской книжки «Русской мысли» (Лесков прислал Толстому рукопись или корректуру своей повести. Оценка повести была сдержанной: «Много лишнего, так что не от всей души» (дневник, 4 января 1889 года), но вся обстановка чтения, мнения слушателей гостей толстовского дома вызвали размышления об искусстве.

В конце декабря 1889 года, получив переписанный М.Л. Толстой (дочерью) экземпляр только что законченной повести «Крейцерова соната», В.Г. Чертков устроил у себя на квартире публичное ее чтение. Собралось свыше 50 человек, среди них Лесков, Эртель, Леонтьев (Щеглов), Л.Е. Оболенский, Гайдебуров и др. Читал Н.И. Горбунов, брат И.И. Горбунова.

В сентябре 1890 года Толстой работает над переводом рассказа Ги де Мопассана «Порт» с вариантами толстовских названий: «Всё наши сестры», «Роковая встреча», «У девок». Было решено напечатать его сначала в газете «Новое время». Последнее заглавие показалось Черткову опасным, – Толстой предложил уже четвертое: «Обычное удовольствие молодых людей». Это заглавие не понравилось издателю А.С. Суворину, он посоветовал: «Сестры» и, конечно, настаивал на смягчениях в тексте. Лесков предложил назвать рассказ по имени героини – «Франсуаза». Без подписи Толстого, с пометкой «Рассказ по Мопассану», он появился 5 февраля 1891 года с заглавием, предложенным Лесковым.

С именем Н.С. Лескова связана и деятельность Л.Н. Толстого во время голодного года в России (1891–1892).

В голодный год Толстой совершил подвиг и чувствовал себя, как некогда в осажденном Севастополе.

Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами сокращали «едоков» – число крестьян, нуждающихся в продовольственной и денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.

Репозиторий ВГУ

Эти разговоры о помощи голодающим, такие средства «помощи» и вызвали возмущение Толстого. Зная хорошо жизнь русской деревни, он понимал, что голод – не случайная неприятность, происшедшая от неурожая, а неизбежное и, в сущности, постоянное бедствие, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения.

Правительство бездействовало, и надежды у крестьян на избавление от голодовок 90-х годов никакой не было. Не надеяться же на богатеев!

Толстой с самого начала отверг как нелепую мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.

4 июля 1891 года, отвечая Н.С. Лескову на его вопрос, что ему делать для борьбы с голодом, Толстой написал: «Я думаю, что надо все силы употреблять на то, чтобы противодействовать – разумеется, начиная с себя, – тому, что производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, т.е. собрать побольше мамона неправды и, не изменяя подразделения, увеличить количество корма, – я думаю, не нужно, и ничего, кроме греха, не произведет… И потому против голода одно нужно – чтобы люди делали как можно больше добрых дел… Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, т.е. делать зло людям, но нельзя любить и не накормить… И потому, если вы спрашиваете: что именно вам делать? – я отвечаю, вызывать, если вы можете (а вы можете), в людях любовь друг к другу, и любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде; но, кажется, будет самым действительным средством против голода написать то, что тронуло бы сердца богатых. Как вам Бог положит на сердце, напишите, и я бы рад был, кабы и мне Бог велел написать такое».

Н.С. Лесков показал это письмо человеку, близкому к Толстому, – одному из деятелей «Посредника», И.И. Горбунову. Тот попросил копию. Журналист А.И. Фаресов, которому Лесков прочел письмо, тоже снял копию, и 4 сентября 1891 года в газете «Новости» письмо было напечатано (вскоре перепечатано «Новым временем»).

Появление письма вызвало целую бурю в прессе. На Толстого обрушилась как либеральная и народническая печать («Русские ведомости», «Киевлянин», «Смоленский вестник» и др.), обвинявшая Толстого в «доктринёрской черствости» (Н.К. Михайловский) [39], в том, что он «пережевывает давно всем известные зады» («Смоленский вестник»), так и реакционная…

Среди людей искусства самыми духовно близкими Толстому в 90-е годы стали двое – художник Н.Н. Ге и писатель Н.С. Лесков.

Лескову Толстой писал не часто, да и редкие письма 1892 года не сохранились; встретиться им уже не довелось, хотя, узнав о болезни Лескова, Толстой собирался в Петербург, а Лесков все надеялся попасть в Москву, чтобы повидаться с обожаемым другом (до Ясной Поляны он уже не мечтал доехать). Письма Лескова полны трогательных признаний: «Я не пишу к Вам, конечно, только потому, что мне совестно отрывать Вас от трудов на общую пользу»; «С Вами я сообщен ежедневно»; «Ваши слова мне все в помощь»; «Вы для меня имеете значение, которое пройти не можете, ибо я с ним наде-

Репозиторий ВГУ

юсь перейти в другое существование, и потому нет никого иного, кроме Вас, кто бы был мне дорог и памятен, как Вы… За одно Ваше намерение посетить меня я Вам благодарен до слез…».

Помимо интереса к литературному труду друг друга, особенно со стороны Лескова к Толстому, были общие дела – забота о преследуемых властью, чаще всего – о сектантах; общие знакомые – А.Ф. Кони, М.О. Меньшиков, Л.Я. Гуревич и др.; общие мысли – о смерти, для Лескова уже близкой, а для Толстого постоянно обдумываемой (в дневнике, начиная с 1889 года, почти всякая запись завершалась пометой и мольбой: «Если буду жив», или кратко: «Е.б.ж.»).

Иной раз Лесков осторожно не соглашался. «В пользе гонений я с Вами не согласен, и Вы не докажете, что все (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) гонения “ничего не могут произвести, кроме содействия истинному просвещению”. Это, к сожалению, не так, но если бы и так было, то все-таки надо стараться унимать гонения, так как при этом люди жестоко страдают». Да и для Толстого «польза гонения» существовала лишь в теории; на практике почти ни один день не проходил без заботы о гонимых и заступничестве за них. В другой раз Лесков просил дополнительно пояснить, почему у нее – смерти – «кроткие глаза», как выразился Толстой в не дошедшем до нас письме.

Всегда с волнением ждал Лесков отзывов Толстого, допытываясь, например, чем нравятся «Импровизаторы» и почему не понравились «Пустоплясы» и нетерпеливо ловил возможность поскорее прочитать каждое новое сочинение Толстого, хотя бы в рукописи. 10 января 1893 года Лесков писал в Москву: «Из Ваших 12-ти глав я читал 7. По-моему, все это нужно, и все хорошо, и все “на пользу”. И 26 января того же года – Л.И. Веселитской, посылая ей одно из гектографированных изданий: «Книги Толстого я всегда и всем даю охотно, так уважаю защищаемые в них идеи и ненавижу ложь, которую они назначены рассеивать». После чтения «Царства Божия…» целиком Лесков написал Веселитской: «Разложение и распластание очезримой фальши церковного учения, подменившего учение Христа, произведены со страшной силой и яркостью молнии, раздирающей ночное небо».

Рассказ «Пустоплясы» печатался в «Северном вестнике». Л.Я. Гуревич, придя к Лескову, рассказала ему: цензор огорчился, что разрешил (его «подвели»), потому что «пустоплясы – это дворяне, а на печи лежал, и говорил Толстой». «Сытину теперь этого рассказа будто уже не позволят. Вот чем заняты!», – возмущался Лесков в письме к Толстому.

Когда в самом начале 1893 года к Лескову пришла познакомиться писательница Л.И. Веселитская (Микулич), первые слова ее были: «Я знаю, что Вы больны и что Вы любите Льва Николаевича, и я пришла к Вам». Позднее Веселитская вспоминала: «Как-то, вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Николай Семенович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не раздал своего имения нищим: “Он должен был сделать это ради идеи. Мы были вправе ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути”».

В ноябре 1892 года Веселитская, еще не знакомая с Толстым, написала ему первое письмо. А.С. Суворин, посетивший Ясную Поляну в мае 1891 года, сказал ей, что Толстому понравилась повесть «Мимочка на водах». Потом

Репозиторий ВГУ

Т.А. Кузьминская, встретившись с молодой писательницей в Петербурге, приглашала приехать летом в Ясную Поляну. Теперь Веселитская отважилась на письмо: «Я охотно пошла бы к Вам пешком и думаю, что недурно бы мне так пройтись по голодной и холодной России…».

Толстой 17 ноября ответил трогательным письмом: «То, что вам передавал Суворин о моем восхищении перед вашей повестью, наверное, только в малой степени выражает то, как она мне нравится».

После встречи с Лесковым, вероятно, по его совету, Веселитская 12 мая 1893 года приехала в Ясную Поляну…

Нам надо вспомнить особо, как воспринял Н.С. Лесков трактат Л.Н. Толстого «Царство Божие внутри вас». В июле 1893 года А.М. Хирьяков, молодой журналист, сотрудничавший некоторое время в «Посреднике», привез в Меррекюль, где проводил лето Лесков, свой рукописный экземпляр книги Толстого. Как вспоминала Веселитская, чтение продолжалось несколько вечеров. Кроме нее, присутствовал М.О. Меньшиков. В письме к Толстому Лесков ограничился краткими замечаниями: «…сочинение Ваше мудро и прекрасно сделано. Надо жить так, как у Вас сказано, а всякий понеси из этого сколько можешь… Все то, что Вы думаете и выражаете в этом сочинении, – мне сродно по вере и по разумению, и я рад, что Вы это сочинение написали и что оно теперь пошло в люди». Татьяне Львовне Лесков пояснил: «О впечатлении теперь не буду говорить, так оно <u>огромно</u> (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) и еще не утряслось. Может быть, нам и не следует писать своих впечатлений, так как все, что нам кажется, – вероятно, было у Льва Николаевича на уме и им отвергнуто по достаточным причинам». Лесков думал, что интересные замечания высказал М.О. Меньшиков, и тот 20 июля написал Толстому свое первое письмо.

«Не могу отделаться от душевной тревоги и раздумья, навеянного этою мужественною, прекрасною книгой, – писал Меньшиков. – Вся она, а в особенности ее выводы и заключения, производят захватывающее, могучее впечатление, будят стыд и совесть и желание быть лучшим… Нет сомнения, что эта книга вызовет против Вас новые взрывы ненависти, но она же вызовет и искренние слезы раскаяния, сердечного возмущения, чувство глубокой признательности к единственному человеку, самоотверженно ставшему на защиту общечеловеческой, божеской правды». Толстой 3 августа ответил, что был рад. «Я давно знаю вас и люблю ваши писанья. И потому мне очень дорог был ваш отзыв»…

Надо вспомнить и о письме Толстого Лескову того же июля 1893 года, в котором он, великий писатель, делится со своим духовным другом о своей работе: «Начал было продолжать одну художественную вещь [40], но, поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают, или я отживаю? Испытываете ли вы что-нибудь подобное? [41].

Еще начал об искусстве и науке. И это очень и очень забирает меня и кажется мне очень важным».

Какая доверительность и откровенность! Н.С. Лесков заслужил их…

Репозиторий ВГУ

8 октября 1893 года Толстой начал писать новую публицистическую статью, озаглавленную позднее «Христианство и патриотизм».

Толстого все более волновали военные настроения в европейских странах, милитаристские союзы и блоки, тайные приготовления к войне.

В дневнике и письмах статья называлась «Тулон»: поводом к ней послужили шумные празднества по случаю прибытия 1 октября в порт Тулон русской эскадры под командованием вице-адмирала Ф.К. Авелана – в ответ на такой же визит французских моряков в Кронштадт.

Печатая статью, законченную лишь в марте 1894 года, Толстой открыл ее словами: «Франко-русские празднества, происходившие в октябре прошлого года во Франции, вызвали во мне, вероятно так же как и во многих людях, сначала чувство комизма, потом недоумения, потом негодования, которые я и хотел выразить в короткой журнальной статье; но, вдумываясь все более и более в главные причины этого странного явления, я пришел к тем соображениям, которые и предлагаю теперь читателям».

Статья переполнена гневом и сарказмом. Может быть, поэтому временами Толстой сомневался в том, следует ли ее печатать. С самого начала было ясно, что в русской прессе она появиться не может. Были планы послать переводчикам в Германию. Н.С. Лесков, узнав от Л.И. Веселитской об этом, советовал английские газеты, и Толстой согласился, заметив в одном письме, что пошлет и в немецкие, и в английские, если пошлет, потому что пока статьей недоволен, хотя дело важное: «Тут не только протест, но и совет молодым и неопытным, который старику не следует скрывать».

В апреле 1894 года Толстым закончена статья о французском писателе Ги де Мопассане. Дважды – 12 и 19 сентября – по поводу статьи писал Толстому Лесков. «Критическая статья о Мопассане чрезвычайно хороша. Этот могучий человек мне всегда представлялся птицею с огромными и сильными крыльями, но с вытрепанным хвостом, в котором все правильные перья изломаны: он размахнет широко, а где сесть, не соразмерит. Все сказанное Вами о нем очень верно, и статья написана так, как бы и надо писать критики, не только для того, чтобы дать людям верное понятие об авторе, но и чтобы самому автору подать помощь к исправлению своей деятельности». И спустя неделю: «Мне очень стыдно за глупые слова, которые я написал Вам о Мопассане. По поводу Вашей статьи о нем я принялся за него наново и перечитал все, с хронологическою последовательностью по времени писания. Вы совершенно правы: он рос, и кругозор его расширялся, и то, что он дал, есть дорогое достояние. Моя погудка о несоответствии силы крыльев с рулевою силою хвоста этой могучей и дальнозоркой птицы никуда не годится… Благодарю Вас, что Вы дали мне возможность проверить свои понятия и исправить их»…

2 июня 1894 года в Ясную Поляну пришла тяжелая весть: накануне на своем хуторе Плиски Черниговской губернии, только что вернувшись домой, скоропостижно умер Н.Н. Ге.

Деятельная натура Толстого проявилась в это время со всею яркостью. Он поощрял В.В. Стасова писать книгу о Ге и отдавал для нее все материалы, в том числе – письма; разным лицам, в частности – Лескову, настойчиво советовал писать воспоминания о художнике…

Репозиторий ВГУ

Все лето и осень 1894 года продолжалась работа над «Христианским учением», казавшаяся нужной, временами радовавшая, но вялая и трудная. Лесков горячо поощрял Толстого и с нетерпением ждал это сочинение: «Положительное изложение христианского учения в катехизисной форме нужно более всякого иного литературного труда, и работа эта, – Вы увидите, – будет знаменитейшим вашим произведением, которое даст место Вашему имени в веках (подчеркнуто Лесковым. – *А.Н.*) и сделает дело, прямо сказать, апостольское». Толстой ответил 14 августа: «… Боюсь, что работа, за которую я взялся и о которой вы пишите, мне не по силам. До сих пор, несмотря на упорное занятие, я очень мало подвинулся. Я думаю, что я захотел слишком многого: изложить в краткой, ясной, неоспоримой и неспорной и доступной самому неученому человеку форме истину христианского мировоззрения – замысел слишком гордый, безумный». Впрочем, добавлял Толстой, лично для него эта работа полезна – «поучает и смиряет»…

Летом того же года, читая присланный редактором английский журнал «Labour Prophet» («Пророк труда»), Толстой нашел там «прекрасные» мысли Торо (в статье Джона Тревора) и «прекрасное письмо Мадзини о бессмертии». Это письмо он перевел и отправил издателю газеты «Неделя» и журнала «Книжки Недели» В.П. Гайдебурову. Перевод был напечатан в сентябрьском номере журнала. 12 сентября откликнулся Лесков: «Письмо Мадзини – это один восторг и упоение. Очень хорошо сделали Вы, что обрели его и подали в русском переводе».

…Лесков умер в ночь на 21 января 1895 года в Петербурге. Над диваном, на котором он спал и умер, висел большой портрет Толстого. В третьем номере журнала «Северный вестник» был помещен некролог, и там сообщалось, что среди бумаг оказалась записка, датированная 2 декабря 1892 года, – «Моя посмертная просьба». Лесков просил, чтобы его хоронили «по самому последнему разряду», чтобы не было никаких нарочитых церемоний, собраний «у бездыханного трупа», не говорить никаких речей, а на могиле «никогда не ставить… никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста».

Прочитав 26 марта 1895 года завещание Лескова, Толстой решил, что ему нужно «написать такое же». 27 марта в тетради дневника это было выполнено. Первые два пункта читаются так:

«1. Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу – как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это не приятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.

2. В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать».

Символично, что дружба Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова, так трогательно и плодотворно длившаяся долгие годы, как бы сгладила разницу в их статусах – великого и просто замечательного двух русских писателей: Толстой, названный учитель и кумир Лескова, оказался «в учениках» его, всей душой приняв смиренно-аскетический кодекс смерти, составленный Н.С. Лесковым…

Репозиторий ВГУ

14. «У Глеба Успенского... есть одна хорошая повесть – "Власть земли"...»
(Л.Н. Толстой и Г.И. Успенский)

Революционно-демократическая направленность творчества Г.И. Успенского в целом и народнические тенденции его прозы в 70–80-е годы не способствовали близости его взглядов со взглядами Л.Н. Толстого. Однако преобладание крестьянской тематики в творчестве Успенского 70–80-х годов совпало с переходом Толстого на позиции патриархального крестьянства, что вызвало определенный интерес двух писателей к творчеству друг друга.

Но первое знакомство Толстого и Успенского приходится на начало 60-х годов, когда начинающий тульский писатель Глеб Успенский напечатал в журнале Толстого «Ясная Поляна» (в основном, посвященном педагогическим проблемам) незначительный очерк «Михалыч».

Однако в начале 1864 года в первой части начатого романа «1805 год» есть пассаж, состоящий из шести пунктов, в котором объясняются причины, влияющие на выбор автором своих героев исключительно из аристократического общества.

Так вот, второй пункт определенно направлен против тематики русской литературы 1860-х годов; можно назвать тех писателей, которых имел здесь в виду Толстой. Это Островский («жизнь купцов»), Помяловский («жизнь семинаристов»), Достоевский («жизнь каторжников»), Николай и Глеб Успенские («жизнь мужиков») – те самые Островский и Достоевский, о которых Толстой еще недавно с такой похвалой отзывался в своих письмах, и те самые Глеб и Николай Успенские, рассказы которых он печатал в «Книжках» «Ясной Поляны».

Следующее сопоставление имен Толстого и Успенского касается отзыва Успенского о герое романа-эпопеи Толстого «Война и мир», а именно: о Платоне Каратаеве. Начнем с того, что в некоторых крестьянских образах классических русских писателей можно найти отдельные черты сходства с образом Платона Каратаева: в некрасовском безымянном мужике из стихотворения «С работы»; в никитинском «дедушке», который «за скорби славит Бога» и рад жить, но «не прочь и в могилу, в темный уголок»; и, конечно, в тургеневской Лукерье из рассказа «Живые мощи», для которого автор недаром взял эпиграфом стихи Тютчева о долготерпении русского народа; совершенно каратаевский тип выведен Далем в его рассказе «Прадедовские ветлы». Успенский считал Каратаева «типичным лицом, в котором наилучшим образом сосредоточена *одна* (курсив Успенского. – *А.Н.*) из самых существенных групп характернейших народных свойств» («Власть земли», гл. VIII). Говоря о том, что в образе Каратаева нашла свое выражение лишь «одна» из сторон психологии русского крестьянина, Успенский хотел сказать, что миросозерцание Каратаева как представителя патриархального крестьянства не выражает миросозерцания всего русского народа.

В середине 70-х годов Толстой работал над «Азбукой». В частности, там он поместил былины о четырех богатырях: Святогоре, Сухмане, Вольге и Микулушке Селяниновиче. Центральное место занимает образ Микулы Се-

Репозиторий ВГУ

ляниновича – олицетворение земледельческого труда, выражение силы и мощи трудового крестьянства. Эту былину Толстой частично переработал, сведя ее к заключительному аккорду: «Я Микула есмь, мужик я Селянинович», и прибавляя еще стих: «Я Микула, – меня любит мать сыра земля». Этого стиха нет ни в одной былине о Микуле Селяниновиче, он создан самим Толстым. На этот стих его навело одно место из былины «Святогор и Илья». В этой былине калики перехожие дают следующее наставление богатырю Илье Муромцу: «Будешь ты, Илья, великий богатырь, и смерть тебе на бою не писана. Бейся, ратися со всяким богатырем и со всею паленицею удалою; а только не выходи драться с Святогором богатырем: его и земля на себе через силу носит;… не бейся и с родом Микуловым: его любит мать сыра земля».

Эту характеристику Микулы, данную каликами перехожими, Толстой приписал самому Микуле, прибавив еще слово «мужик» (в духе Толстого!), и получилось полное глубокого смысла яркое поэтическое заключение, вполне соответствующее всему содержанию былины.

В очерках Успенского «Власть земли» (гл. IV) былина о Святогоре цитируется в редакции Толстого. «В стариннейшей былине о Святогоре-богатыре, – пишет там Успенский, – с глубочайшей силой и простотой указывается могущество самой обыкновенной, натуральной земли». Цитируя ответ Микулы Святогору, Успенский подчеркивает в нем те самые слова, которые были прибавлены Толстым, чего Успенский, разумеется, не мог знать [42].

Успенский продолжает внимательно следить за творчеством Толстого.

Вот уже написан и издан роман «Анна Каренина», возбудивший разноречивые отзывы о нем. Но почти все критики и рядовые читатели сходятся в том, что теперь э т а книга, а не «Война и мир» у Толстого – главная.

Г.И. Успенский, один из главных сотрудников «Отечественных записок», очень высоко оценил «Анну Каренину» как роман социальный.

22 октября 1878 года он сообщал Н.А. Николадзе о своем замысле написать ряд этюдов под названием «Разговоры об “Анне Карениной”», прибавляя, что этот роман – «богатая тема для изучения современной русской жизни, направления современной русской мысли и русского человека вообще».

Кстати, об «Отечественных записках» М.Е. Салтыков-Щедрин в письме к члену редакции этого журнала Г.З. Елисееву 30 сентября 1881 года писал: «Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую *новую* (курсив Салтыкова-Щедрина. – *А.Н.*) литературу, превосходную и искреннюю – в “Отечественных записках”. Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому…».

Неизвестно, какие именно произведения, напечатанные в «Отечественных записках», произвели на Толстого столь благоприятное впечатление. Мы знаем, что Толстому понравились очерки Успенского «Власть земли», печатавшиеся в «Отечественных записках» 1880 года…

24–25 августа 1883 года Толстого в Ясной Поляне посетил член Харьковского окружного суда, небогатый помещик Гавриил Андреевич Русанов, чтобы получить разъяснения по поводу «Исповеди» и «Нового Евангелия»

Репозиторий БГУ

Толстого. Благодаря образованности и широкому умственному кругозору автора, содержательности и достоверности сделанных им записей суждений Толстого по вопросам литературы и общественной жизни, воспоминания Русанова под заглавием «Поездка в Ясную Поляну 24–25 августа 1883 г.» заняли одно из первых мест в мемуарной толстовской литературе. В частности, Русанов пишет: «Зашел разговор о беллетристах-народниках. Толстой заявил, что Златовратский ему не нравится, но Глеба Успенского похвалил.

“ – Он очень хорош, – сказал Толстой, – но его беда в том, что к своим прекрасным изображениям народа он постоянно примешивает разные идейки свои и идейки довольно мелкие”».

На слова Русанова, что у Успенского «прекрасный юмор», Толстой опять повторил, что Успенский «очень, очень нравится» ему.

1884 год, декабрь. Толстой работает над статьей «Так что же нам делать?» о бедности города и деревни. Секретарь «Русской мысли» Н.Н. Бахметьев 5 января 1885 года писал Успенскому, желавшему познакомиться с новой статьей Толстого в корректурах: «Корректуру сочинения Толстого пришлю Вам, как только она придет в читаемый и более или менее окончательный вид. Навряд ли нам удастся выпустить эту статью в январской книге, которую задерживать далее 15 января невозможно, а Толстой далеко еще не готов. Новое его сочинение – замечательное, наделает много шуму и вполне вторит Вам, Вашему “Трудами рук своих”».

Этот эпизод завершился следующим образом. Февральская книжка «Русской мысли» за 1885 год вышла с вклейкой узкой полоски бумаги, на которой было напечатано: «Произведение графа Льва Николаевича Толстого “Так что же нам делать?” не может быть помещено».

Успенский, читавший статью Толстого в корректуре, имел намерение выступить о ней в печати, о чем он 29 января 1885 года писал Л.Ф. Ломовской: «Последняя статья Льва Толстого меня ужасно смутила, – мне кажется, что это первое фальшивое произведение, и я хочу написать об этом в “Русские ведомости”. «Смутили» Успенского, очевидно, первые главы статьи, где Толстой описывает свои попытки благотворительной деятельности среди московской нищеты. Об этих попытках Толстого Успенский 10–15 апреля писал А.И. Иванчину-Писареву, называя их «той чепухой, в которую попал Толстой со своей теорией благотворительности, которую практиковал на деле. Теперь он все это попрал», – прибавлял Успенский.

После запрещения статьи «Так что же нам делать?» Успенский отказался от своего намерения.

А теперь – о статье Успенского «Трудами рук своих», которую Н.Н. Бахметьев сопоставлял со статьей Толстого.

Статья Успенского появилась в 11-й книжке «Русской мысли» за 1884 год. В самом начале статьи Успенский сообщает читателю, «томящемуся решением вопроса, как жить свято?», что он намерен познакомить его с одной рукописью, написанной крестьянином, «в которой как бы “брезжит” нечто отвечающее на этот многосложный и многотрудный вопрос».

Рукопись озаглавлена «Трудолюбие, или торжество земледельца». Фамилия автора Успенским не указана, сообщается только, что крестьянин, ее

Репозиторий ВГУ

написавший, принадлежал к секте молокан, добровольно переехал в Енисейскую губернию.

В основу своих взглядов крестьянин кладет «первородный закон Божий», выраженный в Библии словами: «В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нее же взят». Автор, – говорит Успенский, – «последователен в развитии своих идей о святости и неизбежности для человека исполнять первородный закон Божий, повелевающий трудиться, и трудиться непременно своими руками».

«Человек, – говорит автор-крестьянин, – работающий хлеб своими руками, исполнен всех добродетелей, а удаляющийся от него творит зло». «Муж должен для себя и для жены и для детей своими руками работать хлеб, какого бы он ни был великого достоинства». «Пускай обнародуется этот первородный закон, и все мы получим себе временное и вечное спасение, потому что он собственный наш, земледельческий. А без него мы лишены и того, и другого, без него мы бедны, глупы, злы, без него мы сироты, как маленькие дети без отца и без матери».

Успенский вполне сочувствует основной мысли сочинения «Трудолюбие, или торжество земледельца». Он говорит: «Конечно, на Руси было бы много лучше жить, если бы соха поприбрала под свой целительный покров дурно направленные массы “нерабочего народа”. Да и вообще положение независимое на лоскуте земли – положение, выражающееся словами “сам хозяин, сам и работник”, – не оскорбительно ни для какого хорошего, образованного и честного человека. И ничего бы не было более желательного, если бы этот “тип” распространился на Руси, входил бы “в моду среди образованных людей подрастающего поколения”».

По мнению Успенского, приведенные им отрывки могут иметь значение «только для людей, не боящихся просто и смело *думать* (курсив Успенского. – *А.Н.*), и думать, конечно, во-первых, о том, “как жить свято?” вообще и, во-вторых, о будущем русских народных масс».

«У русского народа, – говорит далее Успенский, – есть полная возможность развиваться широко, самостоятельно, справедливо, нравственно, разумно».

Успенский называет «бледными» приведенные им отрывки из рукописи крестьянина. Это, конечно, потому, что по цензурным условиям ему совершенно не пришлось коснуться тех сильных, ярких страниц рукописи «Трудолюбие, или торжество земледельца», где содержатся резкие обличения праздной, роскошной жизни привилегированных классов рядом с изнемогающей от непосильного труда голодной крестьянской массой, действительно «в поте лица» добывающей свой хлеб. Намек на обличительное содержание рукописи крестьянина находим в следующих словах Успенского: «Как ни бледны те отрывки из рукописи, которые мною приведены, но и из них нельзя не убедиться, что в народе таятся вполне определенные и ясные стремления и что во имя веры в их справедливость он *может* (курсив Успенского. – *А.Н.*) совершенно ясно видеть и сознавать все, что этим стремлениям не соответствует, мешает, не подходит».

Репозиторий ВГУ

Статья Г.И. Успенского прошла почти незамеченной в литературе. Единственный отклик на эту статью был дан в статье «Обо всем», напечатанной в № 12 «Русского богатства» за 1884 год и принадлежащей редактору журнала Л.Е. Оболенскому. Совершенно обходя взгляды о нравственной необходимости земледельческого труда для каждого человека, «какого бы он ни был великого достоинства», Оболенский пишет о значении для народа деятельности интеллигенции: врачей, учителей, земцев и пр. «Конечно, – оговаривается Оболенский, – если кто из интеллигентных людей в силах заняться земледелием… не теряя и способности при нынешних условиях этого труда мыслить и работать умственно, тому дай Бог успеха: “Могущий вместити да вместит!”, но таких немного».

В кругу читателей «Русской мысли» статья Успенского имела большой успех. В письме к А.И. Иванчину-Писареву от 10–15 апреля 1885 года Успенский, упомянув о том, что в рукописи молоканина цензурой было вычеркнуто «множество» мест, далее писал: «Она произвела большое впечатление, и массу писем я получил».

На Толстого выдержки из сочинения крестьянина, приведенные в статье Успенского, произвели очень сильное впечатление. В письме к Л.Д. Урусову от 13 июля 1885 года Толстой вспоминал свой разговор с ним о статье Успенского с выдержками из рукописи «молоканина» о «первородном законе труда в поте лица, который забыт человечеством – одной частью». Воспоминание о чтении статьи Успенского находим также в письме Толстого к Черткову, написанном в тот же день [43].

…21 января 1887 года драма Л.Н. Толстого «Власть тьмы» читалась у В.М. Гаршина по корректурам, полученным от В.Г. Черткова. В числе слушателей был Успенский, который так же, как и остальные, горячо воспринял пьесу Толстого. Автор знаменитых очерков «Власть земли» (1882), с «недоумением» замечавший, что крестьянин выходит из-под этой спасительной власти, писал о конфликте толстовской пьесы: «Не будь расстройства народной среды, дающего деньгам силу, не продалась бы Анисья, не пошел бы в работники Никита, и Петр, оставшись без купленного труда, выдал бы Акулину замуж честь-честью». Свой главный вывод Успенский сформулировал так: «Хрустение косточек человеческих – явление неизбежное в нашем строе общества».

Вот маленький штришок толстовского отношения к двум конкретным произведениям Успенского. Два дня (5 и 6 февраля 1888 года) у Толстого в московском доме гостили Г.А. Русанов и П.А. Буланже. Говорили о последних произведениях Гончарова – «Слуги», «На родине» («у Гончарова узкий кругозор», – сказал Толстой), рассказах Г. Успенского – «Паровой цыпленок» («прекрасная вещь») и «Живые цифры» («не нравится»).

Теперь – из полицейской хроники. К 1896 году (28 июля) относится бумага «Сведения о графе Толстом лично, находящиеся в делах департамента полиции». Содержит сведения от 1861 по 1896 год: данные о борьбе властей с учением Толстого, списки его последователей, описание произведенных у него (1862) и его единомышленников обысков; о связях его с революционно настроенными студентами, с пропагандистами-народниками, обличительном

Репозиторий ВГУ

направлении творчества. Особо отмечено сближение в 1892 году «с такими литераторами-народниками, как Михайловский, Успенский и Станюкович».

Уже на склоне жизни отметил Толстой (уже в который раз!) одно знаменитое произведение Успенского. В дневнике Д.П. Маковицкого (его известные четырехтомные «Яснополянские записки») есть запись слов Толстого: «У Глеба Успенского, которого я невысоко ставлю, есть одна хорошая повесть – “Власть земли”, – о том, что земля имеет свойство формировать работающего на ней».

15. «Из молодых Л.Н. признает талант лишь за Гаршиным... и Чеховым»

(В.Ф. Лазурский)

(Л.Н. Толстой и В.М. Гаршин)

Конец 70-х – начало 80-х годов ознаменованы двумя откровениями Л.Н. Толстого, обозначившими «перелом» в его мировоззрении – переход на позиции патриархального крестьянства.

Многие писатели, деятели культуры, ученые (например, Д.И. Менделеев, В.В. Стасов) с недоумением восприняли такой крутой (в их представлении) поворот в мировосприятии Толстого.

Но среди молодых писателей того времени нашелся один, которого очень заинтересовало «опрощение» Толстого. Это был уже пользовавшийся в то время известностью благодаря своим рассказам, печатавшимся в «Отечественных записках», Всеволод Михайлович Гаршин, а чуть позже – молодой Антон Павлович Чехов.

Гаршин находился в то время в очень тяжелом духовном состоянии, вызванном участившимися террористическими актами народовольцев против членов правительства и казнями террористов. Гаршин считал террор как средство политической борьбы бесплодным; казни революционеров заставляли его глубоко страдать. «Он с ужасом и тоской смотрел на страшную борьбу», – пишет его друг М. Латкина.

12 февраля 1880 года был назначен новый министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, и уже 20 февраля было произведено террористом Млодецким покушение на его жизнь. Стрелявший был схвачен, а на другой день, 21 февраля, военный суд вынес ему смертный приговор.

Страшно потрясенный ожиданием казни, Гаршин пишет Лорис-Меликову письмо, в котором умоляет его «простить преступника». «В вашей власти, – писал Гаршин, – не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) и в то же время *казнить* (курсив Гаршина. – *А.Н.*) идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невиновных… Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу – положите начало казни *идеи* (курсив Гаршина. – *А.Н.*), его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу *людей* (курсив Гаршина. – *А.Н.*), вложивших в его руку револьвер».

Репозиторий ВГУ

Ночью Гаршину с большим трудом удалось проникнуть на квартиру Лорис-Меликова с тем, чтобы живым словом усилить действие своего письма. По словам Г.И. Успенского, Гаршин «стал умолять» Лорис-Меликова «на коленях, в слезах, из глубины души с воплем раздиравшегося на части сердца о снисхождении к какому-то лицу, подлежавшему строгому наказанию». Гаршин, по рассказу одного из его друзей, умолял диктатора о подвиге прощения, заклинал его «начать вселенское, всечеловеческое дело мира и добра».

Лорис-Меликов обещал Гаршину что-то сделать, но не сделал ничего, и на другой день, 22 февраля, Млодецкий был казнен. Казнь эта была тяжелым ударом для Гаршина, и временно он даже заболел психически.

16 марта 1880 года, оправившись от поразившего его недуга, Гаршин из Тулы поехал в Ясную Поляну.

Воспоминания о первой и единственной встрече Толстого с Гаршиным оставил сын Толстого Илья Львович, которому в то время было четырнадцать лет. Несмотря на эксцентричность первых слов Гаршина (на вопрос Толстого: «Что вам угодно?» – он ответил: «Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки»), разговор быстро наладился. Гаршин назвал себя и сказал, что он тоже «немножко» писатель: Толстой уже читал его рассказ «Четыре дня», напечатанный в «Отечественных записках», и когда узнал, что перед ним автор этого рассказа, начал расспрашивать его, что ему пришлось видеть на войне. «Рассказы его отличались живостью и слушались с интересом», – писал присутствовавший при разговоре Толстого с Гаршиным В.И. Алексеев.

После общего разговора у Толстого с Гаршиным произошла беседа один на один, о которой первый биограф Гаршина Я.В. Абрамов писал, что Гаршин «ставил Толстому какие-то мучившие его вопросы».

Несколько лет спустя Гаршин в беседе с писателем А.И. Эртелем «с чувством живейшего умиления» вспоминал о том, как из Тулы пошел он пешком в Ясную Поляну к незнакомому ему в то время Л.Н. Толстому, о разговоре с ним, длившемся всю ночь, и о том, что считает эту ночь «лучшей и счастливейшей в своей жизни».

В январе 1887 года Гаршин рассказывал писателю В. Бибикову, что, будучи в Ясной Поляне, он сообщил Толстому «свои планы об устройстве всемирного счастья. Планы Всеволода Михайловича не показались [Толстому] такими несбыточными, какими они казались всем другим, знавшим болезнь Гаршина. Они долго говорили. Подробностей беседы В.М. не помнил, но помнил, что Толстой одобрил и приветствовал его начинания».

В 1906 году редактор издательства «Посредник» И.И. Горбунов-Посадов, а в 1909 году Н.Н. Гусев по просьбе биографа Гаршина С.Н. Дурылина расспрашивали Толстого о встрече его с Гаршиным. Толстой сказал, что плохо помнит подробности, но общее впечатление, которое он тогда вынес от Гаршина, выразил словами: «Это была вода на мою мельницу». Толстой почувствовал, что Гаршин, точно так же, как он сам, захвачен исканием нравственной и религиозной истины и попытками осуществления ее в своей жизни. Гаршин, по словам Толстого, «был полон планов служения добру». «Лев Николаевич смутно припоминал, что Гаршин горячо говорил еще

Репозиторий ВГУ

что-то против городов, мечтал о поселении в деревне и строил какие-то планы». «И в этом он тоже был мне близок», – говорил Толстой.

«След» от общения с Гаршиным остался в душе Толстого; прекрасный душевный мир Гаршина был ему близок, но он затруднялся обозначить его чертами более определенными.

На вопрос Толстого, пишет ли он, Гаршин скромно ответил: «Кое-что пописываю». Особо отметил Толстой, что в Гаршине совсем не было видно писателя, «просто хороший, добрый, милый человек».

Запомнилась Толстому наружность Гаршина: «Прекрасное лицо, большие светлые глаза, все в лице открыто и светло».

1 апреля 1908 года приехавший в Ясную Поляну Илья Львович Толстой стал припоминать разные эпизоды из прошлой яснополянской жизни, вспомнил и приезд Гаршина. «Он очень понравился мне, – сказал Лев Николаевич, – у него была грусть в глазах. Но глаза красивые».

В 1909 году С.Н. Дурылин побывал в Ясной Поляне и расспрашивал Толстого о Гаршине. Он узнал от Толстого, что Гаршин ничего не сказал ему о своем письме к Лорис-Меликову и посещении его. Эта черта необыкновенной скромности Гаршина, сообщает Дурылин, «помню, вызвала настоящее умиление во Льве Николаевиче. Он несколько раз в разговоре возвращался к ней».

Из Ясной Поляны В.М. Гаршин, по воспоминаниям его брата Евгения Михайловича, поехал верхом в город Новосиль Тульской губернии, где «как лицо подозрительное» был задержан. Через несколько дней брат нашел его в имении А.И. Филатова Мураевке Кромского уезда Орловской губернии. Здесь Всеволод Михайлович рассказал брату, что получил от Глеба Успенского предложение поехать в Самарскую губернию с тем, чтобы занять место писаря сельского ссудосберегательного товарищества, на что он охотно согласился. Он рассказал об этом Толстому, и Толстой одобрил его намерение. По рассказу Гаршина, Толстой принял его у себя в кабинете, куда им подали обед, и беседовал с ним с глазу на глаз.

По словам И.Л. Толстого, Гаршин через некоторое время еще раз приехал в Ясную Поляну, но уже душевнобольной. Он приехал верхом на неоседланной лошади, которую отпряг у какого-то тульского извозчика, и сказал, что на этой лошади он поедет в Харьков к матери. Толстого в это время в Ясной Поляне не было. Е.М. Гаршин отрицает сообщение И.Л. Толстого, будто его брат приехал в Ясную Поляну на лошади, отпряженной у извозчика; он пишет, что у него хранилась расписка тульского извозчика в том, что он продал В.М. Гаршину лошадь и деньги от него получил сполна. Но Е.М. Гаршин относит покупку его братом лошади к первому его посещению Ясной Поляны, о втором же посещении Е.М. Гаршин совершенно не упоминает.

Толстой продолжал интересоваться судьбой Гаршина. 8 февраля 1881 года С.А. Толстая по поручению Льва Николаевича запрашивала свою сестру Т.А. Кузьминскую, жившую с мужем в Харькове, не находится ли в харьковском «сумасшедшем доме» Гаршин и как его зовут. «От ответа на этот вопрос (да еще на вопрос о том, есть ли в Харькове сектанты-штундисты), – писала Софья Андреевна, – может быть, зависит поездка Лёвочки в Харьков». Но Гаршина в то время уже не было в Харькове.

Репозиторий БГУ

В конце января или в начале февраля 1884 года у Толстого был приятель Гаршина естественник В.А. Фаусек. «Меня очень тронуло, – писал Гаршин матери 4 февраля 1884 года, – что Толстой меня помнит. Больше всего заинтересовало его, что я занимаюсь переплетением книг, и он очень много расспрашивал В.А. об этом».

В конце января или в начале февраля 1885 года Гаршин ездил в Москву только для того, чтобы повидаться с Толстым, но встреча не состоялась: Толстой в это время был в Ясной Поляне…

А в мае 1880 года о Гаршине напомнил Толстому И.С. Тургенев, приехавший в Ясную Поляну уговорить своего знаменитого друга принять участие на открытии памятника Пушкину в Москве. Тургенев привез с собой третью книгу журнала «Русское богатство» за 1880 год, где был напечатан рассказ Гаршина «Люди и война», впоследствии печатавшийся в сборниках его сочинений, под названием «Денщик и офицер». Он рекомендовал Толстому Гаршина как лучшего из всех молодых писателей того времени, в чем Толстой с ним вполне согласился. Об этом сам Тургенев писал Гаршину 14 июня 1880 года: «Ваше последнее произведение (к сожалению, неоконченное) “Война и люди” окончательно утвердило за Вами в моем мнении первое место между начинающими молодыми писателями. Это же мнение разделяет и граф Л.Н. Толстой, которому я давал прочесть “Войну и людей”».

В 1882 году был напечатан рассказ Толстого «Чем люди живы». Весь рассказ проникнут христианскою идеей в ее чистейшем виде. Основою взята одна из наиболее полно выражающих эту идею книг Нового завета – первое послание апостола Иоанна и его центральная мысль: «кто в любви, тот в Боге, потому что Бог есть любовь». Необычайная атмосфера душевной чистоты и святости проникает ею насквозь…

В сборнике «Обзор детской литературы», вышедшем под редакцией В.М. Гаршина и А.Я. Герда, была дана следующая оценка рассказу «Чем люди живы»: «Высокая мысль, вложенная в рассказ, его человечность и необыкновенно художественное и вместе с тем простое изложение делают эту книжку необходимой во всякой школьной библиотеке. Каждый грамотный человек, от едва начинающего читать ребенка до взрослого, будь он простой человек или представитель образованного класса, может и должен прочесть “Чем люди живы”».

В 1885 году Гаршин задумал написать пьесу об Аггее, пострадавшем от гордости. Толчком послужил сборник А.Н. Афанасьева, где были помещены два варианта старинного сказания – книжный и народная переделка. Пьеса не была закончена. А 6 апреля 1886 года В.Г. Чертков сообщил Толстому: «Гаршин написал прекрасно “Правителя Аггея”. Он вложил туда все то хорошее, чем он владеет, – теплоту, нежность. Он сначала появится в “Русской мысли”, и мне очень интересен ваш отзыв».

«Сказание о гордом Аггее» Гаршина заканчивается действенным раскаянием: Аггей отказывается быть царем. Я, говорит он, «прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям. Ушел Аггей в мир и работал до самой смерти на бедных, слабых и угнетенных».

Репозиторий ВГУ

Хотя письменный отзыв Толстого о гаршинском рассказе неизвестен, не приходится сомневаться, что он одобрил и все «Сказание», и его конец (приблизительно так решит сам Толстой судьбу князя Касатского в «Отце Сергии» и царя Александра I в своем изложении легенды о Федоре Кузьмиче). По цензурным условиям того времени «Сказание о гордом Аггее» Гаршина было напечатано «Посредником» лишь в 1900 году. Свою пьесу Толстой не стал заканчивать и больше никогда не возвращался к работе над ней.

Следующий отклик В.М. Гаршина – о драме Толстого «Власть тьмы» (1887). Отзывы о «Власти тьмы» находились прежде всего в письмах к Толстому. В печати о пьесе, хотя и опубликованной, но запрещенной к постановке, говорить было почти нельзя. В ту пору появились лишь критическая заметка брата Всеволода Михайловича Евгения Гаршина, который отказывал Толстому в драматическом таланте («Его талант не подлежит сомнению, но исключительно в области художественной эпопеи»), статья Суворина «По поводу драмы Л.Н. Толстого» («Новое время», 5 января 1887 г.), в которой он сообщал, что знаком с пьесой по рукописи, и давал ей очень высокую оценку, да две заметки Н.С. Лескова «О драме Л.Н. Толстого и о ее варианте», «По поводу драмы “Власть тьмы”» («Петербургская газета», 1887, № 38 и 62).

Писем с выражением восхищения было много.

3 января 1887 года пьеса читалась у В.Г. Черткова в присутствии И.Е. Репина и В.М. Гаршина. Гаршин говорил, что драма написана с шекспировской силой. В.А. Фаусек вспоминал о Гаршине: «“Власть тьмы” он встретил с величайшим энтузиазмом. В одном небольшом обществе была прочитана рецензия на “Власть тьмы”, возмутившая Всеволода Михайловича, и он возражал на нее целой речью, произнесенною экспромтом. Он защищал пьесу Толстого против обвинения в безнравственности; по его мнению, “Власть тьмы” была настоящая, истинная трагедия… Трагедия должна вызывать в зрителе “ужас и сострадание”: “Власть тьмы” именно и возвышает ужас и сострадание».

Сам Гаршин писал брату, что его защита гениальной пьесы не является защитой непротивленческих идей Толстого: «…защищать драму Толстого и признавать его… “непротивление” – две вещи совершенно разные… Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и Толстым не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, например); если ты этого не знал, можешь спросить у Черткова при случае: он скажет тебе, что меня “ихним” считать невозможно».

21 января 1887 года драма читалась у В.М. Гаршина по корректурам от В.Г. Черткова. В числе слушателей был Г.И. Успенский, который так же горячо воспринял пьесу Толстого.

В 1887 году Толстой беседовал с 19-летним начинающим писателем из рабочих С.Т. Семеновым. Разговор зашел об изданиях «Посредника», и Толстой очень высоко отзывался о только что изданном рассказе В.М. Гаршина «Четыре дня»: «Это прекрасная вещь, там психология человека, отражающего ужас войны. Ведь война – ужасное дело среди людей, и в рассказе чувствуется этот ужас».

Репозиторий ВГУ

В апреле 1888 года, сообщая П.И. Бирюкову о своем отказе участвовать в сборнике «Красный цветок», посвященном памяти В.М. Гаршина (Гаршин кончил жизнь, бросившись в пролет лестницы, 24 марта 1888 года), несмотря на свою «большую любовь к Гаршину», которую «желал бы выразить», Толстой написал важные строки о своей писательской деятельности: «в ней, когда она истинная, высшее мое благо, и потому и дело».

С 14 июня по 12 августа 1895 года В.Ф. Лазурский репетировал младших сыновей Толстых в Ясной Поляне и зафиксировал многие суждения Толстого о литературе и писателях. В частности, о современниках, русских и европейских. «Из молодых Л.Н. признает талант лишь за Гаршиным (указывает его “Ночь”, “Глухарь”, “Два художника” и др.) и Чеховым»… Два откровения Л.Н. Толстого.

16. «Я с удовольствием перечту всего Чехова» **(Л.Н. Толстой и А.П. Чехов)**

Начнем с юмора.

Толстой вообще ценил юмор в художественных произведениях и высоко ставил таких писателей, как Гоголь, Слепцов, Чехов. Перечисляя те «качества писателя», которыми, по его мнению, обладал его брат Николай Николаевич, Толстой в прочих называет и свойственный его брату «веселый юмор». «Великая вещь, – говорил Толстой, – настоящий веселый комизм – и в писателе, и в актере». В Чехове Толстой выделял комизм как такое достоинство, которое выкупает его недостатки. В рассказе Чехова «Душечка» (1899) Толстой, наряду с трогательностью образа героини, высоко ценил «чудный, веселый комизм всего произведения».

Но Чехову был свойственен не только юмор, так нравившийся Толстому. В 1886 году он опубликовал рассказ «Сестра», персонажи которого спорят о непротивлении злу насилием. Бойкий критик теории Толстого фельетонист Лядовский изображен здесь в ироническом свете. Достоверно известно, что в начале января 1887 года Чехов в споре с журналистом А.Д. Курепиным «доказывал, что нужно хорошенько разобраться в толстовской теории сопротивления злу, а пока нельзя честно говорить ни за, ни против».

Толстой много работал над образом «старика – работника, отставного солдата» в пьесе «Власть тьмы». Он любил этот тип, в котором отзывчивость, доброта, совестливость сочетались с простой, даже грубой речью. Позднее такой старик приснился во сне: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель» (дневник за 7 мая 1901 г.).

В марте 1889 года И.М. Ивакин посетил Толстого. У него сидели Озмидов, Львов и какой-то студент и по английскому каталогу отбирали сто книг для чтения, «чтобы человек мог рассеять окружающий его мрак». Были отобраны: Эпиктет, Кант, Шопенгауэр, Гольдсмит, а из русских – Гоголь. Тогда же Толстой сказал своим помощникам: «А вот мне дали читать нового писателя, просят, чтоб я в него вник».

Речь шла о сборнике А.П. Чехова «В сумерках».

Репозиторий ВГУ

В начале 1889 года Толстой читал Чехова. 5–6 февраля Т.Л. Толстая писала брату Сергею Львовичу: «Папá очень понравился маленький очерк Чехова в календаре “Стоглав”, и он несколько раз его вслух читал». Это был рассказ «Беглец». Вскоре у Толстого появилась и книга рассказов Чехова – сборник «В сумерках», вышедший вторым изданием в 1888 году.

В дневнике 15 марта записано: «Я читаю хорошенькие вещицы Чехова. Он любит детей и женщин, но этого мало», затем 17 марта: «Читал Чехова. Нехорошо – ничтожно»; «Весь вечер сидел один, читал Чехова. Способность любить до художественного прозрения, но пока незачем».

16 марта И.М. Ивакин записал разговор о Чехове: «Зачем Л.Н. дал мне читать вслух рассказ “Арина” (ошибка; следует: “Агафья”. – *А.Н.*); (он любил слушать, как я читаю вслух), но вскоре тихонько взял у меня книгу.

– Нет, что-то плохо!

Содержание рассказа для чтения вслух было, правда, несколько фривольно. Он с книгой отошел в сторону, но и читая один, немного погодя сказал:

– Нет, читаю, все думаю, что он поправится, а он все не поправляется».

Это первоначальное мнение – о большом художественном таланте у Чехова при отсутствии «своей определенной точки зрения», т.е. нравственного суда над лицами, – осталось у Толстого до конца жизни. Впоследствии он узнал и полюбил Чехова-юмориста, автора таких рассказов, как «Злоумышленник». В некоторых же поздних его вещах, таких, как «Душечка», почувствовал высокое нравственное отношение к предмету, проявляющееся, может быть, вопреки писательскому намерению.

Весной 1889 года Толстой был в Москве и читал чужие рукописи. Прежде всего – рукопись Н.П. Овсянникова «Эпизод из жизни Л.Н. Толстого» – о защите на военном суде в 1866 году солдата Василия Шебунина, ударившего офицера (несмотря на защиту Толстого, Шебунин был приговорен к смертной казни и расстрелян). В дневнике 9 апреля – отзыв о рассказе Овсянникова: «Написано дурно, но эпизод ужасен в простоте описания – контраста развращенных полковника и офицеров, командующих и завязывающих глаза, и баб и народа, служащего панихиды и кладущего деньги»…

Статья была исправлена Овсянниковым по указаниям Толстого и послана в «Новое время», где проредактирована В.П. Бурениным и А.П. Чеховым. Однако по цензурным условиям не смогла там появиться и была напечатана лишь в 1896 году («Русское обозрение», 1896, № 11). Могила Шебунина находится недалеко от Ясной Поляны, близ ст. Щекино…

Повесть Толстого «Крейцерова соната» (1889) горячо обсуждалась в литературных кругах.

15 февраля 1890 года А.П. Чехов писал в Петербург старому литератору и редактору А.Н. Плещееву: «Неужели вам не понравилась “Крейцерова соната”? Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная – тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоты исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее, едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: “Это правда!” или “Это нелепо!”».

Репозиторий ВГУ

Чехов считал странными, с точки зрения врача-специалиста, рассуждения «о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч.». «Но все-таки, – продолжал он, – эти недостатки разлетаются, как перья от ветра; ввиду достоинств повести их просто не замечаешь, а если заметишь, то только подосадуешь, что повесть не избегла участи всех человеческих дел, которые все несовершенны и не свободны от пятен». И вскоре он же писал А.С. Суворину, что повесть в Москве «имеет успех».

После поездки на Сахалин у Чехова мнение изменилось. Тому же Суворину он написал 17 декабря 1890 года: «До поездки “Крейцерова соната” была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – черт меня знает». О «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» у Чехова чрезвычайно резкий отзыв; Чехов сравнивал «Послесловие» с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя: «Убейте меня, но это глупее и душнее, чем “Письма к губернаторше”, которые я презираю. Черт бы побрал философию великих мира сего! Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в глазах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из “Холстомера”».

Вот так!

Но независимое, хотя и субъективное мнение Чехова относительно «Крейцеровой сонаты» Толстого не мешало младшему собрату по достоинству оценить, например, публицистическую статью Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (1891).

Интересно, что сам Толстой не переоценивал ее. В ноябрьской странице дневника он писал: «Вчера я с вечера усердно писал статью, описывающую нашу деятельность, сегодня утром проснулся в семь и писал, не выходя из комнаты. Пустая статья, но нужна тем, что сообщает другим приемы заведения и ведения столовых».

Статья была закончена 26 ноября. 10 декабря она появилась в сборнике «Помощь голодающим», изданном «Русскими ведомостями», а через несколько дней выпущена редакцией газеты в виде отдельной брошюры.

11 декабря Чехов писал об этой статье А.С. Суворину: «Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер. В “Современник” он дал статью насчет столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых и разумных, что, по выражению редактора “Русских ведомостей” Соболевского, статья эта должна быть напечатана не в “Сборнике”, а в “Правительственном вестнике”».

Позднее Толстой говорил, что самые счастливые периоды в его жизни были те, когда он всего себя отдавал на служение людям: школа, работа на голоде.

В 1891–1892 году он проявил те черты своей личности, о которых в одном из писем горячо сказал Чехов: «Надо иметь смелость и авторитет Толсто-

Репозиторий ВГУ

го, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг».

В этот тяжелый для России и русского народа год Толстой пришел к несомненному убеждению, что жизнь не может продолжаться в старых формах и дело подходит к развязке. «Какая будет развязка, – писал он 31 мая 1892 года, – не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен».

…В последние месяцы 1892 года круг толстовского чтения был разнообразен: наш Тургенев, швейцарский философ и поэт Амиель, И. Потапенко, Бодлер, Вл. Соловьев и др. И.И. Горбунову-Посадову, издавшему позднее в «Посреднике» «Палату № 6», Толстой написал 24 декабря, прочитав повесть в только что вышедшей одиннадцатой книжке «Русской мысли»: «Какая хорошая вещь Чехова “Палата № 6”».

Около 20 декабря 1892 года к Толстому пришел П.А. Сергеенко, в прошлом однокашник А.П. Чехова по таганрогской гимназии, а теперь беллетрист, сотрудник различных периодических изданий. 5 января 1893 года Сергеенко писал Чехову, что Толстой очень интересовался им и рад был бы свидеться. В начале марта, будучи в Москве, Чехов написал А.С. Суворину о знакомстве с писателем А.И. Эртелем: «Он просил сходить вместе к Толстому, который стал ко мне благоволить особенно, но я отклонил сие предложение, ибо мне некогда, а главное – хочется сходить к Толстому solo». И 13 апреля – в письме к сестре Марии Павловне, также сообщавшей о настойчивых просьбах Сергеенко и о том, что Толстой и Репин «разыскивали» Чехова: «Боюсь также, что Сергеенко потащит меня к Толстому, а к Толстому я пойду без провожатых и без маклеров».

Вспоминал эту историю Чехов и позднее: «Я хотел быть у Толстого, и меня ждали, но Сергеенко подстерегал меня, чтобы пойти вместе, а идти к Толстому под конвоем или с нянькой – слуга покорный».

Чеховские письма этого времени наполнены восторженными отзывами о Толстом.

«Я читаю Тургенева. Прелесть, но куда жиже Толстого! Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод»; «Как вспомнишь толстовскую Анну Каренину, то все эти тургеневские барыни со своими соблазнительными плечами летят к черту».

Чехов приехал в Ясную Поляну лишь в августе 1895 года и тогда впервые увиделся и разговаривал с Толстым.

Но еще до личной встречи с великим писателем, полутора годами раньше, Чехов в одном из писем высказался по поводу его философских рассуждений: «…Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода».

Толстой, в свою очередь, не оставлял без внимания творческие успехи молодого писателя, симпатичного ему серьезностью тематики своих произведений и их художественным исполнением. Так, беседуя 20 декабря 1893 года в Хамовниках с молодым профессором литературы в Бордо, переводчиком

Репозиторий ВГУ

Жюлем Легра, Толстой говорил о народном образовании в России, хвалил Чехова конкретно – его рассказ «Беглец», появившийся незадолго до того в «Revue des Deux Mondes». Легра полностью разделял это мнение Толстого.

Насколько внимателен был Толстой к произведениям Чехова, говорит следующий отзыв 1894 года (по «Воспоминаниям о Л.Н. Толстом» Г.А. Русанова): «Конечно, разговор коснулся Чехова. “Рассказ неизвестного человека” – “плох”, но “Черный монах” – “прелесть”; “Степь” – “прелесть”! Описания природы прекрасны. Рассказ этот представляется мне началом большого биографического романа, и я удивляюсь, почему Чехов не напишет его”, – сказал Толстой».

Словно бы примеряя молодые писательские таланты к своему опыту, Толстой в том же году признается (дневник В.Ф. Лазурского): «Из молодых талантливы лишь Гаршин… и Чехов». Понравился рассказ Чехова «Учитель словесности». «Для Л.Н-ча этот человек симпатичный, – записал Лазурский о Чехове, – относительно которого можно всегда быть уверенным, что он не скажет ничего дурного. Хотя он и обладает художественной способностью прозрения, но сам еще не имеет чего-нибудь твердого *и не может потому учить* (курсив наш. – *А.Н.*) [44]. Он вечно колеблется и ищет. Для тех, кто еще находится в период стояния, он может иметь то значение, что приведет их в колебание, выведет из такого состояния. И это хорошо».

Итак, 8 августа 1895 года в Ясную Поляну приехал А.П. Чехов и провел здесь еще день, 9-го. Это была их первая встреча. Толстой подарил Чехову свою фотографию.

7 сентября 1895 года Толстой отметил в дневнике, что читал «Воскресение» разным лицам, Чехову в том числе (на самом деле Чехову дал прочесть рукопись). Сыну Льву, который уже был знаком с Чеховым, Толстой написал 4 сентября: «Чехов был у нас, и он понравился мне. Он очень даровит, и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него своей определенной точки зрения».

«Я прожил у него 1 ½ суток. Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Л.Н. были легки. При свидании расскажу подробно», – обещал Чехов А.С. Суворину. В августовских и сентябрьских письмах – никаких рассказов о встрече с Толстым, только просьба к старшему брату Ал.П. Чехову помочь слепому страннику из Каширы, о котором хлопотал Толстой (Ал.П. Чехов редактировал журнал «Слепец», издававшийся попечительством о слепых), и там же, в обычном чеховском стиле, шутка: «Я говорил про тебя Толстому, а он остался очень недоволен и упрекал тебя за развратную жизнь».

Когда 15 февраля 1896 года Хамовнический дом в Москве посетили А.П. Чехов, А.С. Суворин и Б.Н. Чичерин, Толстой выразил сожаление, что давал читать Чехову «Воскресение» в рукописи (в августе 1895 года): «Теперь там не осталось камня на камне – все переделано». Чехов спросил, даст ли Толстой теперь прочесть. Последовал ответ: «Когда кончу – дам». Но до конца было еще очень далеко…

На исходе 1896 года, 29 декабря, когда у жены был званый вечер, Толстой в половине десятого пошел к сыну своего воронежского друга А.Г. Русанову, – вместе с А.Н. Дунаевым, С.Т. Семеновым и Л.Ф. Анненковой. Го-

Репозиторий ВГУ

ворили о литературе, больше всего о Чехове – недавно поставленной на сцене «Чайке» и повести «Моя жизнь». Пьеса не понравилась – «нет никакой идеи»; повесть «много лучше, там есть прекрасные места».

В феврале 1897 года Толстой посетил Петербург, где остановился на квартире Олсуфьевых. Сюда, чтобы поговорить с Толстым, приходили разные люди (Суворин, Ге, Чертков и др.). О «Чайке» Чехова Лев Николаевич сказал, что «это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет». Суворин заметил, что Чехов умер бы, если б услышал такое мнение. Толстой ответил: «Я ему скажу, но мягко, и удивлюсь, если он огорчится. У всякого есть слабые вещи… Лучшее в пьесе – монолог писателя, это автобиографические черты, но их можно было написать отдельно или в письме, в драме они ни к селу, ни к городу».

28 марта 1897 года Толстой навестил Чехова, находившегося в клинике А.А. Остроумова из-за сильного легочного кровотечения. О том, что к больному можно пойти, сказала случайно встреченная писательница Л.А. Авилова, сестра Ф.А. Страхова, хорошего знакомого, разделявшего толстовские взгляды и по поручению Черткова работавшего над составлением «Свода мыслей Л.Н. Толстого». Все сведения об этой встрече – со стороны Чехова, который вообще не вел дневника (лишь записные книжки), и очень немногие события отразились в отрывочных дневниковых заметках. К счастью, происшедшее 28 марта записано: «Приходил ко мне Толстой Л.Н.; говорили о бессмертии. Я рассказал ему содержание рассказа Носилова “Театр у вогулов” [45], и он, по-видимому, прослушал с большим удовольствием».

О том, что приходил Толстой, Чехов упомянул в коротком письме А.С. Суворину, а из Мелихова рассказал подробнее М.О. Меньшикову и А.И. Эртелю.

«Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессилие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляются в виде бесформенной студенистой массы; мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю».

«Толстой пишет книжку об искусстве. Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою “Воскресение” он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел об искусстве 60 книг. Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до nec plus uttra (крайней степени), что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого ему нет выхода (вперед)».

В одном Толстой и Чехов оказались совершенно согласны – отношении к народному театру. Чехов написал Суворину 4 апреля 1897 года, что в Москве, при обилии театров, недостает народного театра. Толстой же включил ус-

Репозиторий ВГУ

лышанный им рассказ о наивном и прекрасном представлении у вогулов в свою книгу об искусстве. Статью К.Д. Носилова, писателя-этнографа, корреспондента «Нового времени», Чехов прочел в газете. Вероятно, в связи с посещением Толстого на другой день в короткой записке Суворину спрашивал имя, отчество, адрес автора (с которым в 1895 году переписывался, но в клинике не было этих сведений).

Чехов приезжал из Мелихова в Москву, чтобы срочно прочитать корректуру повести «Мужики», шедшей в апрельской книжке «Русской мысли». Как только появился журнал, он был прочитан Толстым, и в «Мужиках» поразила «сила рассказа». В.Ф. Лазурский 19 апреля отметил в дневнике, что Толстой «признает за Чеховым громадный талант», но находит его «односторонним» – «именно потому, что он производит такое удручающее впечатление». Другой мемуарист, А.Г. Русанов, записал слова Толстого: «Чехов пишет, как декадент, как импрессионист в широком смысле слова». И еще: «…у него нет ничего твердого и совершенно нет окна в религиозное…». Отрицательное отношение еще более укрепилось после отзыва о «Мужиках» близкого к Толстому по взглядам крестьянского писателя Ф.Ф. Тищенко: «Выходит, что все в деревне гадко, грубо, скверно, дико, противно, противно…» (3 августа 1897 года). Впрочем, Тищенко хвалил художественную форму повести.

Рассказ же Чехова про «театр» вогулов подтвердил главную мысль трактата о сущности искусства – его заразительности: «заражения чувствами другого, которое заставляет радоваться чужой радости, горевать чужому горю, сливаться душою с другим человеком».

Сохранился автограф Чехова, где впервые дано это описание: «У вогулов, живущих в глуби Сибири и существующих охотою на оленей, есть драматическое представление, состоящее в том, что два-один большой вогул, другой маленький, одетые в оленьи шкуры, изображают: один самку оленя, другой детеныша, третий вогул изображает охотника с луком; четвертый голосом изображает птичку, предупреждая оленя об опасности. Драма в том, что охотник, отыскивая ее, бежит по следу матери с детенышем. Они убегают со сцены и прибегают. Охотник все приближается и приближается. Олененок измучен, жмется к матери. Она останавливается. Охотник целится. Птичка пищит, извещая об опасности. Олени опять убегают. Но охотник все-таки догоняет, пускает стрелу и убивает детеныша. Детеныш не может бежать, жмется к матери. Она лижет его. Охотник пускает другую стрелу. Зрители, как описывает присутствующий, замирают и тяжелыми вздохами, женщины даже слезами, сопровождают последнюю сцену». Все это войдет в печатный текст трактата и будет эмоционально усилено: «И я по одному описанию почувствовал, что это было истинное произведение искусства».

28 декабря 1897 года, как отмечено на другой день в дневнике, «целый день складывалась драма-комедия: *Труп* (курсив Толстого)». «Живой труп» будет начат в январе 1900 года, когда Толстой, посмотрев в Художественном театре «Дядю Ваню», возмутится. Но характерно, что первая мысль о пьесе была в чеховском духе: не драма (как «Власть тьмы»), не комедия (как «Плоды просвещения»), а «драма-комедия». Спор с Чеховым шел по другой линии – о нравственной содержательности искусства, которой, в силу ее скрытности,

Репозиторий ВГУ

завуалированности, Толстой не находил у своего молодого современника, хотя и лучшего, по его мнению, из тогдашних писателей. Читая рассказ Чехова «На подводе» в день его публикации газетой «Русские ведомости», 21 декабря Толстой записал в дневнике: «Превосходно по изобразительности, но риторика, как только он хочет придать смысл рассказу. Удивительно прояснилось у меня в голове благодаря книге об Искусстве».

Книгу Толстого об искусстве ждали в России и во всем мире. И хотя автор, занятый новыми работами, уверенный в том, что он сделал все, что мог, чтобы сказать своим современникам полезное, нужное и новое, мало интересовался откликами на свой труд, в биографии их необходимо привести, пусть неполно. Тем более, что известно: когда вдруг оспаривали, Толстой начинал волноваться и горячо доказывать свою *истину*; радовался, когда получал сочувственные отзывы и огорчался враждебным.

21 декабря 1897 года вышла в свет книжка журнала «Вопросы философии и психологии» с первыми пятью главами, а 30 декабря в газете «Новое время» помещено их изложение. 4 января 1898 года из Ниццы Чехов писал Суворину, повторив, в сущности, свое мнение на эту тему, сложившееся весной, в клинике, где его навестил Толстой. «Все это старо. Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулок, что оно не то, чем должно быть, и проч., и проч., это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно». Тогда же, в январе, И.И. Левитан спрашивал Чехова, читал ли он статью Толстого, которая вызывает «большой переполох»; «и гениально, и дико в одно и то же время». Позднее Чехов интересовался оттиском, содействовал авторизации немецкого перевода, но суждения больше не высказывал.

Л.Н. Толстой мнения своего о «заразительности» искусства никогда не менял. В марте 1898 года в беседе с А.И. Фаресовым, в прошлом революционером, рассуждал: «Вот Чехов не выдумывает своих рассказов (в отличие от удивительного стилиста, но «выдумщика» В.Г. Короленко. – *А.Н.*), и я не знаю равного ему по художественности писателя». Впрочем, по обыкновению, заметил, что у Чехова «нет ничего за душой», и это ему «будет мешать властвовать над умами современников». Такое «властвование» над умами современников, «заражение» их своими чувствами и мыслями Толстой считал самым важным признаком подлинного искусства.

И в Ясной Поляне, и в Москве вечерами было принято читать вслух. Так, 6 октября 1898 года Толстой прочитал рассказ Чехова «О любви».

В первых номерах журналов «Семья» и «Книжки недели» (за 1899 год) появились новые рассказы Чехова: «Душечка» и «По делам службы». Трижды (14, 15 и 24 января) читал Толстой «Душечку» семейным и гостям, неизменно восторгаясь. Многие современники слышали «Душечку» в исполнении Толстого вплоть до 1905 года, когда рассказ вошел в «Круг чтения», сопровожденный статьей-послесловием.

А.Б. Гольденвейзер вспоминал: «Когда “Душечка” Чехова была напечатана в журнале “Семья”, кто-то в тот же день вечером принес ее Льву Николаевичу. Он пришел от этого рассказа в полное восхищение, много раз читал его вслух, угощая им не читавших его посетителей. Я раза три слышал

Репозиторий ВГУ

“Душечку” в его чтении. Читал Лев Николаевич чудесно. Очень просто, как будто сам что-то рассказывал. Еле заметными, почти неуловимыми изменениями интонаций он отмечал реплики различных персонажей рассказа. Антрепренер, ветеринар, сама душечка как-то незаметно оживали в его передаче… В комических местах иногда начинал сам до слез смеяться, а в трогательных обливался слезами.

Принес журнал с «Душечкой» П.А. Сергеенко. В его дневниковых записях этого времени – слова Толстого:

– Ведь Марксу (издателю. – *А.Н.*) теперь остается издать только меня и Чехова, который гораздо интереснее Тургенева или Гончарова. Я первый приобрел бы полное собрание его сочинений. Так и скажите Марксу, что я настаиваю…

Восхищение Достоевским:

– Его небрежная страница стоит целых томов теперешних писателей. Я для «Воскресения» прочел недавно «Записки из Мертвого дома». Какая это удивительная вещь!..

Восторг Л.Н. от «Душечки» Чехова:

– Это перл. Подобно бумаге-лакмусу, она производит различные эффекты.

Он цитирует на память целые фразы.

– Как хорошо схвачен язык телеграфиста: «хохороны» и пр. В «Душечке» выведена истинная женская любовь».

24 января И.И. Горбунов-Посадов написал создателю «Душечки»: «Лев Николаевич в восторге от нее. Он все говорит, что это перл, что Чехов – это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением. Ах, как он чудно читает, и как мне хотелось, чтобы Вы были в эту минуту тут и видели его веселое, милое лицо и слышали, с какой любовью он читает».

Редактору «Посредника» вторила Татьяна Львовна: «Ваша “Душечка” – прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи».

По словам Горбунова-Посадова, Толстой чудесно читал и «цоцкого» в рассказе «По делам службы»: «Как живой был перед нами этот милейший старичина со своей многострадальной эпопеей административного perpetuum-mobil’a».

В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр «Книжек Недели» с многочисленными пометами Толстого; большая часть относится к «цоцкому». По мнению исследователя, с этим рассказом связана дневниковая запись 7 мая 1901 года: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней» [46].

В январе 1900 года Чехов высказался о романе Толстого «Воскресение», напечатанном полностью: «прочел все сразу, залпом». «Это замечательное художественное произведение, – писал Чехов М.О. Меньшикову 28 января. – Самое неинтересное – это все, что говорится об отношениях Не-

Репозиторий ВГУ

хлюдова к Катюше, и самое интересное – князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавловской крепости, спирита, я читал с замиранием духа – так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосьи! Этот мужик называет свою бабу “ухватистой”. Вот именно у Толстого перо ухватистое. Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия – это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстами».

На другой день Чехов сообщал П.Ф. Иорданову, что отправил книгу для Таганрогской библиотеки. В письмах А.С. Суворину и М. Горькому – о том же: «“Воскресение” замечательный роман. Мне очень понравилось, только надо читать его все сразу, в один присест. Конец неинтересен и фальшив, фальшив в техническом отношении»; «Все, кроме отношений Нехлюдова к Катюше, – довольно неясных и сочиненных, все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой, и неискренностью человека, который боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из Священного Писания».

Сам же Толстой считал, что весь роман написан ради его последних страниц.

Биограф Толстого П.И. Бирюков свидетельствует: «Многие читатели, пораженные и побежденные силой художественного прозрения при чтении этого произведения, были до некоторой степени разочарованы концом романа: “Так все хорошо, глубоко и вдруг тексты – и конец”. Когда до Л.Н-ча дошли эти разочарования, он ответил на них: “Если я позволил себе так много времени посвятить художественной работе, т.е. недостойной моему возрасту игре, то только для того, чтобы заставить людей прочесть забытые ими места Евангелия, которыми заключил роман”».

24 января 1905 года Д.П. Маковицкий записал слова Толстого, сказанные Бирюкову: «Я весь роман “Воскресение” только для того писал, чтобы прочли его последнюю главу. Если в моих художественных произведениях есть какое достоинство, то только то, что они служат рекламой для тех мыслей, которые там попадаются» [47].

Субъективное и, скорее всего, непринципиальное сравнение Чехова с Д.В. Григоровичем сделал Толстой после смерти последнего (22 декабря 1899 года). 5 июля 1900 года А.Б. Гольденвейзер записал суждение Толстого о Григоровиче: «Он теперь устарел и кажется слабым, но это важный и прекрасный писатель, и дай Бог Чехову (почему именно ему? – *А.Н.*) иметь десятую долю того значения, какое имел Григорович. Он принадлежал к числу лучших людей, начинавших важное направление…».

Чехов, конечно, не мог знать об этом сравнительном отзыве Толстого. Он и не предназначался для уже широко известного талантливого писателя, продолжателя традиций великой русской литературы. Чехов всегда помнил о своих предшественниках – Пушкине, Гоголе, том же Григоровиче, современниках Достоевском и Толстом. Думается, именно по этой причине 28 января 1900 года он написал из Ялты М.О. Меньшикову в Петербург: «Я боюсь

Репозиторий ВГУ

смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться».

Трудно представить более емкую и точную *общую* характеристику жизни и деятельности Толстого в тот период, который охватывает оценка Чехова, то есть 90-е годы XIX века…

В оставшиеся 4 года жизни Чехова Толстой продолжал интересоваться его творчеством. В январе 1900 года он читает рассказ «Дама с собачкой» – в дневнике запись: «Это все Ницше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло».

В январе 1900 года Толстой был на спектакле Московского Художественного театра «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова, сестра которого М.П. Чехова свидетельствует: «Своим приходом Лев Николаевич сделал в театре страшный переполох… Режиссер театра Шенберг-Санин два раза прибегал в этот вечер ко мне на квартиру, чтобы рассказать о приходе Толстого и как смотрит он “Дядю Ваню”. Немирович-Данченко тоже был взволнован присутствием Льва Николаевича. А Вишневский при вызовах кланялся все время только в губернаторскую ложу, которая была предоставлена Толстому».

В.И. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях рассказывает: «Во время спектакля “Дядя Ваня” мы исподтишка не спускали с него [Толстого] глаз. Решительно казалось нам, что спектакль вовлекал его в свою атмосферу, что внимание его было захвачено, что местами он был растроган. Но или мы ошибались, или он отстранял от самого себя простую, непосредственную восприимчивость, потому что в антрактах он ничего не хвалил. Правда, ничего не порицал, словно дожидаясь, чем все это кончится. А по окончании сказал так: “Чего ему еще нужно [Астрову]? Тепло, играет гитара, словно трещит сверчок. А он сначала хотел взять чужую жену, теперь о чем-то мечтает…”. И неодобрительно кивал головой».

А.А. Шенберг-Санин писал Чехову: «Толстому не понравился мой любимейший “Дядя Ваня”, хотя он очень чтит и ценит Вас как писателя. “Где драма?!, – вопил гениальный писатель. – В чем она? Пьеса топчется на одном месте!”. Затем Толстой заявил, что Астров и дядя Ваня – дрянь люди, бездельники, бегущие от дела в деревню как место спасения… На эту тему он говорил много».

Репозиторий ВГУ

По словам фельетониста «Нового времени» Н.М. Ежова, посетившего Толстого в том же году, писатель говорил, что «Дядя Ваня» – «это трагедия на пустом месте».

П.П. Гнедич записал следующий рассказ Чехова об отношении Толстого к его пьесам: «Вы знаете, он не любит моих пьес, уверяет, что я не драматург! Только одно утешение у меня и есть, – прибавляет он [Чехов], – он мне раз сказал: “Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже. Шекспир все-таки хватает читателя за шиворот и ведет его к известной цели, не позволяя свернуть в сторону. А куда с вашими героями пойдешь? С дивана, где они лежат, до чулана и обратно”. И ведь это искренно у Льва Николаевича. Был он болен – я сидел рядом с его постелью. Потом стал прощаться, он взял меня за руку, посмотрел мне в глаза и говорит: “Вы хороший, Антон Павлович”. А потом улыбнулся, выпустил руку и прибавил: “А пьесы ваши все-таки плохие”».

Очевидно, что прозу Чехова Толстой предпочитал его драматургии. Например, после вышеприведенного, в феврале 1900 года в письме М. Горькому он пишет: «Как хорош рассказ Чехова в “Жизни”. Я был очень рад ему» [рассказ Чехова «В овраге», помещенный в № 1 журнала «Жизнь»].

Запись в дневнике А.Б. Гольденвейзера от 5 июля 1900 г.: «Лев Николаевич недавно перечитал почти все небольшие рассказы Чехова. Нынче он сказал о Чехове: “У него мастерство высшего порядка… Некоторые, например, “Детвора”, “Спать хочется”, “В суде” – истинные перлы. Я положительно все подряд читал с большим удовольствием. Но все-таки это мозаика, тут нет действительно руководящей внутренней нити… У Чехова и вообще у многих теперешних писателей развилась необыкновенная техника реализма. У Чехова все правдиво до иллюзии, его вещи производят впечатление какого-то стереоскопа…”».

М. Горький с радостью сообщает Чехову в октябре 1900 года: «Говорилось о Вас отечески – нежным тоном. Хорошо он о Вас говорит».

Стоп! Не совсем верный вывод сделали мы относительно толстовского мнения о чеховской драматургии. Вот: Толстой на чеховском вечере в Охотничьем клубе, устроенном Обществом искусства и литературы. Были поставлены пьесы Чехова «Свадьба» и «Медведь». «Толстой смеялся, говорят, до упаду, и ему очень понравилось» (письмо О.Л. Книппер-Чеховой к А.П. Чехову 16 декабря 1900 года).

Солидарность Чехова с Толстым касалась не только художественного творчества, а и мировоззрения. Так, Чехов пишет в одном из писем своему знакомому: «К отлучению Толстого (от церкви. – *А.Н.*) публика отнеслась со смехом. Напрасно архиереи в свое воззвание всадили славянский текст. Очень уж неискренно».

И тем не менее, «находя все в Чехове превосходным», сказал ему в сентябре 1901 года, что «ждет от него не пьес, а того, чем он силен» и похвалил «В овраге» (П.А. Сергеенко). Личность же умного, интеллигентного Чехова неизменно вызывала теплые чувства. Например: «Видаю здесь (в Ялте. – *А.Н.*) Чехова, совершенно безбожника, но доброго…» (письмо В.Г. Черткову 30 ноября 1901 года); разговор с Чеховым по телефону – Толстой говорил Че-

Репозиторий ВГУ

хову: «Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно – вам! Вы очень хороший, очень!» (дневник Чехова, 7 декабря 1901 года).

Тремя месяцами раньше, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, они с Н.Л. Оболенским там же, в Ялте, по очереди читали вслух рассказы Чехова в присутствии Льва Николаевича, потому что он очень любит их. Однажды Гольденвейзер так читал «Скучную историю». Лев Николаевич все время восхищался умом Чехова. Понравились ему также оригинальностью замысла и мастерством письма рассказ «Пари» и в особенности повесть «Степь». О Чехове в эти дни Толстой сказал: «Он странный писатель: бросает слова как будто некстати, а между тем все у него живет. И сколько ума! Никогда у него нет лишних подробностей, всякая или нужна, или прекрасна».

В июле 1902 года обычное: «Я очень люблю Чехова и ценю его писания, но его “Три сестры” я не мог заставить себя прочитать. К чему все это? Вообще у современных писателей утрачено представление о том, что такое драма… Вот я себе позволял порицать Шекспира. Но ведь у него всякий человек действует, и всегда ясно, почему он поступает именно так» (А.Б. Гольденвейзер).

И вот документ в некотором смысле итоговый. Сын Толстого Илья Львович в письме к Чехову приводит список тридцати рассказов Чехова (ни одной пьесы!), «отмеченных» Толстым. Вот этот список:

«1-го сорта: Детвора, Хористка, Драма, Дома, Тоска, Беглец, В суде, Ванька, Дамы, Злоумышленник, Мальчики, Темнота, Спать хочется, Супруга, Душечка.

2-го сорта: Беззаконие, Горе, Ведьма, Верочка, На чужбине, Кухарка женится, Канитель, Переполох, Ну публика, Маска, Женское счастье, Нервы, Свадьба, Беззащитное существо, Бабы».

Б.А. Лазаревский, посетивший Толстого в сентябре 1903 года, приводит слова Толстого: «Чехов – маленький Пушкин»; и еще (запись в дневнике Толстого тогда же): «Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе то, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это – большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет».

Запись в дневнике А.Б. Гольденвейзера: «Лев Николаевич очень хвалил язык Чехова за простоту, сжатость и изобразительность» (июль 1904 года).

…Уже год как не стало А.П. Чехова, а его творчество не перестает волновать его великого современника. Запись в дневнике Д.П. Маковицкого слов Толстого: “Мужики” Чехова – плохое произведение. Чехов неровен… У Чехова была удивительная художественная память. Купеческие, архиерейские подробности быта как он помнил!» (1905).

В том же году – косвенная характеристика по прочтении рассказа Горького «Тюрьма»: «Изобразительность почти такая же, как у Чехова, но чувства меры у него нет и неверен психологически» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Трепетное чувство Чехова по отношению к Толстому помнят их общие знакомые и после смерти Чехова. В сентябре 1906 года Б. Лазаревский пишет Толстому: «Когда думаю о Вас, то вспоминаю слова Антона Чехова: “Знаете,

Репозиторий ВГУ

есть люди, которые боятся делать гадости только потому, что жив еще Толстой… да, да”».

И толстовская любовь к Чехову не проходила. В марте 1907 года он опять читает Чехова и восхищается, в частности, рассказом «Попрыгунья». Толстой «очень смеялся и восхищался рассказом». Сказал: «С каким тонким юмором написано!.. Я с удовольствием перечту всего Чехова» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

И за полгода до кончины, в конце февраля 1910 года, – последнее упоминание о Чехове. Толстой пишет личному секретарю Н.Н. Гусеву: «Как хороша ваша выписка из Чехова! Она просится в «Круг чтения». (В письме к Толстому от 16 февраля 1910 года Гусев привел цитату из рассказа Чехова «Крыжовник»: «Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом»).

Нетрудно заметить, что суть этой мысли и даже стиль ее изложения написан под влиянием философских рассуждений великого старца, к которому его младший собрат по литературе питал непреходящие почтительные и нежные чувства и который искренне и глубоко одарил своим вниманием талантливого писателя России конца XIX – начала XX века, каким был Чехов.

17. «Короленко хороший и такой приятный, классический народник, старого закона»
(Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко)

Именно В.Г. Короленко в своих воспоминаниях о Толстом, названных «Великий пилигрим», рассказал о следующем эпизоде. В 1885 году Толстой познакомился с вдовой революционера П.Г. Успенского, сестрой Веры Засулич, Александрой Ивановной Успенской. Ее муж был одним из основателей общества «Народная расправа» и вместе с Нечаевым принимал участие в убийстве студента Иванова, подозревавшегося в предательстве. Успенский был присужден к каторжным работам и отбывал наказание на Каре. В 1881 году он был заподозрен своими товарищами в предательстве и повешен. Впоследствии товарищеский суд признал его полностью невиновным.

В 1884 году А.И. Успенская жила в Москве в большой бедности, содержа на свой скудный заработок и себя, и своего единственного сына, мальчика четырнадцати лет, обучавшегося в одной из петербургских гимназий. Узнав, что она все делает для себя сама: носит дрова, топит печь, стирает, моет полы и т.д., – Толстой, измученный «дармоедством» своих взрослых сыновей, сказал ей «растроганным голосом»: «Какая вы счастливая! У вас есть настоящая, невыдуманная работа».

В феврале 1886 года Толстого впервые посетил Короленко. Молодой писатель пришел вместе с Н.Н. Златовратским, маститым народником, видавшимся с Толстым не раз, а два года тому назад излагавшим при встрече «программу народничества».

В это время Толстой не вел дневник, а в письмах, довольно многочисленных, ни словом не обмолвился о знакомстве с Короленко. Свидетельства об этой встрече сохранились лишь в письмах и воспоминаниях Короленко.

Репозиторий ВГУ

В упомянутой замечательной статье «Великий пилигрим», глубоко и точно фиксирующей перемены в духовном облике и настроениях Толстого за последние 25 лет его жизни, Короленко писал: «Я видел Льва Николаевича Толстого только три раза в жизни. В первый раз это было в 1886 году. Второй – в 1902 году и в последний – за три месяца до его смерти. Значит, я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой – великий художник, автор “Войны и мира” и “Анны Карениной” – превратился в анархиста, проповедника новой веры и непротивления; потом я видел его на распутье, когда, казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедовал: от анархизма и от непротивления. Наконец, в третий раз я говорил с великим писателем у самого конца его жизненного пути и опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное… Каждый раз впечатление другое: точно это три разных снимка, и только в конце они сливаются в один образ великой человеческой личности».

Короленко рассказывает, что Толстой, в сущности, пригласил его. Приглашение было передано через известного революционера Л.А. Дмоховского, умершего в 1881 году в сибирской тюрьме. Дочь Дмоховского была замужем за революционером А.А. Тихоцким, также сосланным в 1884 году в Восточную Сибирь. Бывая у Дмоховской, Толстой виделся с революционерами, находившимися на нелегальном положении, и чрезвычайно интересовался их образом мыслей, судьбой, отношением их к правительству и народу.

Когда Дмоховская рассказала Толстому о знакомстве своем с Короленко, тот сказал: «Мне кажется, что я знаю господина Короленко. Если бы он захотел прийти ко мне, чтобы разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад был бы его увидеть и поговорить с ним».

Короленко медлил с визитом, потому что не сочувствовал теории непротивления злу насилием, а идти для того, чтобы спорить, не решался. Вернувшемуся из ссылки Короленко в этой проповеди «чуялся какой-то самодовольный догматизм человека, ушедшего от мучительных житейских противоречий и теперь тщательно закрывавшего все щели своей наскоро сооруженной часовенки, чтобы до нее не достигали отголоски живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни».

К Толстому Короленко и Златовратский пришли, приглашая участвовать в сборнике, который «должен был напомнить о чем-то и отчасти носить характер протеста». Это был задуманный тогда общедоступный сборник в память двадцатилетия освобождения крестьян.

По воспоминаниям Короленко, Толстой, как будто умиротворенный своей верой, сказал тогда окружающим его людям: «Да, да… Я действительно нашел истину. И она все мне объясняет: большое и малое… и все детали». Но в первых же словах, обращенных к Короленко, звучал мятущийся, неуспокоенный дух: «Счастливый вы человек, Владимир Галактионович. Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у Бога, чтобы дал и мне пострадать за мои убеждения, – нет, не дает этого счастья».

И тогда же, возражая последователю своего учения Н.Л. Озмидову (горячо доказывавшему, что за литературный и художественный труд нельзя получать денег), отчасти опровергая и свои воззрения на этот предмет, он показывал

Репозиторий ВГУ

рисунки Н.Н. Ге, восхищался ими и говорил: «Хочу вот найти издателя для двух альбомов. Сначала один подороже, для богатых людей. Старик вот без штанов ходит. Надо старику на штаны собрать. Потом издам подешевле для народа…».

В 1886 году прошла горячая полемика по поводу толстовской теории «непротивления злу насилием». Одни поддерживали Толстого, другие порицали. Н.С. Лесков, подводя итог этой полемике, справедливо заметил в статье «О рожне. Увет сынам противления»: «Есть хвалители, есть порицатели, но совестливых и толковых судей нет».

А.П. Чехов тогда же опубликовал рассказ «Сестра» (впоследствии он был назван «Хорошие люди»), персонажи которого спорят о «непротивлении злу насилием». Бойкий критик теории Толстого, фельетонист Лядовский, изображен здесь в ироническом свете [48].

Достоверно известно, что в начале января 1887 года Чехов в споре с журналистом А.Д. Курепиным «доказывал, что нужно хорошенько разобраться в толстовской теории сопротивления злу, а пока нельзя честно говорить ни за, ни против».

В.Г. Короленко также включился в полемику вокруг Толстого, напечатав в № 10 «Северного вестника» за 1886 год «Сказание о Флоре-римлянине». Здесь сказано: «Сила руки – зло, когда она подъемлется для грабежа и обиды слабейшего, когда она подъята для труда и защиты ближнего – она добро».

1898 год. 11 февраля Толстого посетил А.И. Фаресов. В прошлом революционер-народник, привлекавшийся по делу 193-х, четыре года просидевший в одиночном заключении, Фаресов потом раскаялся, поступил на государственную службу и сотрудничал в разных изданиях; дружил с Лесковым. 18 марта М.О. Меньшиков написал Толстому: «Фаресов вернулся от вас в большом восторге и записал – с какою точностью, Бог весть – весь разговор с Вами».

Как всегда, Толстого интересовало новое в искусстве, и он спросил гостя: «Что у вас в Петербурге в литературе?» Потом сказал, что В.Г. Короленко его «очень печалит»: удивительный стилист, но «выдумщик»; упомянул его рассказ «В ночь под светлый праздник», где арестанты бегут из тюрьмы в ночь на Пасху и им светит луна, чего быть не могло: «Вот Чехов не выдумывает своих рассказов, и я не знаю равного ему по художественности писателя».

Статья Фаресова стала известна Толстому, и через М.О. Меньшикова он просил не печатать ее: «Не говоря о том, что многое неточно, а предметы спорные и задорные, есть такие вещи, как суждения мои о Короленко и др., которые прямо сделают мне врагов. За что? Это мне было бы ужасно больно. Только одного желаешь: быть в любви со всеми, а тут за неосторожность в разговоре быть так строго наказанным».

Как же воспринимал Короленко некоторые сочинения самого Толстого? В декабре 1900 года он пишет Льву Николаевичу, приславшему в «Русское богатство» свой роман «Начало жизни», что не может поместить его в журнале. «Мы, как вам известно, не “толстовцы”, но, во-первых, не можем все-таки не признать, что у этого учения есть последователи более искренние, честные и умные, чем выведенные Вами “темные”. Во-вторых, – и это-то, собственно, решает дело, мы преклоняемся перед тем *настроением* (курсив Короленко. – *А.Н.*), которым проникнуты все призывы Льва Николаевича, пе-

Репозиторий ВГУ

ред этой постоянной чуткостью совести, обличающей страшные неправды всех сторон жизни, грехи не только отдельных человеческих душ, но и всего человеческого строя».

В феврале 1901 года Толстого отлучили от церкви (определение синода опубликовано в «Церковных ведомостях»). Тут же В.Г. Короленко шлет из Полтавы телеграмму С.А. Толстой: «Многочисленные почитатели Льва Николаевича просят меня выразить ему чувства глубокой симпатии и уважения, встревоженные газетными известиями шлют пожелания здоровья; если любовь очень многих может доставить облегчение, то Льву Николаевичу надо быть здоровым».

Короленко записывает в дневнике по поводу отлучения Толстого от церкви: «Акт беспримерный в новейшей русской истории! Правда, беспримерны также сила и значение писателя, который, оставаясь на русской почве, огражденный только обаянием великого имени и гения, так беспощадно и смело громил бы “китов” русского строя: самодержавный порядок и господствующую церковь. Мрачная анафема [49] семи российских “святителей”, звучащая отголосками мрачных веков гонения, несется навстречу несомненно новому явлению, знаменующему огромный рост свободной русской мысли».

Осенью 1902 года Толстой рассказывает П.А. Сергеенко, что, когда у него в Крыму был Короленко, он, «не подумав, сказал, что иногда политические насилия могут ознаменовываться практическими (полезными) результатами; но затем, подумав, пришел к заключению, что это необдуманное, неправильное мнение, и написал Короленко в том смысле, что никогда ни ради чего насилие не может быть применяемо».

В связи с 75-летием Толстого пришла телеграмма от семьи Короленко из Одессы: «Шлем искренние пожелания Великому художнику и человеку, поднявшему на недосягаемую высоту значение слова в нашем отечестве. Желаем людям еще долго слышать честный голое неутомимого искателя правды. Владимир, Евдокия, Илларион Короленко».

В январе 1904 года в письме к В.Г. Короленко Толстой благодарит его за присылку «очень интересной» книги с его «интересным» предисловием: *Г.П. Хохлов.* Путешествие уральских казаков в Беловодское царство (Записки Русского Географического общества, т. XXVIII, вып. 1, СПб., 1903): «На очень, очень важные мысли наводит это удивительное и трогательное явление».

В июле 1904 года Толстой читает брошюру В.А. Гольцева «Дети и природа в рассказах А.П. Чехова и В.Г. Короленко» (М., 1904), которая ему «очень понравилась».

А более чем через год, в ноябре 1905 года, звучит уже обобщающая характеристика творчества В.Г. Короленко (в «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого): «Короленко хороший и такой приятный, классический народник, старого закала».

В ответ на письмо Толстого от 27 марта 1910 года Короленко благодарит его «от всего сердца» за его «душевный отклик» и признается, что во время работы над статьей «Бытовое явление» (о смертных казнях) он думал о Толстом.

Репозиторий ВГУ

Конец апреля 1910 года. 7 месяцев жизни отпущено Толстому. Он читает «замечательную» книгу: Griffith J. Griffith. “Grime and criminals” by the Prison reform leaqen, Los Anqelos, 1910 [«Преступления и преступники», изд. Лики тюремных реформ], которая «является самой нужной в наше время», «дает богатый материал, доказывающий все большее и большее увеличение числа преступлений в Америке» и «доказывает, что карательная деятельность правительства, в особенности смертные казни, заразительно действуют на общество, увеличивая число убийств» (письма к Griffith J. Griffith и к В.Г. Короленко).

В этом же письме к Короленко Толстой пишет по поводу второй части статьи Короленко «Бытовое явление», которая произвела на Толстого «такое же, если еще не большее впечатление, чем первая». Тут же Толстой рекомендует ему напечатать в журнале «Русское богатство» перевод книги о преступности в Америке. (К сожалению, перевод этот не появился).

В двадцатых числах июля 1910 г. Толстой читает июльский номер «Вестника Европы». О статье С. «Смертники» Толстой сказал, что она произвела на него меньшее впечатление, чем статья Короленко о смертных казнях.

Начало августа 1910 года. В Ясную Поляну приезжает В.Г. Короленко и рассказывает о своих впечатлениях от многочисленных странствований по России. Толстой записывает о нем в дневнике: «Очень приятный, умный и хорошо говорящий человек».

Толстой на прогулке с Короленко. Запись в дневнике: «Хорошо поговорили»; «умный и хороший человек, но весь под суеверием науки».

Репозиторий ВГУ

Г Л А В А IV

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА конца XIX – начала XX века

1. *«Настоящий человек из народа»* (Л.Н. Толстой и М. Горький)

Начнем с творческой параллели двух эпизодов – в романе «Анна Каренина» и в повести «Фома Гордеев».

«Анна Каренина»

С восхищением рисует Толстой картину дружной крестьянской работы во время сенокоса, в которой принимал участие и Константин Левин. Левин любуется косцами. Особенно восхищает его старик, который «точным и ровным движением, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый высокий ряд».

Вот Левин в имении сестры, находившейся за границей, улаживает дела с мужиками, арендовавшими у нее луга. Окончив дела, Левин пошел на покос и уселся на копне, «любуясь на кипящий народом луг». В немногих словах здесь создан настоящий апофеоз земледельческого труда. Когда работа была закончена и мужики отправились домой, «некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, Бог дал силы. И день, и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные.

…Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смех.

Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости» (часть III, гл. XII).

«Фома Гордеев»

Напрашивается аналогия с превосходной картиной мощного трудового времени при разгрузке барж, нарисованной Горьким в повести «Фома Гордеев», когда и сам хозяин Фома под влиянием общего возбуждения бросается ворочать рычаг. «Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком». По окончании работы «веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его… Возбуждение еще не остыло в нем и не позволяло ему понять, что случилось и отчего все вокруг так радостны и довольны» (гл. IX).

* * *

Репозиторий ВГУ

Толстой очень интересовался личностью протопопа Аввакума. Много выписок сделано Толстым из его «Жития» и других его писаний. Толстого нисколько не интересовали обрядовые стороны Аввакума с «никонианцами» – двумя или тремя перстами возлагать на себя крестное знамение, двоить или троить аллилуйя и пр., но литературные достоинства писаний Аввакума – особенно его «Жития» – и сама могучая личность борца-протопопа должны были привлечь внимание Толстого. Он выписывает из «Жития» образы живой русской народной речи, выписывает дословно художественное, хватающее за сердце описание убийственных условий десятилетней каторжной жизни Аввакума в Сибири под началом воеводы Пашкова.

Преклонявшемуся перед мученичеством Толстому были понятны и близки призывы Аввакума к своим единоверцам и ученикам: «Мучьтесь за Христа хорошенько. Не оглядывайтесь назад. Не тужите о безделицах мира сего».

Толстой, без сомненья, был глубоко растроган тем, что этот суровый аскет и фанатик находил ласковые слова в обращении к своей «духовной дочери» и другу боярыне Морозовой.

И, наконец, глубокое уважение вызывало в Толстом достойное и свободное обхождение Аввакума с царем Алексеем Михайловичем.

И, конечно, Толстой высоко ценил язык протопопа Аввакума и советовал писателям, намеревающимся писать для народа, учиться этому у Аввакума: «Язык надо бы… держать в чистоте – не то, чтобы он был однообразен, а напротив – чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту. Пусть будет язык… попа Аввакума, но только не наш газетный».

Всего Толстым была сделана 51 выписка из писаний Аввакума [50], что свидетельствует не только о высокой оценке Толстым Аввакума-писателя, но и о его высоких личных качествах как замечательного русского человека XVII столетия, о его стойкости и мужестве.

Недаром М. Горький, перечисляя те разнообразные «свойства сложной русской психики», которые воплотились в Толстом, указывал и на то, что в Толстом «горит фанатизм Аввакума».

* * *

В марте 1889 года Толстой сообщает своему другу Н.Н. Ге-старшему о том, что он едет «в уединение к Урусову недели на две», т.е. в имение Спасское, которое принадлежало севастопольскому сослуживцу и другу Толстого. Спасское находилось близ Сергеева, недалеко от Москвы, в Дмитровском уезде.

Урусов, ровесник Толстого, в прошлом геройски храбрый офицер, вел в Спасском уединенную жизнь, занимаясь математикой и философией религии.

В Спасском Толстому было «очень покойно духом». Урусов, конечно, «хорошо принял» Толстого.

Вскоре, к удовольствию хозяина дома, в Спасское приехал американский пастор Вильям Ньютон и еще два писателя: тоже пастор Керрил и Батчельдер Грин. Сердечного общения между иностранцами и Толстым не получилось: в дневнике отмечено, что гости «пьют водку и курят; и не могу не жалеть их…; ничего нового я, для себя, не сказал им и от них не услыхал».

Репозиторий ВГУ

Еще один человек, горячо желавший в это время видеть Толстого, был и в Ясной Поляне, и в Хамовниках в Москве. Это – 21-летний Алексей Пешков, еще не ставший писателем Максимом Горьким. Позднее он рассказал об этом в очерке «Время Короленко». В увлечении «толстовством» преобладало желание «временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое». В один из «тяжелых моментов» своей жизни он «избрал самую отдаленную, но и самую яркую точку – Льва Толстого».

Софья Андреевна, которую Алексей Пешков встретил «у дверей сарая, тесно набитого пачками книг», отвела в кухню, «ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила…, что к Льву Николаевичу шляется очень много “темных бездельников” и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это, – добавляет Горький, – и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным».

У Горького была и практическая цель, которую он изложил 25 апреля 1889 года в особом письме к Толстому: «несколько человек, служащих на Грязе-Царицынской ж.д. – в том числе и пишущий к вам, – увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством… У вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли… Кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на ваши советы и указания, которые бы облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что вы не откажете нам дать книги: “Исповедь”, “Моя вера” и прочие, не допущенные в продажу». Внизу письма подпись: «от лица всех – нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков».

Такая просьба была для Толстого не единственной и не оригинальной. Письмо Алексея Пешкова осталось без ответа, а сам он, вовлеченный в водоворот жизни, связей с народническими и марксистскими кружками, очарованный личностью Короленко, скоро забыл о хлебопашестве.

Знакомство с Толстым произошло в январе 1900 года, когда М. Горький пришел в Хамовнический дом знаменитым писателем и очень понравился хозяину. «Настоящий человек из народа», – записал Толстой в дневнике.

22 апреля 1899 года Толстой отправился на Малую Дмитровку (в Москве) к Чехову, только что приехавшему из Ялты. Там оказались гости: артисты А.Л. Вишневский и А.И. Сумбатов (Южин). Поговорить не удалось. На другой день Чехов обедал у Толстых. Упомянув этот визит в нескольких письмах, 25 апреля Чехов подробно написал А.М. Пешкову (М. Горькому): «Третьего дня я был у Л.Н. Толстого: он очень хвалил Вас, сказал, что вы “замечательный писатель”. Ему нравится Ваша “Ярмарка” и “В степи” и не нравится “Мальва”. Он сказал: “Можно выдумать все что угодно, но нельзя выдумывать психологию, а у Горького попадаются именно психологические выдумки, он описывает то, чего не чувствовал”. Вот вам. Я сказал, что когда Вы будете в Москве, то мы вместе приедем к Льву Николаевичу… Толстой долго расспрашивал о Вас. Вы возбуждаете в нем любопытство. Он, видимо, растроган».

…Итак, как было сказано выше, в январе (13) 1900 года Горький (вместе с В.А. Поссе) пришел в московский дом Толстых в Хамовниках, чтобы поговорить с Толстым.

Репозиторий ВГУ

В разговоре с Горьким Толстой высказал свое отрицательное мнение о «Фоме Гордееве» («Все выдумано; ничего такого не было и быть не может») и похвалил рассказ «Ярмарка в Голтве» («Просто, правдиво; его и два раза прочесть можно»).

Впоследствии Горький вспоминал: «Провожая, он (Толстой) обнял меня, поцеловал и сказал: “Вы – настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо – ничего! Умные люди поймут”».

На следующий день, вспоминая посещение Горького, Толстой сказал посетившему его В.А. Поссе: «Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля… Я не сказал ему главного. За ним всегда останется главная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Достоевский показал ее в преступнике, а Горький – в босяке. Жаль только, что он много выдумывает… Я говорю о выдумке психологической».

А 16 января в дневнике записал: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа».

Естественно, что Горький через 5 дней откликнулся письмом к Толстому по поводу знаменательной для него встречи с великим писателем: «За все, что Вы сказали мне – спасибо Вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел Вас, и очень горжусь этим. Вообще я знал, что Вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно так хорошо Вы относитесь ко мне. Пожалуйста, дайте мне Вашу карточку, если имеете обыкновение давать таковые. Очень прошу – дайте. Низко кланяюсь Вам. М. Горький.

Хвораю я, кашляю, грудь болит. Чуть было опять не поехал к Вам, да вот лег».

Делится чувствами и впечатлениями Алексей Максимович с Чеховым (через 8 дней после посещения дома в Хамовниках): «Ну, вот и был я у Льва Николаевича. С той поры прошло уже восемь дней, а я все еще не могу оформить впечатления. Он меня поразил сначала своей внешностью: я представлял его не таким – выше ростом, шире костью. А он оказался маленьким старичком и почему-то напомнил мне рассказы о гениальном чудаке – Суворове. А когда он начал говорить – я слушал и изумлялся. Все, что он говорил, было удивительно просто, глубоко и хотя иногда совершенно неверно – по-моему, – но ужасно хорошо. Главное же – просто очень. В конце, он все-таки – целый оркестр, но в нем не все трубы играют согласно. И это тоже очень хорошо, ибо – это очень человечно, т.е. свойственно человеку. В сущности, ужасно глупо называть человека гением. Совершенно непонятно, что такое – гений? Гораздо проще и яснее говорить – Лев Толстой, это и кратко и совершенно оригинально, т.е. решительно ни на что не похоже и притом как-то сильно, особенно сильно. Видеть Льва Николаевича – очень важно и полезно, хотя я отнюдь не считаю его чудом природы. Смотришь на него, и ужасно приятно чувствовать себя тоже человеком, сознавать, что человек может быть Львом Толстым. Вы понимаете? – за человека вообще приятно. Он очень хорошо отнесся ко мне, но это, разумеется, не суть важно. Не важно и то, что он говорил о моих рассказах, а важно как-то все это, все вместе: все сказанное, его

Репозиторий ВГУ

манера говорить, сидеть, смотреть на вас. Очень это слитно и могуче красиво… Просидел я у него более трех часов…».

В феврале 1900 года Толстой отвечает Горькому на восторженное письмо: «Простите меня, дорогой Алексей Максимыч (если я ошибся в имени, еще раз простите), что долго не отвечал вам и не послал карточку. Я очень, очень был рад узнать вас и рад, что полюбил вас. Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил – умнее) своей книги и бывают хуже. Мне ваше писание понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания. Вот какой делаю вам комплимент, достоинство которого главное в том, что он искренен. – Ну, вот, прощайте, жму вам дружески руку. Лев Толстой».

Контакты продолжались. 11 марта 1900 года у Толстого – А.М. Горький, В.А. Поссе и В.С. Миролюбов. Толстой позвал к себе в кабинет Горького и Поссе и беседовал с ними около часу.

А в конце апреля еще одно свидетельство (А.Б. Гольденвейзера) об интересе Толстого к творчеству молодого писателя: «Его знаешь из его произведений, какой он. Большой и очень существенный недостаток Горького – слабо развитое чувство меры, а это чрезвычайно важно».

Из того же источника за июль месяц: «Льву Николаевичу очень нравится Горький как человек. В его сочинениях, однако, он начинает разочаровываться. “Мужики” Лев Николаевич считает слабой вещью. Начало рассказа “Двадцать шесть и одна” очень хвалит…».

Октябрь 1900 года. Горький и Поссе в Ясной Поляне. В это посещение Толстой гулял вместе с Горьким в березовой роще. Поссе записывает об этом посещении: «Горький в этот день был не в духе. Яснополянская обстановка ему не понравилась. Это чувствовал Лев Николаевич, которому, видимо, Горький нравился все больше и больше. Горький сидел хмурый в кресле. Он не скрывал от Толстого своего отрицательного отношения к “Воскресению”, отметив, правда, что справедливое, а потому и доброжелательное отношение Толстого к государственным преступникам должно иметь огромное общественное значение».

С.А. Толстая сфотографировала Горького вместе с Толстым в яснополянском парке (известный снимок).

В этом же месяце Горький пишет Чехову: «Был в Ясной Поляне. Увез оттуда огромную кучу впечатлений, в коих и по сей день разобраться не могу… Статьи Льва Николаевича: “Рабство нашего времени”, “В чем корень зла?” и “Не убий” – произвели на меня впечатление наивных сочинений гимназиста. Так все это плохо, так ненужно, однообразно и тяжело, и так не идет к нему. Но когда он, Лев Николаевич, начал говорить о Мамине (писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк. – *А.Н.*) – это было черт знает как хорошо, ярко, верно, сильно! И когда он начал передавать содержание «Отца Сергия» – это было удивительно сильно, и я слушал рассказ, ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей. И смотрел на старика, как на водопад, как на стихийную творческую силищу. Изумительно велик этот человек, и поражает он живучестью своего духа, так поражает, что думаешь – подобный ему невозможен… Говорилось о Вас отечески – нежным тоном. Хорошо он о Вас говорит. Поругал меня за “Мужика” – тоже хорошо».

Репозиторий ВГУ

Частный отзыв (декабрь 1900 г.): О.Л. Книппер в письме к Чехову сообщает (со слов Л.А. Сулержицкого), что Толстой «не мог дочитать повесть Горького “Трое”».

6 мая 1901 года Толстой пишет письма: товарищу министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирскому с просьбой освободить из тюрьмы М. Горького (заключенного по политическим мотивам) и принцу П.А. Ольденбургскому с просьбой содействовать его освобождению [51].

Через пять дней после этих писем – запись в дневнике о причине популярности Горького: «Мы все знаем, что босяки – люди и братья, но знаем это теоретически; он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры их неверны, преувеличены, но мы все прощаем за то, что он расширил нашу любовь».

К концу 1901 г. интерес Толстого к Горькому как человеку и писателю становится уже устойчивым.

В ноябре Горький опять у Толстого в Крыму. Рассказывал о демонстрации в Петербурге 4 марта 1901 года и о других политических событиях. Запись в дневнике: (29 ноября): «Рад, что и Горький, и Чехов мне приятны, особенно первый». И на другой день в письме к В.Г. Черткову: «Видаю здесь Чехова, совершенно безбожника, но доброго, и Горького, в котором гораздо больше fond (глубины. – *А.Н.*), несмотря на то, что его перехвалили».

В ноябре Горький гостил у Толстого в Ялте. В декабре – в Гаспре, после чего сообщает К.П. Пятницкому: «Лев Николаевич поправился. “Жиловат – не изóрвется!”. Великолепная эта фигурь! Нам нужно будет жить лет сто, а, может, и больше – до следующего Льва».

А вот и Толстой – гость Горького, там же, в Крыму – в Олеизе. Толстой «очень нахваливал» Горькому Леонида Андреева и самого Горького «за первую половину «Троих», а о второй сказал, что «это анархизм, злой и жестокий».

К началу 1902 года два писателя сделались настоящими друзьями. Горький снова у Толстого в Гаспре. В середине января он пишет К.П. Пятницкому: «Занимаюсь корректурой своих книг. Зело противно. “Негоже псу возвращаться на блевотину свою”. Это сказал Лев Николаевич единовременно со мною, и сие трогательное единодушие заставило нас обоих здорово хохотать. Но хохотали мы не как авгуры, нет! – а как люди, сами себя устыдившиеся. “Читаешь и видишь: сколько лишних слов, страниц, сколько чепухи! – говорит он. – Терпеть не могу читать сочинения Толстого!” – “А я Горького…” – сознался искренне Ваш слуга».

В конце января Горький в письме к В.А. Поссе высказывает серьезную озабоченность состоянием здоровья Толстого: «Первый раз еще в России умирает такой великий человек, как Лев Толстой, и умирает он в момент очень высокого подъема духа в русском обществе».

В марте с Горьким Толстой «долго беседовал наедине».

За время свиданий с Толстым в Крыму, с середины ноября 1901 года, Горький прочел Толстому по рукописи свой рассказ «Бык» и затем сцены из пьесы «На дне». По воспоминаниям Горького, Толстой, слушая чтение рассказа «Бык», «очень смеялся и хвалил за то», что Горький «знает *фокусы язы-*

Репозиторий ВГУ

ка». «Но распоряжаетесь вы словами неумело, – все мужики говорят у вас очень умно». О пьесе «На дне» Толстой «говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное». – «Зачем вы пишете это?.. Везде у вас заметен петушиный натиск на все. И еще – вы все хотите закрасить все пазы и трещины своей краской».

Своей радостью делится Горький с К.П. Пятницким (июль 1902 года): «Лев Николаевич окончательно встал на ноги и уже в Ясной Поляне. Гений – сильнее смерти. Пишет статью по земельному вопросу, а? Экая силища! Экое изумительное понимание запросов дня!»

А.Б. Гольденвейзер в своих воспоминаниях отмечает (за июль 1902 года): «О рассказе Горького “Дело с застежками” и о повести “Трое”: есть в них психологические ошибки. “Мещане” “совсем не интересны”». «Но мне все-таки импонирует, что Европа его так переводит, читает. Несомненно, что-то новое в нем есть».

Осенью 1902 года Толстой читает пьесу М. Горького «На дне», которой уделит много внимания по разным поводам. Участвуя в государственной переписи населения (1882 год) в Москве, Толстой познакомился с босяками (тогда слово это еще не употреблялось). Воспоминание от общения с этими людьми осталось у Толстого самое приятное. В 1903 году он говорил корреспонденту Ю.Д. Беляеву:

« – Я занимался также Хитровкою (Хитров рынок. – *А.Н.*) во время переписи, дружил даже с хитровцами и вот что скажу: вам говорят, что босяки жестоки, это – неправда. Неправ и Горький, подчеркивая в них эту черту. Разумеется, есть между ними озлобленные и коварные люди, но основная черта босячества все-таки заключается не в этом. Я, например, у большинства из них встречал душевное равновесие и добродушие. Когда Горький был у меня, я советовал ему особенно подчеркнуть эту черту в его новой драме (“На дне”. – *А.Н.*). Надо еще показать, что у босяков нет ложного страха, что нет пропасти под ними и что если захотят они встать на ноги, то встанут без малейшего усилия, потому что почва под их ногами».

В статье 1885 года «Так что же нам делать?» Толстой рассказывал о своем первом знакомстве с московской нищетой во время переписи 1882 года, о произнесенной им в Городской думе речи с призывом соединить с делом переписи дело помощи беднякам, о тех чувствах, которые он испытывал при встрече с «босяками», как впоследствии, по примеру Горького, стал называть людей, впавших в крайнюю нищету.

В той же беседе с Ю.Д. Беляевым Толстой коснулся разных литературных тем. По поводу пьесы Горького «На дне» Толстой сказал: «Я говорил Горькому, что для драмы нужно драматическое положение, а в его пьесах этого нет. Он с обычной скромностью ответил, что ему это не удается».

…И вот уже 1904-й год. Запись в дневнике А.Б. Гольденвейзера: «Лев Николаевич очень хвалил язык Чехова за простоту, сжатость и изобразительность. Язык Горького он порицает, находя его искусственным, напыщенным».

В начале 1905 года Толстого посетил корреспондент английской газеты «Manchester Guardian» Г. Вильямс. В частности, в разговоре с ним о литературе наряду с другими зарубежными и русскими писателями речь шла и о

Репозиторий ВГУ

Горьком: «У Горького нет ни одного доброго лица, у Чехова их пропасть; у Горького не чувствуется доброты, нежности; “На дне” – искусственно».

В феврале 1905 года домашний врач Толстых Д.П. Маковицкий записывает в дневнике беседу о Лескове: «… у Лескова нет чувства меры. И у Горького его нет».

В июле 1905 года Толстой продолжает интересоваться творчеством Горького – читает рассказ «Тюрьма»: «Начало хорошее, но где рассуждения – слабо. Если рассуждения не вполне ясны, то они неуместны в художественном произведении».

…Весна 1906 года. Чтение вслух рассказа Горького «Емельян Пиляй»: «Середину рассказа, где детство происходит в степи среди чабанов, Лев Николаевич похвалил: “Как художественно, хорошо”. А про дальнейшее, как Емельян поджидал под мостом купца, чтобы его ограбить, и встретил девушку, которая пришла топиться, Лев Николаевич сказал: “Фальшиво”».

Последующие три с половиной года свидетельств о контактах Толстого и Горького, а также об интересе Толстого к творчеству Горького нет. Лишь осенью 1909 года Толстой решил перечитать рассказы Горького. Отзыв его: «Слабо. Нет главного – чувства меры (это уже во второй раз. – *А.Н.*), и далее: “знаменатель велик”. И тогда же запись в дневнике о рассказах Горького: “Знание народа черносотенного, прекрасный язык, т.е. говор людей. Но совершенно произвольная, ничем не оправдываемая психология, т.е. приписыванье чувств, мыслей своим лицам, и все больше героическая, и потом среда исключительно безнравственная. Притом рабское уважение перед наукой… Всё воображаемые и неестественные огромные героические чувства и фальшь. Но талант большой”. На этой же странице, чуть ниже: “Читал всё Горького. Он как материал превосходный. Язык хороший, когда он описывает то, что он знает: это разговоры босяков, их чувства – превосходно. Но когда приписывает им чужие чувства, тогда чепуха”».

Этой же осенью Толстой назвал пьесу Горького «Мещане» «ничтожной», а про другие его вещи (в дневнике не уточнено) выразился так: «ни то, ни се».

Горький продолжает будоражить внимание Толстого. 23 ноября 1909 года – запись в дневнике: «Читал после обеда о Горьком. И странно, недоброе чувство к нему, с которым борюсь. Оправдываюсь тем, что он, как Ницше, вредный писатель: большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, т.е. понимающих значение жизни, убеждений, и вместе с этим поддерживаемая нашим “образованным” миром, который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир. Например, его изречение: веришь в Бога – и есть Бог; не веришь в Бога – и нет Его (пересказ реплики Луки из II действия пьесы “На дне”. – *А.Н.*). Изречение скверное, а между тем оно заставило меня задуматься».

…И вот наступает 1910-й год, последний год жизни Л.Н. Толстого. И что же мы видим? Горький просто раздражает Толстого. В «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого за январь читаем: «Чтение второго тома рассказов Горького в издательстве «Знание» (СПб., 1901): «Очень плохо». Здесь же приводится устный отзыв Толстого: «Не народный язык, фальшиво до невоз-

Репозиторий ВГУ

можности. Всё фальшиво: и описания природы, и сравнения». Можно предположить, что такое пристрастие к фальши и искренности, идущее от автобиографической трилогии, рассказа «Три смерти», повести «Казаки», и обострившиеся в последние годы жизни Толстого, – такая чуткость к «фальши – искренности» в значительной степени усиливалась образом жизни самого яснополянского дома во главе с С.А. Толстой.

М.С. Сухотин 13 января прочел вслух из статьи В.А. Поссе о первой встрече Горького с Толстым, мнение Толстого о «Фоме Гордееве» и «Ярмарке в Голтве» Горького (см. выше). Когда он кончил чтение, Толстой сказал: «Аминь. Это хорошо» [52]. Иначе говоря, Толстой, глубоко уважая Горького как человека, к творчеству его свои симпатии и антипатии разделил примерно поровну.

2. «У Вересаева тургеневский стиль»
(Л.Н. Толстой и В.В. Вересаев)

В.В. Вересаев в 1922 году издал свой очерк «Художник жизни. (О Толстом)». В нем он делится впечатлением об одном эпизоде из жизни великого художника. Он касается крестьянина Ивана Васильевича Сютаева, разделявшего религиозные воззрения Толстого. Сютаев в 1877 году отказался от военной службы. Его арестовали, и он два с половиной года просидел в Шлиссельбургской крепости, пять месяцев был на испытании в доме умалишенных, потом согласился служить, но присягу не принял.

И вот он в ноябре 1884 года посетил своего учителя и провел у него три дня. «Мы полюбили друг друга», – писал Толстой В.Г. Черткову о Сютаеве 13–14 ноября. – «Я шутя говорил, – писал далее Толстой, – что я бы его истолок с вами в ступе и сделал из вас двух людей прелестных».

Толстой, очевидно, полагал, что Сютаеву недоставало интеллигентности Черткова, а Черткову недоставало трудового образа жизни и последовательности в исполнении признаваемого им нравственного учения.

В первый же день пребывания у Толстого Сютаев засиделся у него до последнего вечера, и, когда он собирался уходить, Лев Николаевич предложил ему остаться переночевать. Сютаев ответил: «Да признаться, Лев Николаевич, в бане давно не был. Очень вошь замучила.

– Ну, вот пустяки какие, – возразил Толстой. – Я очень буду рад, если в моем доме рабочая вошь заведется».

В вышеназванном очерке Вересаев замечает по поводу этих слов Толстого: «Кто в здоровых, нормальных условиях станет радоваться такой своеобразной чести? И кто, не принужденный переживать этот вечный стыд за себя, способен говорить так?».

В январе и марте 1902 года Толстой читает рассказ Вересаева «Конец Андрея Ивановича» и повесть «На повороте». К сожалению, мнение его неизвестно.

Лишь в августе 1903 года Вересаев посетил Толстого, который нашел его «незначительным, неинтересным». «Он обладает известной способностью описания, но больше ничего» [53].

Репозиторий ВГУ

Интерес Толстого к произведениям Вересаева не ослабевает. Так, в марте 1906 года он читает вслух «Рассказы о войне» Вересаева и, в частности, рассказ «Ломайло» из этой серии. Отзыв Толстого: «ужасный рассказ», «живо описано». «У Вересаева тургеневский стиль».

Как видим, здесь традиционное толстовское «объективно-субъективное» отношение к литературе собратьев, молодых ли, маститых ли. Вот еще пример: Д.П. Маковицкий фиксирует толстовский отзыв о Вересаеве: «Хорошо пишет, немного однообразно и с политической тенденцией, не отдается художественному чувству».

За полгода до ухода из Ясной Поляны, в мае 1910 года Толстой «читал В. Вересаева» (запись в дневнике) [54].

3. О стихотворении Бунина «Не видно птиц...»: *«Очень хорошо, очень верно!»* (Л.Н. Толстой и И.А. Бунин)

В июне 1890 года отправил первое письмо Толстому молодой И.А. Бунин, живший тогда в Париже и сблизившийся с толстовцами; он писал, что, прочитав «Послесловие» к повести «Крейцерова соната», поражен высказанными там мыслями, и просил разрешения приехать в Ясную Поляну.

В январе 1893 года Толстой пишет первое письмо Бунину – ответ на его предложение помогать голодающим [55].

В книге «Освобождение Толстого» Бунин рассказал о том, как сильно и почему он стремился к Толстому. «В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? “Что вам угодно, молодой человек?” – спросят меня в Ясной Поляне? И что я отвечу тогда?..».

«Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, “доброй” жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого как художника, я стал толстовцем, – конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское “послушание”».

Летом 1892 года Бунин напечатал в «Орловском вестнике» очерк «Помещик Воргольский», где ведутся разговоры о «теории Толстого».

Толстой ответил, что приезжать не стоит, поскольку Бунин предлагает свои услуги только на короткое время. Так что не нужно бросать службу. Впрочем, произошла и ошибка: Толстой подумал, что это письмо другого Бунина, который обращался раньше (в 1887 году) в поисках работы и был направлен к И.Д. Сытину. Лишь 15 июля Бунин собрался с духом и в письме разъяснял недоразумение. Тогда же Бунин послал Толстому свою «брошюрку» – оттиск рассказа «Деревенский эскиз» (позднее назван «Танька») и писал: «Посылаю ее Вам как человеку, каждое слово которого мне дорого, произведения которого раскрывали во мне всю душу, пробуждали во мне страстную жажду творчества… Много раз мне хотелось написать Вам многое, уви-

Репозиторий ВГУ

деть Вас. Но боюсь, что причислите меня к лику тех, которые осаждают Вас из пошлого любопытства и т.п.».

3 января 1894 года в Хамовническом доме Москвы впервые появился И.А. Бунин. Свидание было коротким.

Молодой писатель услышал слова: «Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни».

«С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда… Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком…».

«Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас, не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его – цените их, живите ими…».

Возвратясь в Полтаву, Бунин написал: «Ваши слова, хотя мне удалось слышать их так мало и при таком неудачном свидании, произвели на меня ясное, хорошее впечатление; кое-что ярче осветилось от них, стало жизненней».

Б.Н. Леонтьев, бывший воспитанник пажеского корпуса, ставший толстовцем, написал 30 января Толстому: «Бунин рассказывал про всех московских друзей, но приехал очень огорченный, что так мало провел времени с вами, – вы были главная цель его поездки, – он вас очень любит и давно жаждал знакомства с вами. Он не может спокойно, без волнения говорить о вас… Он хочет бросить свою службу и заняться продажей книжек “Посредника”».

Толстой отправил Бунину ласковое письмо, повторив ответы, высказанные при встрече.

В марте 1895 года второй раз в Хамовниках (и последний – дома у Толстого) был Бунин. Об этом есть единственный и прекрасный рассказ – в книге «Освобождение Толстого»:

«Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку; по ступенькам за ней и по узкому коридору; и я робко стукнул в дверь направо.

– Войдите, – ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно, бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные, свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, – “Хозяин и работник”. Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

– Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно! [56].

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после “Хозяина и работника” он тотчас заговорил о нем:

Репозиторий ВГУ

– Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит – умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в “Посредник”. Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил – отрывисто, строго, резко:

– Смерти нету, смерти нету!».

Летом 1895 года появилась замечательная запись в дневнике Толстого, воплотившая оптимистический взгляд Толстого на жизнь: «Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: “Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем”».

Впоследствии Бунин написал М.В. Карамзиной: «Что общего у меня с Толстым? Он очень, очень близок мне не только как художник и великий поэт, но и как религиозная душа. Перечитайте кое-что, что я выписал из его дневников, – например, как он шел на закате из Овсянникова: “лес, рожь, радостно”, – как ехал вечерней зарей через лес Тургенева: “и соловьи, и жуки, и кукушка…”. Более прекрасных, несравненных слов о бессмертии ни у кого нет во всей мировой литературе».

Доказательством того, что Толстой очень внимательно следил за творчеством молодых, свидетельствует такой факт. В октябре 1900 года Горький и Поссе были в Ясной Поляне. В это посещение Толстой гулял вместе с Горьким в березовой роще. В разговоре Толстой, в частности, похвалил стихи Бунина «Грибы сошли, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной…» (из стихотворения «Не видно птиц. Покорно чахнет…»): «Очень хорошо, очень верно!».

Тем более естественно письмо Бунина с просьбой к Толстому (март 1901) дать что-либо для сборника, издающегося редакцией «Одесских новостей» «в пользу голодающих на юге».

Так же естественна и взыскательность великого мастера к молодым, о чем уже было неоднократно отмечено. Вот и по поводу Бунина. А.Б. Гольденвейзер свидетельствует (июль 1902 года): «Разговор о литературе… О рассказе Бунина (“Счастье”. – *А.Н.*): “Сначала превосходное описание природы – идет дождик, и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица мечтает о нем… и все это: и глупое чувство девицы, и дождик, все нужно только для того, чтобы Бунин написал рассказ”».

Толстой чувствовал огромный неподдельный интерес молодых писателей к своей личности, их восхищение его творчеством, но этот пиетет никогда не поколебал взыскательного и даже строгого отношения к произведениям молодых: литературное творчество, искусство для Толстого – превыше всего. И.А. Бунин – не исключение.

Репозиторий ВГУ

4. *«Очень талантлив. “Корь” – не выдержана, но образность яркая, правдивая, простая»* (Л.Н. Толстой и А.И. Куприн)

Первое соприкосновение купринского сознания с толстовским связано с народной драмой «Власть тьмы».

16 октября 1895 года произошло событие, которого Толстой ждал почти десять лет: представление «Власти тьмы» в театре. Наконец, было снято запрещение, наложенное в 1887 году.

Первый спектакль состоялся в Петербурге 16 октября на сцене суворинского Театра Литературно-артистического кружка; 18 октября – в Александринском театре, в бенефисе Н.С. Васильевой.

26 октября пьеса шла впервые в московском общедоступном театре М.В. Лентовского «Скоморох»; 29 ноября – в Малом театре. Накануне вместе с женой Толстой был в Малом театре на генеральной репетиции. Поставлена драма и в московском театре Ф.А. Корша, во многих городах провинции. Киевскую постановку 1895 года отметил А.И. Куприн, приветствуя появление на театральной сцене «мужицкой жизни», ее трагедии «в ужасной картине окутанных чудовищной тьмой и мечущихся в ней людей».

Знакомство Толстого с творчеством Куприна начинается с повести «В цирке» (январь 1902), которая «*очень* понравилась».

А в июне того же года в Ялте Куприн знакомится с Толстым [57].

В феврале 1903 года в письме к брату С.Н. Толстому Лев Николаевич рекомендует ему прочесть рассказы Куприна [58], в том числе «Ночную смену» («недурно»).

И уже в апреле Толстой пишет брату Сергею Николаевичу по поводу его отрицательного отзыва о рассказах Куприна: «Жалею, что тебе не понравился Куприн. В нем много лишнего, но очень ярко, и хороши тон и язык».

В январе 1904 года Толстой прочел вслух семейным и гостям рассказ Куприна (название, к сожалению, неизвестно [59]).

Октябрь 1905 года. Чтение вслух «превосходного» рассказа Куприна «Поединок»: «Хорошо, весело, только где пускается в философию, неинтересно». Тогда же пишет М.Л. Оболенской: «Читал Куприна… Какой бы был хороший писатель, если бы жил не во время повального легкомыслия, невежества и сумасшествия. Что за мерзость речь Назанского. Я не читаю этих гадостей, сделал исключение и не рад». А дочери Марии Львовне посылает «Поединок» – «гадкую книгу, с талантом написанную».

А в декабре 1906 года мнение Толстого о Куприне помягчело. Он хвалит рассказы «Allez!» и «Поздний гость»: «Как все у него сжато. И прекрасно». Толстой просит П.А. Сергеенко «кланяться ему» и передать, чтобы он «ради Бога не слушался критиков».

В те же дни, вспоминает Д.П. Маковицкий, разговаривали снова о Куприне. Толстой пересказывал содержание рассказа Куприна «Демиркая»: «прямо дурно, скверно». Рассказ «Конокрады» не понравился, а «Мирное житие» назвал «превосходным».

В феврале 1907 года читал вслух рассказ Куприна «Гамбринус»: «на третьей странице остановил чтение: рассказ оказался скучным».

Репозиторий ВГУ

Осенью того же года – чтение вслух рассказов Куприна «Ночная смена» и «Allez!». Лев Николаевич читал с усилием, но с большим удовольствием; «много смеялся, а за ним и другие». По окончании чтения Толстой сказал: «Как это верно! Ничего лишнего… Из молодых писателей нет ни одного близко подходящего Куприну».

Осенью того же года Д.П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» фиксирует мимоходом высказанную Толстым оценку: «У Куприна никакой идеи нет, он просто офицер».

И, несмотря на такие нелестные отзывы, Куприн продолжает интересовать Толстого. В январе 1908 года по предложению П.А. Сергеенко читают вслух рассказ «Изумруд»: «Прочли 6 страниц и прервали чтение. Рассказ не заинтересовал».

А в марте 1908 года, прочитав один из рассказов Леонида Андреева, Толстой сделал такое заключение: «Куприн, Серафимович, Арцыбашев – гораздо талантливее его».

Через год, мартовским вечером, Толстой слушает чтение рассказа Куприна «Мелюзга». Мнение: «Рассказ хорош; бал прекрасен; разговоры, философствования учителя ни к чему».

В мае 1909 года Толстой слушает чтение повести Куприна «Яма». Отзыв: «Отвратительно! Отношение автора не то, какое должно быть. Не любуюсь его художественным талантом: придумывает каждому лицу характерные черты». И еще: «Очень плохо, грубо, ненужно грязно» (это в дневнике). А вот – устно (Д.П. Маковицкому): «Грубость циническая ослабляет впечатление художественное, а не усиливает».

А в июне 1909 года Куприн посылает телеграмму С.А. Толстой: «Провожая Вас из Ялты, получил милостивое приглашение посетить Ясную Поляну. Не обеспокою ли Вас и Льва Николаевича, если в середине июня заеду всего на час». С.А. Толстая ответила Куприну, прося его отложить поездку в Ясную Поляну до осени ввиду того, что Лев Николаевич собирался вскоре уехать к дочери Т.Л. Сухотиной.

А.Б. Гольденвейзер записал в августе 1909 года отзыв Толстого о Куприне: «Яма» – «это мерзость!.. просто ужасно!»; «Allez!», «Поединок» Толстому «нравится»; «Кадеты» – «нехорошо, скучно».

Насколько «Яма» раздражала Толстого, пишет и его секретарь В.Ф. Булгаков: в июне 1910 года Толстой «начал читать “Яму” Куприна, но не мог дочитать, бросил» – «так гадко, главное, лишне. Всё это можно короче».

Тогда же Толстой знакомился с третьим томом рассказов Куприна. Отзыв: «Очень талантлив. “Корь” – не выдержана, но образность яркая, правдивая, простая» [60].

И вот – последнее свидетельство Толстого (за полгода до кончины) о Куприне (июнь 1910). В разговоре с А.Б. Гольденвейзером Толстой перечисляет понравившиеся ему рассказы Куприна: «Жидовка», «Незваный гость».

…Вот и еще один талант русской литературы конца XIX – начала XX века оказался под пристальным вниманием великого мастера и радетеля русской литературы.

Репозиторий ВГУ

5. *«Чтение Андреева живее заставило меня думать о художественной работе»* (Л.Н. Толстой и Л.Н. Андреев)

Все началось с посылки в декабре 1901 года Л.Н. Андреевым Л.Н. Толстому своих «Рассказов» – «как дань безграничного уважения».

Толстой тотчас же отозвался письмом к автору рассказов. Он сообщал Андрееву что «уже прежде присылки прочел почти все рассказы, из которых многие очень понравились». «Больше всех мне понравился рассказ “Жили-были”, но конец – плач обоих – мне кажется неестественным и ненужным».

В июле 1902 года о рассказе Андреева «Бездна» Толстой, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, «отозвался с отвращением».

Лишь через три года после первого письма Андреева к Толстому завязывается более тесное творческое содружество. В ноябре 1904 года, посылая Толстому в рукописи свой первый рассказ «Красный смех», Андреев просит разрешения приехать в Ясную Поляну. Толстой без промедления посылает ответное письмо, в котором высказывает свое мнение о рассказе Андреева. В нем Толстой видит «очень много сильных картин и подробностей» и вместе с тем «большую искусственность и неопределенность». Будучи «очень напряженно» занят и не совсем здоров, Толстой просит Андреева приехать к нему, когда он будет «свободнее».

В январе 1905 года в беседе с корреспондентом английской газеты «Manchester Guardian» г. Вильямсом о многих писателях русской и зарубежной литературы Толстой, в частности, отозвался и о рассказе Андреева «Жизнь Василия Фивейского»: «искусственна».

Более чем через два года, в июле 1907 года, А.С. Суворин записывает в своем дневнике, со слов П.А. Сергеенко, ставшее затем знаменитым мнение Толстого о рассказах Андреева: «Андреев все меня пугает, а мне не страшно».

Осенью 1907 года, ровно через три года после первой попытки встретиться с Толстым, Андреев телеграммой испрашивает разрешения приехать в Ясную Поляну. На что следует от Толстых ответ: «Милости просим». Но по какой-то причине в том году Андреев так и не приехал к Толстому.

В феврале 1908 года, читая рассказ Андреева «Тьма», Толстой увидел в нем «полное отсутствие чувства меры».

В следующем месяце Толстой читает рассказ Андреева «Иван Иванович», в котором находит, «как всегда у Андреева, отсутствие чувства меры» и удивляется «славе этого человека»: «Куприн, Серафимович, Арцыбашев – гораздо талантливее его», – заключает Толстой.

Через месяц М.С. Сухотин рассказывал Толстому содержание новых пьес Андреева «Царь-голод» и «Жизнь человека». Толстому «не понравилась ни та, ни другая. Про «Жизнь человека» он сказал: «Этот наивный, напускной пессимизм, что не так идет жизнь, как мне хочется… Ни новой мысли, ни художественных образов».

Через два месяца в разговоре о молодых писателях Толстой отозвался об Андрееве так: «Я не могу читать Андреева. Прочту одну страницу, и мне скучно. Я вижу, что все фальшиво».

Репозиторий ВГУ

Несколько дней спустя – впечатление Толстого не меняется (чтение «Рассказа о семи повешенных»): «Отвратительно! Фальшь на каждом шагу!.. Ему надо бы начать писать, как молодому, начинающему писателю, с самыми строгими к себе требованиями, и тогда из него могло бы выйти что-нибудь, – у него есть кое-что».

Конечно, Андреев не знал об этом отзыве Толстого, опубликованном Н.Н. Гусевым в своих воспоминаниях «Два года с Л.Н. Толстым» в 1928 году. Знай это, он вряд ли бы напечатал в «Биржевых новостях» (№ 10678) следующее письмо: «Посвящая глубокоуважаемому Л.Н. Толстому мой “Рассказ о семи повешенных”, ныне напечатанный в альманахе “Шиповник”, я, с любезного согласия издателей “Шиповника”, с 1 января 1909 года отказываюсь от права собственности на этот рассказ и предоставляю его в общее пользование».

Несмотря на весьма нелестные отзывы Толстого о произведениях Андреева, он, тем не менее, не выпускает его из орбиты своего внимания. И в сентябре 1908 года пишет специальное письмо к Андрееву о художественном творчестве.

Прочитав в «Московском еженедельнике» за 1908 год статью В. Быстренина «Новая правда» (о Л. Андрееве), Толстой «говорил о ней с недоумением» (видимо, ставя под сомнение основную мысль критика, выраженную в заглавии статьи).

Ожидая приезда Леонида Андреева (в октябре 1909 года), Толстой перечитывает его рассказы и получает «очень определенное впечатление»: «ранние рассказы хороши, позднейшие ниже всякой критики». «Жили-были» – «нет содержания, а одни картины»; «Молчание», «Валя» – «превосходны»; «На реке», «В темную даль» – «прекрасны»; «Праздник» – «хорош»; «Христиане» – «очень хороший рассказ»; «Проклятие зверя» – вначале «восхитительно», а «в конце скучно». «Сергей Петрович» – «слабо»; «Кусака» – «так себе»; «Рассказ о семи повешенных» и «Тьма» – «слабо, психологически неверно, много лишнего». «Некоторые подробности казни цыгана в “Рассказе о семи повешенных” Лев Николаевич передавал как верные, по его мнению» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого) [61].

Такое «массированное» чтение Андреева перед ожидаемым его приездом повлияло на творческое самочувствие Толстого, выразившееся в «позыве» к писанию: «Чтение Андреева живее заставило меня думать о художественной работе. Хочется, но нет неудержимой потребности» (запись в дневнике 14 октября 1909 года).

Как бы «вдогонку» к перечисленным выше рассказам Андреева в самом конце октября – еще раз чтение вслух рассказа «Христиане».

Дневниковая запись ноябрьская того же года сопоставляет три писательских таланта, которые никогда не оставляли Толстого равнодушным. Начинается она с характеристики рассказов Горького: «Знание народа черносотенного, прекрасный язык, т.е. говор людей. Но совершенно произвольная, ничем не оправдываемая психология, т.е. приписывание чувств, мыслей своим лицам, и все больше героическая, и потом среда исключительно безнравственная. Притом рабское унижение перед наукой… Всё воображаемые и неестественные огромные героические чувства и фальшь. Но талант большой.

Репозиторий ВГУ

И у него, и у Андреева нечего сказать… То же было у Чехова, но у него есть комизм».

Пьесы Андреева тоже не удовлетворяли Толстого. В начале 1910 года в разговорах о пьесах Чехова в ответ на сообщение П.Д. Долгорукова, что на сцене Московского Художественного театра они производят большее впечатление, чем «Анатэма» и другие пьесы Андреева, Толстой сказал: «Если в противовес андреевским драмам, тогда это очень хорошо» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

В это же время читаются вслух пародии на Андреева в книге А.А. Измайлова «Кривое зеркало» (1910).

И вот, наконец, Леонид Андреев приехал в Ясную Поляну (21–22 апреля 1910 года). Разговоры о писателях. Упоминаются: М. Горький, Ф. Сологуб, К. Чуковский. В связи с рассказами Андреева – о статьях Чуковского о кинематографе. Толстой советует ему взяться «за сочинение пьес для кинематографа». Расспрашивает Андреева о его пьесе «Анатэма» и выражает желание прочесть ее. В дневнике запись об Андрееве: «Мало интересен, но приятное, доброе обращение. Мало серьезен»; «Нет серьезного отношения к жизни, а между тем поверхностно касается этих вопросов» [62].

В этом же разговоре с Андреевым Толстой высказал желание писать для кинематографа: «непременно буду». О том же Толстой думал «всю ночь» – «ведь это понятно огромным массам, притом всех народов» (по воспоминаниям В.Ф. Булгакова).

Репозиторий ВГУ

Г Л А В А V

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (от античности до XIX в.)

1. ТОЛСТОЙ И ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гомер

Приехав с кавказской войны в Петербург уже известным писателем, Толстой остановился у И.С. Тургенева. Именно ему, по свидетельству А.В. Дружинина, Толстой «объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою». Это первое, известное нам, упоминание Толстого о Гомере (декабрь 1856 года).

Отметим, во-первых, «мимоходность» данной оценки; во-вторых, – ее «огульность»: совмещены великие творцы далекоотстоящих эпох; и, наконец, в-третьих, здесь чувствуется дистанцирование практического деятеля, воина Толстого от столичных литераторов, явно грешащих, по его мнению, фразерством.

Но тот же Дружинин через год, в декабре 1856 года, с удовольствием сообщает Тургеневу, что «Лев Толстой, говоря без всякого пристрастия, становится превосходным литератором, умнея и образовываясь с каждым часом. Уж он понимает “Лира” и пил за здоровье Шекспира, читает “Илиаду”…». Так сказать, происходит приобщение пропахшего порохом Толстого (на кавказской и Крымской войнах он был артиллеристом) к литературно-писательскому миру. Что ж, и это правда.

И сам Толстой в дневнике отмечает эволюцию своего восприятия Гомера в положительную сторону: «Вот оно! чудо»; «хорошо, но не более»; «прелестно»; «восхитительно»; «невообразимо прелестный конец» (ряд записей в августе 1857 года). А в ноябре того же года в письме к В.П. Боткину выражает свое несогласие с М.Е. Салтыковым-Щедриным во время разговора с последним о современной литературе: «Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше».

«Приобщение» к Гомеру продолжается. В марте 1861 года в ответ на неизвестное письмо Толстого Тургенев выражает радость по поводу возвращения его к искусству (после увлечения педагогической деятельностью), считая, что «специальность есть признак всякого живого организма», а специальность Толстого – «все-таки искусство». Узнав из письма Толстого, что он полюбил «Фауста» и Гомера, Тургенев выражает надежду: «Авось, дойдет очередь до Шекспира».

В списке книг, произведших на Толстого наибольшее впечатление в возрасте от 20 до 35 лет (1848–1863), значатся «Одиссея» и «Илиада» («читанные по-русски») – «большое».

Уже в пору написания романа-эпопеи «Война и мир» Толстой «контаминирует», объединяет произведения Гомера со своей книгой, о чем свиде-

Репозиторий ВГУ

тельствует запись в дневнике за сентябрь 1865 года: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий – Braddon, мои “Казаки” будущие; 2) в картине нравов, построенной на историческом событии, – “Одиссея”, “Илиада”, “1805 год” (первоначальное название “Войны и мира”. – *А.Н.*) и т.д.».

О неизменном и углубленном интересе Толстого к творчеству Гомера говорит и такой факт. Толстой пишет А.А. Фету в декабре 1870 года, что «с утра до ночи» учится по-гречески и читает в подлиннике Ксенофонта. Он «счастлив», что «Бог наслал» на него «эту дурь». Во-первых, он «наслаждается», во-вторых, убедился, что «из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое», он «до сих пор ничего не знал, как и все»; в-третьих, он теперь уже «писать дребедень многословную вроде Войны» (“Войны и мира”. – *А.Н.*) никогда не станет. Он увидал, что «Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами… Все эти Фоссы и Жуковские [переводчики Гомера] поют каким-то медово-паточным, горловым подлым и подлизывающимся голосом, а тот черт и поет и орет во всю грудь». Толстой пришел к выводу, что без знания греческого языка «нет образования».

В феврале следующего года тому же Фету Толстой пишет воодушевленно: «Живу весь в Афинах. По ночам во сне говорю по-гречески».

И С.А. Толстая в марте 1871 года записывает в дневнике: «С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь то Платона, то “Одиссею” и “Илиаду”, которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его известный перевод и поправляешь его, сличая с Гомером, перевод которого он находит очень хорошим и добросовестным (речь идет о произведениях Гомера. – *А.Н.*)».

Интересно, как значительно повысился «рейтинг» Гомера у Толстого во втором дневниковом списке оценок творчества различных писателей (1863–1878) по сравнению с первым (1848–1863). Если в первом списке (тогда Толстой читал Гомера по-русски) была оценка «большое» (впечатление), то во втором («Одиссея» и «Илиада» прочитаны уже по-гречески) она изменилась на «очень большое».

Факт вроде бы незначительный, но характерный в смысле неизменности, долголетнего интереса Толстого к Гомеру. Мы имеем в виду коротенькую дневниковую запись шестидесятидвухлетнего великого писателя в ноябре 1890 года: «Читал вслух М.Л. Толстой и В.А. Кузминской “Одиссею” Гомера». И через несколько дней еще раз читает вслух последние две песни «Одиссеи» (по воспоминаниям Г.А. Русанова).

Пронеся через десятилетия неподдельный интерес к творчеству Гомера, Толстой практический опыт чтения обобщил в теоретическом наблюдении: «Я очень люблю Гомера. Недавно читал и опять буду читать. У греков – соединение реализма с поэзией» (запись в дневнике П.А. Сергеенко в сентябре 1902 года).

Д.П. Маковицкий в августе 1905 года записывает слова Толстого: «Я любил Гомера, Ксенофонта “Анабасис” и особенно “Memorabilia”» [63].

Репозиторий ВГУ

И, наконец, последнее известное нам свидетельство (Д.П. Маковицкого), подтверждающее сказанное выше, относится к январю 1907 года: «Толстой читает Гомера и находит в нем такие красоты, которых раньше не замечал».

Удивительный интерес, удивительная любознательность, удивительная пристальность!

Софокл

В отличие от Гомера, Софокл интересовал Толстого гораздо меньше.

А.В. Дружинин в декабре 1856 года сообщает И.С. Тургеневу: «Он (Толстой. – *А.Н.*) свирепо читает “Антигону” Софокла в переводе Водовозова и понимает ее всю».

Из дневника А.С. Суворина за февраль 1896 года мы узнаем нечто о толстовском восприятии эстетики Софокла: «Он пишет о том, что считает самым важным».

И, наконец, в январе 1904 года Толстой пишет сыну Льву Львовичу в ответ на его сообщение о том, что он пишет драму: «Трудно очень написать такую драму, которая в наше время была бы то же, что были драмы Софокла, Эврипида для греков. А это-то и надо».

Аристофан

В записной книжке Толстого за февраль 1870 года в связи с чтением комедии Аристофана «Плутос» такая мысль: «Чистота греческого искусства только в скульптуре».

Можно предположить, что в творчестве «отца комедии» Толстому были чужды его резкость, гиперболическое осмысление черт реальных лиц, карикатурно-сатирические образы. В поэтике комедии Аристофана Толстому явно не нравились маски-карикатуры, «кричащие» костюмы, гиперболизация частей тела, броские неологизмы, каламбуры, комическая скороговорка. Всему этому Толстой противопоставляет древнегреческую скульптуру.

Аристотель

Известно, что Платон был идеалистом, а Аристотель – материалистом. В связи с этим интересен такой факт из творческой и душевной биографии Толстого.

В 1875 году в семье Толстого произошли тяжелые события. Опасно заболела его жена С.А. Толстая. 30 октября Софья Андреевна преждевременно родила девочку, которую назвали Варварой. Ребенок умер через час. Софья Андреевна была при смерти.

В том напряженном душевном состоянии, в котором тогда находился Толстой, смерть девочки, опасения за жизнь жены – и наряду с этим обычное течение повседневной жизни, не желающей знать смерти, безжалостно разрушающей жизнь, – тот самый контраст, который он когда-то с таким эпическим спокойствием изображал в рассказе «Три смерти», теперь произвел на него впечатление настоящего ужаса.

После этого Софья Андреевна болела еще около десяти дней, и Толстой чувствовал себя очень тяжело.

Как писал Толстой Н.Н. Страхову 9 ноября 1875 года, он «никогда с такой силой не думал» о тех вопросах, которые его занимали, как в эти тяжелые дни. Он «читал и перечитывал снова внимательно» книгу немецкого философа и

Репозиторий ВГУ

психолога Вильгельма Вундта «Душа человека и животных». Впечатление, произведенное на него книгой Вундта, Толстой в том же письме к Страхову выразил словами: «Я в первый раз понял силу *матерьялистического* воззрения и два дня был совершенно *матерьялистом* (курсив наш. – *А.Н.*)…».

Приведем две пометки на полях этой книги, сделанной Толстым [64].

На стр. 1 второго тома, где начинается предисловие, Толстым отмечено: «Все по логике Аристотеля. Все заблуждение – личность. Задача психологии только объяснить эти заблуждения». Мы видим явное уважительное отношение Толстого к логике Аристотеля.

Но чуть ниже на стр. 49: «Что такое внимание?» и далее, против определения Вундта: «Существенные элементы мышления суть: понятия, суждения и умозаключения» – вопрос Толстого: «Кто сказал?». На стр. 50: «Что такое суждение? Логика Аристотеля есть красивая игра». Здесь Толстой как бы сомневается в истинности логической теории Аристотеля, подозревая ее в некоем формализме, даже эстетизме.

И вот – бесспорное доказательство горячей заинтересованности Толстого трудами Аристотеля. В дневнике за 1897 год (февраль) запись: «Читал и читаю Аристотеля об эстетике. *Очень важно* (курсив наш. – *А.Н.*)» [65].

2. ГРЕЧЕСКАЯ И РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ИМПЕРИИ

Сенека

Этот политический деятель, философ («стоик») и писатель интересовал Толстого не сам по себе, а в окружении мыслителей его эпохи и эпох последующих. Так, в сентябре 1904 года Толстой пишет Г.А. Русанову, что в связи с работой над «Кругом чтения» он «все это время» читает Марка Аврелия, Эпиктета, Ксенофонта, Сократа, книги браминской, буддийской мудрости, Сенеку, Плутарха, Цицерона и «новых» – Монтескьё, Руссо и т.д.

В январе 1907 года читает Сенеку в переводе (Д.П. Маковицкий).

Еще в 1886 году Толстой начал статью о верах. Его поражает, сколько на свете вер («в календарях написано: в одних – 1000 вер или исповеданий, в других – 2000»).

Набросок 1886 года о религиозных вероучениях был напечатан лишь в 1904 году В.Г. Чертковым в Англии.

Замысел 1886 года был по-иному претворен Толстым в конце жизни, когда он и его помощники составляли для издательства «Посредник» сборники изречений: «Мысли мудрых людей на каждый день» (1903), «Круг чтения» (1906), «На каждый день. Учение о жизни, изложенное в изречениях» (1909–1910), «Путь жизни» (30 выпусков, изданы в 1911 году). Туда вошли многочисленные отрывки из брахманской и буддийской литературы, из Библии, Талмуда, из книг, связанных с именами Зароастра, Конфуция и Лоадзе, Магомета, а также изречения стоиков – Эпиктета, Марка Аврелия и Сенеки.

Плутарх

В 1870-е годы Толстой издает «Азбуку» и «Четыре русские книги для чтения». Большое количество сюжетов, намеченных для разработки в «Азбу-

Репозиторий ВГУ

ке», не получило осуществления. Сохранилось пять списков намеченных, но не использованных Толстым тем рассказов для «Азбуки».

Содержание этих тем разнообразно. Среди них немало было записано тем исторического содержания, в том числе: «Солон», «Кир – воспитанье», «Скифы (из Плутарха)» и т.д. Всего во всех списках намечено 173 темы, из которых было использовано не более двадцати…

В.Г. Черткову в январе 1887 года Толстой сообщил, что намерен просить «по всем писателям» «кто что даст» для народного издания в «Посреднике». Главное же – следует издать в «Посреднике» «все знаменитые сочинения немцев, французов, англичан, которые выдержали много изданий», «переводы Вольтера, Руссо, Бернарден де Сен-Пьера, Лессинга “Натан Мудрый”, Шиллера “Разбойники”, Гольдсмита “Векфильдский священник”, Свифта “Гулливер”, Сервантеса “Дон-Кихот”, “Записки” Сильвио Пеллико, Франклина, Плутарха и “многое другое”…».

В приведенном выше письме Толстого Г.А. Русанову (сентябрь 1904 года), где перечислены авторы будущего «Круга чтения», наряду с другими Толстой называет и Плутарха.

1907 год. Толстой начал (несмотря на нездоровье, повышенную температуру) с чтения Плутарха и Монтеня (дневниковая запись от 14 января).

3. СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Данте Алигьери

«Отношения» Толстого с Данте были сложными. Проследим это.

Август 1894 года (до этого времени никаких свидетельств относительно интереса Толстого к Данте мы не имеем). На вопрос, какое впечатление производил на него Данте, Толстой ответил: «Скука страшная. Я несколько раз пытался его читать и никогда не мог окончить; читал и по-итальянски, когда учился итальянскому языку. Жаль, что некогда, хотелось бы почитать еще…»

Февраль 1898 года. В разговоре об истинном и ложном искусстве «за борт вылетели Шекспир, Данте, Бетховен, Грибоедов как общедоступные и потому не истинные» (дневник В.Ф. Лазурского).

Март 1907 года. В письме к А. Шкарвану, отвечая на его вопрос, Толстой сообщает свое мнение о «вечных образцах поэзии» – «Божественной комедии» Данте и «Потерянном и возвращенном рае» Мильтона: «с великим трудом читал их и тотчас же мгновенно забывал все, что читал».

Октябрь 1907 года. Посещение Толстого корреспондентом римской газеты «Italia» Уго Арлотта. Разговор о непротивлении злу злом, о литературе. О Данте (итальянском писателе!) Толстой сказал: «Я никогда не мог ничего понять в произведениях Данте, и каждый раз, когда я принимался читать, они наводили на меня непреодолимую скуку».

Можно приблизительно назвать причины неприятия Толстым творчества Данте. Во-первых, это интеллектуализм мира Данте, который Толстому казался переизбыточным. И как следствие, во-вторых, – недоступность произведений Данте широким массам, на которые в значительной степени было ориентировано творчество самого Толстого (особенно – в последнее тридцатилетие).

Репозиторий ВГУ

Справедливости ради подчеркнем, что Толстой хотел еще и еще раз перечитать Данте, но и это желание не было у него первостепенным…

Джованни Боккаччо

Выше, в разделе «Данте», мы приводили слова Толстого о скучном впечатлении, которое производит на него Данте. Далее Толстой признавался: «Боккаччо лучше; по крайней мере интересно и живо рассказано. Я читал по-французски» (1894).

В апреле 1898 года Толстой читал Боккаччо, и впечатление свел к сокрушительному «приговору»: это «начало господского безнравственного искусства». Конечно, преодоление Боккаччо традиций куртуазной литературы на волне антиклерикальных, а то и попросту ернических мотивов «Декамерона» претило вкусам Толстого, исповедовавшего высоконравственный позитивный кодекс моральной чистоты и помыслов человеческих.

Эразм Роттердамский

Мы располагаем единственной дневниковой записью об этом гуманисте эпохи Возрождения, философе, писателе (март 1884 года): Толстой читал Эразма Роттердамского и в связи с этим высказал мысли о реформации; записано: «реформация Лютера» – «торжество ограниченности и глупости». Комментарии здесь неуместны, потому что безапелляционность мнения Толстого того не требует.

Ф. Рабле

По всем признакам гуманистической направленности творчества Рабле Толстого должны были привлечь пафос осмеяния и высокомерных завоевателей, и тупоумных схоластов, и религиозных фанатиков (которых не любил Толстой). Могла бы привлечь и связь Рабле с народным творчеством.

Но…

Всего два факта проявленного интереса Толстого к Рабле. В октябре 1859 года – чтение Рабле (безоценочная запись в дневнике). И – в разговоре с Д.П. Маковицким (ноябрь 1906 года) – отзыв о Рабле: «скука».

Можно с вероятностью предположить, что не содержание произведений Рабле было для Толстого «скучным», а «скучной» предстала форма: гротеск Рабле, содержащий «искры веселого карнавального огня, сжигающего старый мир» (М.М. Бахтин), был не в духе размышляющего, анализирующего, проповедующего Льва Николаевича Толстого…

М. Монтень

В период первого увлечения педагогической деятельностью (конец 1850-х – начало 1860-х годов) вполне естественным стал интерес к столпам западной педагогики. В июле 1860 года Толстой фиксирует в дневнике: чтение «Истории педагогики» К.-Г. Руммера; изучение педагогических воззрений Фрэнсиса Бэкона как «основателя материализма», Лютера как «реформатора» в религии, и Монтеня, который «первый ясно выразил мысль о свободе воспитания» (что стало «коньком» в практике толстовской педагогики в яснополянской школе для крестьянских детей).

В архиве Толстого сохранились несколько набросков философского содержания, относящихся к периоду создания «Войны и мира».

Репозиторий ВГУ

Один из этих набросков первоначально был озаглавлен «Можно ли доказывать религию»; затем это заглавие было зачеркнуто, и отрывок был назван просто «О религии».

Время написания отрывка совершенно точно определяется записью дневника Толстого от 16 октября 1865 года: «Читал Гизо-Витт [66] – доказательства религии и написал первую статейку по мысли, данной мне Montaiqne». Из записи дневника видно, что Толстой перечитывал в то время «Опыты» знаменитого Мишеля Монтеня, которого всегда ставил очень высоко.

Этот набросок интересен тем, что выражает скептическое отношение Толстого к религии в первой половине 1860-х годов.

Приверженцы религии, говорит Толстой, утверждают, что во все века всему человечеству представляется вопрос: «Что я? Зачем я живу? Что будет после смерти? Сам ли независимо явился я и живу или кто меня сделал и управляет мной? Случайность ли управляет событиями или есть в них мысль и власть высшая, и есть ли связь между мною и этой высшей властью, и могу ли я просить ее – молиться?»

На это, говорит Толстой, можно возразить, что ссылка на все человечество неосновательна, потому что все человечество есть нечто «совершенно непостижимое»; что не все люди и не всегда ставили и ставят себе такие вопросы и многие, если и ставят их, то «вопросы эти успокаиваются страстью, увлечением, трудом и привычкой удалять их». Кроме того, участь и верующих, и неверующих одинакова: верующие испытывают «темное чувство сомнения» в своей вере, неверующие «взамен успокоительных ответов» религии обладают «гордым сознанием того, что человек сам себя не обманывает». «Религия сама по себе не есть истина, так как религий много есть, было и будет». Религия – это только «произведение человеческого ума, отвечающее на известную склонность». Все это написано под влиянием Монтеня.

В ноябре 1873 года Толстой перечитывает Монтеня (запись в дневнике). В январе 1884 года – снова чтение Монтеня «с большим удовольствием и пользой (письма к С.А. Толстой).

В феврале 1891 года – чтение М. Монтеня и А.И. Эртеля (русского писателя, современника Толстого): «первое старо, второе – плохо». «Устарелость» Монтеня для Толстого неудивительна: к этому времени сам Толстой значительно расширил и углубил религиозно-философское учение по сравнению с опытом Монтеня.

И снова – чтение Монтеня (дневник за июнь 1891 года). То же в ноябре 1906 года, а в декабре 1906 года – чтение вслух (по Д.П. Маковицкому). Начало 1907 года, несмотря на нездоровье и повышенную температуру, отмечено чтением Плутарха и Монтеня (дневник). В конце января того же года – снова чтение Монтеня. За полгода до смерти Толстой выразил желание приобрести всех французских классиков (около 100 книжек) в издании «Bibliotheque Nationale». К этому желанию Толстого подвигнуло чтение «старинных французов: Ла-Боэти, Монтеня, Ларошфуко.

За месяц до смерти Толстой уже в который раз читает книгу Монтеня «Essais» («Опыты»). Через несколько дней просит прислать «начатые» им:

Репозиторий ВГУ

«Essais» de Monteiqne; «Понятие о Боге как совершенной основе жизни» П.П. Николаева и другие…

В «Круг чтения» Толстой включил и «Опыты» Монтеня (в отрывках).

Как всегда, это грандиозное предприятие Толстой осмысливал всесторонне. Каких авторов включать в «Круг чтения»? Что взять из их творчества, а что оставить? Каковы должны быть степень доступности включенных произведений и в то же время – их художественно-эстетическое или научное достоинство?..

Толстой наметил три разряда книг, включаемых в «Круг чтения». Третий разряд, предлагаемый народному читателю, – это, по словам Толстого, «наша самая пища, но такая, которая годится нам, сытым с жиру, которая надувает нас, но не кормит, и от которой, когда мы предлагаем ее народу, он тоже отворачивается».

Творцами той пищи, которая только «надувает» образованное общество, но «не кормит» его, и от которой народ отворачивается, оказывается – по Толстому – наши знаменитые писатели, которых он тут же перечисляет: Пушкин, Жуковский, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тургенев, Толстой, а также историки и духовные писатели последних лет. «Мы питаемся этим, и нам кажется, что это самая настоящая пища, а он не берет».

Чувствуя, насколько это его утверждение поразит слушателей, Толстой считает себя обязанным пояснить свою мысль. Он пишет: «В наше время мы, образованные люди, выработали (в особенности школой) искусство притворятся, что мы знаем то, чего не знаем, делать вид, что вся духовная работа человечества до нас нам известна… У нас выработалось искусство быть вполне невежественным с видом учености».

«Если два собеседника, – продолжал Толстой, – в разговоре упоминали о Сократе, о книге Иова, об Аристотеле, об Эразме, о Монтене, о Данте, Паскале, Лессинге и продолжают говорить о них, то подразумевается, что они достаточно знают этих мыслителей. А попробуйте спросить их подробнее о мыслях тех, кого они упомянули, вы увидите, что ни тот, ни другой их не знают».

На примере долголетнего интереса Толстого к творчеству Монтеня, бесконечного штудирования его сочинений, мы с уверенностью можем сказать, что Толстой не относится к типу этих двух читателей…

Ф. Бэкон

Конец 1850-х – начало 1860-х годов ознаменован педагогическими увлечениями Толстого. В июле 1860 года он читает «Историю педагогики» К.-Г. Руммера. Толстого особенно заинтересовали в этой книге педагогические воззрения Фрэнсиса Бэкона как «основателя материализма» (определение Руммера).

В январе 1876 года Толстой просит Н.Н. Страхова прислать сочинения Юма и Бэкона.

В начале 1907 года Толстой читает присланную автором Э. Рейхелем книгу «Schakespeare – Litteratur» [«Литература о Шекспире»], Stuttgart, 1887. В своей книге Рейхель старался доказать, что драмы, приписываемые Шекспиру, были опубликованы Бэконом, который внес в них много искажений, делающих их антихудожественными. Нам неизвестна реакция Толстого на

Репозиторий ВГУ

точку зрения Рейхеля. Бесспорно одно: Шекспир и Бэкон оба в одинаковой степени интересовали русского писателя.

В. Шекспир

С Шекспиром Толстой «встретился» еще на Кавказе, в начале 1850-х годов.

Находясь в станице Старогладковской, он некоторое время ведет образ жизни, которым не может оставаться довольным. «Вел себя целую неделю так безалаберно, что мне стало очень тяжело и грустно, как всегда бывает, когда недоволен собою», – записывает он в дневник 23 июня 1852 года.

Наступило время «чистки души», как называл подобные периодически повторяющиеся душевные состояния, выведенные Толстым впоследствии в романе «Воскресение», Нехлюдов. Прочитанная им в романе Уоррена «Тяжба» фраза из пьесы Шекспира «Троил и Кресида»: «Так различные доблести распознаются в бурях несчастий» помогла Толстому привести в порядок свой внутренний мир.

По возвращении с войны Толстой посетил Петербург и многочисленных писателей. А.В. Дружинин пишет в дневнике 7 декабря 1855 года, что накануне за обедом у Некрасова «Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком… Он не знал, например, что значит цензурный комитет…, затем объявил, что не считает себя литератором и т.д.». От Некрасова поехали к больному Тургеневу, и там Толстой «объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою». Такое суждение о Шекспире должно было сильно задеть за живое членов редакции «Современника», преклонявшихся перед Шекспиром.

Наметившееся в это время отрицательное отношение Толстого к творчеству Шекспира станет стойким на долгие годы.

31 января 1856 года Толстой вместе с Майковым, Анненковым, Гончаровым, Фетом, Панаевым, Григоровичем слушает у Некрасова новый перевод «Короля Лира» Шекспира, сделанный Дружининым. «Вечером, – пишет в этот день в дневнике Дружинин, – я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира». 3 февраля Дружинин уже сообщает Боткину, что «Толстой покупает себе Шекспира и хочет с сим великим мужем примириться».

В конце этого же года Дружинин писал Тургеневу: «Лев Толстой, говоря без всякого пристрастия, становится превосходным литератором, умнея и образовываясь с каждым часом. Уж он понимает “Лира” и пил за здоровье Шекспира, читает “Илиаду”, а для того чтобы понять все наше литературное движение, собирается перечитать все статьи Белинского…»

Возможно, что Дружинин не вполне точно передал отношение Толстого к драме Шекспира «Король Лир». По крайней мере в дневнике Толстого под 11 декабря 1856 года сказано, что чтение «Короля Лира» «мало подействовало» на него.

Первая запись о чтении Шекспира была сделана Толстым в дневнике 15 ноября 1856 года. 16 ноября он записал: «Дочел “Генриха IV”. Нет!». Лаконичность и категоричность этого отзыва указывают, по-видимому, на то, что Толстой принялся за чтение этой драмы Шекспира под влиянием уговоров приятелей (особенно Дружинина), и чтение это разочаровало его.

Репозиторий ВГУ

Но несомненно, что когда в последних числах декабря 1856 года Толстой вновь взялся за перечитывание Шекспира, отношение его к Шекспиру было иное, чем прежде. Это видно из не дошедшего до нас письма Толстого к Тургеневу от 21 декабря 1856 года, в ответ на которое Тургенев между прочим писал: «Знакомство Ваше с Шекспиром – или говоря правильнее – приближение Ваше к нему – меня радует». По контексту письма Тургенева можно допустить, что Толстой писал ему именно о «Короле Лире».

Иногда косвенным путем шекспировская тема побуждала Толстого к более широким проблемам литературы и искусства, в том числе и к собственному творчеству. Известно, что в конце 1850-х годов Толстого сближала с А.А. Фетом любовь и чуткость Фета к искусству. Однажды, после того как Фет прочел Толстому свой перевод трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», между Толстым и Фетом завязался разговор, в котором Фет «разжег» его «к искусству» (дневник за 11 ноября 1857 года) – продолжение повести «Казаки». Конкретно: под впечатлением этого чтения у Толстого явился новый план повести – начать ее «драмой» (дневник за 11 ноября 1857 года). Здесь под словом «драма» Толстой разумел не драматическую форму изложения, а драму по существу, то есть драматическое развитие действия. Затем у Толстого явилась мысль усилить драматический элемент развязки повести. 14 ноября он записывает: «*Эврика!* (курсив автора. – *А.Н.*) для “Казаков”: обоих убил». Это значит, что финал повести представился теперь Толстому в виде убийства двух главных героев повести: казака Кирки, бежавшего к чеченцам и затем возвратившегося в родную станицу, и офицера, полюбившего его жену. Замысел этот, однако, осуществления не получил.

Собратья по перу продолжали «обрабатывать» «строптивого» Льва Толстого к надлежащему восприятию великого Шекспира. В письме к Тургеневу 1861 года, до нас не дошедшем, Толстой повторил свою данную ранее оценку «Фауста» Гёте, чему Тургенев, разумеется, очень обрадовался. «Вот Вы и “Фауста” полюбили, и Гомера; авось дойдет теперь до Шекспира», – писал Тургенев Толстому в своем ответном письме от 26 марта.

Шекспир и вообще драматическое искусство будоражат Толстого.

Зимою 1869–70 года Толстой увлекся русскими народными былинами. Изучение русских былин навело его на мысль написать роман из современной жизни и придать героям черты характеров русских богатырей. Но этот замысел не осуществился.

С.А. Толстая рассказывает в своем дневнике: «После чтения былин и сказок все это последнее время он перечитал бездну *драматических* (курсив наш. – *А.Н.*) произведений: и Мольера, и *Шекспира* (курсив наш. – *А.Н.*), и Пушкина “Бориса Годунова”, которого не хвалит и не любит, и сам всё собирается писать комедию».

Следующую дневниковую запись (от 15 февраля) Софья Андреевна начинает высказыванием Толстого о драме. «Вчера вечером, – пишет она, – много говорил Лёвочка о Шекспире и очень им восхищался, признает в нем огромный драматический талант…». К записи о Шекспире С.А. Толстая позднее сделала приписку: «Хвала Шекспиру была кратковременна, в душе он его не любит и всегда говорит: “Я это говорю потихоньку”. Толстой, одна-

Репозиторий БГУ

ко, никогда не отрицал несомненных – с его точки зрения – достоинств пьес Шекспира, указанных им даже в статье «О Шекспире и о драме» (1903–1904) с ее резко отрицательной общей оценкой шекспировских пьес.

16 февраля 1870 года Толстой пишет Фету: «… я ничего не пишу, но говорить о Шекспире, о Гёте и вообще о драме очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще и, как это всегда случается с людьми, которые до сорока лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с сорокалетней ясностью обратят внимание на новый, ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового».

В дневнике той поры – две записи. Первая касается трагедии вообще. Толстой говорит, что трагедия «при психологическом развитии нашего времени страшно трудна». Поэтому такие вещи, как «Ифигения» и «Эгмонт» Гете, «Генрих IV» и «Кориолан» Шекспира, «ни читать, ни давать их нет возможности». Это, по мнению Толстого, относится и к «Борису Годунову» Пушкина, являющемуся подражанием Шекспиру и написанному непоэтическим белым стихом.

Во второй записи Толстой, признавая образцовыми произведения «Горе от ума» и «Ревизор», относит их к «самому мелкому, слабому роду» драматической литературы – сатирическому. Все же «остальное огромное поле – не сатиры, но поэзии – еще не тронуто».

1 мая 1878 года Толстой, чтобы проверить установившееся у него мнение о Шекспире, отправился в Малый театр смотреть постановку «Кориолана» Шекспира с участием знаменитого английского трагика Росси, но ушел до окончания спектакля.

22 августа 1881 года Тургенев приехал в Ясную Поляну. Он продолжал внушать своему собрату по литературе все величие Шекспира, указывая «на истинно драматические положения, в которые Шекспир ставит своих героев». «Истинно драматические положения, – так приблизительно говорил он, – возникают не тогда, когда добродетельные люди борются с злыми, как в мелодраме, или когда люди страдают от внешних бедствий… Драматические положения возникают тогда, когда страдание неизбежно вытекает из характеров людей и их страстей. В драмах Шекспира мы находим именно такие положения» (записи старших сыновей Толстого – Сергея и Ильи). Толстой молча выслушал эту «лекцию».

18 сентября 1881 года Толстой зашел в частную гимназию Л.И. Поливанова, чтобы подать прошение о поступлении его сыновей. В кабинете директора Поливанова, кроме его самого, своего старого знакомого, бывшего учителя тульской гимназии, был Е.Л. Марков, с которым Толстой полемизировал еще в 1862 году в статье «Прогресс и определение образования», напечатанной в журнале «Ясная Поляна». Марков же в 1875 году в либеральном «Вестнике Европы» напечатал очень грубый отзыв на статью Толстого «О народном образовании». Несмотря на это, Толстой и Марков встретились как старые знакомые, и Марков сразу начал расспрашивать Толстого о его жизни и работах.

Репозиторий ВГУ

В этой беседе были затронуты и литературные проблемы. В частности, Толстой сказал:

– Художественно то, что нравится, будь то Платон, Паскаль. Вот я люблю Сервантеса, он превеселый рассказчик, люблю Мольера за их правду… Шекспира… Впрочем, Шекспира менее. Сервантеса и Мольера более.

27 января 1884 года Толстой на короткое время уехал из Москвы в Ясную Поляну, чтобы отдохнуть от напряженной работы, от тяжелой семейной атмосферы и вообще утомлявшей и неприятной для него московской жизни.

Манил его к себе и новый замысел народной пьесы, которой он надеялся заняться в уединении. «Обдумываю ее [пьесу], – писал он жене 30 января, – с большим удовольствием. И, как всегда, все разрастается и, главное, углубляется и делается очень (для меня) серьезно».

Вероятно, в связи с этим замыслом Толстой вновь перечитывает Шекспира в «прекрасном» немецком переводе, но остается при прежнем о нем мнении. Он читает «Кориолана», но находит, что пьеса эта – «несомненная чепуха, которая может нравиться только актерам»; читает «Макбета» «с большим вниманием», но находит, что трагедия эта, как и другие вещи Шекспира, – «балаганные пьесы, писанные умным и памятливым актером, который начитался умных книг».

«Противостояние» Шекспиру обернулось неожиданностью (для самого Толстого). Это связано с написанием им народной драмы «Власть тьмы». Пьеса эта была встречена в писательской среде единодушным одобрением. В частности, известный музыкальный и литературный критик В.В. Стасов восторженно писал Толстому о… шекспировской трагической силе пьесы: «Я вчера получил вашу драму и наконец-то, наконец-то прочел ее. Я скажу теперь только одно слово: вчерашний день был один из счастливейших и величайших в моей жизни. Ничего подобного я не читал много-много лет, с самых тех пор, когда в первый раз прочел “Лира”, “Гамлета”, “Отелло” и все подобное. Потому что вы для меня с этой драмою ни на один вершок не ниже этого человека, Шекспира. Что за правда беспредельная, что за глубина, что за сила и красота творчества! А какой язык – этому и названия нет».

В ситуациях «ответственных», что ли, Толстой был предельно объективен. Как, например, в беседе с английским журналистом Уильямом Стэдом (1888). «Когда очередь дошла до англичан, – пишет Стэд, – я, естественно, с большим нетерпением ожидал, на ком он остановит свой выбор. Шекспир был, конечно, назван первым. Толстой сказал, что большинство его пьес переведено на русский язык и некоторые из них весьма популярны».

Как ни удивительно, но Шекспир «помогал» Толстому и в чисто бытовых вопросах. 2 апреля 1891 года Толстой написал жене, уехавшей в Петербург, о своей жизни с детьми: «Я нынче по разным своим ходам мысли вспомнил о короле Лире и предложил им прочесть его, и сейчас станем читать».

Он думал о разделе имущества между детьми.

Осенью 1896 года в Ясной Поляне появился французский театральный деятель и драматург Люсьен Бенар. По его воспоминаниям, Толстой критиковал Шекспира за то, что он рисовал только героев.

Репозиторий ВГУ

29 ноября того же года пьеса «Власть тьмы» шла в Малом театре. Накануне вместе с женой Толстой был на генеральной репетиции. В уборной актера А.И. Сумбатова-Южина, где оказался в антракте, Толстой «сурово» вглядывался в английскую картину, изображающую представление перед королем убийства Гонзаго в «Гамлете».

« – Какое тут злое лицо у Гамлета! – сказал он. – А ведь Гамлет действительно зол. Ему кажется, что все мало, и все он себя за это упрекает и все мучается тем, что не может убить, кого решил. А сколько он людей перебил зря!..».

Сохранилось воспоминание С.Т. Семенова о том, что зимой 1895–1896 года Толстой побывал в народном театре на московской мануфактурной фабрике Прохорова. Ставили «Мещанина во дворянстве» Мольера. Толстой был в восторге. Фабрикант спросил, какие пьесы ставить для рабочих. Наряду с пьесами Шиллера, Островского и Писемского Толстой назвал «Короля Лира».

В декабре 1895 года Лев Николаевич был на ученическом вечере консерватории, беседовал с Ф.А. Страховым, который захотел узнать, по каким побуждениям Толстой ходил слушать «Короля Лира» (видимо, музыку М.А. Балакирева), и разговор зашел о Шекспире.

«Его мнение о Шекспире, “дикое”, как говорит сам Л.Н., давно интересовало меня. Он напал на “Короля Лира”, находит много неестественных сцен и лиц, например, сумасшествие Эдмунда, характер Кента. Недавно перечитывал “Ромео и Юлию”. Сцена с аптекарем, к которому приходит Ромео за ядом, возмутительна по неестественности. Во всем видна небрежная работа актера, который спешит окончить пьесу, чтобы забавлять ею публику. Клоуны его возмутительны: это глумление над простым народом. В них виден автор-шут. Конечно, он умный, и многие сцены у него глубоки. Это не Шпажинский; но полной художественности у него нет; не видно, чтобы автор любил свое создание. Наконец, возмутительно его равнодушие, называемое объективностью. Отелло ли душит Дездемону или убивают подряд несколько человек – ему все равно. Все это для него лишь занятные картины. Мольер художественнее Шекспира, Бомарше – и подавно…»

В Москве тогда гастролировал знаменитый итальянский трагик Эрнесто Росси. Спектакли давались в театре «Эрмитаж». Н.Н. Страхову Толстой написал в середине января 1896 года: «На днях я, чтоб проверить свое суждение о Шекспире, смотрел “Короля Лира” и “Гамлета”, и если во мне было хоть какое-нибудь сомнение в справедливости моего отвращения к Шекспиру, то сомнение это совсем исчезло» (!).

В 1898 году вышла в свет книга Толстого «Что такое искусство?», взбудоражившая весь художественный мир. Были сторонники, были противники толстовского понимания искусства.

Поэт старшего поколения Я.П. Полонский, консерватор и монархист, не разделяя радикальных взглядов Толстого, и теперь (как это было уже с «Царством Божиим внутри вас») намеревался выступить с резко критической статьей. Он читал ее в кругу друзей. 6 апреля М.О. Меньшиков рассказывал в письме Толстому: «Свое возражение на Вашу книгу об искусстве Полонский сдал Ухтомскому; возражение такое резкое, что князь не согласился печатать, если не будут смягчены некоторые места. Полонский согласился смягчить».

Репозиторий ВГУ

7 апреля 1898 года обеспокоенный, главное, тем, что человек, которого он полюбил с тех пор, как узнал (познакомился в декабре 1856 года в Петербурге и встречался в 1857 году в Баден-Бадене), продолжал любить всегда, испытывает к нему недобрые чувства, Толстой написал: «Очевидно, что тут есть какое-то недоразумение, и я очень желал бы, чтобы оно разрушилось. Пожалуйста, простите меня, если считаете, что я в чем-нибудь виноват перед вами, и не будьте дурно расположены ко мне. Мне и всегда было мучительно больно чувствовать и знать, что я виновник вызванного моими слабостями дурного чувства, а теперь, когда всякий день по несколько раз думаю и готовлюсь к смерти, это для меня особенно мучительно». «Миллионы братьев наших, хотя отживших, но все же братьев, поклонялись и Рафаэлю и Данту, славили гений Шекспира, сливались воедино душой и сердцем, внимая Бетховену, изучали Канта и двигали вперед науку, естествознание… Словом, были лучшими двигателями человечества, как в умственном, так и в нравственном отношении. И что же, Вы единственный, который осудили их всех как людей, пребывающих во лжи, – неужели это любовь?» (14 апреля). «В Вашей статье об искусстве страницы о Вагнере так хороши и правдивы, что я не могу им вполне не сочувствовать, но Ваше заключение, где говорите Вы о науке, проникнутой христианским чувством или, как Вы говорите, сознанием, непонятно мне».

19 мая Полонский опубликовал смягченный вариант статьи, под заглавием «Навеянное», в «С.-Петербургских ведомостях». Толстой, по всей видимости, ее не читал; 20 мая благодарил за добрые письма: «Вы, верно, знаете, какое преобладающее перед всем другим значение приобретает в старости доброта. Я и всегда особенно ценил легенду об Иоанне Богослове, под старость говорившем только: братья, любите друг друга; а теперь особенно умиляюсь перед нею. Я тоже чувствую, и очень, ее приближение, и мне кажется, что то ослабление жизнедеятельности, которое мы чувствуем здесь, не есть уменьшение жизни, а только начинающийся уже переход в ту жизнь, который мы еще не сознаем. Когда же мы умрем, мы вдруг сознаем ее».

Полонскому до этого «сознания» оставалось совсем недолго: он умер в Петербурге 18 октября 1898 года.

Шекспир, несмотря на неприятие его Толстым, то и дело «врывался» в повседневную жизнь Толстых. Две дочери старшего брата Л.Н. Сергея Николаевича – Варя и Вера – не без влияния Льва Николаевича поступили противу аристократических правил: не спросясь отца, Варя полюбила пироговского крестьянина В.Н. Васильева и уехала с ним из дома, нанеся родительскому чувству и аристократической гордости отца страшный удар; старшая дочь Сергея Николаевича Вера сошлась с башкирцем Абдерашидом Сафаровым (находившимся в имении для изготовления кумыса) и тоже уехала, и хотя вернулась с новорожденным сыном домой, доставляла горькие страдания отцу.

Толстой чувствовал себя невольным виновником перед братом, уговаривал Веру не покидать дом, оборвав свое странное увлечение. На эту ситуацию проливает свет «Автобиография» самой младшей дочери Сергея Николаевича Марии (вышедшей в мае 1899 года за небогатого владельца имения Дубки), в которой она рассказывала: «Вера и Варвара под влиянием Л.Н. Толстого с 1885 года резко переменили свою жизнь: перестали нарядно

Репозиторий БГУ

одеваться, старались отдаляться от веселья и легкомысленной праздной жизни. Стали изучать медицину, чтобы быть в состоянии приносить пользу больным в деревнях, где было очень мало медицинской помощи. Учили крестьянских ребят грамоте. Завели для них хорошую библиотеку. Ставили с ними спектакли – "Первый винокур" Толстого и другие пьесы. К нам приезжал Лев Николаевич и очень интересовался школой…»

В архиве Н.Н. Гусева сохранились рукописная и машинописная копии письма Толстого от 12 июля 1899 года, обращенного к Вере: «Ты поступаешь ужасно, уезжая в Самару (с Абдерашидом Сафаровым) и доставляя такие страшные страдания своему отцу. А доставлять страдания другому – нельзя без того, чтобы не заставлять страдать себя. И ты страшно заставишь страдать себя, только твои страдания будут после, и его страдания теперь, перед его смертью. Это ужасно… Верочка, голубушка, ради всего святого опомнись, вникни в то, что я пишу кровью сердца».

Не приходится сомневаться, что в связи с этими событиями Толстой вспоминал свою незаконченную драму «И свет во тьме светит». И достоверно известно – пьесу Шекспира: «Ты, кажется, несешь свое Лирство (Король Лир) мужественно. Помогай тебе Бог» (письмо к Сергею Николаевичу). И далее – завидовал одиночеству брата: «Лучше одиночество ("Лирство". – *А.Н.*), чем недостойная и унизительная суета, в которой я должен быть, если не огорчать и раздражать, что особенно больно перед концом» [67].

Лучшие умы России, не смущаясь субъективного отношения Толстого к Шекспиру, ставили эти имена рядом. Так, после выхода в свет романа Толстого «Воскресение» В.В. Стасов написал Толстому: «И вот на таких-то созданиях кончается XIX век и наступает XX-й. Нет, Лев Николаевич, вы там как хотите и как сами знаете со своими любвями и антипатиями, а у меня тоже и *свои* (курсив автора. – *А.Н.*), и на них я имею свое право. И в силу такого-то права объявляю, как муэдзин с минарета: "Нет Бога кроме Бога. Но тоже нет, сквозь все столетия, ни единого человека после Шекспира, кроме русского нашего нынешнего Льва"».

Стасов в письме к О.И. Оптовцевой (январь 1900) рассказывал о встречах с Толстым и снова – о «Воскресении»: «Еще раз повторяю: для меня это одна из гениальнейших книг, какие только существуют на свете, а сам Лев Толстой для меня выше не только всех наших Пушкиных, Лермонтовых, Гоголей, Достоевских и других (не говоря уже о Тургеневе, который для меня очень талантлив, но слаб и довольно бессодержателен), но и во всемирной литературе может равняться только с Шекспиром, а в русской литературе имеет достойными товарищами лишь *Герцена и Грибоедова* (курсив автора. – *А.Н.*). Таков мой символ веры».

П.П. Гнедич записал в январе 1900 года следующий рассказ Чехова об отношении Толстого к его пьесам: «Вы знаете, он не любит моих пьес, уверяет, что я не драматург! Только одно утешение у меня и есть, – прибавляет он, – он мне раз сказал: "Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже. Шекспир все-таки хватает читателя за шиворот и ведет его к известной цели, не позволяя свернуть в сторону. А куда с вашими героями дойдешь? С дивана, где они лежат, до чулана и обратно"».

Репозиторий ВГУ

Это рассуждение доказывает, что субъективное отношение его к Шекспиру включало и момент объективный, когда давалась сравнительная оценка творчества великого драматурга.

А.Б. Гольденвейзер записывает в дневник в апреле того же года: «Както говорили о Шекспире… Л.Н. сказал: “Шекспира и Гёте я три раза в жизни проштудировал от начала до конца и никогда не мог понять, в чем их прелесть”».

Ну, что ж – стойкое читательское восприятие. Тут Лев Николаевич неподсуден…

Сходное умозаключение Толстого, и тоже отмеченное А.Б. Гольденвейзером (в июле 1902 года): «Я очень люблю Чехова и ценю его писания, но его «Три сестры» я не мог заставить себя прочитать. К чему все это? Вообще у современных писателей утрачено представление о том, что такое драма… Вот я себе позволял порицать Шекспира. Но ведь у него всякий человек действует, и всегда ясно, почему он поступает именно так».

А в сентябре 1903 года Толстой работает над статьей о Шекспире как предисловием к статье Э. Кросби «Shakespeare and the working class» («Шекспир и рабочий класс») [68]. Тогда же В.В. Стасов уведомляет Толстого о посылке ему в числе прочих книг: «“Североамериканского издания Шекспира”, “Variorum” Фернеса, томы: “Отелло” и “Лир” – 2 тома и Макса Нордау I том “Französische Zeitmässigkeiten”, где в статье о “Дон-Карлосе” Шиллера речь идет о Шекспире в отрицательном смысле».

Примерно через месяц Толстой сообщает В.Г. Черткову: «Занят теперь очень неожиданной работой, которая вот уже скоро месяц отвлекает меня от моих более нужных работ. Это – начатое мною предисловие к статье Crosby об отношении Шекспира к рабочему народу, которое переросло статью Crosby и стоило мне большого труда. Надеюсь, что я кончу ее дня через два. Мне хотелось высказать мое много раз и очень добросовестное впечатление о Шекспире, совершенно противоположное установившемуся».

Через два дня после этого в ответ на письмо В.В. Стасова от 23 сентября 1903 года, советовавшего прочесть статью Г. Брандеса, который «очень подробно и многосторонне рассматривает все, что писано было до сих пор *за и против* (курсив автора. – *А.Н.*) Шекспира насчет его “антидемократизма” и “малого уважения народа”», Толстой сообщает, что в статье о Шекспире ему нужно было высказать то, что сидело в нем «полстолетия»: «Дело не в аристократизме Шекспира, а в извращении, посредством восхваления нехудожественных произведений, эстетического вкуса». В письме к брату Толстой пишет, что в статье о Шекспире он хочет доказать, что Шекспир «не только не великий писатель, но страшная фальшь и гадость».

Эта работа сильно увлекла Толстого. В том же октябре он читал вслух написанное А.С. Бутурлину и Д.В. Никитину, в ноябре продолжает работать над «шекспировской» статьей, оставив запись в дневнике: «Все время был занят Шекспиром, который все разрастался, кажется пришел к концу».

В.Г. Черткову пишет: «Продолжительная моя работа над статьей о Шекспире надоела, особенно вследствие сомнений о ее полезности. Даже нет сомнения, что мне есть гораздо более нужные дела».

Репозиторий БГУ

В декабре 1903 года запись в дневнике: «Все вожусь с Шекспиром и решил перестать писать его по утрам, а начать новое – или драму, или о религии, или кончить Купон (повесть “Фальшивый купон”. – *А.Н.*)».

Наконец, 18 декабря 1903 года сообщает В.Г. Черткову: «Шекспира кончил…».

Через месяц, 17 января 1904 года, Толстой делает последние поправки в статье о Шекспире, получившей название «О Шекспире и о драме».

Статья эта принесла ее автору славу «ниспровергателя» творчества великого английского драматурга. Действительно, весь пафос этого критического очерка направлен на развенчание Шекспира.

В 1908 году Толстой напишет о том, что его критическая статья о Шекспире никого не убедит. «Мне, – указывал он, – только хотелось заявить, что я не подчиняюсь общему гипнозу».

Но даже и в острополемической статье Толстой не мог не сказать о несомненных достоинствах шекспировской драматургии. Так, например, он пишет о замечательном «умении Шекспира вести сцены, в которых выражается движение чувств». Он высоко оценивает необыкновенную сценичность пьес Шекспира, их подлинную театральность.

«Отрицание» Шекспира нельзя не признать одним из сильнейших заблуждений Толстого. Откуда оно возникло? Мемуаристы склонны объяснить его появление характерным для Толстого «противлением» всему, что общепринято. Но дело, разумеется, не только в нежелании Толстого подчиняться, по его выражению, «общему гипнозу» и признать значение шекспировского наследия. Толстой отрицал пьесы Шекспира, во-первых, за отсутствие в них «религиозных основ» и, во-вторых, за их «аристократизм»: Толстому казалось, что Шекспир прославляет королей, принцев и принижает простой народ.

Осудив этические основы творчества Шекспира, Толстой подверг критике и его эстетический авторитет.

Немногие из западноевропейских и в особенности английских писателей правильно поняли, в чем состоял главный пафос толстовской статьи-книги «О Шекспире и о драме». К числу этих немногих принадлежал выдающийся английский драматург и публицист Б. Шоу. Назвав статью «великой толстовской ересью», Шоу сумел увидеть в ней не только заблуждения Толстого, но и справедливые требования, обращенные к современной драматургии, к современному искусству.

В августе 1904 года в «Русских ведомостях» появилось обширное интервью, данное Толстым немецкому журналисту Гуго Ганцу, посетившему его в январе 1904 года. Разговор о философии и литературе. Толстой «восхищается» Кантом и Лихтенбергом; Ницше называет ловким фельетонистом, который не может «стоять рядом с великими мыслителями и учителями человечества». У Гёте Толстой особенно ценит «Германа и Доротею», но лирические стихотворения Гейне произвели на него большее впечатление, чем стихотворения Гёте, который «занимается только эстетической игрой». Любовь к человечеству Толстой в гораздо большей степени находит у Шиллера. Он полагает, что «нельзя сделаться великим писателем, если не писать кровью

Репозиторий ВГУ

сердца». О Шекспире Толстой высказался отрицательно; славу его он приписывает только гипнозу массового внушения.

Д.П. Маковицкий летом 1905 года отмечает в своих «Яснополянских записках», со слов Л.Н. Толстого: «Диккенс неподражаем для нашего брата. У него всегда образность, юмор… “Давид Копперфильд” – отделано; “Bleck – house” (“Холодный дом”) – набросано. “Bleck – house” – одно из лучших против суда… У Диккенса герои – бедовые, забитые; лордов презирает. У Шекспира наоборот: дюки важны, мужик clown».

В июле 1905 года Толстой извещает В.Г. Черткова о своем решении напечатать статью о Шекспире в виде предисловия к статье Э. Кросби «Отношение Шекспира к рабочему народу». Тогда же он пишет Э. Кросби: «Преступления и жестокости, совершаемые в России, ужасны, но я твердо убежден, что эта революция будет иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, чем Великая французская революция» (перевод с английского).

8 октября 1905 года В.Г. Чертков пересылает Толстому письмо Б. Шоу от 2 августа, написанное им Черткову в связи с изложением Чертковым в письме к Шоу содержания статьи Толстого «О Шекспире и о драме».

В ноябре 1905 года Толстого посетили Л.А. Сулержицкий и В.Э. Мейерхольд. Шел разговор о театре и о пьесах. Слова Толстого: «Средние драмы Потехина лучше Чехова, Горького и других… Метерлинк, Ибсен, даже Бьёрнсон – одна неясность, путаница, бесцельная игра на чувствах… В “Чести” Зудермана – нравственность буржуазной семьи… В “Ткачах” Гауптмана есть что-то… другие его пьесы – путаница, плохие… Даже Шекспир выше современных драм. Даже Шекспир, которого я смолоду не любил, спорил о нем с Тургеневым. Он презирает мужиков, носителями добродетелей у него являются gentlemen, герцоги. “Короля Лира” он испортил. Я читал старую драму Короля Лира. Там рассказывается, как он поехал во Францию к дочери, и она его не узнала – трогательная сцена». (Д.П. Маковицкий).

По получении от Черткова при письме от 21 ноября копий писем Б. Шоу, Толстой пишет ему: «Шекспира мне не присылайте, а печатайте, как он есть. Если есть те blunders [промахи], о которых говорит Шоу, исправьте их сами».

В феврале 1906 года в Ясную Поляну приехали С.И. Танеев и А.Б. Гольденвейзер. Играли на двух фортепьяно. Толстому понравилась симфония А.С. Аренского («удивительно цельное») и его же «Polichinelle» и «Coquette». Про увертюру Ф. Мендельсона к «Midsummer nidht» Шекспира Толстой сказал: «Это не так хорошо».

В начале 1907 года Толстой читает № 12 парижского журнала «Les Lettres» за 1906 год с отзывами двадцати французских писателей о статье Толстого о Шекспире.

Тогда же он «огорчился», прочитав в № 18 «Русских ведомостей» за 24 января заметку «Шекспир, Толстой и Метерлинк». В заметке были изложены полемические суждения Метерлинка относительно последних сочинений Толстого, в том числе относительно статьи «О Шекспире и о драме».

Репозиторий ВГУ

В феврале 1907 года закончено письмо к Э. Рейхелю о его книге «Schakespeare – Litteratur» («Литература о Шекспире»). Толстой находит его доводы в пользу того, что «драмы, приписываемые Шекспиру, написаны не им», «очень убедительными», но считает себя мало компетентным для того, чтобы высказать окончательное суждение по этому вопросу. Повторяя высказанное им в статье «О Шекспире и о драме» мнение, что драмы Шекспира, «не исключая из них “Гамлета” и др., не только не заслуживают того восхваления, с которым привыкли судить о них, но в художественном отношении ниже всякой критики», Толстой выражает несогласие «в признании достоинств тех некоторых драм», которые Рейхель выделяет «из всех остальных».

В том же месяце 1907 года Толстой читает в парижском журнале «Les Lettres (1907–1908, premier semester) мнения французских писателей о своей статье о Шекспире (дневниковая запись от 17 февраля)…

Так закончилось полустолетнее противостояние одного гения другому. В этом противостоянии нет сенсации, а есть искреннее, заинтересованное отношение великого русского писателя, мыслителя к творчеству великого английского драматурга эпохи Возрождения.

М. Сервантес де Сааведра

Первое упоминание в дневнике Толстого отмечено в ноябре 1857 года: «Чтение “Дон-Кихота” Сервантеса».

В мае 1866 года сообщает Фету, что перечитывает «Дон-Кихота».

В 1881 году (январь) в беседе с педагогом Е.Л. Марковым признался: «Художественно то, что нравится, будь то Платон, Паскаль. Вот я люблю Сервантеса, он превеселый рассказчик, люблю Мольера за их правду… Шекспира… Впрочем, Шекспира менее, Сервантеса и Мольера более».

В начале 1884 года Толстой отправляет большое письмо профессору А.Н. Пыпину с общей характеристикой литературной деятельности И.С. Тургенева. В частности, подчеркиваются «три фазиса» в творчестве Тургенева: 1) «вера в красоту (женскую любовь – искусство)»; 2) «сомнение в этом и сомнение во всем»; и 3) «не сформулированная, как будто нарочно, из боязни захватить ее…, не формулированная, двигавшая им и в жизни, и в писаниях вера в добро – любовь и самовыражение, выраженная всеми его типами самоотверженных, и ярче и прелестнее всего в “Дон-Кихоте” [статья Тургенева “Гамлет и Дон-Кихот”], где парадоксальность и особенность формы освобождала его от его стыдливости перед ролью проповедника добра».

В большом списке «знаменитых сочинений немцев, французов, англичан», предполагаемых к опубликованию в издательстве «Посредник», значился и «Дон-Кихот» Сервантеса (1887).

К 1890 году относится первое письмо к Толстому его будущих близких друзей – словаков Душана Маковицкого и Альберта Шкарвана. Письмо не сохранилось; надо полагать, оно было отправлено в марте 1890 года, когда Д. Маковицкий напечатал в газете «Slovensky zabavnik» свою корреспонденцию из Москвы, где, в частности, сообщал о состоявшейся 22 марта в Историческом музее лекции профессора Н.А. Зверева о Толстом-художнике: «Он отнес его к категории таких писателей, как Шекспир и Гёте, рисующих общее душевное состояние, а не таких, как Гоголь, Сервантес и Диккенс, создающих типы».

Репозиторий БГУ

4. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII–XVIII веков В ВОСПРИЯТИИ ТОЛСТОГО

Н. Буало

Образованность Толстого была беспредельной. Из прочитанного автора он порой на всю жизнь впитывал какую-то одну очень важную мысль и в нужный момент использовал ее. Например, в ответ на вопрос И.И. Горбунова-Посадова (1887) «о значении стихотворной поэзии», Толстой пишет своему биографу П.И. Бирюкову: «Еще *Буало* (курсив наш. – *А.Н.*) сказал, чтоб мысль не калечилась рифмой [69]. Если может поэт так сказать стихами, что б мы и не заметили, что это стихи, – хорошо, а без этого лучше говорить, писать, как вижу, чувствую, не стихами, а потом пришло бы место, где моя мысль потребовала бы больше сжатости, силы, законченности, и вышли бы стихи; может быть, так и кончилось бы стихами, а может быть, несколько строф, а потом опять проза».

П. Корнель и Ж. Расин

Запись в дневнике за февраль 1896 года: чтение Расина и Корнеля – «поучительно»; «очень интересные это чтение вызвало мысли».

Ж.-Б. Мольер

Первая запись в дневнике относится к июлю 1856 года: Толстой слушает (в чьем-то чтении) «прелестную комедию Мольера «Les femmes savants» («Ученые женщины»).

В октябре того же года – снова дневниковая запись: «Читал “Мещанина во дворянстве” Мольера». Толстой «много думал о комедии из “Оленькиной жизни”» (Ольги Вл. Арсеньевой, сестры Валерии Вл. Арсеньевой, в которую он был влюблен). Очевидно, имеется в виду комедия «Дядюшкино благословение».

Как видим, первые впечатления от произведений Мольера – благоприятные. Вот еще факт. В «Theatre Francais» Толстой смотрит комедии Мариво «Мнимое признание» («прелесть элегантности») и Мольера «Мнимый больной» («сыграно прелестно»). Это февраль 1857 года. В те же дни в том же театре смотрит комедии Мольера «Смешные жеманницы» и «Скупой» – «отлично».

Спустя много лет, осенью 1864 года, сам хозяин дома Толстых вслух читает Мольера, интерес к которому не исчезает. Зимой 1870 года (январь-февраль) – чтение Мольера, Шекспира, Гёте, Пушкина.

В ноябре 1895 года Толстой побывал в народном театре на фабрике Прохорова в Москве, где давали «Мещанина во дворянстве» Мольера. Толстой был в восторге от пьесы: «Какой юмор и какая художественная правда! Превосходны эти классики» (по свидетельству С.Т. Семенова в статье «Л.Н. Толстой и просвещение народа» – «Народный журнал», 1912, № 2, с. 9–10).

И как приговор – в разговоре с В.Ф. Лазурским: «Мольер художественнее Шекспира, Бомарше – и подавно. У Мольера, правда, нет такого разнообразия, и глубины содержания, но зато всякая вещица хорошо отделана, художественна».

Оценки устойчивы. Весной 1907 года в разговоре с Д.П. Маковицким Толстой так отзывается о Мольере: «Мольер, что бы он ни писал, – талант, настоящий талант».

И летом 1909 года в разговоре с тем же Д.П. Маковицким на вопрос, что ему нравится из драматических произведений, Толстой ответил: «Мольера люблю, “Горе от ума” люблю».

Репозиторий ВГУ

Б. Паскаль

Толстой пишет восторженно своей тетушке А.А. Толстой (март 1876 год): «Читали ли вы жизнь Паскаля – его “Pensees” [“Мысли”]? Какая чудесная книга и жизнь! Я не знаю лучше жития».

Первая мысль о составлении «Круга чтения» отмечена в марте 1884 года. Запись в дневнике: «Надо себе составить “Круг чтения”: Эпиктет, Марк Аврелий, Лао-Тсе, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и всех бы нужно».

Примерно через четыре года, в феврале 1888 года, в письме к Г.А. Русанову Толстой говорит, что он «давно уже понял», что нужен особый «круг чтения», в который бы вошли мысли Конфуция, Лао-Тсе, Паскаля, Паркера, М. Арнольда и многих других мыслителей».

Январь 1889 года. Толстой пишет В.Г. Черткову: «Паскаля я читаю и радуюсь. Как хорошо!» [70].

В октябре 1891 года в письме к М.М. Ледерле, журналисту и издателю, Толстой перечислил книги, произведшие на него за всю его жизнь (Толстому тогда было 63 года) наибольшее впечатление. В числе этих книг были Pascal. Pensees [Паскаль. Мысли].

А в 1904 году (декабрь) Толстой переводит для «Круга чтения» Паскаля. Какая стойкая последовательность!

В феврале 1905 года он работает над статьями («Паскаль» и «Ламенэ») для «Круга чтения».

И уже после этого – в феврале 1907 года – Толстой читает вслух «Pensees» («Мысли») Паскаля.

В мае того же года в дневнике записано «дело» – составить для «Детского круга чтения» жизнеописания Эпиктета, Сократа, Паскаля, Руссо, Будды, Конфуция [71].

И в год смерти – в феврале 1910 года – в разговоре с Д.П. Маковицким о философах: «Канта уж как ценю, но он тяжел. А Руссо и особенно. Паскаль – это такой блеск, ясность, красота изложения».

И за четыре месяца до смерти запись в дневнике: «Читаю “чудного” Паскаля (“Мысли”. – *А.Н.*)».

Редкое постоянство привязанности…

Ф. Ларошфуко

В записной книжке Толстого зафиксировано: «Написано предисловие к “Избранным мыслям” Лабрюйера, *Ларошфуко* (курсив наш. – *А.Н.)*, Вовенарга и Монтескьё (изд. «Посредника») – февраль 1907 года.

В марте того же года – вторая редакция предисловия к «Избранным мыслям» Лабрюйера, Ларошфуко, Вовенарга и Монтескьё.

После исправленных и дополненных Толстым корректур сделанного Г.А. Русановым перевода «Избранных мыслей» Лабрюйера, Ларошфуко, Вовенарга и Монтескьё – отправка И.И. Горбунову-Посадову с написанным Толстым предисловием ко всей книге и краткими биографическими очерками этих авторов.

И вот, наконец, 18 декабря 1907 года вышла долгожданная книга: «Избранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов, максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескьё». Перев. с немец. Г.А. Русанова и Л.Н. Толстого, изд. «Посредника». – М., 1908.

Репозиторий ВГУ

За полгода до смерти Лев Николаевич читает «старинных французов»: Ла-Боэти, Монтеня, Ларошфуко в изл. «Bibliotheque Nationale». Он выразил желание приобрести всех французских классиков (около 100 книжек) в этом издании.

Д. Дефо

В марте 1862 года получено цензурное разрешение февральской «Книжки для взрослых» «Ясная Поляна». В книжке был напечатан краткий пересказ «Робинзона Крузо» Д. Дефо и сказка «Дуняшка и сорок разбойников». Записаны яснополянскими учителями по пересказам школьников и проредактированы Толстым.

П.А. Плетнёв в письме к Толстому передает отзыв своего восьмилетнего сына о переделке «Робинзона Крузо», помещенной в «Книжках» «Ясной Поляны»: мальчик перечитал все существующие на русском языке пересказы «Робинзона» и помещенный в «Книжках» «Ясной Поляны» находит лучшим.

Через два месяца Толстой пишет П.А. Плетнёву в ответ на его письмо от 20 марта 1862 года с отзывом его и его сына о переделке «Робинзона Крузо», напечатанной в «Книжках» «Ясной Поляны»: «Робинзона вы похвалили самым лестным для меня образом».

24 февраля 1906 года в дневнике Д.П. Маковицкого записаны слова Толстого: «Я все хотел написать… русского Робинзона: такую описать общину, которая бы переезжала из Тамбовской губернии через степи к границам Китая. Охарактеризовать ее выдающихся членов. Это было бы интересно для детей, чтобы они знали происхождение каждой вещи, которой они пользуются». «Лучшей книгой для детей» Толстой называет именно «Робинзона Крузо» Д. Дефо.

Д. Свифт

В начале 1887 года в письме к В.Г. Черткову Толстой сообщает о своем намерении «просить» «по всем писателям» (в том числе у Григоровича и Потехина), «кто что дает» для народного издания в «Посреднике» «все знаменитые сочинения немцев, французов, англичан, которые выдержали много изданий» и переводов: Вольтера, Руссо, Бернарден де Сен-Пьера, Лессинга “Натан Мудрый”, Шиллера “Разбойники”, Гольдсмита “Векфильдский священник”, Свифта “Гулливер”, Сервантеса “Дон-Кихот”, записки Сильвио Пеллико, Франклина, Плутарха “и многое другое”».

Через 10 лет, в ноябре 1897 года, в дневнике Толстой записывает: «Шел по деревне, заглядывал в окна. Везде бедность и невежество, и думал о рабстве прежнем. Прежде видна была причина, видна была цепь, которая привязывала, а теперь не цепь, а в Европе волоски, но их так же много, как и тех, которыми связали Гюлливера. У нас еще видны веревки, ну, бечевки, а там волоски, но держат так, что великану народу двинуться нельзя. Одно спасенье: не ложиться, не засыпать. Обман так силен и так ловок, что часто видишь, как те самые, которых высасывают и губят, с страстью защищают этих высасывателей и набрасываются на тех, кто против них. У нас царь».

Репозиторий ВГУ

Л. Стерн

По позднейшему воспоминанию Толстого в числе книг, произведших на него сильное впечатление от 14 до 20 лет значится «Сентиментальное путешествие» Стерна – «очень большое».

Летом 1851 года занимается переводом «Сентиментального путешествия». Зимой 1852 года (февраль) – то же самое. И, наконец, в апреле переведена одна глава «Сентиментального путешествия» Стерна.

Представим себе: спустя почти 60 лет Толстой перечитывает по-английски «The Sentimental Gourney» («Сентиментальное путешествие») Стерна. Через два месяца (декабрь 1909 года) – снова перечитывание Стерна: «напоминает юность и художественные требования». Толстой вышел в столовую с «Сентиментальными путешествиями» Стерна в руках и дал прочесть вслух из него одно место, сказав: «Я, когда мне было пятнадцать лет, переводил это. Удивительно, до чего это смешно». Толстой просил принести из библиотеки также «Тристрама Шенди» Стерна, но его в библиотеке не оказалось» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Ф.-М. Вольтер

В январе 1887 года в письме к В.Г. Черткову, цитированном ранее на страницах данной монографии, в списке предполагаемых авторов в издательстве «Посредник» значится и Вольтер.

В феврале 1889 года – чтение Вольтера (запись в дневнике).

Летом 1894 года, по свидетельству В.Ф. Лазурского, Толстой говорил об иностранных писателях: «А. Дюма – “очень талантлив, как и сын”». «Я помню, когда был семнадцати лет, ехал в Казанский университет, купил на дорогу восемь томиков “Монте-Кристо”. До того интересно, что не заметил, как дорога окончилась… Сказки Вольтера – скучны. Руссо – могу перечитывать».

В сентябре 1904 года Толстой пишет Г.А. Русанову, что в связи с работой над «Кругом чтения» он «все это время» читает Марка Аврелия, Эпиктета, Ксенофонта, Сократа, книги брамской, китайской, буддийской мудрости, Сенеку, Плутарха, Цицерона и «новых» – Монтескьё, Руссо, Вольтера, Лессинга, Канта, Лихтенберга, Шопенгауэра, Эмерсона, Чаннинга, Паркера, Рескина Амелия и др.

В феврале 1910 года Толстой пишет письмо к И.Д. Гальперину-Каминскому в связи с чтением присланных им статей о пьесе П. Бурже «La Barricade»: «Особенно удивительно для меня… то, что эти люди, как г. Бурже и другие во Франции в 1910 году, после Вольтера, Руссо и др., могут серьезно говорить про католицизм. Ничто яснее этого не показывает тот ужасный, в смысле не ума, а разума, и не блеска, а нравственности, упадок, в котором находятся эти люди… Католицизм – пускай мы знаем, что это – грубый, бессмысленный, одуряющий народ, давно развенчанный обман, но он годен для нашей цели, давай его сюда».

Д. Дидро

Знаменательна запись в дневнике февраля 1891 года, в период наиболее стойкого противостояния Толстого режиму: «Вчера прочел место Дидро о том, что люди будут счастливы только тогда, когда у них не будет царей, начальников, законов, моего и твоего».

Через месяц Толстой читает Дидро – «много хорошего», «прекрасно».

Репозиторий ВГУ

Чуть позже, в этот же месяц запись в дневнике: «Вчера читал Diderot о науках, о математике и естественных, физических, как он называет, науках, и о пределах их, определяемых только полезностью, – прекрасно». Прочитанное «поразило» Толстого «правдой и новизной».

Ж.-Ж. Руссо

В молодости Толстой зачитывался сочинениями Руссо. В 1901 году он рассказывал парижскому профессору Полю Буайе: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая “Музыкальный словарь”. Я более чем восхищался им, я боготворил его. В пятнадцать лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного крестика. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я сам написал их».

Это признание обо многом говорит.

Весной 1847 года (Толстому 19 лет) – читает Руссо с комментариями (журнал ежедневных занятий).

Очевидно, тогда были начаты окончательные «Философские замечания на речи Ж.-Ж. Руссо «Рассуждения о том, содействовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов» [72].

По позднейшему воспоминанию Толстого следующие книги произвели на него сильное впечатление в возрасте от 14 до 20 лет: наряду с Евангелием Матфея (Нагорная проповедь), с «Сентиментальным путешествием» Стерна и др. значатся сочинения Руссо – «Исповедь» («огромное»), «Эмиль» («огромное»), «Новая Элоиза» («оч. большое»).

В июне 1852 года Толстой читает «Исповедь савойского викария» (IV книга «Эмиля» Руссо).

В это же время он в письме к Т.А. Ёргольской просит прислать первый том «Новой Элоизы» Руссо.

Далее – запись в дневнике: «начал читать Confessions [“Исповедь” Руссо], которые, к несчастию, не могу не критиковать». Далее – чтение «Исповеди савойского викария» (IV книга «Эмиля» Руссо).

Следующий день – продолжение чтения «Исповеди савойского викария». «Она наполнена противоречиями, неясными – отвлеченными местами и необыкновенными красотами».

Следующий месяц – июль: чтение «Новой Элоизы» Руссо. Запись в дневнике: «Читаю Руссо и чувствую, насколько в образовании и таланте он стоит выше меня, а в уважении к самому себе, твердости и рассудке – ниже».

Трудно комментировать такое признание. Первую часть можно понять, имея в виду предельную взыскательность Толстого к себе; а вот вторую часть, отличающуюся вроде бы гордыней, самоуважением, – понять труднее. Хотя и понятно – Толстой всегда был самодостаточен и независим.

Неожиданно имя Руссо прикоснулось к художественному творчеству Л.Н. Толстого. И.С. Тургенев в августе 1857 года пишет В.П. Боткину о рассказе Толстого «Люцерн»: «Я прочел небольшую его вещь, написанную в Швейцарии. Не понравилась она мне: смешение *Руссо* (курсив наш. – *А.Н.*), Теккерея и краткого православного катехизиса».

Летом 1885 года в письме к В.М. Грибовскому Толстой рекомендует ему прочесть «Исповедь» и «Эмиля» Руссо, которые в юности произвели на Толстого «огромное» впечатление.

Репозиторий ВГУ

Вспомним уже знакомое нам письмо Толстого к Черткову (январь 1887 года), в котором он сообщает о своем намерении «просить» «по всем писателям» «кто что даст» для народного издания в «Посреднике». Главное же – издать «все знаменитые сочинения немцев, французов, англичан: Вольтера, Руссо и т.д.».

Толстой как человек с педагогической струнко умел пропагандировать сочинения достойных писателей. Так, в октябре 1888 года в письме к А.М. и Т.А. Кузьминским он сообщает о вечерних чтениях с их дочерьми, гостящими в Ясной Поляне: «То был Достоевский, то Мериме, то Руссо, то Пушкин даже (Цыгане), то Лермонтов, и предстоит многое – одно естественно вызывает другое».

Осенью 1890 года Толстой перечитывал «Эмиля» Руссо.

Март 1892 года. В письме к И.И. Горбунову-Посадову и Е.И. Попову на их вопрос о книгах по воспитанию Толстой отвечает, что «Эмиль» Руссо «непременно должен стоять в главных», и называет еще «Бедные люди» В. Гюго.

Через год в руки Толстого попала «хорошая, интересная» книга о Руссо [73].

В 1894 году признавался В.Ф. Лазурскому, что «сказки Вольтера ему скучны», а «Руссо – могу перечитывать». В этой же беседе Толстой высказал свои замечания о французских писателях. Руссо, которого он «читал с самых молодых лет и перечитал все, даже его переписку», – «величайший писатель».

В декабре того же года в письме к В.О. Португалову сочувственно отозвался о его статье, излагающей систему воспитания немецкого ученого А. Шульца, последователя Руссо.

И опять – пропаганда французского мыслителя. Осенью 1898 года в письме к сыну Андрею Львовичу Толстой советует ему читать «La nouvelle Heloise» («Новую Элоизу») Руссо: «прекрасная книга, заставляет думать».

Через четыре года (осень 1902 года) Толстой исправляет сделанный А.А. Русановой перевод «Исповедания веры савойского викария» (главы из «Эмиля») Руссо.

Через год (осень 1903 года) – письмо к французскому писателю О. Мирбо: «Французское искусство произвело на меня в свое время впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо».

Еще через год Толстой пишет Г.А. Русанову, что в связи с работой над «Кругом чтения» он «все это время» читает Марка Аврелия, Эпиктета… и «новых» – Монтескьё, Руссо, Вольтера…

Руссо «помогал» Толстому и в вопросах технологии творчества. В феврале 1905 года в беседе с французским писателем А. де Вогюэ относительно лучших часов для работы Толстой сказал: «Работается хорошо днем, после сна, а ночью, после целого дня, нельзя ясно мыслить. За работой один работает, другой критикует, а при работе ночью критик спит. Я вполне согласен с Руссо, что лучшие мысли приходят ночью, когда человек просыпается от сна, утром и во время прогулок. У мысли есть свой зенит, иногда схватишь ее, когда она только что выступает, – тогда она не будет так сильна, ясна, как на зените; иногда – когда она уже миновала зенит и слабеет… Можно определить, какие книги писаны ночью. Диккенс и Руссо писали днем, Достоевский – ночью, Байрон – тоже ночью».

Репозиторий ВГУ

Через месяц, в марте 1905 года, в письме к председателю Общества Жан-Жака Руссо в Женеве Бернарду Бувье Толстой «с большим удовольствием» выражает согласие вступить в члены общества и говорит о «сильном и благотворном влиянии» на него Руссо, бывшего его учителем с 15 лет. «Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений, и я испытал тот же подъем духа и восхищение, которые я испытывал, читая его в ранней молодости».

В мае 1907 года в дневнике записано «дело» – составить для «Детского круга чтения» жизнеописания Эпиктета, Сократа, Паскаля, Руссо, Будды, Конфуция. (Замысел остался неосуществленным.)

Осень 1909 года. Чтение статьи об «Исповеди» Руссо в изд. «Annales Iean Ieaques Rousseau» (tome IV, Geneve, 1908), присланном Толстому Обществом Руссо, почетным членом которого он состоял (Д.П. Маковицкий).

И в заключение повторим еще раз мнение Толстого о Руссо. В феврале 1910 года в разговоре о философах – мнение Толстого: «Канта уж как ценю, но он тяжел. А Руссо и особенно Паскаль – это такой блеск, ясность, красота изложения» (Д.П. Маковицкий).

П.-О. Бомарше

В марте 1875 года Толстой смотрит «Свадьбу Фигаро» Бомарше – «прелесть».

А в конце 1895 года присутствовавший «на субботнем журфиксе» у Толстых В.Ф. Лазурский записывает разговоры с Толстым о литературе и музыке. В частности: «Мольер художественнее Шекспира, Бомарше – и подавно. У Мольера, правда, нет такого разнообразия и глубины содержания, но зато всякая вещица хорошо отделана, художественна».

Г.-Э. Лессинг

В уже известном нам письме к В.Г. Черткову (январь 1887 года) Толстой сообщает о своем намерении, кроме русских известных писателей, печатать в издательстве «Посредник» еще и «сочинения немцев, французов, англичан», в том числе «Натана Мудрого» Лессинга.

Через 11 лет, в 1898 году, Толстой «подбирает примеры из всемирной литературы» образцов «истинного» искусства. «Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера. О “Натане Мудром” Лессинга еще подумает, перечитает…» (дневник В.Ф. Лазурского).

И последнее свидетельство – осенью 1904 года, уже известное нам: Толстой пишет Г.А. Русанову, что в связи с работой над «Кругом чтения» он «все это время» читает Марка Аврелия, Эпиктета… и “новых” – Монтескьё, Руссо, Вольтера, Лессинга» и т.д.

И.-В. Гёте

Первая запись в дневнике Толстого помечена 5 марта 1847 года (Толстому было неполных 19 лет): «Чтение “Фауста” Гёте».

В марте 1851 года – запись: «Чтение “Страданий молодого Вертера”».

Читая «удивительную» вещь Гёте – «Ифигения в Тавриде», Толстой испытал «неописанное великое наслаждение».

Репозиторий ВГУ

В сентябре 1857 года – пометка в записной книжке: «Гёте холоден. Ежели бы он был молод и силен, то все бы фаустовские мысли и порывы развил. А развил бы, не уложил бы в эту форму».

Через месяц в письме к В.П. Боткину 1 ноября 1857 года Толстой приводит свой разговор с М.Е. Салтыковым-Щедриным о современной литературе: «Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гёте перечитывать не будут больше».

Весной 1861 года в письме к И.С. Тургеневу Толстой пишет о своем возвращении к художественной работе и дает высокую оценку «Фаусту» Гёте.

В апреле 1861 года, за границей, Толстой осматривает дом Гёте (дневник).

Через 10 лет Толстой оказался в Германии, в Веймаре.

Великий герцог Веймарский Карл-Александр приглашает его к себе: «Глупые придворные и красавица немка из народа, которая должна слыть за дуру, но умнее их всех», – пишет Толстой в дневнике.

В июне 1863 года запись в дневнике: «Читаю Гёте, и роятся мысли».

В начале 1864 года в списке книг, произведших на Толстого наибольшее впечатление от 20 до 35 лет:

«Гёте. Герман и Доротея – очень большое

Фауст и мелкие стихотворения – влияние».

В марте 1865 года: чтение «Фауста» Гёте (запись в дневнике).

В январе 1870 года: чтение Мольера, Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя (записная книжка).

Через месяц «про Гёте говорил, что он эстетик, изящен, пропорционален, но что драматического таланта у него нет, что в этом он слаб», но «когда Гёте раздражает, философствует, тогда он велик».

А вот в декабре 1885 года в письме к Н.Н. Страхову Толстой просит его работать «побольше над делом, а не над пустяками, как переводы, и особенно эта дребедень из дребеденей – “Фауст” Гёте».

Есть и такая оценка: отзыв о Жане-Поле Рихтере в связи с чтением статьи о нем: «Чистота его нравов и платонизм поразительны. Прекрасные тоже изречения. Это хорошего сорта писатель. Рядом с эгоистом Гёте» (дневник 1889 года).

Еще более резко ответил Толстой в письме к А.А. Толстой на ее вопрос о Гёте: «Гёте-то я очень не люблю. Не люблю его самоуверенное язычество» (август 1891 года).

Осенью 1892 года Толстой читает «Фауста» Гёте в переводе Фета. Через год снова понадобился ему Гёте: он пишет дочери Т.Л. Толстой в Москву, что ему «надо бы» «Страдания молодого Вертера» Гёте и «Разбойники» Шиллера. Вероятно, книги нужны были Толстому для работы над статьей об искусстве.

Летом 1894 года В.Ф. Лазурский записывает в дневнике, что Лев Николаевич всегда чрезвычайно сочувствовал изданию в переводе европейских классиков, сам делал попытки и считает это дело не легким. Нужно переводить не всё, а только лучшее. «Я прочел Гёте все сорок два тома. Из них четыре тома, не больше, следует набрать».

Осенью Толстой читает статью В.Д. Спасовича «Дружба Шиллера и Гёте» («Вестник Европы», 1894, № 2–4). Читая эту статью, Толстой много

Репозиторий ВГУ

думает «и об эстетике, и о своей драме». Зимой 1895 года В.Ф. Лазурский записывает, что Гёте как драматурга Лев Николаевич совсем не любит; «так и видно, как сидел он и сочинял».

В апреле 1900 года А.Б. Гольденвейзер записывает в дневнике: «Лев Николаевич сказал: “Шекспира и Гёте я три раза в жизни проштудировал от начала до конца и никогда не мог понять, в чем их прелесть”. По словам Льва Н-ча, Гёте холоден. Из его сочинений ему нравятся многие лирические стихотворения и “Герман и Доротея”. Драматических произведений Гёте он не любит, а романы считает совершенно слабыми…».

Апрель 1905 года. По случаю телеграммы «Berliner Tageblatt» с просьбой «написать несколько строк о Шиллере», Толстой сказал: «Я очень люблю Шиллера… Некоторые места у него лучше, чем у Гёте… Хотелось бы так телеграфировать: “Шиллер жив, не умрет”».

Мы дошли до осени 1906 года. С.А. Стахович высказала удивление, что Толстой не любит «Фауста» и любит «Германа и Доротею», которую она находит сентиментальной. На что Толстой возразил: «Здесь сентиментальность на месте: описание простоты деревенской жизни». С.А. напомнила, что Л.Н. из Гёте любит еще “Страдания молодого Вертера”. Л.Н. подтвердил: “Вертера” люблю и некоторые стихотворения» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

В тех же «Записках» приводятся слова Толстого: «Шиллера люблю, но его “Wallenstein Lager” (“Лагерь Валленштейна”) не могу читать… Шиллера я люблю, это свой человек, а Гёте – мертвый немец».

Май 1909 года. Письмо лейпцигскому издателю Т. Вейхеру, приславшему Толстому «Goethe Kalender auf das Iahz, 1909», в котором Толстого «особенно заинтересовали разговоры Гёте с разными лицами»; в них он «нашел для себя много нового и ценного».

В октябре 1909 года А.Л. Толстой и А.Л. Толстая (дети Толстых) говорили об «Erlkönig» («Лесной царь») Гёте и декламировали его по-немецки. Толстой сказал: «Я его никогда не понимал» (Д.П. Маковицкий).

И последнее свидетельство – в ноябре 1909 года. Толстой на вопрос М.А. Шмидт, что он делал, ответил, что перечитывал Гёте – «Гётевский календарь на 1910 год», и что так как Гёте был всегда ему несимпатичен, то он боялся, что несправедлив к нему, и перечитывал его изречения. «Нет, не изменилось мое мнение о нем. Он неизменный» (Д.П. Маковицкий).

И.Ф. Шиллер

В числе книг, которые произвели на Толстого сильное впечатление от 14 до 20 лет, значились «Разбойники» Шиллера («очень большое») – по воспоминаниям самого Толстого 1891 года.

Летом 1854 года – чтение драмы Шиллера «Заговор Фиеско». В связи с этим – запись в дневнике: «Я начинаю понимать драму вообще».

В известном уже нам письме к В.Г. Черткову (1887) о намерении «просить» «по всем писателям» «кто что даст» для народного издания в «Посреднике» и издать в нем все знаменитые сочинения зарубежных писателей значатся «Разбойники» Шиллера.

Репозиторий ВГУ

Вспоминая в 1890 году свое впечатление от первого чтения в молодости драмы Шиллера «Разбойники», Толстой записывает в дневнике: «“Räuber’ы” Шиллера оттого мне так нравились, что они глубоко истинны и верны».

Зима 1891 года. Чтение вслух семейным «Дон-Карлоса» Шиллера.

Весна 1893 года. В письме Ф.И. Рыбакову Толстой сочувственно цитирует выдержку из заключительной строфы стихотворения Шиллера «К друзьям» (1802): «Истинно только то, что никогда не случилось».

Осенью 1893 года пишет дочери Т.Л. Толстой в Москву, что ему «надо бы» «Страдания молодого Вертера» Гёте и «Разбойников» Шиллера.

Через год – чтение статьи В.Д. Спасовича «Дружба Шиллера и Гёте» («Вестник Европы», 1894, № 2–4). Читая ее, Толстой много думает «и об эстетике, и о своей драме» [74].

Мы уже упоминали, что зиму 1895/96 гг. Толстой побывал в народном театре на фабрике Прохорова в Москве. На вопрос фабриканта, какие пьесы ставить для рабочих, Толстой советовал непременно познакомить его публику с «Королем Лиром» Шекспира и с «Разбойниками» Шиллера.

Зимой 1898 года Толстой «подбирает примеры из всемирной литературы» образцов «истинного» искусства. «Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера… Тогда же читает “Разбойников” и восхищается ими» (дневник С.А. Толстой) [75].

В эти же дни у Толстого был актер А.И. Сумбатов-Южин. На его вопрос, какая из пьес мировой литературы ему нравится больше других, Толстой ответил: «Разбойники» Шиллера.

А.Б. Гольденвейзер весной 1900 года записывает в дневнике: «Шиллера Лев Николаевич очень любит и говорит: «Это настоящий». Он любит у него почти все. Особенно «Разбойников» и «Дон-Карлоса»… также и «Марию Стюарт», «Вильгельма Телля», «Валленштейна».

В августе 1904 года в «Русских ведомостях» появляется обширное интервью, данное Толстым немецкому журналисту Гуго Ганцу, посетившему его в январе. Интервью содержит оценки Канта, Лихтенберга, Гёте, Шекспира, Гейне. Любовь к человечеству Толстой в гораздо большей степени находит у Шиллера.

По случаю телеграммы «Berliner Tageblatt» в апреле 1905 года с просьбой «написать несколько строк о Шиллере», Толстой сказал: «Я очень люблю Шиллера… Некоторые места у него лучше, чем у Гёте… Хотелось бы так телеграфировать: “Шиллер жив, не умрет”» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Последний отзыв о Шиллере датирован августом 1907 года. В дневнике Толстой сочувственно вспоминает читанное им еще в 1854 году в Бухаресте стихотворение Шиллера «Breite und Tiefe» («Ширина и глубина»), основную идею которого формулирует в следующих словах: «Сосредоточить только все силы на малейшую точку – и ты совершишь великое».

Репозиторий ВГУ

Г Л А В А VI
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX–XX веков В ВОСПРИЯТИИ ТОЛСТОГО

Середина – конец 50-х годов XIX века характеризовались большими спорами между литераторами о двух направлениях в русской литературе – «обличительном» и «чистого искусства».

Интерес к социально-общественным вопросам современности стал в ту пору преобладающим в русской литературе. Вызван он был переменами в самой жизни, обстановкой общественного возбуждения, предшествовавшей революционной ситуации 1859–1861 годов.

На литературе новые требования времени отразились двояким образом. С одной стороны, в творчестве выдающихся писателей-реалистов (Островского, Некрасова и др.) усилились критические и социальные мотивы; с другой стороны, «обличительство» стало модой и породило бесчисленное множество произведений, ничтожных по содержанию и особенно по художественным достоинствам.

Толстой еще в предыдущем году замечал усилившееся тяготение массы читателей к обличительному направлению в литературе, о чем он писал Некрасову 2 июля 1856 года. Теперь это тяготение еще больше определилось.

И.И. Панаев же с грустью писал через год В.П. Боткину о том, что «самое благоуханное и поэтическое произведение, не соприкасающееся с современной действительностью, с живыми, насущными интересами минуты, пройдет теперь незамеченным».

О своем отношении к новому направлению литературы Толстой говорит 1 ноября 1857 года в письме к В.П. Боткину (члену «эстетического триумвирата»): «Ведь все это смешно, а ошалеешь, как вдруг весь свет вас уверяет, что небо черное, когда вы его видите голубым и невольно подумаешь, хорошо ли сам видишь». Но Толстой тут же прибавляет, что он «не изменил своего взгляда».

Вместе с тем Толстой оговаривается, что, по его мнению, «*наша* (курсив автора. – *А.Н.*), то есть поэзия есть если не противозаконное, то ненормальное явление, и потому построить на нем всю жизнь противузаконно». Под этими словами Толстой, очевидно, разумел то, что художественные произведения, не связанные непосредственно с текущей жизнью, «наша литература», доступны и интересны только незначительному меньшинству. В этих словах Толстого – зародыш того отрицательного отношения к искусству «образованных классов» (в противоположность народному творчеству), которое через пять лет Толстой выскажет в своих педагогических статьях. Толстой очень доволен тем, что не послушал Тургенева, который доказывал ему, что «литератор должен быть только литератор»: «Это было не в моей натуре».

Интересно то, что и в своих отзывах о зарубежных писателях Толстой твердо стоит на реалистических позициях эстетики, на народной подоплеке восприятия художественных произведений. Он ценит тех писателей, которые

Репозиторий ВГУ

суть «не – литераторы», то есть в произведениях которых налицо не только литературный вкус, но и дышит живая душа человека практичного, знающего и понимающего человека жизни.

В. Скотт

Теперь господство литературы текущего дня представляется Толстому настолько всеобщим, что ему приходят мысли о том, что отныне его литературная деятельность будет испытывать большие затруднения. Вспоминая мнение Вальтера Скотта, что «нельзя из литературы сделать костыль», Толстой задавал вопрос: «Каково бы было мое положение, когда бы, как теперь, подшибли этот костыль».

Следующее свидетельство Толстого о Вальтере Скотте относится к маю 1866 года и не отличается почтительностью. Толстой пишет А.А. Фету, что читает «Дон-Кихота» Сервантеса, Гёте и в последнее время всего Виктора Гюго и высказывает мнение, что о Гюго «никто не говорит и все его забыли именно оттого, что он всегда и у всех остается не так, как Байроны и Вальтеры Скотты».

Конечно, напрашивается сопоставление романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» с историческими романами Вальтера Скотта.

Ряд верных замечаний о художественной структуре «Войны и мира» находим в статье Н. Соловьева в газете «Современная пчела», 1869, № 12 от 23 марта. Автор вполне понимает ту важную роль, которую придает Толстой простым людям в ходе исторических событий. До сих пор, говорит критик, в исторических романах «побочные лица не принимали существенного участия в событиях». Эти «побочные лица» давали романистам только материал для изображения «духа века, нравов и обычаев», в самые исторические события романисты их не впутывали, считая эти события делом только избранных личностей». Так поступал Вальтер Скотт и другие исторические романисты. У Толстого, например, эти люди «оказываются теснейшим образом связанными с самыми крупными событиями вследствие неразрывности всех звеньев жизни». У Толстого «переплетаются все героические и обыкновенные явления жизни; при этом нередко обыкновенные низводятся на степень героических». У Толстого «ряд исторических и жизненных картин поставлен в таком изумительном равенстве, какому еще и примера не было в литературах. Дерзость его при совлечении с высоты пьедесталов разных героев тоже поистине изумительна». Художественный метод Толстого, по мнению критика, характерен тем, что на крупный исторический факт «у него смотрит всегда кто-нибудь из самых обыкновенных смертных, и по впечатлениям этого простого смертного уже составляется художественный материал и оболочка события».

И.С. Тургенев в начале 1880 года сообщает в письме к Толстому из Парижа с выдержкой из письма к нему Г. Флобера с хвалебным отзывом о «Войне и мире», где Флобер писал: «Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог!.. Мне кажется, что кое-где есть места шекспировские! Я вскрикивал от восторга во время чтения… а оно продолжается долго! Да, это сильно, очень сильно!»

В том же письме Тургенев прислал вырезку из газеты «Le XIX Siecle» от 23 января (нов. ст.), где было напечатано его письмо к редактору Э. Абу следующего содержания:

Репозиторий ВГУ

«Лев Толстой – наиболее популярный из современных русских писателей, а “Война и мир”, смело можно сказать, – одна из замечательных книг нашего времени. Дух эпоса веет в этом обширном произведении, где мастерски обрисован общественный и частный быт России в первые годы нашего века. Целая эпоха, богатая великими событиями и крупными фигурами (рассказ начинается незадолго до Аустерлицкого сражения и доходит до сражения под Москвой), целый мир, множество типов, схваченных живьем, из всех кругов общества, развертываются перед читателем. Способ, каким граф Толстой обрабатывает свой предмет, столь же своеобразен, как и нов; это не метод Вальтера Скотта и, само собой разумеется, также не метод Александра Дюма. Граф Толстой – русский писатель до мозга костей; и те из французских читателей, кого не оттолкнут немногие длинноты и причудливость некоторых оценок, будут вправе сказать себе, что “Война и мир” дала им более непосредственное и верное представление о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской жизни, чем если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и истории. Здесь есть целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин и другие), чьи черты установлены навеки; это – непреходящее. Как видите, я смел в выражениях; и, однако, мои слова еще далеко не передают моей мысли… Это – великое произведение великого писателя, и это – подлинная Россия» [76].

Март 1887 года. На письме Н.Н. Рубинштейна, просившего прислать книг для народного чтения, требующих исправления, надпись Толстого: «Так называемые *романы* (курсив автора. *– А.Н.*) издания Сытина, вроде милорда и других, уже все разосланы лицам, желавшим их переделывать. Очень вероятно, что многие из них возвратятся назад. Но нужнее переделок их был бы перевод, сокращение и упрощение хороших классических романов Диккенса, Жоржа Элиота, Гюго и даже хороших романов Вальтера Скотта и др.».

В ноябре 1906 года в разговоре о Вальтере Скотте Толстой сказал, что он «очень скучен» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

В заключение отметим, что Толстой, по-разному относясь к сочинениям Шекспира, Гёте, Вальтера Скотта, не мог запретить литературным собратьям, критикам сравнивать его произведения (то «в пользу» Толстого – чаще, то «в пользу» западных «великанов» литературы) – но в общих случаях к пользе изучения литературного процесса в России и Западной Европе – и уже одно это сглаживает некоторые субъективные оценки нашего крупнейшего писателя-реалиста.

В. Гюго

Первая запись в дневнике – за февраль 1863 года: «чтение “Miserables”» («Отверженные») В. Гюго – «сильно».

В списке книг, произведших на Толстого наибольшее впечатление в возрасте от 20 до 35 лет, наряду с другими книгами значится и роман Виктора Гюго «Notre Dame de Paris» («Собор Парижской богоматери») – «очень большое».

В марте 1863 года Толстой сообщает Фету, что читает «Дон-Кихота» Сервантеса, Гёте и в последнее время всего Виктора Гюго и высказывает

Репозиторий ВГУ

мнение, что о Гюго «никто не говорит и все его забыли именно оттого, что он всегда и у всех останется, не так, как Байроны и Вальтер Скотты».

В уже известной нам надписи на письме Н.Н. Рубинштейна, просившего прислать книг для народного чтения, требующих исправления, говорится о необходимости «перевода, сокращения и упрощения хороших классических романов Диккенса, Жоржа Элиота, <Гюго>…».

В июне 1889 года Толстой читает для себя, а потом вслух «прекрасную переделку романа Гюго «L' Homme gui rit» («Человек, который смеется») А.Ю. Бизюкиной [77].

Примерно в это же время Толстой беседовал с английским журналистом Стэдом о толстовском грандиозном проекте – издании Всемирной библиотеки по цене, доступной самому бедному крестьянину. Затем в этой беседе были названы авторы для этой народной Всемирной библиотеки – от древних писателей Гомера и Конфуция до Джордж Элиот и Гюго. «"Отверженные" заслуживают того, чтоб их читали на всех языках мира», – сказал Толстой.

В 1892 году летом скульптор И.Я. Гинцбург лепил бюст Льва Николаевича. Во время сеансов кто-нибудь из домашних читал вслух; «помню, что читали, – пишет В.В. Стасов, – биографию Спинозы, и Лев Николаевич слушал с особенным интересом и делал замечания, а когда потом читали "Тружеников моря" Виктора Гюго, то он даже расплакался».

В 1893 году в беседе с Ю.А. Веселовским Толстой высказывает свое мнение о Мопассане: «По моему мнению, Мопассан после Виктора Гюго – лучший писатель новой эпохи».

Далее беседы с А.Г. Русановым о литературе (весна 1894 года) – оценены более десятка русских и зарубежных авторов, среди них Диккенс и Гюго – «настоящие христианские писатели».

Летом того же года разговоры с Н.Н. Страховым и В.Ф. Лазурским о литературе. В частности, о «Les miserables» В. Гюго как «одном из лучших романов».

Июль 1894 года – опять Гюго. В один из вечеров Толстой слушает чтение его рассказа «Эшафот». В дневнике В.Ф. Лазурского отмечено: «Лев Николаевич сказал, что его раньше не знал, но что это превосходная вещь». «У него есть почти все сочинения Гюго, кой-чего не достает. Перечитывал он все, что достал. Признает в нем много странных вещей, но все искупаются высотой содержания». «И теперь пигмей вроде Бурже посмеивается над ним; ведь Гюго – гигант в сравнении с ним».

Февраль 1893 года. Беседа Толстого с Касаткиным об искусстве. Толстой «вспоминал разные произведения, которые он считает настоящими»: в том числе романы В. Гюго, его же «Les panures dens» («Бедные люди»).

Тогда же Толстой «подбирает примеры из всемирной литературы» образцов «истинного» искусства. В.Ф. Лазурский свидетельствует: «Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера…»

В начале 1900 года В.В. Стасов пишет Толстому, что он «теперь занят "Воскресением"». Это такая штука, которой не было подобной во весь наш XIX век. Выше и «Miserables» («Отверженных» В. Гюго), потому что нет тут

Репозиторий ВГУ

ни единой ниточки идеальной, чего-нибудь литературного, а все только само мясо и плоть жизни. А у кого еще это есть?..»

Письмо к О. Мирбо в ответ на его посвящение Толстому русского перевода комедии «Les affaires sont, les affaires»: «Я думаю, что каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала и что благодаря именно этому мы испытываем особенное наслаждение, вновь находя наш идеал выраженным новым, неожиданным образом. Французское искусство произвело на меня в свое время впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо» (сентябрь 1903 года).

Спустя два месяца – письмо к доктору философии Генриху Ильгенштейну с выражением соболезнования о смерти (31 октября) Вильгельма Поленца, которого Толстой называет «большим писателем, соединившим в себе в равной степени все три свойства, нужные для писателя: всегда важное содержание, прекрасную технику и большую искренность, т.е. любовь к тому, что он описывал… Это один из тех писателей, которые, как Диккенс, Гюго, переживут несколько поколений и будут оценены не одними соотечественниками».

В январе 1905 года Толстого посетил корреспондент английской газеты «Manchester Guardian» новозеландец Гарольд Вильямс. Разговор с ним – об общественном движении в России и о литературе. Упоминаются: Диккенс («мировой гений»), Байрон (Толстой «не мог до конца дочитать. Его герои говорят то, что он вперед решил вложить им в рот»), Горький («у Горького нет ни одного доброго лица: у Чехова их пропасть: дети; также у Диккенса, Гюго…»).

Через месяц – разговор с Вогюэ о литературе и живописи. Упоминаются из писателей: Золя, Франс, Ренан, Диккенс и Гюго (Толстой «отдал предпочтение Диккенсу» – Гюго отталкивает уже своим пафосом).

И осенью того же года Д.П. Маковицкий в «Яснополянских записках» пишет о разговоре с Толстым о В. Гюго и Диккенсе. Толстой сказал: «Я выделяю этих особых писателей, потому что они на стороне угнетенных, уродов, бедных, страдающих… В. Гюго такой великий человек, огромных дарований, у него разные вещи, и слабые… “Notre Dame” меня в молодости очень трогала; видел эту историю и в балете – Эсмеральда. И этот балет мне нравился, как никакой другой».

В записной книжке весной 1907 года Толстой подбирает рассказы для чтения с детьми. Чтение рассказов В. Гюго в сборнике, изданном И.И. Горбуновым-Посадовым для детей, вызвало в Толстом «желание художественной работы». Во исполнение этого желания для «Детского круга чтения» написаны рассказы: «Бедные люди» (по В. Гюго), «Царское новое платье» (по Андерсену), «Федотка», «Старик в церкви».

В ноябре 1907 года разговор с Д.П. Маковицким о В. Гюго Толстой хвалил его «Последний день приговоренного к смерти» и находит у него «большую силу, настоящую, философско-религиозную». На замечание С.А. Стахович, что «нельзя любить Виктора Гюго», так как у него нет чувства меры художника, которому Толстой придает такое большое значение, Толстой сказал: «Это правда».

Репозиторий ВГУ

В марте 1908 года Толстой продиктовал перевод рассказа В. Гюго «Un athee» («Неверующий»). После диктования – обморочное состояние. В конце месяца Толстой исправляет перевод этого рассказа В. Гюго [78].

Через месяц Толстой рекомендует дочери своей Татьяне Львовне прочесть стихотворения В. Гюго: «Fonction de l'enfant» («Обязанность ребенка») и «Petit Paul» («Маленький Поль»). Отзыв Толстого: «Прелестно! Постараюсь перевести. Жалко, что в стихах». Это все – в «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого.

Май 1908 года. Интерес к творчеству В. Гюго не ослабевает: исправление рукописи пересказа стихотворения В. Гюго «Гражданская война».

Предпоследняя запись Д.П. Маковицкого (февраль 1909 года): «Чтение Виктора Гюго по изданию: “Morceau choisis de V. Hugo. La Peine de Mort”, Paris, Ollendorf Collection, s.d. “Прекрасно – проза, но стихи – не могу”» [79].

И вот последняя запись Д.П. Маковицкого (за август 1909 года): «За обедом разговор о Викторе Гюго. Слова Толстого: “У него есть фраза и пафос, которые отталкивают, а вместе с тем есть и простота”. На возражение, что у Гюго “целые тома поэзии – безумие”, Толстой ответил: “Но другого рода безумие, чем декадентское”»…

В целом этот французский писатель-романтик и в то же время реалист волновал Толстого и побуждал его и к размышлениям, и к творчеству.

Ж. Санд

Лето 1851 года – чтение романа Жорж Санд «Орас».

Лето 1854 года – чтение «прекрасного» романа Жорж Санд (роман не назван) – в дневнике.

В феврале 1856 года за обедом у Некрасова Толстой резко напал на взгляды Жорж Санд по женскому вопросу (эмансипация), что рассорило его с Тургеневым.

Январь 1857 года: запись в дневнике: «Комедия. Практический человек. Жорж-сандовская женщина и Гамлет нашего века – вопиющий больной протест против всего, но бессилие».

Осень 1865 года – резкое неприятие: чтение романа Жорж Санд «Консуэло» – «что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства и морали. Пирог с затхлым тестом и на гнилом масле с трюфелями, стерлядями и ананасами».

А вот пять лет спустя, летом 1870 года, в письме к Фету Толстой одобрительно отзывается о повести Жорж Санд «Malgrétout», напечатанной в «Revue des deux mondes» («молодец старуха»).

Зимой 1894 года Толстой заинтересовался статьей Жорж Санд «Coup d’oeil général sur Paris» (в письме к В.Д. Комаровой биограф Толстого П.И. Бирюков просит доставить эту статью для Льва Николаевича).

Весной 1907 года в разговоре о французских писателях Толстой сказал, что он «не уважает» «Флобера и Жорж Санд, – особенно, когда она писала и переживала романы. Но в старости у нее появилось нравственное чувство. Ее письма лучше, чем Флобера» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

По свидетельству А.Б. Гольденвейзера, Толстой нелестно отозвался о сочинениях Жорж Санд, в частности, о ее романе «Consuello»: «Все фальшиво, дурно, скучно».

Репозиторий ВГУ

И, наконец, незадолго до смерти (апрель 1909 года) в разговоре с Д.П. Маковицким о Жорж Санд Толстой вспомнил о своем отношении к ней в молодости: «Я в свое время, кроме отвращения, ничего к ней не чувствовал, в то время, как Тургенев восхищался ею»…

Женский романтизм Жорж Санд не мог совместиться с суровым мужским реализмом Л.Н. Толстого…

П.Ж. Беранже

В ноябре 1857 года Толстой посылает Некрасову «прелестное» посмертное стихотворение Беранже в переводе Фета («О Франция! Мой час настал…») [80].

В ноябре 1870 года Толстой советует Фету перевести стихотворение Беранже «Le bonheur» («Счастье»).

Осень 1905 года. Прочитав в VI «Сборнике товарищества “Знание” одно или несколько стихотворений Скитальца, Толстой «с негодованием» сказал: «Ужасное что-то» (Д.П. Маковицкий) [81].

Зимой 1906 года – запись Д.П. Маковицкого. Разговор о Беранже. Слова Толстого: «Некоторые вещи Беранже очень поэтичны». Толстой прочитал наизусть несколько стихотворений Беранже. «Хорошо пишут стихи французы и русские».

Весной 1906 года – Толстой «хвалил Беранже» (по «Яснополянским запискам» Д.П. Маковицкого).

И, наконец, август 1909 года завершает свидетельство Д.П. Маковицкого об отношении Толстого к Беранже: кроме В. Гюго, другой поэт французский, которого он любит, – Беранже. «Даровитый, ничего безнравственного у него нет, склад народный, нравственный, благородный и бодрый».

П. Мериме

Еще в молодые годы (зима 1856 года, Петербург) познакомился Толстой с произведениями этого уже тогда популярного в России французского писателя. Самая первая о нем запись в дневнике – негативная: чтение повести Мериме «Кармен» – «слабо, французско». Зато следующая – чтение Мериме – «хорошо» (к сожалению, не указаны произведения).

Осень 1865 года. Чтение «Хроники Карла IX» Мериме: «Странная его умственная связь с Пушкиным. Очень умен и чуток, а таланта нет».

Интерес не стойкий. Следующая пометка интереса к Мериме – лишь в 1888 году. В письме к А.М. и Т.А. Кузьминским Толстой сообщает о вечерних чтениях с их дочерьми, гостившими в Ясной Поляне: «То был Достоевский, то Мериме, то Руссо, то Пушкин даже (“Цыгане”), то Лермонтов, и предстоит многое – одно естественно вызывает другое».

Интересен отзыв 1905 года (по Д.П. Маковицкому). Разговор о Пушкине и Мериме. На замечание одного из гостей, что Пушкин подражал Мериме, Толстой возразил: «Пушкин выше его. У Мериме хорош один рассказ – “Кармен”». [82].

Анри Мари Стендаль

Второе знакомство Толстого с творчеством этого французского писателя состоялось осенью 1883 года. В письмах к жене он сообщает, что читает «Rouge et noir» («Красное и черное») – роман Стендаля («симпатия за сме-

Репозиторий ВГУ

лость, родственность, но неудовлетворенность»). Толстой вспоминает, что *впервые* читал Стендаля около сорока лет назад; теперь испытывает то же самое чувство, что и тогда, «но с ясным сознанием, отчего и почему».

В апреле 1887 года Толстой читает «для отдыха» «прекрасный» роман Стендаля «Chartreuse de Parme» («Пармская обитель») и испытывает желание «поскорее переменить работу; хочется художественной» [83].

По поводу прочитанной вслух из «Северного вестника» статьи П. Вейнберга о Жорж Санд, в которой давался общий обзор предшествовавшего французского романа, Толстой высказал свои замечания о французских писателях – Руссо, мадам Сталь, Шатобриане, Бальзаке. «Очень хвалил Стендаля» (дневник В.Ф. Лазурского).

В июле 1901 года у Толстого французский профессор Поль Буайе. Беседы о литературе. О Стендале: «Я больше, чем кто-либо, обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Кто до него описал войну такою, какова она есть на самом деле?.. Повторяю… все, что я узнал о войне, я прежде всего узнал от Стендаля» [84].

Очень содержательный материал имеется в полученном Толстым от издателя П. Гольдберга (сентябрь 1903 года) французском тексте посвящения Толстому, написанном О. Мирбо для русского перевода комедии «Les affaires sout les affaires» (в русском переводе Е. Семенова – «Власть денег», СПб., 1903), где Мирбо писал: «Вы были моим истинным учителем нравственно более, нежели кто-либо из французских писателей… Вы и Достоевский… кое-кто из гордых писателей моей родины – заявляли, что вы многим обязаны Франции. Они хотели бы видеть в вас питомца революции и Стендаля. Я же утверждаю, что Франция сама ваша должница: вы возбудили в ее многовековом гении новую жизнь, как бы расширили его восприимчивость. Вы первый научили нас искать жизнь в самой жизни… Вы первый научили нас читать то, что гнездится и бурлит в глубокой теме подсознания… все то, что делает человека таким несчастным и смешным и… таким нам близким».

Толстой тотчас же написал ответ О. Мирбо: «Я думаю, что каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала и что благодаря именно этому мы испытываем особенное наслаждение, вновь находя наш идеал выраженным новым, неожиданным образом. Французское искусство произвело на меня в свое время впечатление открытия, когда я впервые прочел Альфреда де Виньи, Стендаля, Виктора Гюго и особенно Руссо».

В феврале 1905 года в ответ на вопрос П.А. Сергеенко, не Диккенс ли имел на него в молодости «главное влияние»? – Толстой сказал: «Нет, Стендаль, как я уже много раз говорил» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

По отношению к Стендалю, таким образом, Толстой не испытал никаких противоречий.

О. де Бальзак

Романы Бальзака Толстой начал читать летом 1855 года (дневниковые записи).

В феврале 1857 года Толстой читает роман Бользака «Онорина» – «талант огромный» (дневник). В марте чтение продолжается.

Репозиторий ВГУ

Весна этого года проходит под знаком Бальзака: чтение романа Бальзака «Cousine Bette» (дневник); в записной книжке: «У Бальзака в образах возможность, а не необходимость поэтическая»; чтение романа Дюма-сына «Дама с жемчугом» – «талант, но грунт, на котором он работает, ужасен. Деправация (разврат) Бальзака – цветочки перед этим» (дневник).

Интересный факт сопоставления творчества Бальзака и Толстого И.С. Тургеневым. В январе 1868 года появилась книга I «Собрания романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» с предисловием Тургенева к переводу романа М. Дюкана «Утраченные силы». Тургенев пишет, сравнивая романы Бальзака с «Казаками» Толстого: «Все его (Бальзака) лица колют своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно до мельчайших подробностей – и ни одно из них никогда не жило и жить не могло; ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в “Казаках” нашего Л.Н. Толстого» («Московские ведомости», № 19 от 25 января).

И еще – сопоставление Толстого и Бальзака в марте 1877 года. Н.Н. Страхов пишет Толстому: «Когда подумаю о том, что вышло из “Анны Карениной”, то не могу надивиться. Да, это великое произведение [85], роман во вкусе Диккенса и Бальзака, далеко превосходящий все их романы. Ту часть, которая в феврале, я уже прочитал, и она меня защемила невыразимо. Она поразила и всех тех, которые жалуются на пустоту сюжета – чувствуют (напр., Стасов), что близится трагедия, неотвратимая, роковая».

Весной 1882 года – чтение Бальзака «в свободные минуты» «с удовольствием» (письмо к С.А. Толстой).

Через три с лишним года, в 1885 году, Толстой передает записку В.Г. Черткову с замечаниями относительно книжек «Посредника».

По поводу сделанной Е.П. Свешниковой переделки романа Бальзака «Евгения Гранде», вышедшей под заглавием «Скупой и его дочь»: «Переделывать повести иностранные, как “Eugenie Grande”, на русские нравы – значит лишать эти повести интереса знания быта нерусского и, главное, реальности. А лучше в выносках или в тексте делать разъяснения чуждых обычаев и условий».

Коснулся Толстой творчества Бальзака еще раз летом 1894 года (сведения из дневника В.Ф. Лазурского). Поводом явилась статья П. Вейнберга в «Северном вестнике» о Ж. Санд, в которой дается общий обзор предшествовавшего французского романа (Руссо, мадам Сталь, Шатобрион, Стендаль). «К Бальзаку Толстой, с его слов, никогда не чувствовал особого влечения, и все из него перезабыл».

Что ж, своя эволюция восприятия литературы…

Ч. Диккенс

По воспоминанию Толстого 1891 года ряд книг произвели на него сильное впечатление в возрасте от 14 до 20 лет. В их числе «Давид Копперфильд» Диккенса – «огромное» [86].

Осенью 1852 года – чтение «Давида Копперфильда» – «прелесть» (дневник).

Через год Толстой просит брата С.Н. Толстого прислать «Давида Копперфильда» на английском языке.

Репозиторий ВГУ

Лето 1854 года – чтение в «Современнике» романа Диккенса «Холодный дом».

В июле 1856 года Толстой просит Некрасова прислать ему роман Диккенса «Крошка Доррит» на английском языке. В августе он уже читает его.

Осенью того же года читает «Записки Пиквикского клуба» Диккенса (дневник).

Поздней осенью 1856 года Толстой отъезжает в Петербург; дорогой читает роман Диккенса «Крошка Доррит» (дневник).

В разгар работы над «Войной и миром», осенью 1865 года, читает роман Диккенса «Наш общий друг» (дневник).

В виде отдыха от занятий осенью 1878 года читает роман Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (дневник С.А. Толстой). Из того же источника узнаем, что в это же время Лев Николаевич знакомится с романом Диккенса «Домби и сын».

Интересно, что далее чтение книг Диккенса внедряется в рабочий (творческий) ритм Толстого: так, в марте 1880 года, наряду с напряженной работой по утрам, по вечерам читает «Заключительные записки Пиквикского клуба» Диккенса (письмо к А.А. Фету).

В письме к В.Г. Черткову (май 1885 года), возвращаясь к вопросу о переделке и издании в «Посреднике» произведений иностранных авторов, Толстой, в частности, рекомендует: всего Диккенса («в нем найдется много прекрасного – его маленькие рассказы и романы») [87].

Осенью того же года Толстой читает «понемножечку» Диккенса «Bleak House» («Холодный дом») – «очень хорошо»; и думает об изложении для народа и для школьников его же «Оливера Твиста» (письмо к дочери Т.Л. Толстой).

Интересна в этом же плане записка В.Г. Черткову (поздняя осень 1886 года) с замечаниями относительно книжек «Посредника». В частности, Толстой рекомендует попробовать перевести для народных изданий целиком романы Диккенса «Холодный дом» или «Крошка Доррит» с комментариями непонятных мест и «с исключениями того, на что укажет опыт чтения рукописи в школах взрослых». «Стоить того попытать это и именно на Диккенсе передать всю тонкость иронии и чувства – выучить понимать оттенки. Для этого нет лучше Диккенса».

Тогда же И.М. Ивакин в своем дневнике отметил суждения Толстого о Диккенсе: «В последнее время я только перечитывал романы Диккенса – “Крошка Доррит”, “Холодный дом”. По-моему, Диккенс еще вполне не оценен. Мы Диккенса не знаем, но какая это сила! Прежде эти романы мне казались тяжелы и скучны, но теперь – нет. Что это за сила! У него на сцене десять лиц, и вы, читая, ни про одно не забываете: каждое так и бьет вам в глаза! Все эти английские учреждения являются у него в ироническом свете, все одето такой иронией!.. Герои у него, по-моему, не лорды и т.п., а ободранные, с лицом, попорченным оспой, люди – вот его настоящие герои. Его роман “Оливер Твист” – прекрасный; я помню, я несколько раз рассказывал его детям и всегда имел успех».

В конце зимы 1886 года Толстой пишет В.Г. Черткову, что его «все больше и больше занимает» издание в «Посреднике» повестей Диккенса «История о

Репозиторий ВГУ

двух городах» и «Крошка Доррит» и сам желал бы обработать для народного читателя «прелестный» роман «Наш общий друг», но не имеет времени [88].

В воспоминаниях Г.А. Русанова за апрель 1894 года приводится содержание бесед с ним Толстого. Упоминаются: Писемский, Гончаров, Достоевский, Белинский, Писарев, Аксаков, Гёте, Ибсен, Чехов. В частности – Диккенс и Гюго («настоящие христианские писатели»).

В своем дневнике В.Ф. Лазурский отмечает, что Толстой «подбирает примеры из всемирной литературы» образцов «истинного» искусства. «Нашел и может указать лишь несколько произведений В. Гюго, Диккенса, Достоевского, Шиллера…»

К ноябрю 1898 года относится письмо Толстого к жене С.А. Толстой, в котором он сообщает о вечерних чтениях вслух Фильдинга и Диккенса.

В ноябре 1903 года – письмо к доктору философии Генриху Ильбенштейну с выражением соболезнования о смерти (31 октября) Вильгельма Поленца, которого Толстой называет «большим писателем, соединившим в себе в равной степени все три свойства, нужные для писателя: всегда важное содержание, прекрасную технику и большую искренность… Это один из тех писателей, которые, как Диккенс, Гюго, переживут несколько поколений и будут оценены не одними соотечественниками».

Через год в ежедневнике С.А. Толстой значится: «Толстой читал вслух “Записки Пиквикского клуба” Диккенса и “очень смеялся”».

Перейдем к следующему, 1905 году. В январе Толстой перечитывает Диккенса с целью найти что-либо подходящее для помещения в «Круг чтения» («Яснополянские записки»).

В беседе с корреспондентом английской газеты «Manchester Guardian» новозеландцем Г. Вильямсом шел разговор об общественном движении в России и о литературе. Упоминаются: Диккенс («мировой гений»), Байрон, Горький, Чехов и др.

Февраль 1905 года. Беседа с А. де Вогюэ о литературе и живописи. Упоминаются: Золя, Франс, Ренан, Диккенс и Гюго (Толстой отдал предпочтение Диккенсу – «Гюго отталкивает уже своим пафосом»).

В это же время, сделав исправления в переводе В. Макулич стихотворения В. Гюго «Бедные люди», помещенном им в «Круге чтения», Толстой в письме к И.И. Горбунову-Посадову просит проверить перевод по подлиннику.

Апрель 1905 года – запись в дневнике Д.П. Маковицкого: «Л.Н. Толстой говорил о “недельных чтениях” “Круга чтения”»: «Как трудно найти хорошее. У Диккенса все нашел…». Тем не менее, в эти же дни Толстой перечитывает «Историю двух городов» Диккенса.

И снова – запись в дневнике Д.П. Маковицкого слов Толстого: «Диккенс неподражаем для нашего брата. У него всегда образность, юмор… “Давид Копперфилд” – отделано; “Bleak House” (“Холодный дом”) – набросано. “Bleak House” – одно из лучших против суда… У Диккенса герои – бедные, забитые; лордов презирает. У Шекспира наоборот: дюки важны, мужик clown».

Там же (август 1905 года) записан отзыв Толстого о романе Диккенса «Martin Chuzzlewit» («Мартин Чезлвит»): «Нехорошее сочинение. Кроме одного, все недоброе характеры».

Репозиторий БГУ

Месяц спустя (те же «Яснополянские записки») в разговоре о В. Гюго и Диккенсе Толстой сказал: «Я выделяю этих обоих писателей, потому что они на стороне угнетенных, уродов, бедных, страдающих…»

В октябре 1905 года Толстой в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона читает биографию Диккенса и находит, что «хорошо написано». О «Записках Пиквикского клуба» отозвался, что они написаны с веселостью, которая так и сияет из лиц». И в эти же дни: «Читаю Канта, пока не работаю, Герцена – полуотдых, Диккенса – отдых. Я прочел его всего. Теперь читаю который раз “Копперфильда”, сосу, как карамельку».

Через месяц – запись в дневнике Д.П. Маковицкого («Яснополянские записки»): «Л.Н. за обедом рассказывал смешные места из Диккенса и, рассказывая, сам смеялся до слез. “Как хорош Диккенс. Хотелось бы о нем написать”, – сказал Л.Н.» [89].

Из того же источника: в ноябре 1905 года Толстой читает Диккенса «American notes».

В августе 1908 года состояние здоровья Льва Николаевича ухудшилось. Видимо, это обстоятельство сказалось на чрезмерной взыскательности Толстого-читателя. Так, по прочтении «Our mutual Freind» («Наш общий друг») Диккенса, он отозвался категорично: «Очень плохо» [90].

Зато осенью того же года из «Яснополянских записок» Д.П. Маковицкого мы узнаем, что его (Толстого) «любимое английское сочинение – “Давид Копперфилд”.

Приятно и справедливо закончить обзор отзывов Толстого о творчестве великого английского писателя его признанием Д.П. Маковицкому в феврале 1909 года: «Если бы я имел время, я написал бы о Диккенсе. Он доставил мне большую радость и имел на меня влияние».

У.М. Теккерей

В свои боевые годы знакомится Толстой с творчеством Теккерея (весна – лето 1855 года): читает романы «Жизнь Эсмонда», «Ярмарка тщеславия» и «История Пенденниса».

Свидетельством интереса молодого Толстого к творчеству Теккерея является просьба Толстого в письме к Некрасову (июль 1856 года) прислать ему четвертую часть романа Теккерея «Ньюкомы» на английском языке.

А вот исключительно интересное мнение (конечно, субъективное) И.С. Тургенева, который пишет В.П. Боткину о рассказе Л.Н. Толстого «Люцерн»: «Я прочел небольшую его вещь, написанную в Швейцарии. Не понравилась она мне: смешение Руссо, Теккерея и краткого православного катехизиса» (август 1857 года).

Здесь без труда расшифровывается мысль Тургенева: от Руссо идет высоконравственная идея (помоги бедному – формулировка Н.Г. Чернышевского: «чистота нравственного чувства»); от Теккерея – реалистическая детализация событий; а от «православного катехизиса» – заповедь: растворись в заботах о ближних.

Зима 1890 года – разговоры с Г.А. Русановым о литературе. Упоминаются: Диккенс, Теккерей, Троллоп Джордж Элиот, Додэ, Чехов («Диккенс на верхней ступеньке, ступенькой ниже Теккерей, еще ниже Троллоп и т.д.»).

Репозиторий ВГУ

И последнее свидетельство – зимой 1905 года: разговор с Д.П. Маковицким о писателях: о М. Твене Толстой сказал, что о нем он «невысокого мнения». О Теккерее – что «ему далеко до Диккенса».

Г. Гейне

Начнем с того, что в молодые годы на Кавказе (или в Крыму) Толстой переводил балладу Гейне. Какую – по дневниковой записи не известно…

Теперь перекинемся аж в 90-е годы – весной 1891 года Толстой вечером «читал Ибсена и Гейне». А в 1898 году сообщает сыну Льву Львовичу, что перечитывает Гейне. В том же году опять читает Гейне, а накануне (в начале февраля) продекламировал наизусть одно из его стихотворений (дневник дочери Т.Л. Толстой-Сухотиной).

Тогда же В.Ф. Лазурский в своем дневнике сообщает, что Толстой «подбирает примеры из всемирной литературы» образцов «истинного» искусства… «Перечитывает, передумывает». «Причислить сочинения Гейне к истинным произведениям искусства он не может, скорее причислил бы их к дурному искусству… У Гейне безотрадный пессимизм и цинизм, глумление над всеми и над собой, не смягчаемое любовью… Но тут же он прибавил, что недавно перечитывал Гейне и восторгался им, хотя объясняет это тем, что сам испорчен нашими искаженными взглядами на искусство. У Гейне удивительное остроумие, необыкновенная ясность ума, когда он характеризует разные философские направления, “как не охарактеризует их ни одна история философии”, “чрезвычайно умные изречения”.

Август 1904 года. В «Русских ведомостях» появляется обширное интервью, данное Толстым немецкому журналисту Гуго Ганцу, посетившему его в январе 1904 года. Разговор о философии и литературе. В частности, Толстой особенно ценит «Германа и Доротею» Гёте, но лирические стихотворения Гейне произвели на него большее впечатление, чем стихотворения Гете, который «занимается только эстетической игрой».

И, наконец, в октябре 1904 года в VI «Сборнике товарищества «Знание» были помещены стихотворения Скитальца: «Мы плыли с тобою навстречу заре», «От вашей мерзости спасался я в пустыне», «Легенда (по Гейне)»…

Г. Флобер

Первое упоминание о Флобере в творческой биографии Толстого связано с письмом к нему А.А. Фета в апреле 1877 года, где он делится своими впечатлениями от чтения глав «Анны Карениной», напечатанных в мартовской книжке «Русского вестника»: «Не говорю о мастерстве подробностей – руки болтаются, ламповое стекло чистит портрет и вьются красоты, *прекрасно* (курсив автора. – *А.Н.*) влюбился в Каренину и *нехорошо* (курсив автора. – *А.Н.*), и жена резко ударяет на все это. Но какая художницкая дерзость – описание родов. Ведь этого никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат о реализме Флобера, а тут все идеально [91]. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и вечно таинственных окна: рождение и смерть».

Спустя несколько дней в письме к Н.Н. Страхову Толстой отзывается о напечатанной в № 4 «Вестника Европы» повести А.А. Потехина «На миру»

Репозиторий ВГУ

(«хороша») и о напечатанной там же «Католической легенде о Юлиане Милостивом» Г. Флобера в переводе Тургенева («мерзость», «возмутительная гадость»).

Январь 1880 года. Тургенев пишет Толстому из Парижа, цитируя выдержку из письма к нему Г. Флобера с хвалебным отзывом о «Войне и мире» во французском переводе. Флобер писал: «Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог!.. Мне кажется, что кое-где есть места шекспировские. Я вскрикивал от восторга во время чтения… а оно продолжается долго! Да, это сильно, очень сильно!».

Лето 1883 года – продолжительные беседы с Г.А. Русановым о литературе. В частности, о Флобере сказано мало: «M-me Bovary» Толстой забыл, но помнит, что, когда читал, «понравилось ему».

Весной 1892 года Толстой перечитывает Флобера «M-me Bovary» и в письме к жене С.А. Толстой хвалит этот роман: «имеет большие достоинства и недаром славится у французов».

И, наконец, в мае 1907 года в разговоре с Д.П. Маковицким о французских писателях Толстой сказал, что он «не уважает» «Флобера и Жорж Занд, – особенно, когда она писала и переживала романы. Но в старости у нее появилось нравственное чувство. Ее письма лучше, чем Флобера».

Г. Бичер-Стоу

Летом 1854 года Толстой читает «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу (запись в дневнике).

В январе 1858 года в письме к Некрасову Толстой высказывает свое мнение о первом номере «Современника» за 1858 год: “Он очень плох”. “Политическая и хорошая статья” (Н.Г. Чернышевского) “Кавеньяк” поставлена первой в книжке, чем нарушаются “традиции” “Современника”. “Ася” Тургенева, по моему мнению, самая слабая вещь из всего, что он написал… Политический перец, рассыпанный повсюду и в приложении “Дяди Тома” (“Хижина дяди Тома”, роман Бичер-Стоу) нейдет, по его мнению, “Современнику”» [92].

В ноябре 1862 года получено цензурное разрешение 10-й книжки «Ясная Поляна» с рассказом Г. Брызгина (Г.И. Успенского) «Михалыч» и пересказом романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» под заглавием «Дядя Том».

Неожиданным образом коснулся Толстой знаменитого романа Бичер-Стоу в 1891 году. Осенью того же года он пишет Б. Зуттнер, французской публицистке, в ответ на ее письмо от 16 октября (нов. ст.) с вопросами относительно предполагаемого открытия в Риме третьего конгресса мира для установления международного третейского суда: «Я не верю, чтобы третейский суд был действенным средством для уничтожения войны». Отзывается о книге Зуттнер «Долой оружие!»: «Я очень ценю ваше произведение, и мне приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым предзнаменованием. Отмене невольничества предшествовала знаменитая книга женщины, г-жи Бичер-Стоу; дай Бог, чтобы ваша книга предшествовала уничтожению войны».

И заключительный аккорд уважительного отношения к роману английской писательницы мы слышим в лето 1894 года. Толстой перечитывает

Репозиторий ВГУ

«прекрасную книгу Г. Джорджа «The perplexed Philosopher» («Запутавшийся философ»), благодаря которой Толстой «очень живо сознал вновь грех владения землей». «Как нужно бы писать об этом – написать новый «Oncle Toms Cabin» («Хижину дяди Тома») [93].

У. Уитмен

В июне 1877 года Толстой получил книгу «нелепых стихов» Уолта Уитмена (дневник) [94].

Осень 1889 года – продолжение чтения Уитмена: «Много напыщенного, пустого; но кое-что уже я нашел хорошего, например: “Биография писателя”» (дневник).

Лето 1890 года отмечено явным потеплением отношения Толстого к Уитмену: нуждавшемуся в переводах близкому ему по взглядам Л.П. Никифорову Толстой рекомендует перевести, в частности, «стихи Уитмена (“Leaves of Grass” – “Листья травы”) – и весьма оригинального, и смелого поэта».

А вот через 10 лет, летом 1900 года, мы узнаем о таком возможном признании Толстого. Американский журналист Эдуард Гарнет обратился к Толстому с просьбой написать «обращение к американскому народу». Толстой ответил так: «Если бы мне пришлось обратиться к американскому народу, то я постарался бы выразить ему свою благодарность за ту большую помощь, которую получил от его писателей, процветавших в пятидесятых годах. Я бы упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Баллу и Торо, не как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно повлияли на меня. Среди других имен назову: Чаннинга, Уитнера, Лоуэла, Уолта Уитмена – блестящую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемирной литературе…»

В то же время, спустя 7 лет, Толстой, читая Уитмена, в записной книжке делает замечание: «нехорошо, комментировать эту оценку трудно».

И зимой 1907 года (декабрь) – очень приятное для нас впечатление Толстого, когда он читал вслух отрывки из «The Leaves of Grass» («Листья травы») У. Уитмена. Отзыв Толстого об Уитмене: «Поэт очень интересный; он философский поэт. Он был разбит параличом и, несмотря на это, был жизнерадостен. Он очень мелко известен в России, а он значительнее всех». («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Б. Шоу

Октябрь 1905 года. В.Г. Чертков пересылает Толстому письмо Б. Шоу от 2 августа, написанное им В.Г. Черткову в связи с изложением Чертковым в письме к Шоу содержания статьи Толстого «О Шекспире и о драме».

В ноябре 1905 года В.Г. Чертков пересылает Толстому копии двух писем Б. Шоу от 3 и 19 ноября, написанных им Черткову в связи с изложением статьи Толстого «О Шекспире и о драме» и заключающих возражения на статью Толстого, а также указания на ряд ошибок в переводе текстов Шекспира и неправильное толкование отдельных мест его драм.

По получении от В.Г. Черткова при письме от 21 ноября копий писем Б. Шоу, Толстой пишет Черткову: «Шекспира мне не присылайте, а печатайте как он есть. Если есть те blunders (промахи), о которых говорит Шоу, исправьте их сами».

Репозиторий ВГУ

Интерес к творчеству Б. Шоу не ослабевает. В январе 1907 года он читает его драму «Man and Superman» («Человек и сверхчеловек»). Отзыв Толстого: «искусственно, пошло», «ужасно остроумно и дурного вкуса… Он говорит о серьезных вопросах, а одной какой-нибудь шуткой свернет в сторону, и теряешь всякое уважение к нему».

В эти же дни Толстой читает статью Б. Шоу «The Revolutionist's Handbook and Poket Companion by John Tanner, M.I.R.C. (Member of the Idle Rich Class)» («Руководство революционера и записная книжка Джона Таннера, члена праздного богатого класса»). Главу из этой книги «Прогресс как иллюзия» Толстой назвал «хорошей».

В записной книжке Толстой применяет к Б. Шоу слегка измененную фразу (обращение статуи Командора к Дон-Жуану) из его драмы («У него больше ума, чем это для него полезно»).

Весной того же года в разговоре (с Д.П. Маковицким) – отзыв Толстого о Б. Шоу: «Мысли у него низменные; он такой парадоксалист».

В январе 1908 года – чтение Б. Шоу. Отзыв Толстого: «Он поразителен своей пошлостью. У него не только нет ни единой своей мысли, поднимающейся над пошлостью городской толпы, но он не понимает ни одной великой мысли прошлых мыслителей. Вся его собственность в том, что он самые избитые пошлости умеет высказать самым изысканно-извращенным, новым способом, как-будто он говорит что-то свое, новое. Главная черта его – это ужасающая самоуверенность, равняющаяся только его полному философскому невежеству» (дневник, 31 января).

Весной 1908 года – чтение книги Б. Шоу «The Impossibility of Anarchism» («Невозможность анархизма»). Отзыв Толстого о Б. Шоу: «Очень умно. Он за социализм против анархизма. Мне это очень интересно. Его драмы, рассказы и особенно статьи очень талантливы» (Д.П. Маковицкий).

В апреле того же года – интересный отзыв о Б. Шоу: «Тоже социалист, узкий человек».

И вот – серьезный разговор. Письмо к Б. Шоу о его книге «Men and Superman» («Человек и сверхчеловек»), London, 1906: «первый ее недостаток в том, что вы недостаточно серьезны. Нельзя шуточно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни, и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества… Второй упрек в том, что вопросы, которых вы касаетесь, имеют такую огромную важность, что людям с таким глубоким пониманием зол нашей жизни и такой блестящей способностью изложения, как вы, делать их только предметом сатиры, часто может более вредить, чем содействовать разрешению этих важных вопросов. В вашей книге я вижу желание удивить, поразить читателя своей большой эрудицией, талантом и умом. А между тем все это не только не нужно для разрешения тех вопросов, которых вы касаетесь, но очень часто отвлекает внимание читателя от сущности предмета, привлекая его блеском изложения».

Август 1908 года – приезд в Ясную Поляну библиотекаря Британского музея Ч.Т. Райта с адресом, подписанным более чем 800 английскими писателями, художниками, артистами, музыкантами, учеными и общественными деятелями. Среди них – Б. Шоу.

Репозиторий ВГУ

В апреле 1909 года на вопрос нью-йоркского банкира и музыканта Кисселя, правнука миллионера Вандервильта, какого он мнения о Б. Шоу, Толстой ответил, что он ему не нравится. «Он старается быть эксцентричным, неестественным» (Д.П. Маковицкий).

И в то же время осенью того же года, слушая изложение приехавшим к нему физиком А.В. Цингером содержания драмы Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра», Толстой сказал ему: «Вы меня заинтересовали Бернардом Шоу. Он очень остроумный и самобытный. Это один из крупных современных писателей».

А вот – нонсенс. В марте 1910 года Толстой получает письмо Б. Шоу от 14 февраля нов. ст. и его пьесы «The shewind u\o of Blanko Posnet: a sermon in crude Melodrama», London, 1909. Помета Толстого на конверте письма: «Умное-глупое» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Чтение драмы Б. Шоу «The shewind u\o of Blanko Posnet». Отзыв Толстого: «Грубо, фальшиво, сентиментально».

Через месяц Толстой пишет письмо Б. Шоу в ответ на его «остроумное» письмо от 14 февраля нов. ст. и приписку его новой пьесы «The shewind u\o of Blanko Posnet: a sermon in crude Melodrama». Толстой сообщает Шоу, что пьесу он «прочел с удовольствием»; сюжет ему «вполне сочувственен», но вместе с тем упрекает Шоу за недостаточную серьезность его пьесы. По мнению Толстого, «вопросы о Боге, о зле и добре слишком важны для того, чтобы говорить о них шутя».

И, наконец, в мае 1910 года по поводу драмы Б. Шоу «The shewind u\o of Blanko Posnet» Толстой сказал: «Как глупа драма Шоу о Наполеоне… Все остроумно и глупо. Все искусственно, что они говорят, – не то, что они могли говорить… Шоу – типичный англичанин».

Комментарии здесь излишни…

Г.Д. Уэллс

В ноябре 1906 года Толстой получает письмо Г. Уэллса: «Мой друг Эйльмер Моод сказал мне, что вам интересно будет просмотреть две-три моих книжки… Теперь я посылаю вам рассказ “Lowe and Mr. Lewisham”, сборник коротких рассказов “The Plattner story”, роман “The war of the worlds” и книгу социологических рассуждений “A modern Utopia”… Думаю, что я прочел около восьмидесяти ваших произведений, все, которые можно было достать на английском языке. “Война и мир” и “Анна Каренина”, на мой взгляд, самые великолепные и всеобъемлющие произведения из всех тех, которые я имел счастье прочесть».

В то же время по поводу книги «The Falling stor» и других книг Уэллса, которые имели большой успех, Толстой сказал, что он «ужасно не любит все эти книги, потому что это – фантасмагория, нагромождение небылиц на небылицы» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

В том же декабре Толстой прочел три главы из «Future in America» Г. Уэллса и сказал: «Неинтересно, больше не буду».

И уже известный нам факт о приезде в Ясную Поляну библиотекаря Британского музея Ч.Т. Райта с адресом, подписанным более чем 800 английскими писателями, художниками, артистами, музыкантами, учеными и общественными деятелями. Среди них – Г. Уэллс.

Репозиторий ВГУ

Ги де Мопассан

В ноябре 1883 года Толстой пишет жене, что забыл в Москве роман Ги де Мопассана «Une vie» («Жизнь»). «Читайте ее покамест и спрячьте») [95].

А вот летом 1884 года – отзыв критический (в дневнике): «Забирает мастерство красок, но нечего ему, бедному, писать».

В апреле 1888 года Толстой посылает В.Г. Черткову «фельетон Мопассана» (рассказ, напечатанный под заглавием «Месть» в «Русских ведомостях» за 1888 год, № 103 от 14 апреля), который «хорошо бы напечатать хоть в «цветнике» (письмо к В.Г. Черткову) [96].

Декабрь 1889 года – чтение «прекрасно написанного» («хотя и грязная тема») романа Мопассана «Fort comme la mort» («Сильна, как смерть»).

В октябре 1890 года Толстой исправляет перевод рассказа Ги де Мопассана «La port», сделанного А.М. Новиковым [97]. В эти же дни Толстой переводит открытки о войне из сочинений Мопассана («Sur l'eau»), Рода («Le sens de la vie») и Вогюэ («A travers l'exposition») [98].

В декабре того же года – разговоры с Г.А. Русановым о литературе. В частности, о Чехове – «у него сходство с Мопассаном и большой талант».

Начало 1891 года. А.С. Суворин пишет В.Г. Черткову, что он согласен напечатать в «Новом времени» переделку Толстого рассказа Мопассана «La port», лишь «кое-где смягчив выражения, например: вместо "девка" иногда употребить слово "женщина", вместо "похоть" сказать как-нибудь иначе… и дозволить Франсуазе не сидеть верхом на коленке, хоть у Мопассана это так же». Кроме того, Суворин просит изменить «невозможное» заглавие – «Обычное удовольствие молодых людей» – на более короткое: «Сестры, например» [99].

В те же дни Н.С. Лесков пишет Толстому, что А.С. Суворин, получив от В.Г. Черткова рассказ, написанный Толстым по Мопассану («У девок»), для помещения в «Новом времени» с условием «не изменять ни одного слова», просит изменить только одно слово – именно слово: девка, имеющее у нас очень резкое значение. Я думаю, что эту уступку надо сделать».

В январе 1893 года написано небольшое предисловие к книге: «Сочинения Ги де Мопассана, избранные Л.Н. Толстым», перевод Л.П. Никифорова, М., 1893.

Осенью того же года дочь Толстых Т.Л. Толстая посылает Л.П. Никифорову для включения в подготовляемый им к печати сборник переводов рассказов Мопассана сделанный Толстым перевод рассказа «Un échec» под заглавием «Не удалось».

Через год в беседе с Ю.А. Веселовским Толстой высказывает свое мнение о Мопассане: «По моему мнению, Мопассан после Виктора Гюго – лучший писатель новой эпохи. Я его очень люблю и ставлю выше всех его современников… Нужно установить правильную точку зрения на Мопассана… это единственный писатель, который понял и воссоздал всю отрицательную сторону отношений между женщиной и мужчиной… Никто с такой меткостью и художественностью, как он, не изображал все страдания, все душевные муки, порождаемые низменным отношением к женщине».

Работа над предисловием к рассказам Ги де Мопассана.

Март 1894 года. Толстой «бросил» первую редакцию предисловия к рассказам Мопассана, потому что Мопассан ему «стал противен своей нрав-

Репозиторий ВГУ

ственной грязью», и начал писать вновь, стремясь высказать то, что он думает об искусстве. «Надо показать, что есть истинно прекрасное и что условное. Сколько раз я возвращался к этому предмету и все не умею его ясно высказать. Должно быть, еще во мне неясно. А предмет такой важности, что скрасть неясности и не хочется».

Работая над предисловием к рассказам Ги де Мопассана, Толстой читает книги по эстетике: J. Guyau, «L'art au point de vue socioloque» («Искусство с точки зрения социологии») – «много хорошего»; Kniqht, «Philosophy of the beautiful» («Философия прекрасного») – «прекрасная книга» и др.

Татьяна Львовна Толстая пишет С.А. Толстой из Парижа: «Вчера вечером был у нас Desjartdin (Дежарден), очень интересный человек, рассказывал про Мопассана, которого он хорошо знал. Говорил, что раз они пообедали вместе и шли домой по бульварам и говорили о Толстом. Мопассан читал только "Войну и мир" и "Анну Каренину", и Дежарден ему посоветовал прочесть "Смерть Ивана Ильича", которую он только что прочел и от которой был в восторге. Он в нескольких словах передал ему содержание. После этого Мопассан замолчал, взял его под руку, и они долго шли молча. Потом Мопассан стал говорить, что вся его деятельность никуда не годится, что он прожил пустую, ненужную жизнь, лучше было бы, коли бы он был cultivateur, и просил прислать ему "Смерть Ивана Ильича". Это была последняя книга, которую он прочел. Через пять-шесть дней он сошел с ума».

Сын Толстых Лев Львович пишет своей матери С.А. Толстой: «О Мопассане поразительно то, что рассказала вам, верно, Таня. И как жалко, жалко его бедного. Может быть, если бы месяцем раньше он прочел или общался с человеком, могущим дать ему то, чего ему не хватало, он был бы спасен» [100].

Все в том же марте того же 1894 года Толстой пишет Л.П. Никифорову: «С предисловием Мопассану я все никак не могу справиться. Было время недавно, что я взялся за него: все перемарал и запутался, и увлекся в вопросы эстетики, и отложил».

2 апреля 1894 года – авторская дата под печатным текстом предисловия к рассказам Ги де Мопассана.

В конце апреля читаются корректуры предисловия к рассказам Мопассана.

В середине июня в издании «Посредника» выходит роман Ги де Мопассана «Монт-Ориоль» с предисловием Толстого. А в конце этого месяца В.В. Стасов пишет Толстому восторженное письмо по прочтении его «нового шедевра» – предисловия к сочинениям Мопассана.

Но Толстой остается Толстым: любое отклонение художника от нравственных норм не проходит незамеченным. Вот, скажем, в том же году, осенью, Лев Николаевич пишет Е.И. Попову: «"Le vaqabond" ("Бродяга") Мопассана… очень груб, и слишком жестокими представляет людей, а сцена бродяги с женщиной – гадка» [101].

В конце 1897 года, пишет в своем дневнике С.А. Толстая, Лев Николаевич рассказывает случай, произошедший в Кремле. К умирающей женщине – роженице, жене офицера, был приглашен иеромонах Чудова монастыря. Окончив обряд, он поговорил с мужем о положении больной и, так как он сам когда-то был врачом – хирургом, вызвался сделать женщине операцию, кото-

Репозиторий ВГУ

рая могла спасти ее жизнь. Операция была сделана, но за нарушение монастырского устава иеромонах был переведен в дальний монастырь.

Толстой высказал мнение, что этот случай мог бы послужить хорошей темой для рассказа такому писателю, как Мопассан. Он и сам готов воспользоваться данным фактом как темой художественного произведения [102].

Начало 1901 года. В письме к брату Сергею Николаевичу Толстой рекомендует ему «Les dimanches d'un bourqeois de Paris» («Воскресные прогулки парижского буржуа») Мопассана – «хорошо написано и забавно».

Весна 1903 года. Пьесу О. Мирбо «Les affaires sont les affaires» назвал «настоящим драматическим произведением». Общий отзыв Толстого о Мирбо: «Он напоминает мне Мопассана. Бодрый, правдивый и сильный талант».

Два года спустя Д.П. Маковицкий записывает в дневнике: «Л.Н. говорил о "недельных чтениях" "Круга чтения": "Как трудно найти хорошее. У Диккенса все не нашел. У Мопассана есть много хорошего, "но одно "Одиночество" совсем хорошее"».

В начале 1906 года запись в дневнике Д.П. Маковицкого: «Л.Н. Толстой дал Ю.И. Игумновой прочесть написанный им по Мопассану рассказ "Франсуаза" и через несколько дней спросил ее, как ей понравился рассказ, и прибавил восторженно-умиленным голосом: «Я это без волнения не могу читать никогда».

Осень 1909 года – чтение рассказов Ги де Мопассана «Le pain maudit» и «Le petit fût».

В декабре 1909 года – чтение в № 63–70 «Утра России» за 20 декабря рассказа Мопассана «Страх». Толстому рассказ не понравился (Д.П. Маковицкий, «Яснополянские записки»).

А вот в августе 1910 года Толстой перечитывает в «Круге чтения» «чудесный рассказ Мопассана "Одиночество"».

Осень 1910 года. Толстой читает рассказы Мопассана «Семья» – «прелесть» (дневник).

Под впечатлением чтения Мопассана запись в дневнике: «Ночью очень хорошо ясно думал о том, как могло бы быть хорошо художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских, рабочих, – и среди тех и других хоть по одному духовно живому человеку. Можно бы женщину и мужчину. О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь. И вот именно задумываю без всякой мысли о последствиях, какие и должны быть в каждом настоящем деле, а также и в настоящем художественном. О, как бы могло быть хорошо».

В октябре 1910 года, за месяц до смерти, Толстой еще разговаривает о Мопассане (запись В.Ф. Булгакова). Толстой сказал: «У него были задатки глубокой мысли, наряду с этой распущенностью половой. Он удивительно умел изображать пустоту жизни, а уметь это может только тот, кто знает нечто, вследствие чего жизнь не должна быть пустой. Вот, как Гоголь, например. Удивительный писатель!»

На этом и закончим интересный экскурс во взаимоотношениях двух писателей России и Франции – признанного гения и молодого таланта – в их, соответствующем времени, сопоставлении традиционного, классического – и нового, обновленного.

Репозиторий ВГУ

Р. Роллан

Апрель 1887 года – письмо к Толстому ученика Высшей нормальной школы в Париже Ромена Роллана с выражением страстного «восхищения» перед творениями Толстого и с вопросами о смысле жизни и смерти и о назначении искусства.

В сентябре того же года Ромен Роллан вторично обращается к Толстому с вопросами об истине, о благе, о самопожертвовании, о труде ручном и умственном, о путях избавления от страданий и сомнений.

В ноябре 1888 года – неудачные попытки исправления написанного в 1887 году письма Ромену Роллану о ручном труде для напечатания в газете «Неделя» (письмо к П.И. Бирюкову). А 20 ноября 1888 года – появление в № 46 газеты «Неделя» (с. 1461–1465) русского текста написанного в октябре 1887 года письма Толстого к Ромену Роллану.

21 июля 1901 года Толстой получает письмо Р. Роллана, вызванное сообщениями о болезни Толстого: «Я не могу выразить того отчаяния, которое вызвала во мне ваша болезнь, и утешения, которое мне принесло известие о том, что вы чувствуете себя лучше… Оставайтесь еще долгое время с нами. Никогда еще ваш разум, ваша правда, ваша независимость и крепкое умственное здоровье не были более необходимы, чем в настоящий момент, когда вся Европа представляется потерявшей чувство правды, справедливости и здравого смысла».

В августе 1906 года Толстой читает присланную автором книгу Ромена Роллана «La vie de Michel Anqe» («Жизнь Микель-Анджело»). Отзыв об этой книге: «Он (Роллан. – *А.Н.*) очень слабый писатель» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Но в то же время советует близким читать эту книгу Р. Роллана, считая Микель-Анджело «чистым художником, хорошим».

А. Франс

Март 1903 года – чтение «Les opinions socialstes» Анатоля Франса.

В апреле того же года в письме к М.Л. Оболенской (дочери) Толстой рекомендует ей повести Р. Тёпфера и рассказ А. Франса «Кренкебиль».

Тогда же А. Франса, наряду с О. Мирбо, Толстой ставит «очень высоко».

В июле Толстой посылает брату книгу А. Франса «Historie comigve», которая «противна своей грязью, но очень не только остроумна, но и умна».

Февраль 1905 года – разговор с Вогюэ о литературе и живописи. Упоминаются из писателей: Золя, Ренан, Диккенс, Гюго. Из русских – Пушкин, Лермонтов, Тютчев, затем («падение»): Фет, Майков, Полонский, Апухтин, декаденты. Среди них – А. Франс: «У него есть хорошие вещи, но с его материализмом и социализмом я не согласен». Вот так!

В августе 1906 года Толстой читает книгу А. Франса «Sur la pierre blanche» («На белом камне»). Оценка неизвестна («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

По воспоминаниям С.Т. Семенова (август 1906 года), Толстой говорил о французском журналисте П. Буайе (приехавшем вместе с Семеновым): «Поразительная самоуверенность… думают, что вот они сделали несколько революций, установили республиканское правление и достигли всего, что нужно людям, а загляните к ним, и вы увидите, что и у них не лучше, чем у

Репозиторий ВГУ

других. Та же нищета, безнравственность, суеверие, видимое разложение общества… Вообще французы мельчают. Кого они имеют в литературе? Один Анатоль Франс выдается как мыслящий писатель».

В сентябре 1907 года Толстой читает вслух гостям и семейным из «Круга чтения» рассказы – А. Франса «Уличный торговец» и Чехова «Беглец».

Зимой 1907 года: чтение вслух Герцена и рассказа А. Франса «Oui, Monsieur».

Апрель 1908 года – разговор о современных зарубежных писателях, в том числе и об Анатоле Франсе: «Не дурен, но нового не говорит».

В мае 1908 года в разговоре о «Кренкебиле» А. Франса Толстой сказал: «Вот кого из литераторов я хотел бы видеть: Франса» (дневник Н.Н. Гусева).

В июле Толстой читает роман А. Франса «Иокаста». Отзыв: «Написано с обычным мастерством, но в общем плохо».

В сентябре – запись в дневнике Д.П. Маковицкого слов Толстого: «У французов теперь нет больших писателей. Анатоль Франс меня пленил своим “Кренкебилем”; потом читал другие вещи – слабо».

В ноябре 1908 года Толстой читает книгу А. Франса «L’lle de Pinquins» («Остров пингвинов») – «скучно» (Д.П. Маковицкий).

Летом 1909 года читает книжку: A. France «Les sept femmes de la Barbe Bleue et autres contes merveilleux» («Семь жен Синей Бороды и другие чудесные повести»), Paris, s.d. Calnann – Levy. Отзыв Толстого: «Сперва живо, интересно, в конце скучно».

И в то же время Толстой читает вслух некоторые понравившиеся ему места из книжки А. Франса «Les sept femmes de la Barbe Bleue»: про докторов, про женщин и их кофточки и конец сказки «Царская рубашка» – про дурачка, живущего в дупле дерева, у которого ищут рубашку для царя» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого).

Г. Ибсен

Весна 1891 года. Вечером 1 марта Толстой «читал Ибсена и Гейне» (дневник).

Осенью того же года в письме Г.П. Ганзену в ответ на его вопрос о норвежских писателях Толстой называет «очень хорошей и интересной вещью» роман Бьёрнстерне Бьёрнсона «Новые веяния» и «хорош» его роман «In God’s Way» («На Божьем пути»), драмы же Ибсена, по мнению Толстого, «все выдуманы, фальшивы и даже очень дурно написаны в том смысле, что все характеры неверны и не выдержаны. Репутация его в Европе доказывает только страшную бедность творческой силы в Европе. То ли дело Киркегор и Бьёрнсон, хотя и различные по роду писаний, но оба имеют еще главное качество писателя – искренность, горячность, серьезность. Серьезно думают и говорят то, что думают».

Весна 1894 года. Толстой с удовольствием остается ночевать у Г.А. Русанова и беседует с ним о литературе и искусстве. Упоминаются: Писемский, Гончаров, Достоевский, Белинский, Писарев, Диккенс и Гюго, Гёте, Ибсен («не нравится»)…

Февраль 1897 года – посещение Толстого на квартире А.В. Олсуфьева А.С. Сувориным. В разговоре о литературе Толстой высказал свое мнение о «Чайке» Чехова, что «это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен

Репозиторий БГУ

пишет. Нагорожено чего-то, а для чего оно, неизвестно». Лучшее в «Чайке» – монолог писателя, «это автобиографические черты»; «но в драме он неуместен»…

Январь 1900 года. В № 8574 «Нового времени» в отделе «Среди газет и журналов» напечатан из «Русского листка» разговор корреспондента этой газеты Орлицкого с Толстым. Относительно пьесы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Толстой сказал: «Да это Бог знает что! Какой-то бред!». Толстой высказал свое сочувствие бурам, борющимся с англичанами, и сказал: «Я доходил вот до чего. Утром, взяв в руки газеты, я страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англичан… Теперь этого нет, я превозмог себя».

В октябре 1900 года Толстого посещает Вл.И. Немирович-Данченко. До этого посещения он виделся с Толстым трижды. Впервые он пришел к Толстому через несколько дней, занеся ему книжку Ибсена «Доктор Штокман» («Враг народа»). Затем Толстой посетил Немировича-Данченко на его квартире в «переулке на Мясницкой», возвратив ему полученную книжку, о которой отозвался: «Нехорошо. Очень уж он, этот доктор Штокман, чванный».

С Вл.И. Немировичем-Данченко Толстой беседует о Г. Ибсене. «Опять он (Толстой) его бранил, говорил, что эту пьесу “Когда мы, мертвые, пробуждаемся” прочитал, и опять она ему не понравилась».

Посещение Толстого Л.А. Сулержицким и В.Э. Мейерхольдом. Разговор о театре и о пьесах. Слова Толстого: «Средние драмы Потехина лучше Чехова, Горького и других… Метерлинк, Ибсен, даже Бьёрнсон – одна неясность, путаница, бесцельная игра на чувствах…».

Г. Гауптман

В зиму 1895/96 года Толстой побывал в народном театре на фабрике Прохорова в Москве… На вопрос фабриканта, какие пьесы ставить для рабочих, Толстой советовал поставить «Ткачей» Гауптмана, «но их, конечно, не разрешат»…

Январь 1895 года. Встреча Толстого с В.Д. Бонч-Бруевичем в редакции «Посредника». Толстой расспрашивает его о партийной подпольной работе. Бонч-Бруевич передает Толстому экземпляр русского перевода «Ткачей» Гауптмана, в то время распространявшийся в гектографированном виде.

В феврале 1900 года О.Л. Книппер пишет А.П. Чехову: «Был у нас Толстой на “Одиноких” (Г. Гауптмана; спектакль состоялся 16 февраля) – страшно остался доволен, сказал, что дамы у нас лучше мужчин».

Софья Андреевна Толстая пишет сыну Льву Львовичу Толстому: «Были в театре, смотрели пьесу Гауптмана “Одинокие”. Сначала пьеса Льву Николаевичу понравилась, но потом он остался недоволен, и ему самому захотелось написать пьесу».

В апреле того же года у Н.И. Стороженко Толстой слушает чтение пьесы Октава Мирбо «Дружные пастыри». Он находит, что «жидковато по сравнению с “Ткачами” (Гауптмана)».

Осенью 1905 года во время посещения Толстого Л.А. Сулержицким и В.Э. Мейерхольдом произошел разговор о театре и о пьесах. В частности, о Гауптмане Толстой сказал: «В “Ткачах” Гауптмана есть что-то… другие его пьесы – путаница, плохие…».

И как оптимистический аккорд звучат слова телеграммы Г. Гауптмана Толстому к его 80-летию: «Dem qrossen Mann in tiefster Bewunder – und den

Репозиторий ВГУ

Ausdruck wärmster Wunsche» («Великому человеку в глубочайшем изумлении – выражение самых теплых пожеланий»).

Э. Золя

В декабре 1882 года Толстой получает от М.Е. Салтыкова-Щедрина ответ на его письмо с предложением напечатать в «Отечественных записках» сделанный кем-то из знакомых Толстого перевод романа Э. Золя. Салтыков пишет, что романов Золя он в «Отечественных записках» печатать не будет… [103].

Лето 1885 года. Отзыв Толстого о романе Э. Золя «Жерминаль»: «Такая богатая тема – и обработана так плохо. Пропасть ненужного, ложного» (дневник И.М. Ивакина).

В ноябре того же года в письме к В.Г. Черткову дает отзыв о переделке М.К. Цебриковой эпизода из романа Э. Золя «L'assommoir», озаглавленной «Жервеза, рассказ из жизни рабочего люда»: «очень хорошо».

А вот отклик Э. Золя на драматургию Толстого. Февраль 1888 года. Первая постановка на сцене драмы Л.Н. Толстого «Власть тьмы». Переводчик И. Павловский писал про ее постановку: «Метенье (другой переводчик) прочитал пьесу актерам "Свободного театра". На этом чтении присутствовало довольно много друзей этого театра и, между прочим, Эмиль Золя. В нем мы встретили самого горячего энтузиаста "Власти тьмы"; он защищал ее и подготовлял ее успех, как будто бы это было его собственное произведение. "Главное, – повторял Золя, – не выбрасывайте ни одной сцены, ни одного слова и не бойтесь за успех". Играть в этой пьесе хотя бы самую ничтожную роль все считали за великую честь».

В феврале 1888 года – беседы с Г.А. Русановым о литературе. В частности, упоминается роман Э. Золя «La terre» («есть недостатки, но в этом романе в первый раз мы видим настоящего реального французского крестьянина», «большой талант»).

Май 1893 года. Чтение в «Русских ведомостях» речи Э. Золя к студентам, которым он рекомендовал труд и занятия наукой [104].

В июле 1893 года Толстой пишет жене: «Утром пишу, поправляю по-русски и французски статью о Золя и Дюма ("Неделание"), а вечером езжу».

А осенью того же года Толстой пишет Н.С. Лескову: «Вся наша беллетристика всех этих Потапенок положительно вредна. Как они напишут что-нибудь не безнравственное, то это нечаянно… Я давно уж подумал, что вся эта беллетристика со включением, и очень, всех Золя, Бурже и т.п. есть бесполезная пакость, а теперь это стало для меня полной несомненностью».

Летом 1894 года разговоры с Н.Н. Страховым и В.Ф. Лазурским. В частности, об иностранных писателях: «Паскаля» Золя – «так и не одолел, хотя перечитал почти все его романы».

Осенью 1902 года с П.А. Сергеенко заговорили о смерти Золя. Лев Николаевич говорил о нем с добрым чувством, но сказал, что у Золя было много дидактики. «Из-за этого я не любил его».

Зимой 1905 года – разговор с Вогюэ-сыном о литературе и живописи. Упоминаются из писателей: Золя (Толстой «читал его только "Germinal" и "La terre"), А. Франс, Диккенс и Гюго… Пушкин, Лермонтов, Тютчев и др.

Репозиторий ВГУ

В мае 1907 года в разговоре с Д.П. Маковицким о Золя Толстой сказал, что первое, что он читал из его сочинений, было «La conquête de Plassans» («Завоевание Плассана»): «Читал, читал, скука такая, бросил».

Ничего не поделаешь: это Лев Толстой!..

П. Верлен

Из песни слова не выкинешь.

В феврале 1896 года с Б.Н. Чичериным состоялся у Толстого разговор о декадентах. «О поэте Верлене – Толстой не понимает, почему о нем пишут. Он читал его. По поводу декадентов сказал об интеллигентном обществе: «Это поразительная вошь на народном теле, а ее еще утешают литературой».

В октябре 1897 года Толстой просит жену С.А. Толстую достать в Москве у Н.И. Стороженко стихотворения Бодлера и Верлена (для статьи «Что такое искусство?») [105].

М. Метерлинк

Июнь 1894 года. В.Ф. Лазурский записывает в дневнике: «Лев Николаевич знаком с ними (декадентами), читал Бодлера, Метерлинка; говорит, что некоторые вещи у них не лишены интереса и своеобразной красоты; но вообще называет это движение болезненным и радуется, что оно у нас не прививается».

В январе 1897 года Толстой читает вслух отдельные места из новой драмы Метерлинка «Аглавена и Селизета», к которым относится резко отрицательно (А.Б. Гольденвейзер).

Интересное сопоставление. Осенью 1905 года Толстой на вопрос М.С. Сухотина, какого он мнения о сборнике стихов Александра Добролюбова «Из книги невидимой», ответил: «Глупости, актер, принадлежит к тем, которые хотят удивлять. Швыряет словами, как попало, чего в художественном произведении нельзя так же, как в религии, философии. Он – как Метерлинк; но у него намерения хорошие… У него прекрасное лицо, он здесь был».

В это же время Толстого посещают Л.А. Сулержицкий и В.Э. Мейерхольд. Говорят о театре, о пьесах. Слова Толстого: «Средние драмы Потехина лучше Чехова, Горького и других… Метерлинк, Ибсен, даже Бьёрнсон – одна неясность, путаница, бесцельная игра на чувствах…».

А вот – неожиданный пассаж и для Толстого, и для нас. В январе 1907 года Толстой «огорчился», прочитав в № 18 «Русских ведомостей» за 24 января заметку «Шекспир, Толстой и Метерлинк» (записная книжка) [106].

Спустя полгода, в июне 1907 года – запись в дневнике Д.П. Маковицкого: «На чьи-то расхваливания Метерлинка Л.Н. сказал: “Ваш Метерлинк искусственен”».

В августе 1908 года Толстой читает «Исповедь» Горького. Отзыв Толстого: «Это что-то невообразимое! Это набор слов вроде Метерлинка, Бальмонта. Все лица одинаковые, одинаково говорят, выдуманные положения» [107].

Репозиторий ВГУ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Как не трудно видеть, в поле зрения и внимания Толстого была почти вся русская литература XIX и начала следующего столетия, во всяком случае, наиболее значительные ее факты. Многочисленность и многообразие его высказываний по литературным поводам свидетельствуют о том, какое большое место художественная литература занимала в его сознании и в духовном обиходе. Не только в пору юности, но и глубоким старцем он внимательно, часто с карандашом в руках, читает и перечитывает новинки текущей беллетристики и отзывается о них иногда с похвалой, иногда с порицанием, но почти всегда возбужденно, порой страстно, обнаруживая живую заинтересованность в судьбах художественного слова. Относясь, в силу всего своего духовного склада, большей частью равнодушно или даже отрицательно к стихотворной поэзии, Толстой высказывался о ней реже и пристрастнее в сторону ее отрицания, чем о прозе. Многое ценное и яркое в области русского стихотворства прошло мимо внимания Толстого или осуждалось им огульно. Причина этого в том, что содержательная сторона художественного произведения у Толстого играла существенную роль. А большинство русских поэтов, особенно начиная с эпохи символизма, как раз этой стороной своего творчества были Толстому глубоко чужды. Тем не менее могла привлечь Толстого изысканная стихотворная техника, раз она его, воспитанного на старых образцах поэзии, вообще занимала лишь в редких случаях. Но нельзя забывать хотя бы того, что редкий из писателей-беллетристов поры Толстого так глубоко воспринял и оценил поэзию Тютчева, Пушкина и Фета, как это сделал Толстой. Что же касается беллетристики, то тут все наиболее ценное и неоспоримое, за немногими исключениями, было Толстым продумано и взвешено. И многие, если не большинство суждений Толстого о русских писателях-прозаиках отличаются и силой убедительности, и зоркостью взгляда. Нравственная сила художественного создания была тем исходным пунктом, который определял собой отношение Толстого к прозе еще в большей мере, чем к стиху. Но не одной лишь моральной меркой мерил Толстой значение художественного произведения. Он требовал, чтобы все три элемента, которые он находил в подлинном создании искусства – содержание, форма и авторская искренность, – были взаимно уравновешены. Мало того: несмотря на всю категоричность сугубо нравственных и религиозных требований от искусства, заявленных в трактате «Что такое искусство?», Толстой до последних дней своей жизни высоко ценил и хвалил и такие произведения наших прозаиков, в которых он и не находил глубины и серьезности содержания, но живо чувствовал чисто эстетические достоинства и большие поэтические достижения. Так было в отношение Чехова, Куприна.

Однажды – в 1902 году – Толстой сказал: «Я много за последнее время думал об этом: *искусство существует двух родов, и оба одинаково нужны – одно просто дает радость, отраду людям, а другое поучает их».* Это при-

Репозиторий ВГУ

знание Толстого всегда нужно иметь в виду при суждении об его эстетических взглядах: оно вносит значительную поправку в прямолинейно-принципиальные положения, выраженные в трактате об искусстве. Присущая Толстому, как и всякому большому художнику, способность непосредственно отзываться на все подлинно ценное в сфере художественной культуры, независимо от моральных и религиозных мерок, неизбежно нарушала те односторонне-умозрительные схемы, которые так часто клались им в основу его суждений о роли и значении литературы и искусства.

* * *

Тесно связанный со всей историей русской художественной мысли, Толстой стал прямым учителем литературного мастерства, и популярность и влияние его на русскую и зарубежную (западную и восточную) литературу возрастали, особенно начиная с 1880-х годов, со стремительной силой.

Влияние Толстого проявляется в своеобразных формах и сказывается на отдельных художниках в полном соответствии с их индивидуальными чертами.

Писатели по-разному воспринимали литературные и философские стороны творчества Толстого: о д н и х вдохновлял его пафос реалистического изображения жизни (Чехов, Куприн, Бунин, молодой Андреев, А.Н. Толстой, Сергеев-Ценский и др.; в советскую эпоху – Фадеев, Шолохов, Якуб Колас, Горецкий, Кузьма Чорный, Ауэзов и др.; за рубежом – Мопассан, Золя, Роллан, Т. Гарди, Голсуорси, Шоу, Т. Манн, Г. Манн, Фейхтвангер, Драйзер, Прус, Ирасек, Пуйманова, Вазов и др.); для других были существенны пассивистские черты его мировоззрения (Лесков, Эртель, поздний Андреев и др.; за рубежом – Роллан как автор драм веры и таких романов, как «Клерамбо», Прем Чанд и др.).

Не следует забывать, что и творчество Л.Н. Толстого, в свою очередь, испытало на себе влияние некоторых идей и художественных приемов предшествующей русской и зарубежной литературы.

В научно-исследовательской литературе довольно широко освещен вопрос о влиянии на Толстого великих русских писателей первой четверти XIX века, о его творческих взаимоотношениях с наиболее выдающимися современниками, о той роли, которую он сыграл в литературной деятельности писателей более поздних поколений (рубеж XIX–XX веков, XX и XXI веков).

Проблема «Лев Толстой в контексте русской и мировой литературы» сохраняет всю силу актуальности и поныне. Толстой шире и глубже, чем кто бы то ни был, раскрыл основной конфликт эпохи XIX века в России – социальное противоречие между помещиками и крестьянами, – в конце концов став на сторону крестьян, «зеркально» отразив это противостояние многих веков. Трагическое в творчестве и личной биографии Толстого – это погруже-

Репозиторий ВГУ

ние его и его героев именно в этот эпохальный конфликт, э п и ч е с к о е же коренится в поисках пути преодоления конфликта. Конечно, то и другое содержится в творчестве каждого крупного русского писателя XIX столетия. Но Толстой психологически был ближе каждого из них одновременно и к помещику, и к крестьянину, он хотел добиться сближения их к а к л ю д е й, считая, однако, что правильно судить об этом может лишь крестьянин. Вот где источник той «чистоты нравственного чувства», о которой писал Н.Г. Чернышевский в рецензии-статье по поводу первых произведений Л.Н. Толстого. Нельзя сказать, чтоб этого совершенно не было в русской литературе до Толстого, – однако никто из его предшественников не подходил к этому вопросу так, как подошел к нему Толстой. Отсюда – и ни с чем не сравнимая сила проникновения его в душу человека, умение изобразить самый процесс душевной и духовной жизни, – то, что Чернышевский назвал «диалектикой души».

Всеобъемлющий гений Толстого так или иначе вобрал в себя все достижения человеческой культуры. Всю свою долгую жизнь Толстой, владея многими языками (в том числе, например, древнегреческим), читал и перечитывал не только произведения художественной литературы разных времен и народов, но также и сочинения выдающихся мыслителей во многих областях знаний. Он хотел служить человечеству, служа в первую очередь своему народу, а считал необходимым постигнуть все, до чего дошел человеческий дух.

Толстой поэтому глубоко связан со всей предшествующей и современной ему мировой литературой, он чрезвычайно многим обязан ей. С другой стороны, вся мировая литература, начиная приблизительно с 70-х годов XIX столетия и вплоть до наших дней, испытывает все нарастающее влияние со стороны Толстого. Эти его связи с мировой литературой давно уже привлекали внимание исследователей и самих писателей, но пока что недостаточно широко изучены. Больше всего сделано в отношении связей Толстого с западноевропейской литературой. Имеются некоторые достижения и по теме «Толстой и славянские литературы». Слабее всего разработана тема «Толстой и литературы народов Востока».

Толстой с детства стал знакомиться с произведениями западноевропейских писателей, а потом, на протяжении всей своей жизни, читал и перечитывал старых мастеров, внимательно следил за новинками. В его дневниках, записных книжках и письмах сотни метких и глубоких характеристик, вызванных этим чтением. Кроме того, им написан ряд работ о западноевропейской литературе. Без преувеличения можно сказать, что это могло бы послужить темой для большого исследования. В суждениях Толстого о западноевропейских писателях сказывались его вкусы, литературно-эстетическая позиция, творческие устремления. К западноевропейской литературе интерес в России был очень велик. Со времен эпохи Петра I русский исторический процесс, не теряя своей национальной сущности, все более сближался с общеевропейским. Отсюда и стремление русской культуры сблизиться с культурой европейской. Ведущие страны Западной Европы были немного впереди России в смысле своего экономического и общественного развития. Поэтому русские

Репозиторий ВГУ

писатели видели в литературах Западной Европы образец для себя, хотя и делали критические замечания в их адрес. Пушкин первым из русских писателей встал вровень с величайшими художниками мира. В эпоху, когда начинал свою деятельность Толстой, самобытность русской литературы была вне всякого сомнения. И, однако, даже Тургенев часто смотрел на русских писателей как на учеников по отношению к западноевропейским, подчеркивая, правда, что некоторые ученики не уступают своим учителям, а, может быть, и превосходят их. Для Толстого была исключена такая постановка вопроса. Он видит в литературе, – как в русской, так равно и в западноевропейской, – средство, при помощи которого могут быть найдены пути сближения людей. Поэтому мы и не встретимся у него даже с подобием мысли о том, что русской литературе надо идти по следу западноевропейской или что, например, Пушкину, в силу отсталости русской жизни, которую он изображал, не хватает всечеловеческого содержания. Для него каждая национальная литература, решая национальные проблемы, тем самым решает и общечеловеческие проблемы. Его высказывания о западноевропейских писателях – Шекспире, Руссо, Гёте, Стендале, Бальзаке, Диккенсе, Гюго, Мопассане, Золя и др. – характерны тем, что он стремится установить общечеловеческое содержание в их произведениях, определить особенности мастерства каждого из них. При этом основным критерием для него является, насколько тот или иной писатель реально содействует единению всех людей, отмечая все то, что препятствует этому!

Вопрос о влиянии Толстого на западноевропейскую литературу более позднего времени для специалистов по Толстому интересен тем, в каком направлении осмысляется и преломляется наследие Толстого виднейшими западноевропейскими писателями.

Репозиторий ВГУ

П Р И М Е Ч А Н И Я

К Главе I

1. Объяснение синхронности этих двух разножанровых и разностилевых замыслов Толстого мы находим в кн.: *Борис Эйхенбаум.* Лев Толстой. Семидесятые годы. – Л., 1974.
2. Если в ранний период творчества Толстого (до «Войны и мира») сатира мало увлекала писателя, то в последующие два периода (особенно в третий – с конца 1870-х – начала 1880-х годов) сатира как пафос художественного творчества и средство выражения авторской позиции использовалась писателем в достаточно сильной мере. (См. по этому вопросу кн.: *Марк Щеглов.* Сатира Льва Толстого. – М., 1953).

К Главе II

3. Анализ пересказов басен И.А. Крылова маленьким Толстым заимствован здесь из кн.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. Изд-во Академии наук СССР. – М., 1954. – С. 138–140.
4. О неоднозначном отношении Толстого к своему первому редактору как к поэту посвящен раздел главы III-й данной книги.
5. Эта мысль Толстого явно перекликается с самооценкой Ф.М. Достоевского, когда он рассуждает о «реализме в высшем смысле».
6. В октябре 1857 года, уже написав три варианта «Поврежденного», Толстой все еще отделывает повесть. Отличие третьей редакции от предыдущих прежде всего в том, что эпиграф из Пушкина вычеркивается (поэтические строки слишком прямолинейно формулировали бы психологически сложную коллизию повести); исключается картина петербургской зимней ночи (ненужная красивость), и действие начинается прямо с появления музыканта у Анны Ивановны; музыкант уже не Вольфганг, а Альберт (не нужна параллель с Моцартом); покровитель Альберта – Делесов.
7. Эти наблюдения приводятся в кн.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. Изд-во Академии наук СССР. – М., 1957. – С. 742.
8. Впоследствии, однако, М.П. Погодин высказал критическое замечание в адрес автора «Войны и мира» (в своей газетке «Русский»), связанное с неточной, по его мнению, подачей Толстым в романе образов Багратиона, Сперанского, Растопчина, Ермолова.
9. *Б.Эйхенбаум.* Лев Толстой. Семидесятые годы. – Л., 1960. – С. 83–85.
10. Сравнение приведено *Н.Н. Гусевым* в кн.: Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. – М., 1954. – С. 348.
11. Сравнение использовано из кн.: *Н.Н. Гусев.* «Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. – М., 1970. – С. 405.

Репозиторий ВГУ

12. См. об этом: *Л.Д. Опульская.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. – М., 1979. – С. 63, 70.
13. На самом деле в то время Толстому было девятнадцать лет.

К Главе III

14. *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – М., 1957. – С. 622.
15. *А.А. Нестеренко.* См. разделы данной главы, посвященные Н.А. Некрасову и Н.Г. Чернышевскому.
16. Здесь А.В. Дружинин имеет в виду то, что Некрасов и Чернышевский как продолжатели дела Белинского последовательно отстаивали революционно-демократические идеи русской литературы конца 50-х–60-х годов. Дружинин же, критик «эстетического» направления, тоже вроде бы поклоняясь демократу Белинскому (велик авторитет «неистового Виссариона»!) лихорадочно пытался отторгнуть Чернышевского от наследия Белинского («дети», мол, не в силах сравняться со своими «отцами»). И предчувствуя, что если Толстой возьмется за вышеозначенный «проект» Дружинина, то натолкнется в «Современнике» на стойкую защиту Чернышевского как бесспорного последователя Белинского, а потому-де, дорогой Толстой, «спешите изучить теории Белинского», чтобы во всеоружии дезавуировать авторитет Чернышевского как верного ученика и преемника Белинского. План – сродни разработке военного сражения! Но заметим при этом, что, не рассчитывая на свой невеликий авторитет, Дружинин действует при помощи недостойного средства – подталкивает к разрушению изнутри выпестованной Некрасовым и Чернышевским революционно-демократической идеи «Современника»… «руками» более авторитетного и маститого Толстого…
    Это похоже на провокацию.
17. *В. Евгеньев-Максимов.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. – Л., 1936. – С. 164.
18. Более подробно об этой странице взаимоотношений Тургенева и Толстого см.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – М., 1957. – С. 437–445.
19. Дневниковые и эпистолярные материалы, касающиеся оценок И.С. Тургеневым романа «Война и мир», а также некоторые комментарии почерпнуты из кн.: *Н.Н. Гусев*. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – М., 1957. – С. 863–876.
20. Очевидно, что это мнение Н.Н. Страхова носит субъективный характер. Сопоставление «обличительства» в произведениях Толстого, с одной стороны, и Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, с другой, некорректно, потому что законы литературы (Некрасов здесь один поэт среди трех прозаиков) и ее жанров (социально-психологический реализм Толстого, политико-лирико-психологический реализм Тургенева и остро критический реализм Салтыкова-Щедрина) требовали разных изобразительно-выразительных средств, качественно-различного идейного пафоса в каж-

Репозиторий ВГУ

дом случае, и поэтому определить степень «обличительства» с научной точки зрения в каждом из этих художественных миров можно лишь условно, приблизительно.

21. Не нравился Тургеневу из произведений Толстого только роман «Анна Каренина». Его скептические отзывы о «Войне и мире» при появлении романа сменились в 1870-е годы восторженными похвалами в письмах и в статьях, появлявшихся во французской печати.
22. Трудно сказать, каков был критерий у Толстого при определении писательского «статуса»: «литератор» – «не литератор». Смеем предположить, что в основу здесь положен принцип «литературности» слога писателей, его стилистической обработанности. С точки зрения Толстого, такая тщательная литературная обработка меньше других занимала Лермонтова (в прозе) и его самого. Но это придавало, наверное, по мнению Толстого, бóльшую степень искренности в повествовании (см. его статью «Кому у кого учиться писать – крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»).
23. «В каждом произведении словесном, – писал Толстой в этом же письме А.Н. Пыпину, – включая и художественные, есть три фактора: 1) кто и какой человек говорит? 2) как? – хорошо или дурно он говорит и 3) говорит ли он то, что думает, и совершенно то, что думает и чувствует?».
24. Толстовское понятие «заминка» (у Достоевского) означает незавершенность собственного, авторского взгляда на изображаемые события и характеры, выносимые на страницы произведений. Достоевский был для Толстого человеком ищущим, мятущимся, находившимся в процессе внутренней борьбы, напряженно работавшим над выяснением для самого себя основных вопросов нравственности. Это хорошо, но только для человека обыкновенного – честного, порядочного, гражданина. Для писателя же это плохо, ибо процесс внутренних борений не должен фиксироваться в художественном творчестве («заминка»), авторская позиция должна быть ясной и убедительной, без «заминок».
25. «Угадать» литературные примеры на каждый тип толстовской характерологии оказалось совсем не трудно, что свидетельствует прежде всего о прекрасной литературной осведомленности Толстого. Примеры в скобках к данной цитате Толстого – наши.
26. В конце 1880-х годов Толстой, перечитывая стихотворения Тютчева, пометил это стихотворение буквами: «Т.» (это означало, что только Тютчев мог написать такое стихотворение) и «Г.» (глубина). – См.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – Изд-во АН СССР. – М., 1957. – С. 272.
27. Таким образом, обращение Толстого к стихотворению Тютчева «Silentium» зафиксировано дважды: в 1886 году, во время беседы с четой Чертковых, и в 1910 году, на закате жизни.
28. «Дворниками» в эпоху крепостного права назывались вольноотпущенные крестьяне, не состоявшие в крестьянской общине.
29. Такое убедительное, на наш взгляд, объяснение этого противоречия Толстого между его сокровенным отношением к художественному творчеству и высказываниями по данному поводу в общении с современниками

Репозиторий ВГУ

дает *Н.Н. Гусев* в кн.: Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – Изд-во АН СССР. – М., 1957. – С. 387–388.

30. Свое сочувствие типу Левина Фет в письме к Толстому от 3 мая 1876 года выразил в следующих словах: «Для меня главный смысл в “Карениной” – нравственно свободная высота Левина».
31. Данный комментарий письменной «беседы» Толстого и Фета по поводу происходящей в конце 70-х – начале 80-х годов «работы души» Толстого, решившего искать истину человеческого бытия с помощью своих религиозно-нравственных представлений дан *Н.Н. Гусевым* в его кн.: Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. – М.: Изд-во Академии наук СССР. – 1963. – С. 571–573.
32. См. об этом в нашей кн.: Лев Толстой и русская литература: Пособие к историко-литературному спецкурсу «Творчество Л.Н. Толстого в контексте русской и мировой литературы». – Ч. 1. – Витебск: Изд-во Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова, 2001. – С. 10–20, 64.
33. Не только Л.Н. Толстому, но многим при обращении к поэзии А.К. Толстого прежде всего бросались в глаза ее внешний блеск, эффектность и театральность. Именно об этих качествах беспощадно отозвался А.П. Чехов: «Вот, по-моему, актер! Как надел в молодости оперный костюм, так на всю жизнь и остался». Конечно, здесь угаданы наиболее слабые стороны творчества А.К. Толстого…
34. Здесь наличие столь часто встречающейся в воспоминаниях Толстого о своей прошлой жизни хронологической неточности: во время появления в печати «Антона Горемыки» ему было не 16, а уже 19 лет.
35. Анализ первой редакции романа «Декабристы» нами заимствован из кн.: См.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. – Изд-во АН СССР. – М., 1957. – С. 385–386.
36. Эта фраза о Багратионе и Кутузове, слишком напоминающая суждение Тургенева, вероятно, приписана Салтыкову по ошибке. – См. примечание № 5. – С. 860.
37. По состоянию на 1970 год (см.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. – Изд-во АН СССР. – М., 1970. – С. 66).
38. Лесков разумел, вероятно, вышедшую в 1869 году третью часть книги Н. Соловьева «Искусство и жизнь», где в числе недостатков «Войны и мира» указано «устранение народа из общего плана картины».
39. По поводу статьи Михайловского Лесков напечатал 20 января 1892 года заметку в «С.-Петербургской газете», где объяснял обстоятельства появления письма Толстого и указывал, что оно напечатано «не в целом виде, а с очень значительными и весьма существенными исключениями важных мест и мыслей», которые сделаны «произвольно и бесправно или редактором “Новостей”, или тем лицом, которое сочло себя вправе доставить список с письма в “Новости”».
40. Рассказ «Кто прав?». Вероятно, в связи с этим рассказом находится прекрасная художественная зарисовка, внесенная 11 августа 1893 года в записную книжку и 16 августа в дневник: «Утро. Голубая дымка, роса как пришита на траве…».
41. Тогда это была устойчивая мысль. В дневнике 18 июля записано: «Форма

Репозиторий ВГУ

романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо».

42. Данный анализ дается в кн.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. – Изд-во АН СССР. – М., 1963. – С. 89.
43. *Л.Н. Толстой*. Полн. собр. соч.: В 90 т. – М., 1928–1958. – Т. 85. – С. 241–242.
44. Как это любил и умел делать писатель, философ и проповедник Л.Н. Толстой.
45. «Вогулы» – название народности «манси».
46. См.: *А.С. Мелкова* «Тип старика, который у меня предвосхитил Чехов» // Чехов и Лев Толстой. – М., 1980.
47. Наша точка зрения по данной проблеме изложена в статье: *А.А. Нестеренко*. Об авторской позиции в финалах романов «Анна Каренина» и «Воскресение» // Филологический сб.: Вып. VIII–IX. – Алма-Ата: Казахский госуниверситет им. С.М. Кирова, 1970. – С. 28–57.
48. См. об этом: *А.С. Мелкова*. Литературная полемика середины 1880-х годов и «толстовские» рассказы Чехова // Чехов и его время. – М., 1977.
49. Надо думать, что упоминание В.Г. Короленко об «анафеме, звучащей… и т.д.» – не более чем поэтическая фигура, потому что определением Синода Толстой не предавался анафеме, а лишь был отлучен от церкви (менее тяжкое наказание за еретичество).

К Главе IV

50. См.: *Н.Н. Гусев.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. – Изд-во АН СССР. – М., 1963. – С. 582.
51. Принц П.А. Ольденбургский в письме Л.Н. Толстому от 26 мая 1901 г. уведомил его о том, что Горький переведен из тюрьмы под домашний арест.
52. Напомним, что в этих отзывах повесть «Фома Гордеев» оценена Толстым отрицательно, а рассказ «Ярмарка в Голтве» удостоился похвалы.
53. Воспоминания Вересаева о его посещении Толстого составляют главу «Лев Толстой» в его «Воспоминаниях» (Гослитиздат, 1946).
54. Возможно, что Толстой в этом случае читал «Записки врача» Вересаева, рекомендованные ему дочерью Т.Л. Сухотиной.
55. В эпистолярном наследии Толстого писем к Бунину всего два. Второе – 1894 года, после личного знакомства в московском доме. Встреч было немногим больше.
56. 12 марта 1895 года в дневнике Толстого запись: «За это время вышел “Хозяин и работник”, и слышу со всех сторон похвалы, а мне не нравится. И несмотря на то, чувство мелкого тщеславного удовлетворения». Потом 27 марта: «Рассказ плохой. И мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг и это не было бы заботой о том, что не стоит того». Видимо, требования к художественному творчеству все повышались – к собственному прежде всего; поиски новых путей искусства занимали все больше – и в мыслях, и в делах.
57. См. воспоминания А.И. Куприна «О том, как я видел Толстого на парохо-

Репозиторий ВГУ

де “Св. Николай”».

58. Речь шла о т. I Сочинений А.И. Куприна, СПб., 1903.
59. Сведения взяты из «Ежегодника» С.А. Толстой, которая не указала название купринского рассказа.
60. «Правдивость» и «простоту» содержания произведений самого Л.Н. Толстого еще в начале его творческого пути отметили Н.А. Некрасов и Н.Г. Чернышевский.
61. Пометы Толстого на книгах Л. Андреева опубликованы в кн. «Библиотека Л.Н. Толстого в Ясной Поляне» – I, ч. 1 – М., 1958. – С. 17–23.
62. О посещении Ясной Поляны Л. Андреев написал воспоминания: «За полгода до смерти» («Солнце России», 1911, ноябрь, № 53(93). – С. 2–3).

К Главе V

63. Глагол прошедшего времени «любил» следует понимать, учитывая преклонный возраст Льва Толстого в это время (1905 год), то есть он не меняет своей позиции по отношению к Гомеру, а как бы подводит итог целой жизни, в которой Гомер занимал значительное место.
64. См.: *Н.Н. Гусев*. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 225–226.
65. Очевидно, речь идет о знаменитой «Поэтике» Аристотеля.
66. Французская писательница Генриетта Гизо-Витт, автор нескольких сочинений по религиозным вопросам.
67. См.: *Л.Д. Опульская.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. – М., 1998. – С. 352.
68. Это предисловие разрастается в большую статью-книгу «О Шекспире и о драме» (1903–1904).
69. Имеется в виду максима Н. Буало из его «Поэтического искусства»:

    «Рифма не должна
    со смыслом быть в разладе».
70. Здесь говорится о книжке А.И. Орлова «Французский ученый Влас Паскаль, его жизнь и труды». Толстому принадлежит в этой книжке выбор и расположение мыслей Паскаля.
71. Замысел остался неосуществленным.
72. См.: *Н.Н. Гусев.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1828–1890. – М.: ГИХЛ, 1958. – С. 30.
73. Вероятно, «Этюды о Ж.-Ж. Руссо» А. Алексеева. (См.: *Н.Н. Гусев.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1891–1910. – М.: ГИХЛ, 1960. – С. 92).
74. «Своя драма» – «И свет во тьме светит», начатая в 1896 году.
75. Вероятно, эти книги нужны были Толстому для его работы над статьей об искусстве.

Репозиторий ВГУ

К Главе VI

76. Оправдывалось, таким образом, предвидение Толстого, высказанное им еще в 1865 году в письме к Фету, что Тургенев поймет и по достоинству оценит его замечательное произведение – роман-эпопею «Война и мир».
77. Переделка была напечатана в 1890 году в изд. «Посредник» под названием «Гвинплен, или человек, который смеется. Повесть из средневековой жизни. Сост. Юрьева».
78. Рассказ В. Гюго «Неверующий» напечатан в т. III 2-го издания «Круга чтения» уже после смерти Л.Н. Толстого, в 1912 году.
79. Трудно определить смысл слов: «…но стихи – не могу»: то ли стихи Гюго не по душе Толстому, то ли стихотворная речь Толстому для перевода трудна.
80. Стихотворение Беранже в переводе Фета было напечатано в № 1 «Современника» за 1858 год.
81. В VI «Сборнике товарищества “Знание”» были помещены стихотворения Скитальца: «Мы плыли с тобою навстречу заре», «От вашей мерзости спасался я в пустыню», «Легенда (по Гейне)», «По Беранже».
82. Как видим, за 49 лет отношение Толстого к этому рассказу Мериме изменилось на противоположное.
83. В это время Л.Н. Толстой напряженно работал над трактатом «О жизни».
84. Очевидно, Толстой имел в виду батальные сцены в романе «Пармская обитель» и глубокий анализ внутреннего мира героев в них; вообще – художественное новаторство Стендаля в изображении войны (глава о Ватерлоо).
85. Действительно, по выходе в свет романа «Анна Каренина», все критики в один голос определили его главным произведением Л.Н. Толстого, отведя роману-эпопее «Война и мир» второе место. Сейчас, спустя почти 130 лет, историки литературы поменяли местами эти выдающиеся произведения Толстого: «Войну и мир» все называют его «главной книгой».
86. Толстой не мог читать этот роман ранее 1849–1850 годов, когда роман появился в печати. Очевидно, впервые Толстой читал «Давида Копперфильда» в 1852 году в русском переводе («Современник, 1851, №№ 1–9).
87. Из данного списка «Посредником» в дальнейшем были изданы несколько переделок романов Диккенса и Дж. Элиот, а также жизнеописание Франциска Ассизского и впоследствии Савонаролы.
88. Из перечисленных романов Диккенса в «Посреднике» позднее была напечатана лишь обработка романа «Крошка Доррит».
89. Статью о Диккенсе Толстой не написал.
90. К сожалению, никаких мотивировок этой оценки Толстой не оставил, почему и комментировать ее невозможно.
91. Вероятно, А.А. Фет имел в виду «идеальное» письмо Толстого в смысле высшей достоверности изображения жизни, а не просто реалистического ее копирования. Иначе говоря, Толстой с его «реализмом в высшем смысле» (словами Ф.М. Достоевского) возвышается над обычным реализмом в литературе – ну, скажем, в духе Бальзака.

Репозиторий ВГУ

92. Здесь чувствуется явное увлечение Толстым в этот период теорией «чистого искусства», от которой он впоследствии отошел, и очень далеко.
93. Замысел осуществления не получил.
94. Толстому были присланы книги Уолта Уитмена «Leaves of Grass» («Листья травы») и «Specimen days and Gollect».
95. По позднейшим воспоминаниям Толстого, на Мопассана ему впервые указал Тургенев в 1881 году. Передавая Толстому книжку Мопассана «Maison Tellier» («Дом Телье»), Тургенев сказал ему: «Это молодой французский писатель, посмотрите, недурно; он вас знает и очень ценит».
96. В сборнике «Цветник» рассказ Мопассана напечатан не был.
97. Рассказ был озаглавлен Толстым «У девок».
98. Переводы вошли в трактат «Царство Божие внутри вас».
99. Под заглавием «Сестры» рассказ был переиздан «Посредником» в 1905 году, под тем же заглавием был перепечатан во втором издании «Круга чтения» (1908).
100. Впоследствии рассказ французского писателя Поля Дежардена о Мопассане передавался Л.Л. Толстым очень неточно. В дневнике В.Ф. Лазурского в записи от 18 июня 1894 года читаем: «Лев Львович передавал о Мопассане слышанное во Франции от Жардена. Жарден прочел во французском переводе “Смерть Ивана Ильича” и дал прочесть Мопассану. Через некоторое время тот возвращает ему книжку и говорит: “Я вижу, что вся моя деятельность была ни к чему, что все мои десятки томов ничего не стоят”».

    Эта искаженная передача рассказа Дежардена о Мопассане перепечатывалась впоследствии в ряде статей, посвященных вопросу о мировом значении Толстого» (*Н.Н. Гусев.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1891–1910. – М.: ГИХЛ, 1960. – С. 127).
101. Рассказ не был включен Толстым в список рассказов Мопассана, намеченных к изданию в «Посреднике».
102. *А. Цингер*. Ненаписанный рассказ Толстого / Сборник Гос. Толстовского музея. – М.: Гослитиздат, 1937. – С. 143–147.
103. Причины в письме не объясняются.
104. Речь Э. Золя вызвала статью Толстого «Неделание».
105. Приведенные цитаты из Бодлера и Верлена в книге Толстого «Что такое искусство?» и их комментарии явно указывают на негативное отношение Толстого к творчеству этих поэтов-декадентов.
106. В заметке были изложены полемические суждения Метерлинка относительно последних сочинений Толстого, в том числе относительно статьи «О Шекспире и о драме».
107. Здесь опровергнуть Л.Н. Толстого трудно: за «его плечами» – «Исповедь» Руссо, «Исповедь» самого Толстого…

Репозиторий ВГУ

Л И Т Е Р А Т У Р А

ГЛАВА I. Лев Толстой и русская литература XVIII века

Маймин Е.А. Протопоп Аввакум в творчестве Л.Н. Толстого // Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русск. лит. АН СССР. – М.-Л., 1957. – Т. XIII.

Нуралов Э. Эстетика Толстого в оценке критики. – Ереван, 1979.

ГЛАВА II. Лев Толстой и русская литература XIX века (1-я половина)

ТОЛСТОЙ и ПУШКИН

Батюшков Ф. Ричардсон, Пушкин и Л. Толстой: К эволюции семейного романа… // Журнал Мин. нар. просв., 1917, № 9.

Гервольская Е.А. А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой: этико-художественная преемственность / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. – Тула, 1999.

Гусев Н.Н. Толстой о Пушкине: По неопубликованным материалам // Октябрь, 1937, № 1.

Кондратьев А.С. Проблема духовного возрождения человека в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. – Тула, 1999.

Нестеренко А.А. Пушкин и Л. Толстой: родство и разница творческих позиций // Материалы науч. конф. Чимкентского пед. ин-та (Казахстан).– Чимкент, 1972.

Николаева Е.В. Пушкин и Лев Толстой. (Размышления о характере сравнительного изучения) / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. – Тула, 1999.

Путеев А.С. Типология национального характера в прозе А.С. Пушкина и «Войне и мире» Л.Н. Толстого / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. – Тула, 1999.

Ремизов В.Б. Толстой и Пушкин о «просвещенном народе» и «чистоте нравов» // Л.Н. Толстой и А.С. Пушкин: Сопричастность идей, образов, судеб / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. – Тула, 1999.

Эйхенбаум Б.М. Пушкин и Толстой // Литературный современник, 1937, № 1.

ТОЛСТОЙ и ЛЕРМОНТОВ

Семенов Л.П. Лермонтов и Л. Толстой. – М., 1914.

ТОЛСТОЙ и ГОГОЛЬ

Успенский И.Н. Письмо Белинского к Гоголю и Л.Н. Толстой // Белинский – историк и теоретик литературы. – М.-Л., 1949.

ТОЛСТОЙ и БЕЛИНСКИЙ

Брейтбург С.М. Л.Н. Толстой: О письме Белинского к Гоголю // Литературное наследство. – Т. 57. – М., 1951.

Успенский И.Н. Письмо Белинского к Гоголю и Л.Н. Толстой // Белинский – историк и теоретик литературы. – М.-Л., 1949.

Репозиторий ВГУ

ГЛАВА III. Лев Толстой и русская литература XIX века (2-я половина)

ТОЛСТОЙ и ГЕРЦЕН

Гусев Н.Н. Герцен и Толстой // Литературное наследство. – М., 1941, № 41–42.

Мендельсон Н.М. Герцен-Прудон-Толстой // Литературное наследство. – Т. 15. – М., 1934.

ТОЛСТОЙ и ГОНЧАРОВ

Апостолов Н.Н. Толстой и Гончаров // Толстой и о Толстом: Новые материалы. – Сб. 3. – М., 1927.

Мендельсон Н.М. Герцен-Прудон-Толстой // Литературное наследство. – М., 1934. – Т. 15.

ТОЛСТОЙ и ТУРГЕНЕВ

Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев: Творческие и личные отношения. – Тула, 1982.

Неведомский М. Два начала: о Л. Толстом и Тургеневе // М. Неведомский. Зачинатели и продолжатели. – Пг., 1919.

Чуковский К. Тургенев и Л. Толстой о «Листьях травы» // У. Уитмен. Избранные стихотворения и проза. – М., 1944.

ТОЛСТОЙ и ОСТРОВСКИЙ

Апостолов Н.Н. Л. Толстой и А.Н. Островский / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 78–90.

Неизвестные письма к А.Н. Островскому: Из архива А.Н. Островского по материалам Театр. музея им. А.А. Бахрушина. – М.-Л., 1932. – 743 с.: *Л.Н. Толстого* – 3 письма: 1857–1886.

ТОЛСТОЙ и НЕКРАСОВ

Нестеренко А.А. Лев Толстой о Некрасове // Русская литература: Вып. 5 / Тематич. сб. науч. тр. вузов Мин. просв. Казахской ССР. – Алма-Ата, 1975.

Нестеренко А.А. Лев Толстой о Некрасове: опыт анализа субъективных оценок // Карабиха. – Вып. второй / Ист.-лит. сб. – Ярославль, 1993.

ТОЛСТОЙ и ТЮТЧЕВ

Апостолов Н.Н. А.А. Фет и Ф.И. Тютчев в оценке Л.Н. Толстого / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 156–170.

Благой Д.Д. Читатель Тютчева – Лев Толстой / Урания: Тютчевский альманах. – Л., 1928. – С. 269–285.

Нестеренко А.А. Л.Н. Толстой о поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. – Материалы науч. конф. Чимкентского пед. ин-та (Казахстан). – Чимкент, 1972.

Пигарёв К.В. Ф.И. Тютчев / Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. – М., 1957. – С. 3, 15, 17, 26, 31.

Толстой С.Л. Л.Н. Толстой о поэзии Ф.И. Тютчева / Толстовский ежегодник. – М., 1912. – С. 143–148.

Чулков Г. Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. – М.-Л., 1933. – С. 33, 112, 220. (Толстой о стихотворении Тютчева «Silentium». Даты встреч с Толстым).

Репозиторий ВГУ

Эйхенбаум Б.М. «Анна Каренина» / Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: Семидесятые годы. – Л., 1974.

ТОЛСТОЙ и ФЕТ

Апостолов Н.Н. А.А. Фет и Ф.И. Тютчев в оценке Л.Н. Толстого / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 162–170.

Гусев Н.Н. Неизданные письма Л.Н. Толстого к А.А. Фету // Печать и революция, 1927, № 6. – С. 53–65.

Нестеренко А.А. Л.Н. Толстой о поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. – Материалы науч. конф. Чимкентского пед. ин-та (Казахстан). – Чимкент, 1972.

Толстой С.Л. А.А. Фет (Шеншин) / Толстой С.Л. Очерки былого. – М., 1949. – С. 343–349.

ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКИЙ

Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский: Проблемы метода и мировоззрения писателей. – Тула, 1986.

Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский: В 2 т. – Пб., 1909.

Нестеренко А.А. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой как мыслители и художники // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта, 2000, № 1(15).

Потебня А. Черновые заметки о Толстом и Достоевском // Вопросы теории и психологии творчества. – Т. V, 1914.

ТОЛСТОЙ и ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Мочульский В. Н.Г. Чернышевский и Л.Н. Толстой об искусстве // Рус. Филолог., вест., 1909, № 3–4.

Николаев М.П. Л.Н. Толстой и Н.Г. Чернышевский. – Тула, 1978.

Шифман А.И. Чернышевский о Толстом // Л.Н. Толстой: Сб. статей и материалов. – М., 1951.

ТОЛСТОЙ и САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. – М., 1962. – С. 471–480. (Переписка Толстого с Салтыковым-Щедриным: 1878–1885).

Салтыков-Щедрин М.Е. Письма: 1845–1889. – Л., 1924. (О Толстом см. по указателю имен).

Андреева Е.П. Своеобразие сатиры Л. Толстого в сравнении с сатирой Салтыкова-Щедрина // Труды Воронежского ун-та, 1958. – Т. 1, вып. 2. – С. 3–32.

Апостолов Н.Н. Л. Толстой и М.Е. Щедрин / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 209–214.

Евгеньев-Максимов В. Салтыков-Щедрин и реакционная беллетристика 60-х годов // Звезда, 1929, № 11. – С. 201–203.

Жук А. Сатирический роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». – Саратов, 1958. – С. 12–15, 17, 18, 60–61, 93.

Кирпотин В. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Жизнь и творчество. – М., 1955. – С. 476–478, 505–506, 690–691.

Макашин С. Щедрин об «Исповеди» Толстого: Два неизданных письма // Огонек, 1951, № 5. – С. 23–24.

Плоткин Л.А. Заметки о русской сатире XIX века / Плоткин Л.А. Литературные очерки и статьи. – Л., 1956. – С. 251–257.

Репозиторий ВГУ

Покусаев Е.И. «Господа ташкентцы» Салтыкова-Щедрина / Труды отдела новой русской литературы Ин-та русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). – Т. 1. – М.-Л., 1957. – С. 222–223, 230, 232–234.

Трофимов И.Т. К вопросу о взаимоотношениях Л.Н. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина // Уч. зап. Моск. пед. ин-та, 1959. – Т. XCIV, вып. 8. – С. 327–358.

Трофимов И.Т. М.Е. Салтыков-Щедрин о реализме русской литературы: Пособие для учителя. – М., 1955. – С. 77–80.

Трофимов И.Т. Толстой и Салтыков-Щедрин / Яснополянский сб. Год 1960. – Тула, 1960. – С. 91–106.

Федорук Е.М. Язык двух сказок «О дураке» у Толстого и Салтыкова-Щедрина // Русский язык в школе, 1938, № 5–6. – С. 93–103.

Чистякова М. Толстой и Салтыков-Щедрин // Лит. наследство, 1934. – Т. 13–14. – С. 509–518.

ТОЛСТОЙ и ЛЕСКОВ

Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. – М., 1962. – С. 511–608. (Переписка Толстого с Н.С. Лесковым: 1887–1894).

Лесков Н.С. О юбилее Толстого // Огонек, 1956, № 9. – С. 16. (Неопубликованная статья 1895 г.).

Лесков Н.С. Собрание сочинений. – Т. 10–11. – М., 1958. – Т. 10. – С. 97–150: «Герои отечественной войны по гр. Л.Н. Толстому (“Война и мир”. Соч. гр. Л.Н. Толстого, т. 5, 1869 г.)». – Т. 11. – С. 100–103, 108–112, 132–156, 195–202, 245–246. – Откуда заимствован сюжет пьесы гр. Л.Н. Толстого «Первый винокур». – О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о гр. Л. Толстом. – Лучший богомолец (краткая повесть по Прокопу с предисловием и послесловием о тенденциях гр. Л. Толстого). – О хождении читателя по Ясной Поляне. – «Девочка или мальчик?» (Десятый грех недостоверного читателя). – Курская трель о Толстом (письмо в редакцию). Письма к Толстому и о Толстом – см. именной указатель.

Толстовские материалы из архива Н.С. Лескова / Л.Н. Толстой: Юбилейный сб. – М.-Л., 1928. – С. 321–331.

Апостолов Н.Н. Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 218–225.

Афонин Л. Лесков – читатель Л. Толстого // Подъем, 1960, № 6. – С. 124–127.

Гебель В. Н.С. Лесков: В творческой лаборатории. – М., 1945. – С. 19–20, 47–48, 58–59, 62, 87–88, 90, 92–93, 111, 169, 194, 195.

Гроссман Л.П. Лесков: Жизнь. – Творчество. – Поэтика. – М., 1945.– С. 111–114, 172, 203, 225, 256, 288.

Гудзий Н. Толстой и Лесков // Искусство, 1928. – Т. 4, кн. 1–2. – С. 95–128.

Другов Б.М. Н.С. Лесков: Очерк творчества. – М., 1961. – С. 108–137.

Куприяновский П.В. Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков в журнале «Северный вестник» // Уч. зап. Ивановского пед. ин-та, 1962. – Т. 29. – С. 101–150.

Репозиторий ВГУ

Лесков А. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памяти. – М., 1954. – С. 286–287, 541, 594–613, 615, 616, 649, 657–658, 678.

Сергеенко П.А. Толстой и Н. Лесков / Сергеенко П.А. Толстой и его современники: Очерки. – М., 1911. – С. 215–222.

ТОЛСТОЙ и Глеб УСПЕНСКИЙ

Успенский Г.И. Полн. собр. соч. – Т. 9, 13. – М., 1949–1951. – Т. 9. – С. 95–97, 624–627. – Т. 13. – С. 200–203.

Бялый Г.А. О некоторых особенностях реализма Глеба Успенского // Уч. зап. Ленинградского ун-та, 1957, № 229, вып. 30. – С. 180–182, 185, 187, 188, 201.

Успенский Глеб. Материалы и исследования. – Т. 1. – М.-Л., 1938. – С. 183, 184, 211–215, 241–242, 322–325, 339–340.

Пруцков Н.И. Глеб Успенский семидесятых – начала восьмидесятых годов. – Харьков, 1955. – С. 7, 154, 155, 157–160, 162, 163, 167–170, 179–180.

Соколов Н. Мастерство Г.И. Успенского. – Л., 1958. – С. 9, 23, 35, 37, 39, 48, 128, 129, 147, 226, 236, 244.

Чешихин-Ветринский Е.Г. Г.И. Успенский: Биографический очерк. – М., 1929. – С. 5–9, 12, 26, 89, 312–324.

ТОЛСТОЙ и ГАРШИН

Гаршин В.М. Полн. собр. соч. – Т. 3: Письма. – М.-Л., 1934. – С. 38, 212, 228, 237, 243, 310, 353, 378, 391, 397–398, 403.

Антимирова В.М. Русский солдат и война в произведениях В. Гаршина // Уч. зап. Грозненского пед. ин-та, 1945. – Вып. 1. – С. 115, 118, 119, 126–128, 133, 135.

Беляев Н. Гаршин. – М., 1938. – С. 97–101, 140–150.

Бялый Г.А. В.М. Гаршин: Критико-биографический очерк. – М., 1955. – С. 43, 44, 69–72, 78–81, 83–89.

Дурылин С. Вс.М. Гаршин: Из записок биографа // Звенья. – Т. V. – М.-Л., 1935. – С. 571–576, 583, 596, 600, 604, 610–646.

Миртов О. Война в произведениях Толстого, Гаршина и Андреева // Образование, 1905, № 10. – С. 16–32.

Толстой И.Л. Гаршин / Толстой И.Л. Мои воспоминания. – М., 1923. – С. 134–138; также в кн.: Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – Т. 1. – М., 1955.

ТОЛСТОЙ и ЧЕХОВ

Апостолов Н.Н. Толстой и А.П. Чехов / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 171–183.

Белкин А.А. Чехов и идейная борьба 80–90-х годов // Научные труды Моск. заоч. полиграф. ин-та, 1955. – Вып. 3. – С. 51–58.

Бердников Г.П. А.П. Чехов: Идейные и творческие искания. – М.-Л., 1961. – С. 183–227.

Гитович Н. Письма и встречи // Москва, 1960, № 12. – С. 211–213.

Гитович Н.Н. Летопись жизни и творчества А.П. Чехова. – М., 1955. – 880 с. (О Толстом см. по указателю имен).

Репозиторий ВГУ

Горнфельд А. Чеховские финалы / Красная новь, 1939, № 8–9. – С. 286–301.

Горький М. Еще раз об истории молодого человека XIX столетия / Горький М. Несобранные лит.-крит. статьи. – М., 1941. – С. 461.

Громов Л.П. Толстой и А.П. Чехов в их взаимоотношениях // Уч. зап. Ростовского-на-Дону пед. ин-та, 1955. – Вып. 1. – С. 187–209.

Евнин Ф.И. Чехов и Толстой / Творчество Л.Н. Толстого: Сб. статей. – М., 1959. – С. 388–458.

Елпатьевский С.Я. Горький, Чехов и Толстой (по личным воспоминаниям) // Красная новь, 1927, № 9. – С. 226–237.

Лакшин В. Искусство психологической драмы: «Дядя Ваня» и «Живой труп». – М., 1958. – 88 с.

Лакшин В. Чехов и Лев Толстой // Новый мир, 1960, № 1. – С. 223–245.

Мейлах Б. Два решения одной темы // Нева, 1956, № 9. – С. 184–188.

Новиков И.А. Человек и художник (о Чехове) / Новиков И.А. Писатель и его творчество. – М., 1956. – С. 420–425.

Паперный З. А.П. Чехов. Очерк творчества. – М., 1954. – С. 96–102.

Письма А.П. Чехову его брата Александра Чехова. – М., 1939. – С. 198, 252, 314, 318, 320, 402, 492, 530, 535.

Попов П.С. Особенности творчества Толстого и Чехова как великих художников слова // Науч. докл. высшей шк.: Филологические науки, 1962, № 2. – С. 96–105.

Пузин Н.П. А.П. Чехов в Ясной Поляне / Лит. Тула. – Кн. 9. – Тула, 1954. – С. 157–162.

Русанов Г.А. Письмо к А.П. Чехову. 14 февраля 1895 г. / Зап. отд. рукописей Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина, 1941. – Вып. 8. – С. 57–59.

Сергеенко П. Толстой и Чехов / Сергеенко П. Толстой и его современники: Очерки. – 1911. – С. 225–239.

Струнин Д. Выдающийся литературный тип // Русское богатство, 1890, № 4. – С. 106–125.

Толстой о Чехове. Неизвестные высказывания [по материалам третьих лиц к А.П. Чехову] / Лит. наследство, 1960. – Т. 68. – С. 871–875.

Фадеев А.А. О Чехове / Фадеев А.А. За тридцать лет: Избр. статьи, речи и письма о литературе и искусстве. – М., 1959. – С. 862–865.

Хатиашвили Л. Структура, синтаксические особенности и стилистические функции присоединительных конструкций в языке Л.Н. Толстого и А.П. Чехова // Труды Тбилисского ун-та, 1959. – Т. 83. – С. 207–217.

Чернышев В. Великие русские писатели Л.Н. Толстой и А.П. Чехов о переписи населения // Сов. Украина, 1958. – Кн. 12. – С. 177–179.

Эдельштейн Б.Я. Внутренний монолог у Л.Н. Толстого и А.П. Чехова // Труды Горийского пед. ин-та им. Н. Бараташвили, 1957. – Т. 4. – С. 355–363.

Эйхенбаум М. О Чехове // Звезда, 1944, № 5–6. – С. 75–78.

ТОЛСТОЙ и КОРОЛЕНКО

Л.Н.Толстой. Переписка с русскими писателями. – М., 1962. – С. 669–675. (Переписка Толстого с В.Г. Короленко: 1904–1910).

Репозиторий ВГУ

В.Г. Короленко. Полн. собр. соч. – Т. 24, 50. – Киев, 1927. Т. 24. – С. 233–268, 271–293, 300–314. Лев Николаевич Толстой. – Л.Н. Толстой. – Великий пилигрим (Три встречи с Л.Н. Толстым). – Разговоры с Толстым. Максимализм и государственность. – О Толстом. – К десятилетию смерти Л.Н. Толстого. – Т. 50. – С. 121–124, 201–204: Письма. 1879–1887.

Апостолов Н.Н. Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко / Апостолов Н.Н. Лев Толстой и его спутники. – М., 1928. – С. 232–242.

Бартенев В.А. Короленко о Льве Толстом // Уч. зап. Ивановского пед. ин-та, 1962. – Т. 29. – С. 151–168.

Брейтбург С.М. Толстой и Короленко // Былое, 1925, № 3. – С. 108–112.

Булгаков В.Ф. Лев Толстой в последний год его жизни. (Дневник) / Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – Т. 2. – М., 1955. – С. 304–308.

Бялый Г.А. В.Г. Короленко. – М.-Л., 1949. – С. 3, 12, 101–103, 160–161, 236, 316, 317–344, 338, 354.

Дело В.Г. Короленко. (О «Посмертных записках старца Федора Кузьмича» Л.Н. Толстого) / Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе. – М., 1937. – С. 163–165.

Евгеньев А. Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко в борьбе с голодом // Вестник литературы, 1921, № 8. – С. 6–8.

Федоров Б. Короленко и Толстой / Федоров Б. Из ранних дневников В.Г. Короленко. – М., 1925. – С. 51–61.

ГЛАВА IV. Лев Толстой и русская литература конца XIX – начала XX века

ТОЛСТОЙ и ГОРЬКИЙ

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – Т. 54, 55, 57, 58, 72. – М., 1933–1937. (О Горьком см. по указателю имён).

Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. – М., 1962. – С. 649–656. (Переписка Толстого с М. Горьким. 1889–1905).

Горький М. История русской литературы. – М., 1939. – С. 184–187, 215, 224, 277–296.

Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. – Т. 14, 15, 17, 23, 24, 26, 28–30. – М., 1951–1955 (Ин-т мировой литературы). – Т. 14: Лев Толстой. О С.А. Толстой. – Т. 15: Люди наедине сами с собою. – Т. 17: В.И. Ленин. – Т. 23: Заметки о мещанстве. – Т. 24: Разрушение личности. – Т. 26: Беседы с молодыми ударниками. – Т. 28–30: Письма к Л. Толстому и другим лицам о Толстом. См. именной указатель в т. 30.

Абкина Н.Д. Очерк А.М. Горького «Лев Толстой» // Уч. зап. Горьковского ун-та, 1956. – Вып. 29. – С. 121–131.

Барахов В.С. Очерк «Лев Толстой» / Горьковские чтения. 1953–1957. – М., 1959. – С. 170–199.

Брейтбург С. Полемика Горького с Толстым о драме // Театр, 1940, № 6. – С. 108–117.

Бурсов Б.И. Максим Горький и Лев Толстой // Звезда, 1937, № 6. – С. 171–178.

Репозиторий БГУ

Гречнев В.Я. Литературный портрет М. Горького «Лев Толстой» / Вопросы советской литературы. – Т. 7. – М.-Л., 1958. – С. 413–436. (Институт русской литературы).

Касторский С.В. Л. Толстой и М. Горький // Рус. лит-ра, 1961, № 2. – С. 108–120.

Луначарский А.В. Толстой и Горький / Л.Н. Толстой в русской критике: Сб. статей. – М., 1960. – С. 476–488.

Мышковская Л. Горький и Толстой // Лит. учеба, 1937, № 6. – С. 220–224.

Пиксанов Н.К. Горький и Толстой // Вест. Ленинградского ун-та, 1954, № 6. – С. 81–101.

Пиксанов Н.К. Толстой и Горький: Личные, идейные и творческие встречи // Уч. зап. Горьковского ун-та. 1961. – Т. LVI (Л. Толстой). – С. 5–36.

Резников Л. Горький и Толстой // Днестр: Лит.-худ. альманах. – Кишинев, 1954. – С. 175–202.

Сергеенко П.А. Записи высказываний Л.Н. Толстого о литературе и искусстве 1900–1906 гг. // Лит. наследство, 1939. – Т. 37–38. – С. 544–548, 552, 557, 561–562.

Тройнов В. Горький о Льве Толстом: Из воспоминаний современника // Лит. газета, 1937, 26 августа. – С. 4.

Успенский И.Н. Горький о Толстом / Лев Николаевич Толстой / Сб. статей и материалов. – М., 1951. – С. 98–188.

Хорош М. Толстой о Горьком // На лит. посту, 1928, № 10. – С. 26–32.

Шохор-Троцкий К.С. Л.Н. Толстой и М. Горький / М. Горький в Нижнем Новгороде. – Нижний Новгород, 1928. – С. 186–200.

ТОЛСТОЙ и ВЕРЕСАЕВ

Толстой Л.Н. Записи. 1902. («На повороте». – «Конец Андрея Ивановича») / Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – Т. 54. – М., 1935. – С. 126, 265.

Грызлова Т.К. В.В. Вересаев о Л.Н. Толстом / Лев Толстой: Материалы и публикации. – Тула, 1958. – С. 163–176.

ТОЛСТОЙ и БУНИН

Бунин И.А. Из переписки // Новый мир, 1956, № 10. – С. 197–199.

Бабореко А.К. Бунин о Толстом / Яснополянский сб. Год 1960. – Тула, 1960. – С. 129–147.

Бонами Т. Художественная проза И.А. Бунина. 1887–1904. – Владимир, 1962. – С. 16–19.

Бунин И.А. Толстой / Бунин И.А. Собр. соч. – Т. 5. – М., 1956. – С. 282–289.

Михайлов О. Бунин и Толстой // Л.Н. Толстой / Сб. статей о творчестве. – Т. II. – М., 1959. – С. 203–216.

Михайлов О. Проза Бунина // Вопросы литературы, 1957, № 5. – С. 143–147, 150–153.

Опульская Л.Д. Толстой и русские писатели конца XIX – начала XX века / Лит. наследство, 1961. – Т. 69, кн. I. – С. 118–121.

Чуковский К. Наши гости // Одесские новости, 1902, 28 дек. – С. 3. (Бунин о М. Горьком и Л. Толстом).

Репозиторий ВГУ

ТОЛСТОЙ и КУПРИН

Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. – Т. 57, 58, 74, 76. – М.-Л., 1934–1956. (Т. 57–58: Дневниковые записи 1909–1910; Т. 74, 76: Письма с отзывами о Куприне – 1903, 1905).

[*Толстой* о рассказах *Куприна* «Ночная смена» и «Allez!»] / И.Е. Репин и Л.Н. Толстой. – Т. II: Материалы. – М.-Л., 1949. – С. 81–82.

Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – Т. II. – М., 1955. (Куприн в оценке Толстого: *Булгаков В.Ф.* Лев Толстой в последний год жизни. (Дневник). – *Гусев Н.Н.* Два года с Л.Н. Толстым. (Дневник). – *Елпатьевский С.Я.* Воспоминания о Л.Н. Толстом. – *Маковицкий Д.П.* Яснополянские записки. – *Сергеенко П.А.* Записи. – *Чертков В.Г.* Записи.).

Куприн А.И. О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай» / Куприн А.И. Собр. соч. – Т. 3. – М., 1953. – С. 546–549.

Вержбицкий Н. Встречи с Куприным // Звезда, 1957, № 5. – С. 131, 133.

Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. – М., 1959. – С. 238–239, 273, 303, 306. (Куприн в оценке Толстого).

Никулин Л. Куприн и Бунин // Октябрь, 1958, № 7. – С. 208–211.

Опульская Л.Д. Толстой и русские писатели конца XIX – начала XX века / Лит. наследство, 1961. – Т. 69, кн. I. – С. 116–118.

Плоткин Л.А. А.И. Куприн / Плоткин Л.А. Литературные очерки и статьи. – Л., 1958. – С. 432–433, 436, 439.

ТОЛСТОЙ и АНДРЕЕВ

Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями. – М., 1962. – С. 663–668. (Переписка Толстого с Андреевым. 1901–1908 гг.).

Толстой Л.Н. Дневники и записные книжки / Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – Т. 57. – М., 1952. – С. 149–152. (Отзывы о творчестве Андреева).

Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. – Т. I. – М., 1955. – С. 358–359; – Т. II. – М., 1955. – С. 200, 219, 224–225, 234, 293–295. (Толстой об Андрееве: т. 1 – *Семенов С.Т.* Воспоминания о Л.Н. Толстом; т. 2 – *Нестеров М.В.* Письма о Толстом; *Гусев Н.Н.* Два года с Толстым; *Булгаков В.Ф.* Л. Толстой в последний год его жизни.).

Библиотека Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. – М., 1958. – С. 17–23. (Пометы Толстого на книгах Андреева).

Амфитеатров А. Л. Андреев – графиня Толстая / Амфитеатров А. Литературный альбом. – Пг., 1907. – С. 97–116.

Белоусов И.А. Литературная среда: Воспоминания, 1880–1928. – М., 1928. – С. 163–164.

Вартанян В. Л.Н. Толстой и Л. Андреев (как идеологи трудящихся классов). – Баку, 1909. – 34 с.

Варшавский С. Л.Н. Толстой и русско-японская война // Лит. современник, 1934, № 1. – С. 147–151; № 4. – С. 143–163; (Пацифизм Андреева и Толстого).

Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. – М., 1959. – С. 114, 349. (Толстой о творчестве Л. Андреева).

Гроссман Л. Беседы с Л. Андреевым // Россия, 1925, № 4(13). – С. 245–246.

Репозиторий ВГУ

Миртов О. [Котылёва О.Э.]. Война в произведениях Толстого, Гаршина и Андреева / Образование, 1905, № 10, отд. I. – С. 16–32.

Мистер Рей [Раевский С.С.]. Л. Андреев у Л.Н. Толстого [Интервью] // Утро России, 1910, 29 апр. – С. 2.

Потёмкин А. Л. Андреев о Толстом. (Беседа с Л. Андреевым // Петерб. газета, 1908, 28 авг. – С. 2.

БИБЛИОГРАФИЯ

Автобиографические, биографические и мемуарные источники, касающиеся литературных и эстетических взглядов и оценок Л.Н. Толстого, использованные в данной книге

I.

Л.Н. Толстой. Пол. собр. соч. (Юбилейное): В 90 т. – М., 1928–1958. Серия II – «Дневники». – Т. 47–59, 1951–1954; серия III – «Письма». – Т. 60–89, 1949–1957.

II.

Н.Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1828–1890. – М., 1958.

Н.Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1891–1910. – М., 1960.

Н.Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. – Кн. 1 (1828–1855). – М., 1954.

Н.Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. – Кн. 2 (1855–1869). – М., 1957.

Н.Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. – Кн. 3 (1870–1881). – М., 1963.

Н.Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. – Кн. 4 (1881–1885). – М., 1970.

Л.Д. Опульская. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. – Кн. 5 (1886–1892). – М., 1979.

Л.Д. Опульская. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. – Кн. 6 (1892–1899). Издание не завершено. – М., 1998.

III.

Д.П. Маковицкий. Яснополянские записки: В 4 т. – М., 1979.

IV.

В.Ф. Булгаков. Лев Толстой в последний год его жизни. – М., 1989.

А.Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. – М., 1959.

Н.Н. Гусев. Два года с Л.Н. Толстым. – М., 1973.

А.Ф. Кони. Воспоминания о писателях. – М., 1989.

Т.А. Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. – М., 1986; Киев, 1987.

А.П. Сергеенко. Рассказы о Л.Н. Толстом: Из воспоминаний П.А. Сергеенко. – М., 1978.

Т.Н. Сухотина-Толстая. Воспоминания. – М., 1981.

Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. – М., 1960, 1978.

А.А. Фет. Воспоминания: В 3 т. – М., 1992.

Репозиторий ВГУ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. Лев Толстой и русская литература XVIII века 9

ГЛАВА II. Лев Толстой и русская литература XIX века (1-я половина) 14
1. До Пушкина 14
2. Пушкин и Толстой 17
3. Лермонтов и Толстой 23
4. Гоголь и Толстой 27
5. Белинский и Толстой 38

ГЛАВА III. Лев Толстой и русская литература XIX века (2-я половина) 47
1. *«...человек выдающийся по силе, уму, искренности»* (Л.Н. Толстой и А.И. Герцен) 47
2. Толстой и писатели-демократы 1860-х годов 54
3. *«...вот где учишься жить»* (Л.Н. Толстой и И.А. Гончаров) 59
4. *«Тургенева с любовью вспоминаю» (1907)* (Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев) 63
5. *«Он мне нравился своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием»* (Л.Н. Толстой и А.Н. Островкий) 109
6. *«Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия»* (Л.Н. Толстой и Н.А. Некрасов: опыт анализа творческой переклички прозаика и поэта) 116
7. *«Увлекался я когда-то Пушкиным, Лермонтовым; потом в Петербурге указали мне на Тютчева, которого я полюбил»* (Л.Н. Толстой и Ф.И. Тютчев) 132
8. *«...Это превосходно, здесь каждый стих – картина»* (Л.Н. Толстой и А.А. Фет) 137
9. *«Толстой ужасен... Баратынский настоящий... Один стих "Любить и лелеять недуг Бытия" стоит дороже всех драм Толстого»* (Л.Н. Толстой и А.К. Толстой) 168
10. *«Достоевский был – весь борьба»* (Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как мыслители и художники) 171
11. *«...все нравственное – разумно, а разумное – нравственно»* (Л.Н. Толстой и Н.Г. Чернышевский) 180
12. *«У Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог...»* (Л.Н. Толстой и М.Е. Салтыков-Щедрин) 189
13. *«Какой он умный и оригинальный человек!»* (Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков) 199

Репозиторий ВГУ

14. *«У Глеба Успенского... есть одна хорошая повесть – “Власть земли”...»* (Л.Н. Толстой и Г.И. Успенский) 212
15. *«Из молодых Л.Н. признает талант лишь за Гаршиным... и Чеховым» (В.Ф. Лазурский)* (Л.Н. Толстой и В.М. Гаршин) 217
16. *«Я с удовольствием перечту всего Чехова»* (Л.Н. Толстой и А.П. Чехов) 222
17. *«Короленко хороший и такой приятный, классический народник, старого закона»* (Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко) 235

ГЛАВА IV. Лев Толстой и русская литература конца XIX – начала XX века 240
1. *«Настоящий человек из народа»* (Л.Н. Толстой и М. Горький) 240
2. *«У Вересаева тургеневский стиль»* (Л.Н. Толстой и В.В. Вересаев) 248
3. О стихотворении Бунина «Не видно птиц...»: *«Очень хорошо, очень верно!»* (Л.Н. Толстой и И.А. Бунин) 249
4. *«Очень талантлив. “Корь” – не выдержана, но образность яркая, правдивая, простая»* (Л.Н. Толстой и А.И. Куприн) 252
5. *«Чтение Андреева живее заставило меня думать о художественной работе»* (Л.Н. Толстой и Л.Н. Андреев) … 254

ГЛАВА V. Лев Толстой и зарубежная литература (от античности до XIX в.) 257
1. Толстой и греческая литература 257
2. Греческая и римская литература эпохи Средиземноморской империи 260
3. Средние века и эпоха Возрождения 261
4. Зарубежная литература XVII–XVIII веков в восприятии Толстого 276

ГЛАВА VI. Зарубежная литература XIX–XX веков в восприятии Толстого 286

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 311

ПРИМЕЧАНИЯ 315

ЛИТЕРАТУРА 323

БИБЛИОГРАФИЯ 332

Репозиторий ВГУ